индекс: 84471

ЗНАМЯ

ISSN 0130-1616

9/2010
сентябрь

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ISSN 0130-1616

ЗНАМЯ

выходит с января 1931 года

содержание **09/2010 сентябрь**

3 Бахыт Кенжеев. **Колхида.** *Стихи*

5 Ольга Славникова. **Легкая голова.** *Роман*

85 Сергей Круглов. **Серафимополь.** *Стихи*

90 Игорь Зотов. **Богбандит.** *Рассказ*

105 Александр Закуренко. **Дрожанье стрекозы.** *Стихи*

112 Марина Бувайло. **Отдам даром в хорошие руки.** *Рассказ*

120 Александр Носков. **Мужчины городских окраин.** *Стихи*

карт-бланш Андрея Дмитриева

126 Дмитрий Вачедин. **Расписание.** *Рассказ*

дискуссия

133 Dj Stalingrad. **Исход.** *Повесть.*
Вместо предисловия. *Сергей Чупринин*

Еще одно потерянное поколение?

Алексей Левинсон, Александр Кабаков, Алексей Цветков, Елена Фанайлова, Марина Егорова

публицистика

174 Иосиф Гальперин. **Уроки Бесланской школы**

технологии

184 Константин Фрумкин. **Откуда исходит угроза книге**

конференц-зал

195 **Настоящий Чехов**

Владимир Березин, Алевтина Кузичева

критика

202 Инна Булкина. **Проза «нулевых»**

наблюдатель

рецензии

209 Георгий Кубатьян. — **Леонид Григорьян. Лягу в два, а встану в три…**

215 Татьяна Морозова. — **Евгения Пищикова. Пятиэтажная Россия**

219 Александр Юркевич. — **Александр Панцов. Рассказы о Мао Цзэдуне. Книга первая. Любовь и революция, или Приемный сын Бодхисаттвы; Книга вторая. Революция без любви, или Бунт — дело правое!**

225 Валерий Сендеров. — **Эрнст Юнгер. На мраморных утесах.** *Перевод с немецкого: Евгений Воропаев*

фильм

230 Олег Дуленин. **Как я провел этим летом.** *Режиссер Алексей Попогребский*

ни дня без книги

232 Анна Кузнецова

Бахыт Кенжеев

Колхида

Звиаду, Инне, Шоте

1.

У чёрного моря, в одной разорённой стране,
где пахнет платан шелушащийся пылью нездешней,
где схимник ночной, пришепетывая во сне,
нашаривает грешное блюдце с хвостатой черешней,
у чёрного моря булыжник, друг крови в висках,
обкатан волнами, и галька щекочет подошвы —
я пью, и печалюсь, и думаю: Господи, как
легко поскользнуться на собственном прошлом.

Пусть с моря доносится выспренний шелест ветрил.
Не алых, холщовых. Не выйдет бежать, да и поздно.
Давно я уже задыхался, давно говорил,
дыша ацетоном под дырчатой плёнкою звёздной,
что мощью отлива безумная муза сыта,
что плакальщицами испокон работают чёрные ивы,
когда молодая надежда тебе отворяет уста:
Скажи мне, Медея, ведь это неправда? Они ещё живы?

2.

Старинным царством звуков «дж» и «мц»
бредёт турист с блаженством на лице.
то самогоном тешится крестьянским
из виноградной шкурки, то вино
из горла пьёт, хотя ему оно
не в кайф — по итальянским ли, испанским

понятиям, букет чрезмерно прост.
Зато лаваш! Зато прощанье звёзд
с Творцом по православному обряду,
когда наш новый Тютчев в дольний мир
спускается, покинув шумный пир,
чтоб помолиться городу и саду.

Об авторе | Бахыт Кенжеев — постоянный автор «Знамени» (предыдущая публикация — № 1, 2010). Лауреат «Русской премии» (2009).

Гостиница. Ipod или Ipad?
Гимн недопет, недопит горний свет,
стареет на тарелке сыр, обветрясь,
и ласково седому дураку
диктует муза лёгкую строку
на статую играющего в тетрис.

А резкое наречие свистит
и завивается, под ветром шелестит
древесной стружкою. Вначале было слово,
потом — слова, потом — соцветья строф.
И город вздрагивает, будто слышит рёв
бомбардировщика, разбойника ночного.

3.

Жизнь в Колхиде была б легка, когда бы не испаренья
малярийных зыбей, не разруха, не воровство
сильных мира сего. Жизнь в Колхиде — праздник слуха и зренья,
как, впрочем, и осязанья. Полагаю, что ничего
страшного. Буду и я помирать, не подавая виду
по причине гордости, буду и я обнимать
деву не первой молодости. Позолоченное руно в Колхиду
везут из соседней Турции. То-то славно дышать,

осознавать, смеясь, что дублёной овечьей кожей
не прикрыть обнажённых чресел, перезрелым инжиром не
утолить голода. Я признаюсь тебе: похоже,
что мы всё-таки, к несчастью, смертны. А как же звёзды? Оне,
объясню, как неудавшийся химик, не более чем костры из
водорода и гелия, годного лишь в качестве начинки для
глянцевых шариков с Микки-Маусом. Зрелость, лживость,
лень и детский восторг — чему только не учила наша земля,

как дорожили мы смолоду нетленным именем-отчеством,
но перед урочным уходом в Нептунову тьму —
всё ясней и печальнее на неухоженном, на болотистом
побережье, унаследованном у тех мореплавателей, кому
не удалось, у кого, как ни огорчительно, не выгорело.
Безрукий нищий на пляже обходит курортников. Визг
русской попсы из нехитрого бара. Князю — Игорево,
а что же нам? Неужели неправедный суд, вдовий иск?

Ольга Славникова

Легкая голова

роман

Максим Т. Ермаков, счастливый владелец «Тойоты»-трехлетки и бренд-менеджер ужасающих сортов молочного шоколада, подъезжал к своему шоколадному офису с привычным ощущением, будто у него на плечах нет головы. При этом голова курила, видела мокрую парковку с надувным снеговиком в черной январской луже. Тем не менее — она отсутствовала.

В детстве Максим Т. Ермаков задавал родителям глупый вопрос: откуда люди знают, что они думают головой? Отец, чья голова была настолько ушаста, что, казалось, обладала тайной способностью летать, пытался рассказывать про полушария мозга; мама испуганно трогала ребенку тепленький лоб, ища болезни там, где, будто космонавты в невесомости, плавали мысли. Сосредоточенность человеческого «я» именно в голове, выше рук, ног и всего остального, представлялась маленькому Ермакову главной человеческой загадкой. Он не любил подвижных игр, потому что боялся странной, продуваемой ветром пустоты между воротом футболки и джинсовой кепкой; боялся, что туда, в пустоту, попадет случайная ветка или залетит, как плотненькая пуля, бронзовый жук.

Детсадовская медсестра каждый месяц ставила группу на весы и сообщала родителям, что мальчик, хоть и выглядит развитым, недобирает до нормы примерно четыре кило. Мама, не понимавшая, что происходит, пичкала Максима Т. Ермакова мутными аптечными жирами и калорийными запеканками. В результате малоподвижный и усиленно питавшийся Максим Т. Ермаков вырос полным юношей с большими розовыми щеками и нежным, как сливки, вторым подбородком; всякий глянувший на него первым делом понимал, что на строительство этого тела пошли только самые лучшие продукты. Теперь, когда вес молодого человека достигал ста килограммов, были не так заметны недостающие четыре. И все-таки сам тяжелый носитель легкой головы постоянно чувствовал недостаток веса на плечах.

Журнальный вариант. Полностью роман выходит в издательстве «Астрель».

Об авторе | Ольга Славникова – прозаик, критик. Родилась в Свердловске (ныне Екатеринбург). Работала в литературном журнале «Урал». Была главным редактором газеты «Книжный клуб». Ныне живет и работает в Москве. Возглавляет литературную премию «Дебют».

Автор четырех романов и сборника рассказов. Лауреат премии «Русский Букер», премии им. Юрия Казакова, дважды финалист премии «Большая книга», лауреат международной премии Jenima Prize.

В «Знамени» публиковался рассказ «Басилевс» (№1 за 2007 год), который был удостоен годовой премии журнала.

Несмотря на легкоголовость, не сразу осознанную как личное, только ему присущее свойство, Максим Т. Ермаков учился на «четыре» и «пять». При этом он не понимал выражения преподавателей «уложить в голове». Сведения, которые он получал — начиная от стихов А.С. Пушкина и кончая технологиями ребрендинга, — сразу покидали пределы его виртуального черепа и плавали около, становясь свободной частью окружающего мира — чем, собственно, и были в действительности. Мир представлял собой подвижную информационную среду, и знания, отпущенные на свободу, возвращались достроенными, приносили, как пчелы, взятый неведомо где питательный нектар. Иногда Максиму Т. Ермакову казалось, будто он может получать информацию без всяких книг и Интернета, буквально из воздуха.

Однако личные странности не вывели Максима Т. Ермакова ни в гении, ни в хозяева жизни. Еще студентом он, как все, нашел себе работу. Ему повезло: он попал в структуру, продвигающую несколько видов транснационального продукта. Сперва он недолго управлял растворимым кофе, якобы имеющим упоительный аромат, плывущий по воздуху в виде сизых шелковых лент; после чего жизнь Максима Т. Ермакова целиком сосредоточилась на шоколаде. Плиточный шоколад, шоколадные батончики, шоколад с наполнителями, полтора десятка видов конфет, белый шоколад, пористый шоколад — все это требовало от потребителя наслаждения, как война требует подвига. Ибо в реале продукт представлял собой неоднородную сладкую глину с добавлением мыла, производимую на производстве где-то под Рязанью.

Шутки, связывающие комплекцию Максима Т. Ермакова с предметом его креативных усилий, не имели почвы: Максим Т. Ермаков своего шоколада не ел. Однако он удачно презентовал продукт всем своим видом цветущего толстяка, с румянцем до глаз и сахарной щетинкой на голове, дающей, при движении мысли и кожи, необычайные сыпучие и радужные эффекты. Наслаждение шоколадом, которого следовало достичь, имело, как уже было сказано выше, нематериальную природу. Максим Т. Ермаков понимал в нематериальном. Смешивая имиджи в правильных пропорциях, он получал визуальную имитацию вкуса, которого на самом деле не было в природе. Продажи росли. Даже исполнительный директор В.В. Хламин, по прозвищу Хлам, престарелый монстр, заросший до глаз железной сединой, похожей, стараниями стилиста, на моток колючей проволоки, неохотно признавал, что у того шоколадного парня, как бишь его фамилия, есть голова на плечах.

Молодость амбициозна. Максиму Т. Ермакову понадобилось время, чтобы принять свою обыкновенную судьбу. Он принадлежал к многомиллионной интернациональной армии корпоративных клерков и каплей лился с массами, преодолевая многочасовые, подобные скоплению мух на клейкой ленте, московские пробки. При этом в легкой голове его, как бы не имеющей физических границ, постепенно прояснилась истина, что дела его не плохи, а, наоборот, хороши. Потому что выше прав человека, защищаемых серьезными международными организациями, встали в новейшем времени Права Индивида Обыкновенного. Из многочисленных мессиджей, исходящих как будто из разных источников, у Максима Т. Ермакова суммировалось понятие, что заданная Достоевским русская дилемма — миру провалиться или мне чаю не пить — решается сегодня однозначно в пользу чая. Выбрать чай означало выбрать свободу — что наш герой и сделал, сосредоточившись на покупке квадратных метров внутри Садового кольца. Дважды его едва не кинули на серьезные деньги: это дошлифовало характер. Теперь Максим Т. Ермаков был полностью готов к своей свободе — что выгодно отличало его от миллионов соотечественников, к свободе не готовых или даже вовсе непригодных, как утверждали многие СМИ.

Однако он совершенно не был готов к удивительным и странным событиям, начавшимся ровно в тот момент, когда, включаясь, булькнула сигнализация «Тойоты» и одновременно в кармане заелозил, распухая вдвое, мобильный телефон.

— Максик! Ты опаздываешь-то чего? — раздался из телефона микроголос Маленькой Люси, секретарши непосредственного начальства. — Тебя к Вадим Вадимычу, срочно! Обыскались уже!

— Ладно, иду, сейчас пальто у себя брошу, — проворчал Максим Т. Ермаков, ускоряя шаги под вялым зимним дождиком, пятнавшим кашемир.

— Ни-ни-ни! Сразу на седьмой этаж! — пропищала Маленькая Люся, и Максим Т. Ермаков поспешно ее отключил, услышав, что из-под первого сигнала, буквально распирая мобильник, пробивается второй.

— Максим Терентьевич? Вадим Вадимович просит вас срочно зайти к нему, — это была уже Большая Лида, секретарша самого Хлама, говорившая хрипло, будто у нее скачками поднималась температура.

Максим Т. Ермаков заволновался. Волнение, впрочем, было приятным: мелькнула наглая мысль, что результатом всей этой кутерьмы станет, скорей всего, возможность заработать денег, раз уж он всем так срочно нужен. Банковские упаковки по десять тысяч долларов, эти элегантные кирпичики жизни, грезились ему, когда он трусúл, держась за мобильник, по глухим ковролинам седьмого этажа. В приемной Большая Лида вскочила ему навстречу во весь свой башенный рост и посмотрела так, будто впервые видела. Бледная, с новыми силиконовыми губами, похожими на два куска малосольной семги, она стащила с Ермакова сырое пальтище и, не дав отдышаться, втолкнула в кабинет.

Перед начальником всея конторы, как-то не очень уверенно занимавшим свое вальяжное кресло, сидели два посетителя. Они отражались в стеклянной столешнице, подобно темным островам, и между ними, будто толстый круг на воде, сияла совершенно пустая и чистая пепельница.

— А, ну наконец! Опоздание двадцать минут! — воскликнул Хлам совершенно не свойственным ему тоном доброго директора школы. — Вот, пожалуйста. Наш молодой сотрудник, — обратился он к своим посетителям, осклабясь скобкой голубоватых имплантатов.

— Утро доброе, — поздоровался Максим Т. Ермаков, а про себя подумал: «Пятьдесят штук баксов, не меньше».

— Так я могу идти? — осведомился Хлам, привставая.

— Да, вы свободны, — произнес один из двоих, а кто именно, Максим Т. Ермаков не понял.

Совершенно не похожий на себя Хлам, видимо, едва дотерпевший до момента, когда можно будет сбежать из собственного кабинета, заторопился к дверям, напоследок зыркнув на Максима Т. Ермакова старческими ртутными глазками. Только теперь посетители повернулись к тому, кого хотели видеть. Лица их были совершенно бескровны; преобладали лбы. Тот тип, что сидел слева, был весь какой-то стертый, с кустиком сухих волос на самой макушке; второй — а скорее, первый и главный, судя по пробегавшим между этими двумя невидимым токам — напоминал не родившегося, но каким-то иным, неизвестным способом развившегося и повзрослевшего человеческого зародыша. Непомерно большая, лысая, тонкокожая голова казалась полупрозрачной, но разглядеть что-либо внутри было невозможно; под безбровыми дугами, в тяжелых лиловых морщинах, горели страшные огни.

«Ну и уроды», — подумал Максим Т. Ермаков, поудобней усаживаясь на стул.

— Доброе утро, Максим Терентьевич, — проговорил Зародыш, вперяясь в некую точку над плечом Максима Т. Ермакова. — Как вы уже, наверное, поняли, мы представляем здесь государство.

Синхронным движением двое развернули удостоверения — не обычного формата, а какие-то большие и квадратные, похожие на шоколадные плитки ближайших конкурентов. Внутри рдел и золотился хищный государственный герб, и твердыми литерами было оттиснуто: «Российская Федерация. Государственный особый отдел по социальному прогнозированию». Несмотря на странный вид предъявленных документов, Максим Т. Ермаков сразу откуда-то понял, что удостоверения — настоящие, а дядьки — очень-очень серьезные. Гораздо более серьезные, чем все випы, кого он видел прежде, вместе взятые. Радость его от предвкушения денег вдруг из теплой сделалась ледяной. «Миллион. Миллион долларов», — отчетливо подумал Максим Т. Ермаков, крепче сплетая пальцы на животе.

— На самом деле наша контора называется несколько иначе, — небрежно заметил Зародыш, спуская удостоверение в какую-то щель своей глухой одежды, на которой не было, кажется, ни единой пуговицы. — А теперь позвольте спросить, Максим Терентьевич: все ли у вас в порядке с головой?

В отсутствующей голове Максима Т. Ермакова образовалось что-то вроде маленького смерча, потянувшего в себя туманный потолок с заплакавшей люстрой. «У меня болит между ушами, как говорили, кажется, индейцы», — подумал Максим Т. Ермаков, а вслух произнес:

— Вообще-то это моя голова. И что бы с ней ни происходило — это мое личное дело.

Государственные уроды переглянулись. «Прямо тридцать седьмой год какой-то», — подумал Максим Т. Ермаков, и ему сделалось весело оттого, что в этой старой игре он все наперед знает и наперед прав.

— Что ж, тогда мы сами вам расскажем, — невозмутимо проговорил Зародыш, закидывая ногу на ногу и показывая простой, как калоша, лакированный ботинок. — Ваша голова немного, совсем чуть-чуть, травмирует гравитационное поле. По этому признаку мы вас и обнаружили.

— Да вы курите, — подал голос Стертый и подтолкнул к Максиму Т. Ермакову девственную пепельницу. — Мы знаем, что вы курите «Парламент». Вообще-то тут нельзя, но с нами можно.

Досадуя, Максим Т. Ермаков вытащил из кармана пачку «Парламента», сразу показавшегося отстойным и невкусным. Курить действительно хотелось зверски. Сигаретный дым, как всегда, наполнил голову, округлил ее и материализовал, приятно струясь внутри.

— И чем же я вам интересен? — осторожно спросил Максим Т. Ермаков, прикидывая, как ловчее будет торговаться с этими двумя, уже начавшими торг с простеньких гэбэшных фокусов.

— Не буду от вас скрывать, что мы чрезвычайно в вас заинтересованы, — произнес Зародыш, поморщившись. — В двух словах: наше подразделение занимается причинно-следственными связями. О теории и технологиях говорить не буду, тем более что и права не имею. Сообщу только, что эти связи — вполне материальные образования, можно даже сказать, живые существа. И по нашим разработкам выходит, например, что жертвоприношения в языческих культах не были суевериями, а были действиями рациональными. Время от времени у причинно-следственных связей наступает вегетативный период. Тогда и появляются люди, именуемые у нас Объектами Альфа. От них, как ни странно, зависит дальнейший ход многих, очень многих событий. Вот вы и есть такой объект, Максим Терентьевич, уж извините нас великодушно.

Пока Зародыш нес этот бред, Максим Т. Ермаков, будто загипнотизированный, не мог отвести взгляд от его льдистых, слабо свинченных пальцев, игравших на столе какие-то шаткие гаммы; золотое обручальное кольцо на кривом безымянном, ловившее отсвет хмурого дня, казалось железным. Разумеется, Максим Т. Ермаков не верил словам; но, поверх и помимо слов, он ощущал, как пространство вокруг него меняет свойства. «Интересно, который кандидат в президенты будет теперь моим шоколадом?» — думал он, и сердце его подскакивало, будто маленький предмет от чьих-то тяжелых шагов.

— Так вы хотите предложить мне работу? — произнес он вслух, делая незаинтересованное лицо.

Государственные лобастики опять обменялись быстрыми взглядами, будто мгновенно сдали друг другу карты.

— В каком-то смысле да, — скучным голосом проговорил Зародыш. — Вы должны покончить с собой выстрелом в голову.

Максим Т. Ермаков вежливо улыбнулся. Его пробрало сверху вниз и снизу вверх, будто на нем, как на дудке, сыграли какую-то резкую мелодию. Он до скрипа ввинтил сигарету в пепельницу, заструившую недобитый дымок прямо в физиономию Стертого, брезгливо стянувшего узкие ноздри.

— А если я откажусь, вы сами меня ликвидируете? — проговорил Максим Т. Ермаков, не слыша себя.

— Нет. К сожалению, нет, — отозвался на этот раз Стертый, говоривший таким же точно тоном, как Зародыш, только другим голосом. — Это должна быть ваша воля и ваша рука. Если мы сами исполним, то не только не добьемся результата, но лишим себя необходимого шанса.

Уф! Снег, внезапно и густо поваливший за окном, показался Максиму Т. Ермакову таким ослепительно белым и праздничным, какого он сроду не видел. Снегопад тек наискось, то ускоряясь до крупного пунктира, то замирая на весу и качаясь туда-сюда вместе с побледневшими, похожими на мокрые махровые полотенца офисными башнями. Еще немного глуховатый, облитый радостью, будто ушатом холодной воды, Максим Т. Ермаков спросил:

— И какие, по-вашему, у меня причины застрелиться?

— Причины очень важные, Максим Терентьевич, — ответил Зародыш, презрительно улыбаясь. — Без вашей жертвы, извините, что называю вещи своими именами, причинно-следственные связи будут развиваться в крайне нежелательную сторону. Вы уже видите начало: цунами, климатические сдвиги. Все последствия просчитать трудно. Но уже в ближайшее время они коснутся многих лично. Из всего спектра возможностей будут осуществляться самые негативные. Вот Людмила Викторовна Чеботарева у вас, секретарь начальника отдела. У нее маленький сын болен, врожденный порок сердца. Он умрет. В Москве и Петербурге обрушатся торгово-развлекательные центры, жертвы будут исчисляться тысячами. Произойдет серьезная авария нефтепровода. Начнется новая война на Кавказе. Где-то в крупном сибирском областном центре следует ожидать большого теракта. Потом разразится глобальный экономический кризис…

— Постойте-постойте! — перебил Максим Т. Ермаков гэбэшника, нудно перечислявшего напасти. — Теракты, аварии — это касается вашей работы, так? Вот вы мне интересно описали, зачем моя, так сказать, жертва нужна вам. Теперь объясните, для чего это надо мне. Только так, чтобы я понял.

— Ставьте ваши условия, — холодно произнес Зародыш, запахиваясь поглубже в свой шероховатый плащик, скрывавший его до самых калош.

Тут Максиму Т. Ермакову опять стало весело. Опять возникло отчетливое чувство, будто он влез в какой-то фильм про тридцать седьмой год, только с боль-

шими начальными бонусами, не то что пламенные революционеры, кричавшие напоследок: «Я чист перед народом и партией!». «Если я им нужен, это будет стоить денег», — еще раз укрепился он в своем убеждении и, пощелкав зажигалкой перед виляющей во рту сигаретой, объявил:

— Десять миллионов долларов, господа.

— Принято, — быстро и буднично проговорил Стертый. — Десять миллионов. Завещание будете писать?

— Какое завещание, зачем? — удивился Максим Т. Ермаков. — Могу дать свои реквизиты, а лучше наличными.

— К сожалению, Максим Терентьевич, так не пойдет, — улыбнулся Стертый, больше всего похожий, если приглядеться, на колхозного бухгалтера. — Мы вас, видите ли, не сможем обмануть. Те связи, которыми мы занимаемся, сейчас очень нежные, мы не должны их повредить. У каждой причины должно быть следствие, так что, как только вы застрелитесь, ваши наследники обязательно получат деньги. А вот вы можете нас кинуть. Возьмете свои миллионы, а стреляться откажетесь. Или попросите аванс, прогуляете его, разобьете парочку «мерсаков» и захотите еще. Поставите государство на оброк. Мы такого допустить не можем, так что лучше не начинать. Ответственно вам говорю: лично вы не получите ни копейки. Так что распорядитесь в пользу близких вам людей.

С этими словами он пододвинул к Максиму Т. Ермакову чистый лист бумаги, поперек которого чернела дешевая, изжеванная, как ириска, шариковая ручка. Максим Т. Ермаков тупо уставился в белизну. Он попытался представить себе родителей, внезапно разбогатевших. Когда они в последний раз звонили? Перед Новым годом? Отец все бодрится, хвастает, разводит на даче толстозадых кроликов, ходит, с чекушкой в кармане, на коммунистические митинги. Мать дает уроки музыки, по вечерам играет «для себя» на старом пианино, будто стирает белье. Двигает плечами и лопатками, словно прачка, жамкает сумбур на клавишах, как на стиральной доске. Заживут, переедут в Москву. Если не родители, то кто? Ну не Маринка же, в конце концов. Какой она близкий человек? Только и есть у нее, что высоченные ноги на зеркальных шпильках да непомерные амбиции. Максим Т. Ермаков для нее недостаточно перспективный. Другие женщины? Смешно. Все, что от них остается наутро, — душная яма в постели и мышиная дырка в бюджете. Внезапное отвращение ко всем, кто по видимости составлял его вполне человечный и комфортабельный мир, заставило Максима Т. Ермакова внутренне содрогнуться. Не люди, а одни сплошные дыры. И сегодняшнее утро, поманившее удачей, получилось мимо кассы. Просто даром захотели его поиметь в пользу государства и народа. Дьявол, когда покупает душу, хоть пожить дает, а эти — нет.

— Нет. Не договорились, — зло отрезал он, двигая обратно ручку и бумагу, которую, оказывается, успел разрисовать жирными кудрявыми кружевцами. — Пожалуйста, ловите террористов, гипермаркеты стройте как следует, чтобы не падали. А я пошел, у меня работы полно.

— А как насчет высших соображений? — вдруг поднял голос Стертый. — Тоже не задаром и не безымянно. У нас хорошие сценаристы. Разработают легенду, станете национальным героем. Памятник вам поставим в Москве и на малой родине, хотите?

— А вот не хочу! Нашли Александра Матросова! — выпалил Максим Т. Ермаков, радуясь, что в предбаннике слышат, как он орет на государственных страшилищ, напугавших всех до полусмерти. — Высшие соображения! Вы эти тоталитарные примочки в жопу себе засуньте! Я вам еще сырьем для вашей пропаганды буду! Прям Гастелло! Если бы в ту войну нормально платили тогдашним «сапогам», не пустили бы немцев до самой Москвы!

— Интересная концепция, — усмехнулся Зародыш, и полупрозрачный пузырь его головы слегка порозовел. — Так вот, Максим Терентьевич. Разговор у нас не последний, сами понимаете. Вот, возьмите визитку, там телефоны, звоните, ежели что.

Он двумя пальцами, будто пинцетом, протянул Максиму Т. Ермакову картонный квадратик, на котором рдел, как рябиновый лист, все тот же двуглавый орел. «Кравцов Сергей Евгеньевич, ведущий специалист», — было вытиснено над двумя семизначными телефонными номерами, где первые три цифры были: 111. Пока Максим Т. Ермаков скептически вертел картонку, Зародыш искоса посмотрел на балахон Стертого. Стертый понял, кивнул, залез рукой в глубокую жеваную складку и вынул тяжелую штуку, оказавшуюся крупным рифленым пистолетом. Максим Т. Ермаков вздрогнул. Ухмыляясь половиной обвисшей, как карман, морщинистой рожи, Стертый запустил пистолет по столешнице в сторону Объекта Альфа, завороженно следившего за медленным вращением оружия, будто за последними кругами рулетки.

— Это ПММ. Магазин на двенадцать патронов. Заряжен, надежен, прост, — представил Зародыш зловещее явление, вогнавшее Максима Т. Ермакова в бисерный пот. — Возьмите и держите при себе. Пригодится, можете мне поверить.

Пистолет был явно не новым: рукоять рябила голым металлом, как старая черная терка, курок в кривоватой скобе казался жирным от многочисленных нажатий пальцем. «Вот уроды, и тут сэкономили, — восхитился Максим Т. Ермаков, забирая со стола увесистый сувенир. — Ладно, хоть шерсти клок с этих волчар в овечьих шкурах. Ничего игрушка, интересно».

— Звонить не обещаю. Всего хорошего, господа, — объявил он вслух.

Засовывая ПММ в пиджачный карман, немедленно отяжелевший, Максим Т. Ермаков развалистой трусцой направился к дверям. Сувенир ощутимо лупил по бедру, и в душе Максима Т. Ермакова варилась едкая злоба.

— Максим Терентьевич! Одну минуту! — остановил его Зародыш у самых дверей.

— Ну? — полуобернулся тот.

— Вы не задали вопроса, который задают все инициированные объекты, — невозмутимо произнес Зародыш, покачивая ногой.

— Какого?

— Был ли Объектом Альфа человек, известный как Иисус из Назарета.

— Ну? — раздраженно повторил Максим Т. Ермаков, прикидывая, что будет, если он возьмет и застрелит этих двух гэбэшников, расположившихся в кабинете Хлама, как у себя дома.

— Он — не был. Он представлял собой непостижимый для нынешней науки феномен, — бесстрастно сообщил Зародыш, темнея до полной непроглядности на фоне льющегося снега; только глаза его смотрели пристально, отсвечивая лиловым, будто оптика сильного бинокля.

День прошел кое-как. Максим Т. Ермаков валандался, то успокаиваясь, то снова озлобляясь на утренних визитеров. Не было никаких идей насчет новых «валентинок», представлявших собой ломкие шоколадные сердечки в интенсивно-розовой обертке; вообще его шоколад, поздравлявший население страны со всеми возможными праздниками, вдруг показался Максиму Т. Ермакову каким-то тухлым, будто Генеральный секретарь ЦК КПСС. Куда бы он ни заходил, всюду его провожали скрытными взглядами исподлобья; руки, протянутые для пожатия, словно превратились из мужских в женские. Сам он тоже бросал невольные косые взгляды на Маленькую Люсю, которую прежде едва замечал, представляя ее себе в виде смутного пятна, с чем-то блестящим на рыхлой пепельной шейке.

Теперь он тоже не увидел ничего особенного: волосы-щепочки, жалкие бровки, очки. Почему-то он думал, что Маленькой Люсе лет двадцать с небольшим, а оказалось на вид — тридцать с хвостом.

— Максик, ты чего такой смурной? К тебе сегодня, говорят, из милиции приходили? — тихо спросила Маленькая Люся, когда Максим Т. Ермаков неизвестно для чего в который раз забрел в приемную шефа. — Может, кофе крепкого тебе сварить?

«Может, денег ей дать?» — тоскливо подумал Максим Т. Ермаков. Но денег было в обрез.

Риелтор Гоша-Чердак позвонил в половине четвертого. Голос у него был густой, будто политый соусом.

— Макс, таким образом, у нас проблема, — проговорил он солидно. — Продавец поднимает сразу на тридцать. Помнишь, я их сперва на пять утоптал, а теперь новый покупатель подскочил, армянин какой-то денежный. Они сейчас квартиру поехали смотреть, я за ними. Давай и ты подтягивайся. Подумай, сколько еще поднимешь. Квартира, между нами, стоит того.

— Так мы же залог внесли! — опешил Максим Т. Ермаков. — Какого хера! Чего они жопами крутят, договорились уже!

— Жизнь сурова, Макс, понимаешь меня? — наставительно произнес Гоша-Чердак. — Внести залог одно, купить квартиру совсем другое. Недвижимость — она как большая рыба, десять раз с крючка сорваться может. Так что рули на Гоголевский и по дороге звони всем, кому можешь, проси, занимай. Все, давай! — и он провалился, как монета в щель.

Бормоча пламенную матерщину, не попадая в рукава пальто, болтавшегося за спиной подобно подбитому крылу, Максим Т. Ермаков понесся вниз. От него шарахались, прижимая к себе кофейники и папки. На парковке надувной резиновый снеговик вихлялся под ветром, мятый, как яйцо. Снег кишел, «дворники» отжимали потоки мутной воды, бурые лужи колыхались под колесами, сытно напитанные мокрой снежной массой. Квартира на Гоголевском, крошечная, зато двухуровневая, продавалась как золотая. Максим Т. Ермаков уже вытянулся в нитку и рассчитывал только на новый годовой шоколадный бюджет, от которого собирался вынужденно скрысить изрядный кусок. Он не представлял, кому звонить, и, медленно передвигаясь в снежном месиве, без толку рылся в памяти мобильника. Слева прошли купола Христа Спасителя, бледные, будто горящие днем электрические лампы. Заворачивая во дворик, где собирался отныне парковать свою «Тойоту» в достойном соседстве дорогих и породистых авто, Максим Т. Ермаков почти поверил, что денежный армянин-покупатель на поверку окажется призраком.

Надежда развеялась через десять минут. Посреди квадратной студии, которую Максим Т. Ермаков так хорошо делил в мечтах на стильные зоны, топталась хозяйка квартиры, грузная старуха с мутными каратами в растянутых мочках, лицом напоминавшая дряблый персик, покрытый серым пухом. Риелтор старухи, рыжая бизнесвумен в тесном малиновом костюмчике, вовсю обхаживала нового клиента, расписывая ему достоинства квартирного пространства и ограниченность подобных предложений на московском рынке. Клиент терпеливо кивал; его большая, как валун, неправильная голова даже не повернулась в сторону Максима Т. Ермакова, ввалившегося в студию. Гоши-Чердака нигде не было видно. «Опаздывает, сволочь, бросил меня с этими», — злобно подумал Максим Т. Ермаков и тут же увидел в сумраке у лестницы, ведущей в верхнюю спальню, ту, для кого, по-видимому, приобреталась квартира, обжитая им в мечтах до последнего квадратного сантиметра. Лет восемнадцать. Скорее дочь, чем подружка армянского папика: белый воротничок, черная скучная юбка, похожая

на чехол мужского зонтика. Пышные кудри без блеска, с дымом, сколотые грубой стекляшкой; глазищи огромные, влажные, совершенно овечьи. Прошло не меньше минуты, прежде чем Максим Т. Ермаков осознал, насколько хороша собой армянская девица. Оттого, что ей достанется квартира, а сама она никогда не достанется неудачливому конкуренту, которого ее богатый папа как раз сейчас растирает в порошок, захотелось что-нибудь сломать. «Ничего, скоро растолстеет, отрастит усы», — мстительно думал Максим Т. Ермаков про девицу, ощущая на плечах вместо головы маленький пляшущий смерч.

— Так, все в сборе! — Гоша-Чердак, наконец-то добравшийся до места, отряхивался на пороге, с его расстегнутой кожаной куртки текло, будто он попал под душ. — Извини, брат, пробки, к тому же снег, — протянул он Максиму Т. Ермакову холодную, тоже мокрую руку, у которой только большой палец был размером с куриную ногу.

— Какого хера телепаешься три часа! Пробки у него! Торчу здесь, как бревно на балу, — зашипел Максим Т. Ермаков. — Давай, говори с ними, а то я не знаю, что будет.

— Хорошо, хорошо, расслабься, — примирительно проговорил Чердак, посылая риелтору оппонента водянистую улыбку.

— А вот и еще покупатели! — возвестила та тоном экскурсовода, точно Ермаков с Чердаком были частью оборудования квартиры. — Гоша, вы еще претендуете или для вас уже слишком дорого? Я вам звонила про новую цену. Смотрите, а то через месяц все опять подрастет.

Армянин ничего не сказал, только повернулся всем коротеньким корпусом глянуть на претендентов; глаза его, отягощенные бурыми складками, напоминали старые грибы.

— Ниночка, красавица, мы при делах, конечно, при делах! — пропел Чердак, источая сироп. — Только переговорю с моим клиентом! Пять минут!

С этими словами он ухватил Максима Т. Ермакова за толстое предплечье и, наступая ему на ботинки, поволок к окну.

— Ну, что, сколько денег нашел? — заговорил он азартно, маяча радужными, плохо протертыми очочками. — Я, перед тем как ехать, залез в базы: цены везде нереальные. Таким образом, есть смысл поднимать резко. Давай, прыгаем в последний вагон!

— Да нисколько не нашел! Все, предел, звездец! — прохрипел Максим Т. Ермаков, косясь на рыжую риелторшу, на ее неожиданно толстенькую, словно ватой простеганную спину. — Ты на договоренности с ними напирай. Скажи, они за лохов нас с тобой держат?

— Ты что, брат? Ты у нас крутой Шоколадный Джо или выпускник детского сада? — возмутился Чердак. — Какие договоренности? Кто тут тебе чего должен? Ну, медный таз! Москва набита деньгами, а он стесняется, блин. Давай, доставай мобилу! Звони людям! Ну?!

Тычками он припер Максима Т. Ермакова к стенке и, морща рыхлый лоб, похожий на сильно наперченную манную кашу, продолжал его тихо мутузить, пока не выдавил из взбитой кучи мобильный телефон.

— Ладно, тогда отойди маленько, — проговорил Максим Т. Ермаков, отдуваясь.

Чердак, ворча, разжал объятия и отступил на пару шагов. Вдруг сердце Максима Т. Ермакова лизнуло какое-то новое, почти нестерпимое чувство. Эта старуха, хозяйка квартиры, тяжело усевшаяся на единственный в студии, заляпанный ремонтом табурет — ну зачем ей столько денег? Ведь видно, что не было никогда: нитка янтарных яичек на сморщенной шее, мутные сережки, мутные, с белковыми жидкими жилками, ржавые глазки. Жизнь ее практически закон-

чилась. А он, Максим Т. Ермаков, должен почему-то выстрелить из чужого пистолета в свою невесомую голову. Словно послать тугую пулю в пышную, тряскую, бряцающую игрушками новогоднюю елку. Блин, где же эта визитка... Изворачиваясь и изумляясь глубине собственных карманов, Максим Т. Ермаков вытащил наконец орленую картонку. Кравцов Сергей Евгеньевич, надо же… Палец, казалось, прилипал к телефонным кнопкам, будто к железу на каленом морозе; по спине текли ручейки.

Номер, начинавшийся с трех единиц, ответил немедленно. Не было, что загадочно, ни одного гудка, и голос Зародыша зазвучал так близко, будто гэбэшник помещался непосредственно в телефонном аппарате.

— Максим Терентьевич, добрый день, добрый. Вот видите, вы уже и позвонили.

— А… Э-э… Сергей Евгеньевич, и вам хорошего дня, — бодро проговорил Максим Т. Ермаков, подглядывая в визитку. — Тут такое дело… Мне срочно нужно тридцать… — Он покосился на Чердака, который тряс перед ним растопыренными белыми пальцами, которых было шесть, не то семь штук. — Нет, извините, шестьдесят тысяч. Долларов, естественно.

— Мы знаем, Максим Терентьевич, — доброжелательным голосом откликнулся Зародыш.

— И что?

— Ну, Максим Терентьевич, мы ведь с вами это обсуждали, — отечески проговорил гэбэшник, и в голосе его, ласково пробиравшемся в ухо, послышались глумливые нотки. — С тех пор наша позиция не изменилась.

Тут Максим Т. Ермаков физически почувствовал, как его туманный мозг, будто проточная вода, окрашивается кровью. Он сгорбился, укрывая разговор горстью, и яростно прошипел:

— Так что же, вы меня бесплатно сегодня обрадовали?! Спасай, мол, человечество! А мне с этого что? Совсем ничего?! Нет уж, болт вам, господа! Дадите деньги — буду думать над вашим предложением. Не дадите — пошлю далеко!

— Не дадим, — печально сообщил Зародыш. — А насчет бесплатно — это вы зря. Просто у вас на уме одно бабло. Вы подумайте хорошенько, пообщайтесь с собой: чего бы вам хотелось после себя оставить. Мы многое можем и готовы тратить большие, очень большие бюджеты. Поверьте, редко кому дается шанс вот так менять что-то в мире. Просто желания должны быть за пределами вашего тела и вашей физической жизни. Неужели ни одного нет?

— А идете вы лесом! — заорал Максим Т. Ермаков и почувствовал на себе сразу все взгляды. Рыжая бизнесвумен быстро отвернулась, улыбка ее мелькнула наискось и чиркнула по сердцу Максима Т. Ермакова, будто спичка по коробку. Гоша-Чердак недовольно скуксился. В глубине помещения, у лестницы, тихо светился нежный овал, белый воротничок по сравнению с этим свечением был груб, как гипс.

Чтобы отдышаться от унижения, Максим Т. Ермаков отвернулся к окну. Снег шел, будто тянули сеть. Белый сумрак застилал вечереющий двор, по убеленной траве гуляла большая, как корова, пятнистая собака. Какой-то человек, в темном кургузом пальтишке, в белых снеговых погонах, мерил шагами узкий тротуар, поворачиваясь через левое плечо там, где кончалась натоптанная им цепочка следов. Вот он остановился, поднес к уху мобильный, синевато осветилась впалая щека. Сразу из припаркованного микроавтобуса вылез второй, стриженный под плюш, двое поговорили, сдвинув лбы, и, одновременно сделав шаг назад, посмотрели на Ермакова. Максим Т. Ермаков отпрянул. Два запрокинутых лица напоминали белые кнопки с нанесенными на них неизвестными значками. Максим Т. Ермаков сразу догадался, с какого номера был

сделан звонок на тот, осветивший неизвестного, мобильник и какому ведомству принадлежит замшевый от грязи старенький микроавтобус. Реклама на борту микроавтобуса гласила: «Green Garden. Лучшая садовая мебель Москвы», — но эти двое, синхронные, с прямоугольными плечами под погоны, точно были не мебельщики.

Так Максим Т. Ермаков впервые увидел тех, чье присутствие стал теперь ощущать постоянно. Они передвигались большей частью на микроавтобусах («Деревенский молочник. Только хорошее настроение!»; «Мир Кухни. Лидеры рынка»; «Мир кожи. Стильная кожа для всей семьи»). Иногда это были пожилые иномарки и даже родные «копейки», с корочкой ржавчины из-под грубой покраски, — ездившие, однако, отменно резво. Все эти транспортные средства были грязны, как закопченная посуда. Стоило «Тойоте» тронуться с парковки, как они возникали в зеркале заднего вида — их выделяла из общего потока какая-то напряженная дрожь, даже в пробках они стояли, будто готовые вот-вот закипеть.

Сотрудники отдела по социальному прогнозированию всегда работали парами: все примерно одного возраста, все в каких-то советских серых пальтецах либо в дутых куртках, глухо застегнутых до самых крепких, как кувалды, подбородков. Лица их издалека были будто кнопки одной клавиатуры, причем на некоторых читались как бы буквы, а на других цифры. В подъезде Максима Т. Ермакова, на подоконнике, откуда просматривалась дверь квартиры, появилась банка из-под маринованных томатов, постепенно заполняемая духовитыми окурками. Максим Т. Ермаков чувствовал надзор буквально кожей: по спине, между лопатками, струился колкий песок, и сам он казался себе постройкой из песка, сырой внутри, сыпучей снаружи, постепенно размываемой знобким ветерком. Чтобы хоть ненадолго избавиться от неотступных микроавтобусов, он впервые за многие годы начал спускаться в метро. Не тут-то было: стоило ему встать на эскалатор, как позади него воздвигалась плотная фигура, клавшая на поручень здоровенную лапу в черной морщинистой перчатке, а впереди, через два или три человека, просматривался затылок напарника, напоминавший толстого ежа.

Квартира на Гоголевском продалась, только свистнула. Гоша-Чердак озлобился, но еще суетился, каждый вечер возил показывать варианты. Схватить хоть что-то в центре нечего было и думать: цены дружно двинулись в рост, и продавцы опережали время, желая получить за свою недвижимость в январе, как в марте. В настоящем времени ничего не происходило; рынок замер; замер, казалось, самый воздух, вернувшийся, после недолгого снегопада, в состояние глухое и туманное, свойственное запутанным снам. На дворе стоял никакой сезон: снег если пытался идти, то растворялся в сырости, как стиральный порошок, пенку его всасывала земля, и, обманутая плюсовой температурой, выпускала жить слабосильную, вяло-зеленую траву. Низкая, ровная пелена облаков застила солнце; тускло чернели голые деревья; зима была будто перегоревшая лампа.

Гоша-Чердак, теряя последний энтузиазм, таскал Максима Т. Ермакова куда-то на Кожуховскую, в бетонные панельки, смотрящие окнами на крысиный лабиринт зачуханного рынка; куда-то далеко за Войковскую, в пятиэтажки серого кирпича, где за царскую цену продавалась гнилая двушка, с пузырящимися полами и скользкой на ощупь теплой водой, вытекавшей из ревматических труб. Было уже не до престижа; надо было вложить имевшиеся деньги в квадратные метры — но все ускользало, буквально за сутки становилось недоступно. Город, нереально повышаясь в цене, делался призрачным; это повышение, охватившее и те жилые массивы, где вообще не продавалось ничего, сказывалось в недостоверном, словно бы разреженном составе зданий, в странном, волнообразном отсвете окон. Динамическая световая реклама банка, где хранились погибаю-

щие деньги Максима Т. Ермакова, попадалась едва не на каждой высокой крыше и напоминала школьный опыт по химии, где в результате переливания алой и зеленой жидкостей всегда получался дымный хлопок.

Десять миллионов. Десять миллионов долларов, блин! А поторговаться, так и больше. Вот, кажется, только протяни руку. Максим Т. Ермаков нисколько не сомневался, что стоит этих денег. Он чувствовал, что от возможности купить какую только захочешь квартиру, вообще любую недвижимость в Москве или Европе, его отделяет всего лишь упругая, полупрозрачная перепонка. Раньше он не задумывался о природе этой преграды — разве что в детстве, в шестилетнем, кажется, возрасте, когда внезапно понял, что умрет обязательно и что родители тоже умрут. Наглядным пособием послужил сердитый деда Валера, ходивший с палкой так, что в нем ощущались все его твердые кости, — а потом улегшийся в длинный обшитый материей ящик и внезапно переставший пахнуть табаком. Наваждение длилось целое лето: с той поры некоторые явления — звенящий стрекот ночных приморских зарослей, зеленый дождь в деревне, скрип качелей, жесткий полет сухой стрекозы — вызывали у Максима Т. Ермакова тихую тоску. Потом, в сентябре, все внезапно прекратилось, словно отрезало школьным звонком.

И вот теперь оно снова вернулось; ночи сделались враждебны. Не в силах уснуть, барахтаясь, как тюлень, в сырых от пота простынях, Максим Т. Ермаков измысливал способы, как ему получить свои деньги и при этом остаться в живых. Мысль его, не стесненная черепной коробкой, выделывала сложнейшие петли, то изобретая послушного, на все готового двойника, то воображая ложный выстрел на каком-нибудь не слишком высоком мосту, с падением тела в маслянистую ночную воду, в спасительную муть, где ждет заранее припрятанный верный акваланг.

Все выходило нереально, все требовало подготовки, в том числе спортивной — а спортсменом Максим Т. Ермаков не был никогда и особенно боялся нырять, зная, что под водой его виртуальная голова превращается в холодный воздушный колокол, зыбкий, как ртуть, норовящий разделиться на несколько частей. Нужны были помощники, верные люди; нужны были как минимум качественные документы на чужое имя. Следовало на всякий случай подкачать изнеженное тело, тряское на бегу, а при наклоне к ботинкам выпускавшее в голову розовый пар. Но не было возможности тайно купить тренажер, устройство, инструмент. Бдительные социальные прогнозисты всегда перлись за Максимом Т. Ермаковым в супермаркет, катили, пихая подопечного в крестец, дребезжащую тележку, куда швыряли все то же самое, что Максим Т. Ермаков набирал для своих невиннейших нужд; если товар оказывался в единственном экземпляре, то в результате краткой борьбы за коробку или флакон всегда побеждал хладнокровный, чугунный под пальто, социальный прогнозист. Выкатившись с тележкой на парковку, спецкомитетчики сваливали рацион Максима Т. Ермакова в черный мусорный мешок и, завязав его узлом, шмякали пузырь в багажник — видимо, на предмет исследования, не получается ли из пельменей и шампуня пластиковая бомба. Максим Т. Ермаков был у них будто на ладони; подозревая во всякой точке на обоях и во всякой бусине жиденькой китайской люстры скрытую камеру, он изучил свою съемную квартиру лучше, чем за четыре предыдущих года; должно быть, наблюдателям он казался пауком, ползающим по углам, выделяя клейкую нить.

У Максима Т. Ермакова имелось перед социальными прогнозистами только одно преимущество: у него было время. А вот у них времени не было. Грохнулся мегамаркет «Европа». Двести двадцать шесть погибших, пожалуйста. Максим Т. Ермаков демонстративно поехал посмотреть. Стеклянистое тело мегамаркета

напоминало теперь теорему, покончившую с собой из-за отсутствия доказательства: дикий хаос треугольников вздыбленной арматуры кое-где еще держал стеклянные полотна, вкривь и вкось отражавшие серую облачность, словно само небо над катастрофой было расколото; перекрытия опасно висели над черными ямами этажей. Всюду ходили насупленные мужики в оранжевых жилетах; возле заграждения из мокрой заплаканной сетки лежали на асфальте раскисшие гвоздички, похожие на свежие пятна масляной краски.

Постояв для приличия, подивившись на уцелевшие манекены, маячившие в строгих костюмах над слоеным хаосом бетона и стекла, Максим Т. Ермаков полез за руль. По пути домой его обливало смесью веселья и ужаса. Мир становился податлив, как пластилин. Максим Т. Ермаков не смог бы сформулировать, в чем заключается его новообретенная власть. Но чувство власти было таким несомненным, что «Тойота», сопровождаемая скромным, по-собачьи виляющим фургончиком, буквально распарывала трафик. Они заплатят, никуда не денутся. Они оказали Максиму Т. Ермакову большую услугу: дали пощупать тонкую преграду между тем и этим светом и сделали так, что Объект Альфа не испугался. Несмотря на слабую материальность собственной головы, Максим Т. Ермаков не верил ни в какие райские и адские области, представлявшие собой всего лишь пар от человеческой мысли. Он признавал только реальные, конкретные вещи. Для него «тем светом» были теперь престижные квартиры в старых, хорошо отреставрированных московских дворянских домах — туда он попадет, как только вытащит свои деньги, вкусные долларовые кирпичики, ясно видные сквозь близко проступившую холодненькую плеву. На всякий случай, раз уж негативные прогнозы стали осуществляться, Максим Т. Ермаков решил не ходить пока в большие магазины, а покупать продукты близко от дома, в симпатичном подвальчике, где его всегда приветствуют добродушный задастый охранник и пожилая кассирша с желтой челкой, в обильном золоте, стекающем в теснины крапчатого бюста. «А выстрела не будет, не будет, господа!» — напевал Максим Т. Ермаков на какой-то веселенький мотив, отпирая магнитной пипкой железную, пупырчатую от воды и краски, дверь своего подъезда.

В квартире ожидал сюрприз. Посреди единственной комнаты, в единственном кресле сидел одетый в спортивный костюм с размахрившимися лампасами Кравцов Сергей Евгеньевич собственной персоной; его тонкокожая, словно разбухшая, голова напоминала набитый желудок какого-то животного. За спиной начальника стояли, сцепив лапы на причинных треугольниках, геометрические фигуры числом четыре. Перед Зародышем, на валком журнальном столике, хромавшем так, словно одна из ветхих ножек была костылем, золотился взятый без спросу из бара французский коньяк.

— Ну что, полюбовались? — поприветствовал подопечного ведущий специалист.

— А как поживают ваши причинно-следственные связи, начальник? — ехидно откликнулся Максим Т. Ермаков, сбрасывая пальто. — Все вегетативно размножаются? Как они себя чувствуют? Не хворают, нет?

— Хворают, — подтвердил Зародыш, зыркнув из-под голых надбровий, словно там провернулись тусклые шарниры. — Да вы же сами все видели, только что с места события. Лишний вопрос. Давненько я не видел такого, как вы, наглеца.

Максим Т. Ермаков любезно поклонился. Сесть ему в собственной комнате было не на что, кроме как на раскрытую постель, где в хаосе белья голубели раздавленной бабочкой кружевные Маринкины трусы. Максим Т. Ермаков вздохнул и плюхнулся.

— А как насчет незаконного проникновения в частное жилище? — осведомился он, скользя насмешливым взглядом по лицам охраны, на которых резкие

морщины были как боевая раскраска туземцев. — Или у вас, извиняюсь, ордер имеется? Может, я какой-нибудь закон нарушил? Кого-нибудь убил? Или вы успели насыпать кокса в мой стиральный порошок и ждете понятых?

— Бросьте, Максим Терентьевич, — поморщился Зародыш. — Дверь у вас была не заперта, мы и вошли, как старые знакомые. Сидим, стережем ваше имущество. А приехали мы только для того, чтобы задать единственный вопрос: что больше — двести двадцать шесть или один?

— Конечно, один, если этот один — я. А вы как думали? — живо откликнулся Максим Т. Ермаков. — Вы мне другую жизнь можете дать? А тем, кого в «Европе» поубивало, — можете? Чем приставлять ко мне наружку, рыться в моих покупках, курить у меня в подъезде, лучше бы за террористами следили! Да, ездил, видел. Это не я виноват, это вы виноваты! И не надо мне ваших арифметических задачек. Плохо работаете, господа!

— Ну вы и наглец, — задумчиво повторил Зародыш, грея хозяйский коньяк в бескровной пясти, покрытой с тыла, точно изморозью, полупрозрачными волосками. — Да, у государства задачи в основном по арифметике. Мы имеем натуральный ряд чисел: сто сорок миллионов жителей страны. И с этой, арифметической, точки зрения, один меньше, чем двести двадцать шесть, ровно в двести двадцать шесть раз. Меня другое удивляет. Вы, Максим Терентьевич, держитесь так, будто совсем нас не боитесь. А зря. Всякого можно ухватить за чувствительное место. А уж если мы возьмемся…

— Ничего у вас не выйдет! — радостно сообщил Максим Т. Ермаков. — Я гладкий и круглый колобок, весь внутри себя, меня даже ущипнуть местечка не найдется. Хотите честно? Мне никто, кроме самого себя, не нужен. То есть любил я когда-то маму с папой, а сейчас — ну, попечалюсь недельку, если что. Может, напьюсь. Даже если померещатся чувства, не страшно. И так у всех, между прочим. Женщины, конечно, есть приятные, но не настолько, чтобы ради них стреляться. Я бы вас боялся, конечно, если бы вы могли как-то силой на меня воздействовать. А вы беспредельничать не можете, спасибо причинно-следственным связям! Стало быть, у нас идеальная ситуация: если гражданин не нарушает законов, к нему никаких вопросов нет. Кстати: если я возьму ваш пистолет и примусь палить в людей на улице, что будет?

— А вот тогда мы, без всякого беспредела, вас арестуем, — со вкусом проговорил Зародыш, и по тому, как умягчился маслом его тяжелый взгляд, сделалось понятно, что такой поворот событий был бы весьма желателен для представляемого им комитета. — Арестуем, стало быть, и запустим вполне законные процедуры следствия и суда. Но придадим им такие формы, что вы сами попросите на минуточку в камеру наш пистолет.

При этих словах непрошенного гостя Максим Т. Ермаков вдруг почувствовал, что весь расквашивается. Ему захотелось немедленно лечь в свою постель, прямо в офисном костюме, кусавшем шерстью в нежных сгибах под коленками, и сказаться больным. Натянуть на зыбкую голову глухое одеяло и сделать вид, что страшилищ не существует.

— А ведь вы трус, Максим Терентьевич, — попер в наступление Зародыш и сразу словно навис над жертвой, хотя ни на миллиметр не двинулся из кресла. — Сама ваша плоть труслива, каждая клеточка вибрирует и плачет, стоит вам нож показать. Помните, как были студентом и проигрались в карты? Вас тогда прессовали крутые пацаны Пегий и Казах. Чтобы выплатить долг, вы украли две с половиной тысячи долларов у своего сокурсника Владимира Колесникова. А он возьми и окажись тоже злобным и, хоть и без ножа, но со здоровенными кулаками. Помните, как прятались от него по женским комнатам общежития? Как сиживали в шкафах среди юбок и босоножек?

«А ничего себе их учат. Прямо возникают перед тобой, передвигаются в пространстве, пальцем не пошевелив. Ничего себе приемчики. Интересно, как это у них получается», — лихорадочно думал Максим Т. Ермаков, мысленно забарматывая дрожь, проходившую от пяток до мутной головы. Но было поздно. Ожил, словно вышел из тюремного блока памяти, Вован, Вованище, с небритой мордой, похожей на грязную губку, с дикой шерстью на груди, распиравшей, как сено, все его голубые и розовые рубахи, купленные в сельпо. Вован потом и правда загремел в тюрьму, ввязавшись в нехорошую драку возле мутной пивнушки у метро: это спасло Максима Т. Ермакова от физического увечья и нервного срыва. Вован, кстати сказать, тоже сидел за тем, чрезвычайно скользким, покером, но спасовал с крестьянской хитростью, отделавшись копеечным убытком. Надо было тогда не увлекаться прикупом, надо было обратить внимание, что сдающий странно ласкает колоду, а у Пегого карты буквально растут между пальцами, будто лягушачьи перепонки. И что, на нож следовало идти из-за двух с половиной штук? Нож, между прочим, реально был — хищная выкидуха с наборной зоновской ручкой. Эти двое, Пегий с Казахом, обгладили ею всего Ермакова, намазали, будто бутерброд маслом, стальным зеркальным ужасом. Максим Т. Ермаков поступил рационально: просканировал пространство и обнаружил единственно доступные деньги, достаточные для выплаты долга, в мужицком пиджаке Вованища, во внутреннем кармане, зашитом грязными белыми нитками. Зря Вованище хвастал перед игрой, что заработал на стройке и всех теперь отымеет; было делом техники нащупать в его проодеколоненном барахлишке сдобный денежный хруст.

Да, Максим Т. Ермаков спасся, поменяв большее зло на меньшее. Да, сиживал в шкафах на босоножках, будто курица на яйцах, пока Вованище ревом объяснялся с девчонками и метал стулья. Любой, кто соображает, проделал бы такую же комбинацию. Но как же страшен был густой и резкий, отдающий хирургией, запах его одеколона, когда Вован сгребал Максима Т. Ермакова за ворот и его васильковые глазки делались неживыми, будто у куклы. Этот народный парфюм, уже и тогда, в конце девяностых, снятый с производства (запасы, вероятно, хранились в кулацком семействе Вована не столько для блезиру, сколько для экономичного опохмела) теперь и вовсе кончился на всех складах — но в сознании Максима Т. Ермакова продолжал существовать. Его виртуальное обоняние, тянувшее запахи непосредственно в мозг, изредка улавливало несколько грубых, неизвестно откуда приплывших молекул; их оказывалось достаточно, чтобы вызвать панику в игравшем, как резинка, солнечном сплетении, куда, бывало, въезжал, пресекая жизнь, татуированный кулак.

— О чем задумались, Максим Терентьевич? — послышался словно из-за спины голос незваного гостя, хотя Зародыш по-прежнему сидел, как на картинке, все в том же коричневом кресле.

— Да вот, вспоминаю молодость, — улыбнулся Максим Т. Ермаков, потихоньку вытирая мокрые ладони о простыню. — Верно вы всех назвали: были и Пегий, и Казах, и гражданин Колесников. Боже мой, из-за какой суммы тогда разгорелся конфликт… Мелочь, тьфу! Какими глупыми бывают люди в двадцать лет. Кажется, будто деньги нужны только молодым, а людям в возрасте они зачем? Я вот только сейчас начинаю понимать, что чем старше человек становится, тем больше надо денег на правильную жизнь. Вы согласны со мной, Сергей Евгеньевич?

— Рассчитываете дожить до своих десяти миллионов? — иронически осведомился Зародыш. — Гарантирую, что у вас это не получится.

— А у вас, значит, получится сделать из меня национального героя посмертно? — в тон ему ответил Максим Т. Ермаков. — Тоже обломайтесь: это не ко мне. Это к какому-нибудь колхознику, прочитавшему в своей избе «Как закалялась

сталь». Вот гражданин Колесников мог бы, если бы когда-нибудь книжки открывал. Положить живот за други своя — это не катит. И даже не потому, что морали нету, а эстетика другая. Арт-жесты все другие. Мои клипы про шоколадки значат сегодня больше, чем все это тупое наследие, многотомники с моралью и героями. Новость для вас? Понимаю. Небось, не первый я у вас Объект Альфа. Прежние-то объекты кидались со всей дури спасать человечество, еще и благодарили за оказанную честь. Вы раньше эту дурь у человеков полной ложкой черпали, никаких проблем не имели. Строили БАМы, поднимали целину. А теперь все. Халява кончилась, господа. Я вот на вас время трачу, а собирался поужинать и кино посмотреть.

На это Зародыш испустил неприятный смешок, откинувшись в кресле и показывая кадык, похожий на проглоченное змеей куриное яйцо. Четверо геометрических мужчин, до сих пор не издавших ни единого звука, кроме скрипа черных тупоносых ботинок, ответили начальству хором, будто болотные лягушки.

— Уж потерпите, Максим Терентьевич, — проговорил ведущий специалист, отсмеявшись. — Ваши намеки на то, что мы должны за ваше время заплатить, я все равно не пойму. Мы ведь с вами толкуем не о морали и не о современном искусстве, а о вещах чисто практических. Мне, как ответственному в каком-то смысле за государственную арифметику, нужно произвести обмен одного на многих. Вы хотите торговаться. А я вам говорю в который раз: бесполезно. И пытаюсь объяснить, что на самом деле вы нас боитесь. И правильно боитесь. Героя сделать из вас все равно придется, а способы могут быть разными.

— Да я, в общем-то, и есть герой, вы не заметили? Вы давите на меня, а я не поддаюсь! Почему, спрашивается? — Максим Т. Ермаков слегка прилег, облокотившись о подушку, хотя дорогое, тонкого хлопка, постельное белье казалось ему сквозь костюм и пот отвратительно шерстяным. — В своем лице я защищаю права человеческого индивида от государственной машины. И с позиций этих прав не играет роли, является индивид героем, гением или обыкновенным обывателем. Вы вот, может, трижды Герой России, но мне оно фиолетово. Свобода индивида в том, что он сам себе высшая ценность. Просто по факту своего существования. Если кому-то что-то надо от него, с ним заключают контракт. А вы контракта не хотите, заинтересовать меня не можете. Запугиваете. Я вот думаю: не собрать ли мне знакомых журналюг? Устрою пресс-конференцию, расскажу, как нарушаются свободы россиян всякими мутными государственными комитетами.

— А это тема. Вы, Максим Терентьевич, прямо-таки правозащитник. Может, вы и в политику на этой волне попытаетесь прыгнуть? — издевательски поинтересовался Зародыш.

— Нет, в политику не хочу. Там надо морду показывать и врать. Мне это лень. Я бы лучше в имиджмейкеры пошел. Что политик, что шоколад — технологии те же самые, — проговорил Максим Т. Ермаков, а про себя подумал: «Вот бы мне кандидата в президенты. Пусть не самого главного и не его генерального оппонента: не мои куски, подавлюсь. А вот такого бы сибирского мужика, рубленного топором. Чтобы за народ рубаху рвал и набрал на выборах полтора процента. И чтобы его цветные металлы финансировали. И мне — в эксклюзив!»

— Шоколад ваш, кстати, редкостная дрянь, — заметил Зародыш. — Детям давать нельзя. Только блондинкам бальзаковского возраста, чтобы побыстрей сходили с дистанции.

— А то у нас политики сплошные Георгии Победоносцы, — парировал Максим Т. Ермаков. — Вы посмотрите на них отдельно от имиджей. Глаз-то настройте! Либо завхоз, весь из мяса, либо пригожий мальчик в папином галстуке, либо генерал со схемой трех своих извилин на лбу. В любом сериале намного лучше лица. Политиков будто нарочно подбирают, чтобы повысить политтехнологам трудность творческой задачи. А я таких трудностей не боюсь! Даже люблю. Ви-

дели мой последний креатив, где модель купается в таком текучем, тяжелом шоколаде, вроде как в бассейне? Сразу облизать хочется. А будь шоколад сам по себе хорош, так и работать неинтересно.

Тут в недрах одного из геометрических мужчин, где-то в животе, громко забренчало, точно он был железный, советского производства, будильник. Распахнувшись и обнаружив под пиджаком множество технических устройств, включая странного вида оружие, напоминающее фен, геометрический отцепил небольшую овальную пластину и четким жестом протянул начальству. Зародыш выщелкнул из пластины тонкий виляющий жгут, и у Максима Т. Ермакова закупорило уши, отчего в голове сделалось темнее, чем в комнате. Зародыш что-то говорил в свой специальный гэбэшный мобильник, шурша целлофановым ртом; вокруг раздувались, пенились, теснили сознание какие-то незримые объемы, лампочки в люстре опухли, незваные гости двигались с отвратительным клейким шорохом, будто жуки в спичечном коробке. Потом внезапно вернулись звуки, все на какой-то шершавой подкладке.

— Неприятные ощущения скоро пройдут, — сообщил Зародыш, говоривший, вероятно, в полный голос, но слышный так, будто он говорил шепотом. — Собственно, нам пора. Хочу сказать напоследок кое-что о свободе. Кажется, что у человека много свобод: развивайся хоть во все стороны. Но подлинная свобода одна: поступать правильно. Всякий человек, к сожалению, слеп. Он имеет мнение обо всем, потому что испытывает такую потребность. Но есть очень мало вопросов, по которым человек может составить суждение на основании личного опыта. Все самое главное, для его жизни важнейшее, ему сообщают посредством телевизора. Слепой может передвигаться, только зная расположение предметов в своем жилье и примерно представляя, что и как устроено на улице. Мир, может быть, совсем не таков, каким мнится слепцу. Но если слепой поступает правильно, он ни обо что не убьется. И никогда не почувствует нашего присутствия.

С этими словами Зародыш встал из кресла, в своем дурацком тренировочном костюме, под которым угадывались не то выпуклости скрытой аппаратуры, не то безобразно выпирающие кости. Один геометрический поспешил в прихожую и заговорил с кем-то на лестничной площадке: судя по голосам, подъезд был полон социальными прогнозистами, от дверей до верхнего этажа.

— Удивили вы меня, Максим Терентьевич, — поговорил Зародыш, глядя сверху вниз на оглушенного Максима Т. Ермакова, все не имеющего сил отлепиться от подушки, набитой как будто тем же веществом, что и его погасшая голова. — Я думал, вы приедете от «Европы» в шоке, психотерапевта вам привез… — Он указал на одного из свиты, такого же точно, как все остальные. — Ну, хорошо. Вы, стало быть, до сих пор не прониклись. Уезжаю от вас, Максим Терентьевич, с тяжелым сердцем. Мы, как вы правильно поняли, беспредельничать не можем. Зато гражданские лица, не связанные с нашим комитетом, — могут. Имейте это в виду.

Один за другим незваные гости исчезли из поля зрения Максима Т. Ермакова, точно растворились в спертом воздухе квартиры. Напоследок в замочной скважине трижды, с обстоятельным оттягом, повернулся ключ. Неверной рукой Максим Т. Ермаков дотянулся до телевизионного пульта. Экран раскрылся на пугающей картинке: пожар, точно огромная медуза, колыхался в ночном, тускло подсвеченном небе, мелькали, озаряясь розовым, маленькие вертолеты, столб черноты, перекрученный туго, свитый из жирного дыма, уходил в облака. «…Как сообщили источники в Управлении государственной противопожарной службы Красноярска, площадь возгорания превысила четыре тысячи квадратных метров…» — частил за кадром тревожный, хорошо поставленный женский голосок. Максим Т. Ермаков перевернулся на спину и захохотал.

Значит, у них были ключи. Первым желанием Максима Т. Ермакова было как можно быстрее поменять замок. Дверь квартиры, обтянутая черным дерматином, каким обклеивают ветхие книги в районных библиотеках, содержала три замка — один действующий и два мертвых, окаменевших, будто трилобиты, в плите видавшего виды дверного железа. Прикинув, сколько встанет заменить окаменелости на что-нибудь надежное, вроде DORI или RIFF, Максим Т. Ермаков слегка огорчился, но все-таки нашел в Интернете приемлемое предложение и вызвал мастеров, обещавших в течение недели выполнить заказ. Он прекрасно понимал, что социальные прогнозисты, если захотят, все равно войдут, но принципиально не желал оставаться перед ними с пригласительно беззащитной дверью. Те двое, что всегда сидят на подоконнике в подъезде, поедая пухлые сэндвичи, — пусть они видят, что объект создает для них посильные трудности, с которыми все-таки придется повозиться.

Оставалась проблема квартирной хозяйки, которой Максим Т. Ермаков не хотел давать ключей. Звали хозяйку Наталья Владимировна — «просто Наташа», как она просила к себе обращаться, хотя лет ей было под пятьдесят. Крупная, говорливая, всегда в розовом пиджаке, в крашеных блондинистых кудряшках, которые из-за проросшей седины казались намыленными, Просто Наташа подвизалась по разным слабосильным медиа в качестве не то обозревателя, не то сборщика рекламы. Несколько раз она подступала к Максиму Т. Ермакову с предложением направить часть его рекламного бюджета в представляемые ею вечерки, литературки и молодежные интернет-ресурсы — причем назначала себе такие скромные комиссионные, что деятельность ее выглядела бескорыстной, едва ли не подвижнической. Разумеется, с той товарной линейкой, какая была у Максима Т. Ермакова, польститься на подобные носители мог бы только сумасшедший. Отказ приводил квартирную хозяйку в сердитое уныние, она могла часами рассказывать про то, как ей нигде не платят. Знакомясь с человеком, Просто Наташа первым делом интересовалась, сколько он зарабатывает — с живейшим любопытством, с выпуклым блеском в больших водянистых глазах. Перед тем как сдать квартиру, Просто Наташа сделала дешевый белесый ремонт: поклеила обои в серебряный рубчик, положила простенький, чрезвычайно скользкий кафель, повесила ацетатные занавески, сквозь которые солнце по утрам просвечивало стеклом. Спустя четыре года все это в сознании Просто Наташи оставалось новым, и, приходя за квартирной платой, она озабоченно выискивала пятнышки, вытирая их скрипящим по поверхностям указательным пальцем. Узнав, что Максим Т. Ермаков собрался покупать жилье, она простодушно назначила за свою однушку цену вдвое выше рыночной, отчего-то полагая, что если человек уже поселился, то нечего ему переезжать.

Если Просто Наташа увидит новые замки и не получит ключей, она решит, что ей разбили унитаз. Об этом думал Максим Т. Ермаков, поднимаясь в лифте к себе на седьмой, раздраженный занудным совещанием у Хлама, кривыми, точно всем им насильно вытерли рты, мордами коллег и перламутровыми когтями непосредственной начальницы Ирины Константиновны, в просторечии Ики, которыми она битых два часа брякала по столешнице. Увидев дверь своей квартиры, Максим Т. Ермаков отшатнулся. «СДОХНИ СУКА!!!!» — было намалевано по черному дерматину белой масляной краской. Свежая краска одуряюще воняла, сползала тонкими потеками, словно жирные буквы пускали корешки. Максим Т. Ермаков взял на палец мягкую капельку, размазал и разъярился.

На подоконнике, как обычно, посиживали двое мужчин с профессионально условными лицами, обкатанными, будто галька морем, уличной толпой. Они как раз собрались поужинать: один разливал из глухого вспотевшего термоса крепкий чаек, другой разинул рот на булку, похожую на хлебную рукавицу, взявшую сосиску.

— Кто это сделал?! Кто?! — проорал Максим Т. Ермаков, сбегая к ним по лестнице, с бельмом на пальце. — Вы тут сидите, каким, блин, местом смотрите?

Социальные прогнозисты переглянулись, одинаково пожав плечами. Потом уставились на Максима Т. Ермакова двумя парами ясных, как стеклышки, глаз, ничего, кроме удивления, не выражавших.

— Дверь мне изгадили, вам было лень шугануть?! — продолжал орать Максим Т. Ермаков, приходя в еще большую ярость от вида обстоятельного натюрморта, с кусками крупных помидоров и розовой, как купидон, вареной курой, красовавшейся на бумажной тарелке.

— Мы, гражданин Ермаков, не работаем у вас сторожами и охранниками, — холодно ответил тот, что с булкой.

— И отчеты предоставляем также не вам, — добавил второй.

— Ну, вы и падлы! Приятного аппетита! — выкрикнул Максим Т. Ермаков, на что социальные прогнозисты спокойно кивнули.

Осторожно, держа оскверненную дверь двумя пальцами за ручку, будто огромную муху за крыло, Максим Т. Ермаков скользнул в прихожую. Как он ни берегся, на пальто от Hugo Boss в двух местах обнаружилось белое, точно кто лизнул против ворса дорогой кашемир. Глянув на часы, Максим Т. Ермаков сообразил, что вот-вот заявится слесарь с новыми замками. Было невозможно принимать кого бы то ни было с липким свеженьким слоганом на дверях, вызывавшим у Максима Т. Ермакова какой-то детский стыд. Он поспешно позвонил на фирму и, матерясь через слово на тягучий хамоватый голосок девицы-оператора, взявшейся учить его деловой этике, отменил заказ. Он хотел одного: смыть пот этого дня, а потом заняться чисткой пальто. И только он успел наполнить хозяйскую гулкую ванну, в которой напряженная струя воды будила как бы отзвуки железной дороги — как в прихожей бешено, взахлеб, заверещал звонок. Чертыхнувшись, в тесном плюшевом халате на влажное тело Максим Т. Ермаков пошлепал открывать. Пока он торопился, возясь с поясом халата и теряя тапки, звонок, как миксер, вбил содержимое его головы в мутную пену. Предвкушая, что он сейчас сделает со слесарем, который все-таки приперся, чтобы заработать свои полторы копейки на чужих проблемах, Максим Т. Ермаков распахнул дверь, не заглянув в глазок.

На пороге стояла Просто Наташа. Ее водянистые глаза таращились, брови лезли на лоб и чуть не втыкались в прическу, будто спицы в шерсть. Она протягивала Максиму Т. Ермакову белый указательный с пробой безобразия, которому не верила визуально. Слоган на черном дерматине был размазан в нескольких местах, звонок, тоже испачканный белым, напоминал большую раздавленную моль.

— Это что? Это что такое?! — голос Просто Наташи срывался. — Что вы мне тут такое устроили?! Кто это сука, я сука?!

— Да с чего вы взяли? Я, что ли, это намалевал? — возмутился Максим Т. Ермаков. — Это мне намалевали! Отморозки здешние!

— Почему вы в таком виде?! — зашипела квартирная хозяйка, наступая на Максима Т. Ермакова и целясь в него жеваным углом своей раздутой грязно-розовой сумки.

Ну, мама! Максим Т. Ермаков увидел себя со стороны. Старый халат плохо сходился на выросшем животе, истерзанном до алой полосы тесным брючным ремнем, — и черт знает что еще могло мелькнуть перед злобной бабой, наглухо задраенной в грубый кожаный плащ, похожий на картон и отороченный кошкой.

— Я вас что, ждал сегодня? Сейчас оденусь, — проворчал Максим Т. Ермаков, стягивая полы халата и по-женски тесно семеня в спальню.

— Не ждали? Вот это мило! Второе число сегодня! — неслось ему вслед. — За квартиру не надо платить? Я-то ладно, проживу на хлебе и воде. А маму мою больную кто содержать будет? Вы в маминой квартире живете, между прочим!

Точно, второе февраля. За своими деньгами Просто Наташа приходила с неотвратимостью Каменного гостя. Тот факт, что Максим Т. Ермаков занимал «мамину» жилплощадь и тем вытеснял из жизни заслуженную учительницу, от которой в квартире остался тяжкий, с пятнами доисторических чернил и могильным запахом из ящиков, письменный стол, — как бы накладывало на Максима Т. Ермакова дополнительные моральные обязательства. Просто Наташа пыталась конвертировать эти обязательства в дополнительную плату. Бормоча ругательства, Максим Т. Ермаков натянул пропотевшую, с воротником как холодная резина, офисную рубашку, кое-как застегнул измятые брюки и отсчитал положенные тридцать тысяч. Шаркая на кухню, он услышал, как из ванны зычными глотками, точно опорожняется целая пещера, уходит вода.

— Надо воду сливать, чтобы не было протечки, и плиту надо чистить специальным средством для керамики, а не засирать, — нервно сообщила Просто Наташа, созерцая под разными углами зеркальную поверхность плиты Indesit, на которой, словно лунное затмение на черном небе, еле угадывался след от кастрюли.

Квартплату Просто Наташа пересчитала трижды; от ее сырых помытых пальцев, на которых слезились, ослепнув, мокрые каменья, деньги размякли и вспухли. Неоттертый указательный Просто Наташа держала на отлете, он, как и у Максима Т. Ермакова, был словно покрыт белесой плесенью.

— Так, а за дверь? — скандальным голосом спросила она, закончив пересчет.

— Не я вашу дверь исхреначил. Кто это сделал, с того и спрашивайте!

— Я что, следствие буду проводить? Вы живете, вы и платите. С вас еще пятнадцать тысяч, если не желаете себе больших неприятностей.

— Да новая дверь столько не стоит! — опешил Максим Т. Ермаков.

— Откуда вам знать, что сколько стоит, не вы ремонт делали! — тотчас повысила голос Просто Наташа. — Я на последние рубли ламинат стелила, дверь обивала, покупала плиту! В долги влезла, в жизни никогда не было таких долгов. Мне с моими заработками этот ремонт встал, как другому бы в миллион.

— А как вы себе представляете, Наташа: вы квартиру сдали, в ней живут, а ремонт только новее становится? — как можно спокойнее спросил Максим Т. Ермаков, доставая сигарету.

— Не курите в квартире! — взвизгнула Просто Наташа и хлопнула Максима Т. Ермакова по руке. — Вон, все мужчины на лестнице курят!

Максим Т. Ермаков вздрогнул, сообразив, каких именно мужчин она имеет в виду.

— Ладно, пятнадцать не дам, дам семь, — злобно проворчал он и большими валкими шагами направился в спальню.

— Девять! — выкрикнула ему в спину Просто Наташа.

Снова распотрошив рублевую заначку, Максим Т. Ермаков подержал перед собой поредевшие деньги, чувствуя себя осенним кленом, с которого под ветром облетают листья. Отделил девять тысячных бумажек, потом, постояв с ними, вернул себе одну, словно сделал осторожный и маленький карточный ход. «Ну, зашибись, — подумал он, засовывая заначку обратно за обложку старого ежедневника. — Какая-то бзданутая баба снимает с меня бабки как нечего делать. А я с них не могу, с уродов этих. Почему так?»

Просто Наташа, недосчитавшись тысячи, связала рот узелком, но ничего не сказала, с покорным вздохом убрала деньги в сумку. Она уже наболтала себе из

запасов Максима Т. Ермакова поллитровую кружку растворимого кофе, в которой ложка клокала с деревянным звуком и плавали комья как бы коричневой краски; теперь оставалось только ждать, когда она все это выпьет.

Просто Наташа никуда не спешила. Недовольство ее заполняло крошечную кухню и заставляло моргать слабосильную лампу в мучнистом плафоне. Казалось, квартирная хозяйка подсасывает электричество для продолжения скандала и просто так не уйдет.

— Дверь отмоете как следует. Чтобы никакой суки мне на моих дверях не было. Бензинчиком! — проговорила она, наконец. — Есть у вас машина, вот бензинчиком и ототрете.

— Я же заплатил за ущерб, вам теперь и мыть, — парировал Максим Т. Ермаков и тут же пожалел, что не сдержался.

— Мне?! Да как вам не совестно! — Просто Наташа вся пошла пятнами того характерного ядовито-розового цвета, который был ей присущ от природы и по возможности воспроизводился в одежде. — Предлагать такое женщине старше вас по возрасту! Мне, значит, маму мою лежачую кормить с ложки, стирать за ней и еще дверь за вами мыть? Я вам серьезно говорю, я вас предупредила: если не желаете себе неприятностей, ведите себя как человек. У нас с вами договор составлен, там сведения, и мне отлично известно, где вы работаете. Я могу на вашу фирму жалобу написать. Посмотрим, как это понравится вашему начальству.

Максим Т. Ермаков знал, что не понравится очень. Отправить телегу «в фирму» было примерно то же самое, что в прежние времена нажаловаться в партком. Склочную бумажку могли отправить в урну, а могли изучить и усмотреть в бытовом поведении сотрудника попрание корпоративных ценностей и ущерб имиджу компании. Впрочем, Максим Т. Ермаков был теперь на особом положении. Он теперь расхаживал по офису, будто привидение по родовому замку, и коллеги, избегая смотреть ему в глаза, словно видели у него во лбу запекшуюся дырку от выстрела. Казалось, все они каким-то образом догадались, что голова Максима Т. Ермакова пребывает в ином, чем у нормальных граждан, агрегатном состоянии. Из-за этого Максим Т. Ермаков чувствовал себя флаконом, у которого не завинчена крышка: толкни — и все разольется. Его халтурный креатив ко всенародному празднику св. Валентина — шоколадное сердце, пронзенное стрелой, чем-то напоминающей рыбий скелет, — был принят на сегодняшнем совещании не глядя, никто не вылез с неприятными умными мыслями, все сделал вид, что никакого Максима Т. Ермакова не существует.

— Пишите кляузу, мне не жалко, — хладнокровно заявил Максим Т. Ермаков Просто Наташе, глядевшей на него пристально, положив на стол тяжелый локоть. — Охота вам время терять.

— Ну, вы и бессовестный! — возмутилась Просто Наташа. — Ладно, давайте разбираться. Я имею право знать, что происходит!

— А что?

— Как это что, как это что? — зачастила Просто Наташа, очень похожая в этот момент на большую взъерошенную курицу. — Милиция в подъезде вторую неделю дежурит! Мы с мамой всегда жили бедно, но прилично! А теперь соседи, которые меня с детства знают, звонят и говорят: мол, Наточка, твой жилец попал под милицейское наблюдение. У нас тут засада, того гляди стрелять начнут. Неизвестно что теперь с квартирой будет, ты уж приезжай и разберись!

— Им-то какое дело? И с чего они взяли, что это милиция? И почему решили, что наблюдают за мной? — раздраженно спросил Максим Т. Ермаков. — Может, это за алкашами с пятого этажа решили присмотреть. Я-то чего? Вот у них гулянка день и ночь, в режиме нон-стоп. Вася-хозяин вообще не просыхает, живет с того, что девиц пускает с клиентами. Притон настоящий, а туда же: приличные люди, приличный подъезд! Иногда такую рожу в лифте встретишь, что

потом ночами снится. А Вася красивее всех, с бородой своей горелой и в кепке с помойки. Тоже, небось, вырос у всех на глазах. Вы, может, с ним за одной партой сидели и на выпускном танцевали?

— Про Васю Шутова не смейте! — возмутилась Просто Наташа. — Он хороший был человек, маме моей дорогие лекарства покупал. Три года как пьет всего. Сначала в бога поверил, а потом спился. Вы для моей мамы пальцем о палец не ударили, так что молчите тут мне!

Максим Т. Ермаков скептически хмыкнул. Поверить в то, что Вася-алкоголик пьет всего три года, было крайне затруднительно. Если так, то Вася двигался по жизни очень высокими темпами и мог бы, пойди его судьба в другую сторону, за те же сроки построить, к примеру, завод. Вместо этого Вася разрушил себя и теперь представлял собой небольшое кривоногое страшилище с мордой, как фарш, и с бессмысленной готовностью в проспиртованных глазках — на подлость или на подвиг, как повернется бутылка. Из логова его ночами доносились глухие звуки пьяного веселья, нехорошая квартира тряслась, будто картонная коробка с битым стеклом. То и дело в логово заглядывал, проводя там немало времени, красноносый и блондинистый, как гусь, местный участковый. Тем не менее, алкоголик Вася был москвич, выросший здесь, в свинцовом, с диким ветром из-за каждого угла, спальном районе, — и уже поэтому он считался благонадежнее, чем какой-то приезжий, тихо снимающий крошечную квартиру за немалые деньги.

— Все-таки с чего вы все решили, что наружка по мою душу? — раздраженно спросил Максим Т. Ермаков.

— А с того! — торжествующе выпалила Просто Наташа. — Они с Марией Александровной из четыреста шестой договорились, ходят к ней в туалет. Культурные мужчины, на лестнице не льют. Они и удостоверения ей показывали, и деньги, между прочим, платят, столько же почти, как вы за съем. Мария Александровна для них отдельное мыло держит и полотенце. Приглашала их обедать у нее на кухне, чтобы не жеваться на подоконнике, чаю свежего предлагала. А они ей отвечают — нет, госпожа Калязина, нам нельзя, мы глаз не должны спускать с четыреста десятой квартиры. Она заволновалась, конечно, человек пожилой, спрашивает их: а почему, что произошло? Они ей: очень там жилец для нас интересный. Ну, и как вы это объясните? Еще во дворе все время какие-то типы толкутся! Вчера как раз, Мария Александровна вышла с собачкой гулять, а они стоят: человек двенадцать с плакатиками, а на плакатиках написано: «Сдохни сука!» Ведь не кому-нибудь, а вам на двери то же самое намалевали! А дверь, между прочим, моя!

Пока она говорила, усиленно работая крашеным ротиком, Максим Т. Ермаков ощущал, как во всем его составе растет непонятная жажда: точно часть элементов таблицы Менделеева, из которых состоит живая органика, оказалась из него высосана. Машинально он выдернул из пачки сигарету; на Просто Наташу, поднявшую сизые бровки под прямым углом, он так посмотрел поверх вертикального огня зажигалки, что квартирная хозяйка закашлялась в кружку. Первые затяжки наполнили тело приятной истомой, заклубились в голове, и в этих клубах, призрачно повторявших конфигурацию мозга, стала оформляться некая привлекательная мысль.

— Вы, значит, денег хотите? — спросил Максим Т. Ермаков, протягивая Просто Наташе, у которой с большого фланелевого подбородка стекала кофейная капля, бумажную салфетку.

— Мне в магазинах все бесплатно продают? — огрызнулась та.

— Очень хорошо. Я вам предлагаю крутейший эксклюзив, — веско произнес Максим Т. Ермаков. — Я даю вам историю, на которой журналист делает имя раз и навсегда. Международное! Соответственно, и деньги подойдут. Так вот, тема: права человека и новый виток беспредела КГБ. Потому что не мили-

ционеры у нас в подъезде дежурят! Это спецслужбы. Государственный, блин, комитет по доведению граждан до самоубийства!

У Просто Наташи сумка с деньгами тихо сползла с ослабевших колен. Она слушала, дыша раскрытым ртом, точно схватила горячее и никак не может проглотить. Максим Т. Ермаков старался как можно завлекательнее обрисовать специальных комитетчиков, обвешанных аппаратурой, их бредовые идеи насчет причинно-следственных связей и попрание ими гражданских свобод. Просто Наташа была, конечно, не самым удачным медиаагентом, и тратить тему на нее было немного жалко. Но если положить руку на сердце — хищные журналюги, которыми Максим Т. Ермаков попытался припугнуть государственных уродов, существовали более в его воображении, нежели в действительности. Он, конечно, был знаком с некоторым количеством людей из рекламных отделов влиятельных медиа. В основном это были успешные женщины, молодые, но уже неопределенного возраста, слишком туго обтянутые кожей и одеждой, так что казалось, будто кто-то сзади держит их за складки в кулаке. Этим были безразличны любые человеческие истории; всякое явление мира представлялось им рекламой самого себя, их же работой было проследить, чтобы в параллельную медиа-реальность ничто из рекламо-объектов не попадало бесплатно. Метафизические наследницы советских цензоров, они выпалывали реальность до каких-то ощутимых проплешин, от которых даже Максиму Т. Ермакову делалось не по себе.

Прочие знакомцы из медиа-среды заводились у Максима Т. Ермакова на презентациях его молочно-глинистого продукта и на аутингах, устраиваемых фирмой для представителей прессы. Был некий Дима Рождественский, всегда полупьяный, всегда в темной сорочке и светлом шелковом галстуке, похожем на свежеочищенную рыбину, с чем-то рыбным в оттенке свежевыбритых щек; был другой Дима, по фамилии, кажется, Кавков, всегда пьяный на три четверти, носивший грубые, будто слоновья шкура, джинсовые штаны и такие же многокарманные жилетки, полускрытые рыжей бородищей. Были и девицы, мордастенькие, худенькие, разные — их имена навсегда перепутались в сознании Максима Т. Ермакова, потому что он, вот убей, не помнил, которую из них трахнул на базе отдыха «Щукино», вдали от корпоративных шашлыков, при тусклом трепете грозы, словно одевавшей влажные тела в электрическую шерсть.

Все это была полубезработная журналистская мелочь, завсегдатаи фуршетов, ни одного политического волка, способного раскрутить историю и устроить социальным прогнозистам все то, чего они заслуживают. Правда, существовал один человек, умный мерзавец Ваня Голиков, который года три назад вел на канале «ННТ-TV» злобную программу «Разговорчики», и его костистую физиономию, украшенную парой развесистых бровей и одним выдающимся носом, напоминавшим первобытный каменный топор, знала страна. Но потом, в результате каких-то трений и чада с политическими искрами, Ваню поперли с канала. С тех пор Ваня сделался игралищем ветров, носивших его по Европе, откуда он приезжал пополневший и все более похожий на мирную крысу. Максим Т. Ермаков пересекался с ним случайно, в клубах средней руки, с горячими от задниц диванами и отечными от порошков туалетными зеркалами. Несмотря на природную скупость, не позволявшую Максиму Т. Ермакову стать полноценным клаббером города Москвы, у них с тусовщиком Голиковым образовались отношения взаимного кредита — легкие, по мелочи, с моментальным забвением сумм, так что скоро стало непонятно, кто кому в итоге должен. Эта неожиданная финансовая совместимость привела к совместимости духовной: беседы, которые они вели, не реагируя на привалившихся справа и слева расслабленных девиц, касались всего мироустройства и конкретно — технологий успеха. Соб-

ственно, Голиков сам просил ему подбросить «тему, темку, ситуевину», из которой он мог бы, приспособив к ней запал и шнур, соорудить бомбу. Но где теперь искать дискретного Голикова — было неизвестно. По последним сведениям, он работал в Праге на каком-то радио — а может, не на радио и вовсе даже не в Праге. Электронный адрес Голикова реагировал письмами-автоматами, мобильный номер траурным женским голосом объявлял себя несуществующим.

Для Просто Наташи история Максима Т. Ермакова была отличным шансом, которого она, по большому счету, не заслуживала. Но, кажется, радости от подарка она не испытывала. По мере того как развивался рассказ, жаркие розовые угли на ее осевшем лице превращались в пепел.

— Значит, вы хотите меня использовать в своих неблаговидных целях, — заявила Просто Наташа, напыжившись на табурете. — Я всегда стараюсь для людей, и для вас старалась, ходила к главному, пробивала вашу рекламную кампанию. Вы тогда не воспользовались. У меня тоже есть карьера и репутация. Снова по вашим делам я бегать не собираюсь. Тем более позиция у вас сомнительная. Если от вас зависит предотвратить теракты, а вы не хотите — как отнесутся к публикации родственники жертв? Я, например, вам совершенно не сочувствую. Если завтра я сяду в метро, а туда подложат взрывчатку? Приятно мне будет?

— Вы что, совсем того? Сбрендили? — Максим Т. Ермаков крутанул согнутым пальцем у виска, отчего в голове образовался маленький вихрь. — Как такое может быть, чтобы от человека, мирно сидящего дома, зависели какие-то взрывы?

— Всякое бывает, — важно произнесла Просто Наташа. — Это при советской власти нам внушали, что нет ничего, кроме руководящей роли партии. Сейчас вон сколько появилось целителей, людей с магическими способностями. Раньше от народа скрывали! А в Кремле экстрасенсы служили, Брежнева на ногах держали, когда он был уже мертвец. А вы говорите! Я только потому еще жива, что со своим подсознанием работаю, а на врачей у меня никаких доходов не хватает.

— Так я и говорю о доходах! — воскликнул Максим Т. Ермаков, пытаясь посильнее надавить на безотказную педаль. — Еще раз повторяю: мой сюжет политический. Горячий пирожок! Слушайте внимательно ключевые слова: права человека, свобода, кагэбэ. Понимаете, какими гонорарами пахнет?

Вдруг Просто Наташа часто замигала и стукнула кольцами по столу, отчего из пепельницы, наполненной Максимом Т. Ермаковым до самых краев, поднялось и осело на пластик серое облачко пудры.

— Прекратите вмешивать меня в эту вашу грязь! Слышать больше не хочу! Я про театр пишу, про культуру, если вы в состоянии это осмыслить! Меня народные артисты знают, руку целуют. Я всю жизнь на это работала, а вы теперь подстраиваете, чтобы меня отовсюду выгнали, да, так? — Просто Наташа тряслась от негодования, поспешно нашаривая под ногами вялую тушу розовой сумки. — Вот что я вам скажу, молодой человек. Я хотела всего лишь повысить вам квартплату за неудобства и риски. Теперь понимаю: вас оставлять нельзя. Чтобы за неделю вы освободили мамину квартиру, ясно?

С этими словами Просто Наташа бурно ринулась в прихожую, где стала напяливать свой ужасный кожано-картонный плащ, придерживая несколькими подбородками накрест сложенный шарфик.

— Не забыли, у нас договор! Вы его внимательно читали? Выселять не имеете права, я ни одного пункта не нарушил! — крикнул ей вслед Максим Т. Ермаков.

— Насрать на договор! Попробуйте хоть на день задержаться! Выброшу ваши пидорские костюмчики из окна! — отвечала Просто Наташа, хватая сумку в охапку и выскакивая на лестницу.

«Ну, блин, старая проститутка! Проблема, нах, на ровном месте!» — думал Максим Т. Ермаков, ковыляя ей вслед, чтобы запереть осквернённую дверь.

Вместо этого он распахнул дверь на полную ширину и заорал на весь сырой и тусклый лестничный колодец:

— Не съеду! Козлины! Трубу вам метровую в жопу и в рот!

Он успел увидеть, как Просто Наташа погрозила ему из лифта белым кулаком с чернильным перстнем, и лифт, потряхиваясь, как возок, поволок свой груз на первый этаж. На фоне дождливого окна, будто на серебряной фольге, темнели два мужских остроносых силуэта, и Максим Т. Ермаков запустил в их сторону беззвучно канувшим тапком.

Где же все это время был пистолет?

Подержанный ПММ оставался там, куда его засунул Максим Т. Ермаков сразу после первой встречи с социальными прогнозистами. Он валялся в среднем ящике офисного стола, среди мелкой дребедени вроде глючных дисков, иссякших зажигалок и пересохших маркеров; он елозил там и крушил своей оружейной тяжестью хрупкую пластмассу. Первое время Максим Т. Ермаков надеялся, что ПММ исчезнет сам собой; он думал, что если вещь, которую обычно прячут, оставить в доступном месте, то ее по определению украдут. Не тут-то было. Похоже, даже уборщица обходила рабочее место Максима Т. Ермакова подальше: стол зарастал пылью, однажды пролитый кофе превращался в покрытое шерстью родимое пятно. Теперь зона обитания Максима Т. Ермакова выглядела в офисе будто тусклый остров, где самого обитателя можно обнаружить по свежим, как бы медвежьим следам.

Наконец, однажды Максим Т. Ермаков взял увесистый ПММ в руку и задумался. Поскольку оружие предназначалось для одного-единственного действия — краткой механической конвульсии между пальцем и виском, вроде гипертрофированного жеста, каким показывают, что у человека не все дома, — то социальные прогнозисты не позаботились снабдить Объект Альфа причиндалами для ношения пистолета: кобурой, постромками, что у них там еще есть на этот случай. Будучи помещенным в пиджак (а Максим Т. Ермаков любил пиджаки из тонкой шерсти на шелковой подкладке), ПММ безобразно оттягивал карман. Поэтому Максим Т. Ермаков не придумал ничего лучшего, чем спрятать ПММ в портфель.

Всей своей раздражительной кожей он улавливал мятное дуновение опасности. Очень может быть, что причинно-следственные связи, для которых персона Максима Т. Ермакова служила болезненным узлом, ставили ему ловушки, так сказать, на общих основаниях. Обледенелые ступени подъезда, скользнувшие из-под подошвы и заставившие сесть как будто на вертикальную молнию, объяснялись вчерашними осадками да ночным морозцем, превратившим дорожное полотно в стиральную доску. По этим предательским горбам все ползли осторожно, Максим Т. Ермаков на своей «Тойоте» осторожней всех. Все-таки за два светофора до офиса его поволокло под уклон, будто пацана на фанерке, и Максим Т. Ермаков, чувствуя всей отбитой, словно замороженной, задницей ускользающую твердь, вкусно поцеловал столб.

Все это было, блин, херово, но не выбивалось из общего порядка. Когда же на следующий день, оставив расквашенную «Тойоту» в дружественном сервисе, Максим Т. Ермаков шел себе по улице, то предметом, просвистевшим и лопнувшим на месте его уже занесенного, без одной секунды сделанного шага, была не сосулька, а толстая шампанская бутылка. Максим Т. Ермаков застыл с дрожью в животе перед разверзшейся прямо под ногами черной звездой. Он не обратил внимания на подбежавших, тоже пеших, опекунов, зачем-то пощупавших ему зыбкий, как болотная кочка, затылок и задравших головы наверх, откуда прилетела и буквально на сантиметры промазала стеклянная смерть. Сбросив наконец кагэбэшные длинные руки, Максим Т. Ермаков, будто животное, у которого

от природы не заламывается шея, все-таки извернулся и сощурился туда, где с балкона «сталинки», напоминавшего театральную ложу, свешивались маленькие темные лица и слышался свист.

Ну, предположим, некая компания что-то там безбашенно праздновала и спустила с балкона пузырь на кого бог пошлет. Но как объяснить ситуацию с квартирной дверью? «Сдохни-суку» Максим Т. Ермаков честно отмыл. Но на другой же вечер, выйдя из лифта, он увидел свежий размашистый текст, гласивший: «ЗАСТРЕЛИСЬ КОЗЕЛ!!!!» Кроме того, вся стена вокруг двери и ниже, по скосу лестницы, была испохаблена из красящих распылителей, матерные слова клубились, как синий и красный туман, да копотью на видном месте был изображен тугой, будто связка из трех воздушных шариков, полуметровый член. Двое служак дисциплинированно сидели на подоконнике, между ними на этот раз была не пища, а кропотливо расставленные шахматы, над которыми они витали, щупая фигуры. Максим Т. Ермаков постоял, подумал, вернулся в кабину лифта, по которой с вольным грохотом каталась бутылка из-под пива, и спустился на первый этаж. Во дворе он чинно поздоровался с Марией Александровной, интеллигентной каргой в прогнившей беретке, тащившей на поводке свою похожую на диванный валик жирную таксу. Краем глаза засек и проигнорировал группу курящих граждан, при виде Максима Т. Ермакова поспешно развернувших, отбегая друг от друга, длинный транспарант, ломкий на ветру. «Ладно, знаем, таких демонстрантов пучок на пятачок, одни и те же ходят за одни и те же деньги хоть к несогласным, хоть к спасающим Россию, хоть на ток-шоу «Глас народа», — злобно думал Максим Т. Ермаков, спускаясь в подвальный минимаркет. Там он поприветствовал желтоволосую кассиршу, ответившую золотозубой ласковой улыбкой, и сделал скромную покупку. Уже через десять минут он снова стоял на своем этаже, держа на каждой руке, словно по сидящему толстому младенцу, по трехкилограммовому пакету муки пшеничной. «И что же все вас так боятся, господа кагэбэшники?» — сказал он себе, спускаясь к двоим, поднявшим на него безразличные глаза от шахматной доски, на которых черные и белые уперлись друг в друга со страшной и бессмысленной силой, будто костяшки двух кулаков. Поскольку мешки были открыты заранее, мука из них свободно потекла на потертые макушки социальных прогнозистов. Оба совершенно неподвижно приняли на себя по три кило прилипающего рыхлого продукта, только моргали одинаковыми белыми ресницами, медленно превращаясь в два чудовищных опенка.

— А теперь ступайте к госпоже Калязиной мыться, — назидательно проговорил Максим Т. Ермаков, когда пакеты испустили последний белый вздох и иссякли. — Впрочем, Мария Александровна, кажется, еще выгуливает собачку. Придется потерпеть, дорогие товарищи. Может, вспомните пока, кто тут в подъезде хулиганит. Или это вы сами изволили поработать? Тогда помойте, пожалуйста, дверь, я вчера мыл, мне лениво.

Вдруг набеленная рука, словно пясть скелета, цапнула Максима Т. Ермакова повыше хрустнувших часов, и стало так больно, что бумажный пакет мутным облаком выплыл из обездвиженных пальцев. Близкие красные глаза смотрели из морщинистого теста с таким выражением, будто больно было не Максиму Т. Ермакову, а самому социальному прогнозисту.

— Послушай, человек, у тебя совесть есть? — хрипло спросил государственный урод голосом обыкновенного простуженного мужика.

— Иди в жопу! — энергично и браво отозвался Максим Т. Ермаков, несмотря на то, что боль поднималась от захвата упругими кольцами и расцветала в голове.

— А есть у тебя честь, достоинство? Сердце у тебя есть? Знаешь, что переживают люди под завалом? А заложники? Одного себя жалко? — продолжал занудно агитировать государственный урод.

— Пошел на хер! — все так же бодро и убежденно ответил Максим Т. Ермаков, уже ничего не ощущая ниже плеча.

На это социальный прогнозист скривился и отпихнул Максима Т. Ермакова, слегка осыпавшись от толчка на подоконник и припудренные шахматы. Похохатывая и шипя, Максим Т. Ермаков поднялся на лестничный пролет и принялся одноруко возиться с ключами, норовившими выскользнуть; левая рука болталась и мешала, будто надувная. Примерно через час, кое-как повесив одежду, валившуюся с плечиков, и завязав при помощи зубов новый просторный халат, Максим Т. Ермаков не отказал себе в удовольствии глянуть, как там пекутся в тесте дежурные кагебешники. Социальных прогнозистов не было на подоконнике; старуха Калязина громадным рыжим веником, терявшим будылья, заметала мучные разводы с кафельной плитки. «Господи, господи, что делается, ты только глянь, с ума все попрыгали, господи, жить-то как…» — бормотала она, тряся серьгами и подбородками; серый комочек волос у нее на макушке походил на катышек пыли. При виде старухи Максим Т. Ермаков физически почувствовал у себя в груди, сразу за ребрами, плотную преграду, о которую разбивалась вдребезги эта взывающая к жалости картина. «Сердце им мое понадобилось. Обломайтесь, падлы», — злобно подумал он, шарахнув дверью по косяку.

Видимо, привечавшая кагэбэшников карга все-таки дозвонилась до Просто Наташи. Дня, назначенного квартирной хозяйкой для выброса костюмов в окно, Максим Т. Ермаков ожидал с некоторым трепетом. Ничего, однако, не случилось, и Максим Т. Ермаков успокоился, с усмешкой вспоминая грозивший из лифта пухлый кулак. Но успокоился он совершенно зря — и напрасно пришел в хорошее расположение духа, получив наконец из сервиса «Тойоту», выправленную и подкрашенную, но сохранившую на морде удивленное выражение, словно она никак не могла забыть тот, в шелухе заледеневших объявлений, шестигранный столб. Подруливая к подъезду, нацеливаясь ловко скользнуть на пятачок между симпатичной «Хондой» и похожим на конский череп остовом «Москвича», Максим Т. Ермаков увидел беду. Сизое голое дерево, бывшее в летнее время года плохоньким кленом, теперь напоминало нечто зонтикообразное из африканской саванны. Лоскутья, образовавшие плоскую крону, были странно антропоморфны, и Максим Т. Ермаков сразу догадался, что там висит. Он узнал свои вещи с тем странным чувством, с каким узнаешь себя в случайном уличном зеркале. Тот, твидовый, цвета горчицы, пиджак он покупал на сейле в Harrods, а графитовый, в тончайшую светлую полоску, костюм — из Парижа, из Galleries Lafayette. Теперь все это болталось, пропитывалось моросью, расплывалось бесформенными кляксами.

Отсыревшие зеваки, среди которых преобладали политические наймиты социальных прогнозистов, стояли хороводом, будто дети возле новогодней елки. Держа руки в карманах, Максим Т. Ермаков подошел поближе. Какой-то тип, приличный по виду дядька, налитый здоровьем по самую кожаную кепку, осторожно тряс коматозный неподатливый стволик; другой, в свалявшейся вязаной шапке поверх нечистых хлопьев седины, щупал вздутыми лапами перепачканные и совершенно беспомощные светлые брюки. Тут же топтался, задирая горелую бороденку, алкоголик Шутов с пятого этажа, с ним — две его девицы предельно легкого поведения: одна долговязая и длинноносая, похожая в короткой шубе из намокшей чернобурки на больного страуса, другая маленькая, испуганно смотревшая на Максима Т. Ермакова глазами-кляксами, сжимая на груди ручонки, напоминавшие белыми косточками школьные мелки. На слякотном газоне, на серой икре исчезающего снега, тут и там светло поблескивали вытрясенные из костюмов мелкие монетки, белела раздавленная пачка сигарет.

Даже если все отдать в чистку, носить будет невозможно. Максим Т. Ермаков, ворча под нос, побрел к лифту. Наверху, в квартире, было по-уличному све-

жо: вероятно, Просто Наташа совсем недавно завершила свой яростный подвиг. Пустой распахнутый шкаф являл фанерный задник и криво сбившиеся вешалки, внутри него при зажженной люстре было так светло, что резало глаза. На дверце, на специально приделанной жильцом держалке, сдержанной шелковой радугой сияли нетронутые галстуки — тщательно подобранные к тому, что было теперь уничтожено. На ужасном «мамином» столе, на самом виду, валялся грубо раскрытый, треснутый до жил переплета, старый ежедневник; деньги, выпотрошенные из-за обложки, с демонстративным лицемерием помещались рядом, прижатые мраморным, похожим на кусок сероватого мыла, письменным прибором. Тут же лежал косо выдранный из ежедневника лист, измаранный червячками мелконьких слов, которые Максим Т. Ермаков, сощурясь, еле смог разобрать. Записка гласила: «Я вас предупреждала, а вы подумали я просто так говорю. Все соседи против вас настроены (неразборчиво) очень серьезно. У нас тут живут хорошие люди, ветераны войны и труда никто не хочет жить с вами рядом. Убирайтесь!!!! Я взяла из ваших (зачеркнуто) денег 7 тыс. руб. долг за дверь».

Так Максим Т. Ермаков остался в чем был, в чем приехал домой. Не то чтобы он был так привязан к тряпкам… Нет, долбаные суки! Был, был привязан, любил и холил, нравился себе во всем этом комфортабельном, слегка консервативном, обожал легчайший, обволакивающий жарок кашемира, сырую грубоватость льна, ценил небанальные оттенки, вылизанные технологии и то, что называется линией — видное с полувзгляда настоящее качество для настоящих людей. Теперь у Максима Т. Ермакова было ощущение, будто его самого, а не только его одежду, вышвырнули с седьмого этажа в холод и грязь. Его бесило, что клочковатые пальтишки социальных прогнозистов, испорченные мукой, вместе не стоили подкладки твидового красавца, чья изначальная цена в Harrods была шестьсот пятьдесят фунтов.

Наутро голый клен, принявший на себя гуманитарную помощь местным бомжам, был переломан и пуст, половина ветвей, замусоривая остатки дерева, висела на мерзлых лентах коры, и вместе все это напоминало рваную паутину с попавшими в нее многоногими насекомыми. Чувствуя себя в единственном оставшемся костюме (родной, хоть и позапрошлогодний Gianfranco Ferre) так, будто спал не раздеваясь, Максим Т. Ермаков вместо ланча, забив на встречу с безмозглыми нытиками из продакшен-студии, мотанулся на интенсивный шопинг. Впервые его раздражали армейские выправки висевших строем пустых пиджаков, играющие глазки неповоротливых девиц, пошедших в мужские отделы только для того, чтобы в самый неподходящий момент соваться с предложением целой охапки кое-как надерганных шмоток в примерочные кабинки. Извиваясь в скотской тесноте этих одиночных камер, криво зашторенных ненадежными тряпками, Максим Т. Ермаков обливался ужасом при мысли, что в соседней примерочной, прямо с изнанки зеркала, отражавшего разные стадии его полуодетости, кто-то прямо сейчас налаживает бомбу. Купленный в результате костюм, выглядевший при жарком торговом освещении весьма похожим на один, некогда облюбованный на бульваре Осман, дома оказался свински-розоватым, с большими бутафорскими плечами и вытаращенными пуговицами.

Все это время Максим Т. Ермаков думал, думал, думал. Он-то хотел, чтобы его личная война с социальными прогнозистами была красивой, посрамляющей тупых большевиков, которые, вместо того чтобы грохнуть недомерка Сталина, гуртом тащились в лагеря. А получалась коммунальная склока, того народного уровня, когда оппоненты гадят мимо общего ржавого унитаза и плюют друг другу в суп. Однако социальным прогнозистам был, похоже, на руку именно народный уровень войны. Они собирались измотать несговорчивый Объект Альфа силами гражданского населения, с его промышленными запасами ком-

мунальной злости и врожденной склонностью льнуть к спецслужбам. Максим Т. Ермаков почти не сомневался, что пикетчики с пасмурными мордами, оживлявшиеся при его появлении на манер больших тряпичных марионеток, сданы кагэбэшникам в аренду какой-нибудь мелкой политической партией — и в криках, в попытках швыряться хлюпающими гнилыми овощами нет ничего личного. Но было что-то донельзя опасное в праздничном возбуждении соседей, в их внезапном взаимном радушии, в бравой осанке трех-четырех проспиртованных стариканов, как бы в одночасье поправивших здоровье.

На первый взгляд было разумнее всего съехать из Просто-Наташиной однушки, оставив позади все эти дурные заморочки. Но по трезвому размышлению получалось, что съезжать никак нельзя. Вряд ли объект, обложенный со всех сторон, сможет снять другую квартиру — вряд ли ему позволят это сделать. Стало быть, придется бомжевать — превратиться из гордого Индивида Обыкновенного в бессмысленную органику с синюшной кровью, впитывающую сквозь вонючее тряпье смертельный холод асфальтовой и каменной Москвы. Либо — откатываться из столицы, уезжать по месту прописки в свой областной городок, славный металлургическим заводом и гигантскими, похожими на сплетение могучих кабелей, пирамидальными тополями. Там, на территории, погруженной в ядовито-солнечную промышленную дымку и управляемой добряком-губернатором вручную, достать человека будет проще простого. Значит, надо держаться за эту квартиру, за Москву, за свой шоколад, по которому все никак не выделят полугодовой промобюджет.

По сути, у социальных прогнозистов нет никаких реальных рычагов, чтобы сдвинуть Максима Т. Ермакова с насиженного места. Или он так наивен? Надо, надо беречь себя, маниакально соблюдать за рулем правила движения, не соваться больше в большие торговые центры, не ходить беспечно под балконами, под всякими навесами и козырьками, на которых растут кривые сосули, мутные и пьяные, будто банки самогона, — при этом способные, в искривленных координатах причинно-следственных связей, лететь и поражать с точностью стрел. Что еще? Алкоголь и наркотики — совершенно исключить. На самом деле Максим Т. Ермаков давно слыл в этом отношении мужчиной со странностями. Его, всегда одетого, по выражению Гоши-Чердака, «по-министерски», пьющего и нюхающего так, будто он делает всей вечеринке великое одолжение, пригламуренная мелкая тусня считала то пошлым понтярщиком, то зачаточным великим карьеристом. В действительности ни крепкое питье, ни колеса, ни порошки совершенно не забирали Максима Т. Ермакова. Весь эффект сводился к тому, что его антигравитационный мозг, получив удар, несколько минут посылал в пространство свои бесчисленные копии — а потом наступала пронзительная ясность, болезненная, как визг ножа по стеклу. Максим Т. Ермаков тратил деньги на эти антиудовольствия исключительно из чувства приличия — о котором теперь следовало начисто забыть. Даже краткая потеря контроля над собой давала причинно-следственным связям дополнительный шанс. Тем более нельзя было соваться в темные арки и проулки, с их особой акустикой, превращающей позднего прохожего в топочущую хриплую приманку. Совершено не следовало срезать недлинный путь из минимаркета по соседнему двору, где еле горят фонари и оплывает под дождем, превращающим глину в гороховый суп, бесхозный котлован.

В мире, словно маслом смазанном опасностью, в мире скользящем, лишенном тормозов, осмотрительный человек выглядит, вероятно, таким же безумцем, как в мире нормальном и устойчивом — гоняющий с зашкаленным спидометром обкуренный придурок. Возможно, именно безумие овладело Максимом Т. Ермаковым. Возможно, ему что-то начало мерещиться. Когда он — в отрешенном унынии — все-таки поперся с покупками соседним двором, сзади, в темноте, словно

кто-то кашлянул в кулак, и Максиму Т. Ермакову показалось, что его сильно дернули за ухо. Тотчас кашель повторился, звякнула валявшаяся на земле ужаленная железка, еще несколько сочных пуль ушло в глину. Может быть, эта дергающаяся темнота была персональной неврастенией Максима Т. Ермакова, но он отшвырнул подальше светлый пакет с перевернувшимся ужином и бросился за гаражи.

Все это было не очень правдоподобно. Все это было совершенно не нужно никому, прежде всего самим социальным прогнозистам. Тем не менее Максим Т. Ермаков, с пластырем на оттопыренном ухе, из которого будто дыроколом выкусили край, взял из офисного стола казенный ПММ и перевел его в портфель.

— Да брось, Максик, не парься. Ты у нас, наоборот, везунчик, — увещевала Маринка, ласково щурясь на собственный ноготь, по которому нежно набухшая кисточка проводила алую черту.

— Ну да, как же. Везет как утопленнику, — пробормотал Максим Т. Ермаков, только что вылезший из душа, весь в бледных каплях и распаренных родинках. — Прям шагу ступить нельзя, чтобы не огрести счастья.

— Посмотри на вещи объективно, — рассудительно возразила Маринка. — Ты об этот столб мог убиться вообще, но только помял бампер. Бутылка с балкона летела прямо в темечко, но промазала. Пусть даже в тебя стреляли — но ведь не застрелили же, ухо вон почти зажило. Кто-то отводит от тебя беду. Моя бы бабка сказала, что у тебя ангел стоит за плечом. Даже эти придурошные во дворе: ну, кидают помидорами, так ведь опять же мимо…

— Помидорами попали, — мрачно сообщил Максим Т. Ермаков, плюхаясь в постель.

— Вот козлы косорукие! — вскинулась Маринка. — И что?

— Носил пальто в итальянскую чистку, не взяли, — неохотно ответил Максим Т. Ермаков. — Сказали, все, испорчено, пятна не отойдут. И без толку новое брать. Буду теперь ходить по Москве, будто колхозник по ферме. Вон, кожан старый вытащу, который дома на Красногорьевском брал, и пойду.

— Да уж. Как колхозники мы и дома могли ходить. Стоило ехать в Москву, чтобы здесь носить шмотки с Красногорьевского рынка, — Маринка скривила тонкий длинный рот, которому всячески пыталась придать более пухлые очертания, рисуя губным карандашом по светлому пушку, так что нередко казалось, будто у нее носом идет кровь.

Она сняла с алеющего ногтя невидимое ватное волоконце и отстранилась, любуясь красотой. В последнее время она взяла обыкновение раскладывать у Максима Т. Ермакова свое маникюрное хозяйство, состоявшее из ломаных тюбиков, крашеных ваток, похожих на елочные игрушки толстеньких бутылочек — и воняющее ацетоном, как целый квартирный ремонт. Процессы были кропотливы, Маринка сушила ногти не менее часа, манипулируя маркими пальцами, будто деликатными щипчиками. Прежде она никогда не тратила у Максима Т. Ермакова больше времени, чем это было нужно для быстренького «мейк-лав» и несколько более длительного «мейк-ап», приводившего размазанное лицо в первоначальный нетронутый вид. Теперь же она будто заново осваивала Максима Т. Ермакова и все, что к нему относилось. Она разбрасывала повсюду патрончики с помадой и кружевное бельишко; пометив таким образом территорию, хозяйничала на кухне, сооружая единственное, что умела: тяжеленный борщ с мозговой костью, напоминающей целый сваренный дуб. Простейший «мейк-лав» она обогатила целым набором прихотливых приемов, чье киношное происхождение выдавал ее блестящий взгляд из-под спутанных волос в сторону предполагаемого зрителя. Но когда Максим Т. Ермаков был уже готов лопнуть, она оказывалась внутри неотзывчивой, будто туфля, забитая песком.

— Ма-аксик! Ну Ма-аксик, не смотри на меня так! — Маринка обернулась, осторожно завинчивая валкий бутылек. — Я, что ли, тебе испортила пальто?

— Чего мяучишь, как ма-асквичка? — раздраженно отозвался Максим Т. Ермаков. — Думаешь, не слышно, как стараешься? Это они тут котики и кисоньки, а мы собаки. Г-хав! Г-хав!

— Вот гхто гхавкает, тот в палатках бананами торгует, — отрезала Маринка и, дуя на растопыренные пальцы, боком привалилась к Максиму Т. Ермакову. — А может, я и есть твой ангел-хранитель? — кокетливо проговорила она, бодая его в плечо.

— Да уж это вряд ли, — пробормотал Максим Т. Ермаков, приобнимая Маринку под грудь. — Мои ангелы вон, в подъезде на подоконнике сидят.

— Плюнь ты на них, — горячо зашептала Маринка, поплотней притираясь к Максиму Т. Ермакову. — Плюнь и разотри! Ма-асква злая, нас не хочет. А мы еще злей! Выбрал тебя кто-то и прессует, чтобы нам было неповадно сюда приезжать. А ты оказался крутой! Круче всех мажористых мальчиков, которым только погрози, и они обделались! Вот как!

Шепот Маринки был осязаем, как густой и жаркий мех. Максим Т. Ермаков против воли широко ухмыльнулся.

— Максик, ты крепкий орешек! Как Брюс Уиллис! — поддала жару Маринка, все шибче работая бедром. — Пусть злые люди против тебя, но я-то с тобой! М-м-м… Уау! Максик! Максик, помнишь, я пришла к вам на выпускной… С этим Лешиком прыщастеньким… А ты мне тогда мороженого принес… И туфли раздавил прямо с ногами… Я тогда совсем не разозлилась, нет… Да, молнию там расстегни… Максик, я не хотела тебе раньше говорить, я же за тобой в Москву приехала… — Маринка извивалась, пачкая ногтями простыни, лицо ее пылало в паутине разметавшихся волос. — Максик, а хочешь, замуж за тебя пойду?

Вот те раз!

Провинциалы, приехавшие в Москву, не любят своих земляков. Начиная жизнь с нового столичного листа, они предпочитают чувствовать себя не детьми отстойных, использованных жизнью отцов и матерей, но порождениями поездов, дотащившихся беременными до столичных вокзалов и отложивших на перронах свои железные личинки. Никому не нужны свидетели, помнящие нынешнего крутого тусовщика на родном зажопинском дискаче, получившего локтем в нос от расплясавшейся телки, которую шел пригласить, или его же пятью годами раньше, в уродском полушерстяном костюмчике, читающего на школьном конкурсе стишки про родимый простор. Прошлые, до-московские победы здесь, в столице, оказывались позорней и обидней прошлых поражений. По этой логике Маринка, приехавшая завоевывать столицу со свеженькой победой на городском, проводимом под эгидой жизнерадостного мэра, конкурсе красоты, должна была обходить Максима Т. Ермакова за километр.

Маринка и правда представляла собой предельный образчик женского совершенства, какой только могла породить ленивая волнистая земля, так низко сидящая по отношению к небу из-за тяжести железных руд в брюхе. Элементы этой красоты, примелькавшиеся на улицах областного центра, как бы розданные всему женскому населению по справедливости, не означавшей счастья, соединились в Маринке избыточно. Из-за этого ее большие, чуть припухшие глаза и гладкие черные волосы, достигавшие сзади карманчиков тесной джинсовой юбки, казались ворованными, чужими. Маринка была панночка, панночка-ведьма. Лет, должно быть, с тринадцати, а то и раньше, она привлекала тучи особей сильного пола, от гормонально изнуренных старшеклассников до волосатых байкеров и рано пополневших, как бы обобщенных этой полнотой до одного про-

стейшего мужского типа, представителей городского комитета по делам молодежи. Говорили, что ее отец, стокилограммовый пьянчуга с круглой красной рожей, будто только что выпеченной в глубокой сковородке, порет Маринку солдатским ремнем. Среди вившихся вокруг нее распаленных конкурентов находилось немало желающих это подтвердить. Все сходило с Маринки как с гуся вода. Она участвовала в каких-то инициативных группах молодежного развития; она танцевала в ансамбле «Зеленопольские зори», поблескивая со сцены сильно подведенными, как бы слезными глазами, поднимая матовую ножку на фоне герба области, соединявшего лебедя и стилизованный шагающий экскаватор.

На выпускной к Максиму Т. Ермакову она, наглая малолетка, явилась не просто так, а в качестве руководителя творческой студии молодежного досуга; плечистый Лешик, вовсе не прыщастенький, а, напротив, цветущий, как мак, состоял при ней секретарем. Никакого Максима Т. Ермакова Маринка не видела в упор. Она пришла не веселиться, а курировать: щурилась на выпускные напряженные пары, топтавшиеся в «медляке», будто шаткие четырехногие табуреты, и беседовала со школьным директором, смущенно кашлявшим в кулачок. Растаявшее мороженое — последнюю вазочку с опухшим содержимым — Максим Т. Ермаков понес Маринке с умыслом и туфли ей раздавил специально: эти носатые штуки, обильно украшенные бусинами и фальшивыми каменьями, тихо злили Максима Т. Ермакова, так что до невозможности хотелось наступить и хрупнуть.

Вышел скандал; Максиму Т. Ермакову, якобы напившемуся вдрызг и опозорившему школу, не хотели давать аттестата. Он не мог предположить, что впоследствии из этого случая в Маринкиной девичьей памяти возникнет целый небывший роман. Впрочем, все, что с ней тогда происходило, было материалом любовных сюжетов; все мужские особи по-разному выражали одни и те же чувства. Ощущая в своей голове только нематериальные процессы, Максим Т. Ермаков распознавал Маринку как материальность повышенной плотности, слиток материального.

Вот кому-кому, а Маринке, первой красавице и первой суке среди юниорок родного края, не следовало перебираться в Москву. Областному геральдическому лебедю, раскинувшему над квадратным экскаватором треугольные крылья, она была прирожденная Леда. Если бы она осталась дома, то сделалась бы, пожалуй, высоким начальством и боевой подругой губернатора — широкого телом и душой усатого батьки, весьма поощрявшего талантливую молодежь. Все испортил конкурс красоты, на котором Маринка, дефилируя в тугом купальнике, сразила строгое жюри линией бедра, распространявшего при каждом шаге ударную волну. Победа и увенчание диадемой из стразов Сваровски сильно подняли Маринкину цену. Она захотела эту цену получить.

Кажется, она перевелась из местного экономического вуза в столичный или что-то в этом роде. К Максиму Т. Ермакову она явилась, чтобы перехватить немного денег — и сразу, с красногорьевской рачительностью, отработала долг на осыпавшемся бумагами и бешено колотившем ящиками офисном столе. С тех пор Максим Т. Ермаков стал для Маринки запасным кошельком и по совместительству приятелем, с которым она обсуждала козни Москвы.

— Ты не представляешь, сколько здесь блядей, — жаловалась она, выйдя из очередного приключения сильно зареванной и сильно напудренной. — Из-за них у богатых мужиков не осталось ничего человеческого. Зачем такому мужику отношения с девушкой? Ему стоит пальцем поманить, и он получает любой секс, какой захочет. И по его масштабам за сущие копейки. Ему же негде кофе выпить, чтобы там не сидели три-четыре девки в блядских ботфортах. Бляди — они как вирус. Ломают у мужиков нормальную программу. Вот говорят: мол, с

Украины, с Молдовы понаехало шлюх. Но если хочешь знать, москвички хуже приезжих. Такое из себя воротят! А как врут! Считают, что им по определению больше надо и больше полагается. Тогда чего дают себя снимать за двести баксов? На карманные расходы? Папа с мамой мало денюжек дают? Сидели бы, твари, по своим квартирам…

На это Максим Т. Ермаков только пожимал плечами. Цена в двести баксов его вполне устраивала. В то же время он, на свой отстраненный манер, сочувствовал Маринке. Маринка и правда очень старалась. Из своей бурливой речи она, как могла, вытравливала южнорусское гхеканье и усердно подражала кошачьим ма-асковским гласным — правда, у нее получалось скорее не мяукать, а квакать. Она приоделась на сейлах, сменила глупое золото на стильную бижутерию и уже не выделялась на гламурных корпоративках и закрытых вечеринках, куда правдами и неправдами умудрялась проникать. Иногда ей как будто даже везло. Она была замечена под руку с крупным ресторатором Мамедовым, большим и влажным мужчиной, проступавшим сквозь рубашки тонкого полотна, как проступает селедка сквозь слои оберточных газет. Видели ее и в обществе покрытого шрамами и крепкого, как футбольный мяч, генерала Ярцева, лично корпевшего над книгой мемуаров, подозревая всех помощников в искажении смысла и поражаясь тараканьей увертливости обыкновенных русских слов. Ради этой книги якобы и была приглашена Маринка, всегда сдававшая школьные сочинения самой первой — и всегда с недовложением запятых. От генерала Ярцева она перешла к издателю Полянскому, некоторое время возившему ее на международные книжные ярмарки и даже купившему норковую шубу — во Франкфурте, в турецкой лавке на задах бангхофа, напоминавшей не магазин мехов, а полный пуха и пера полутемный курятник.

Шуба, впрочем, шла Маринке необыкновенно. Ей бы пришлась к лицу и небольшая дамская квартирка с огромной шелковой кроватью, и яркая малолитражка, похожая на очень дорогую детскую игрушку. Но до квартиры и машины дело никак не доходило: покровители внезапно улетали в командировки, сунув Маринке тощий конвертик «на первое время». Это проклятое первое время никак не кончалось. Маринка зависла в безвременьи, где были невкусны солоноватые толстые устрицы и пресная зимняя клубника, были неинтересны проходившие перед нею, будто череда открыток, красоты европейских столиц. Маринка страдала по-настоящему, выла и материлась в остывающей ванне, источая теплые слезы в ноздреватую пену, осевшую пеплом, — но не было инстанции, которой она могла бы эти страдания предъявить. Мужчины, которыми она хотела завладеть, не столько ворочали делами, сколько ворочались в делах; эти серьезные дела забивали им мозги и даже кровеносные сосуды — потому они физически не могли еще и Маринку принимать всерьез.

— Ладно-ладно, какие наши годы, — подбадривала себя Маринка, скалясь в раскрытую пудреницу. — Знаешь, Максик, чего хочу? Замуж хочу за старика. Какого-нибудь народного артиста СССР. С дачей огромной, заплесневелой, с квартирой на Кутузовском, набитой барахлом. Чтобы лет пять ему отслужить — и, пожалуйста, богатая московская вдова!

— За старика-то зачем? — удивлялся Максим Т. Ермаков. — Что, у молодых денег нет? Старику тебя не протрахать, ответственно говорю.

— Максик, не тупи, — отвечала Маринка, перейдя на деловитый тон. — Московской вдове и цена другая. Будет так, как если бы я не приехала в столицу из зажопинска, а всегда здесь жила. Возьму его фамилию, на которую туса реагирует респектом. Видишь, Максик, правильно овдоветь — это как заново родиться. В хорошей московской семье, а не у моих придурошных родаков, которым не хватило ума даже квартиру выбить от завода. Ты не морщись, пойми:

мы родились и живем, а на нас не накрывали. Не будет греха помочь себе немножко. Я ведь хочу по-честному. Пока мой народный артист скрипит помаленьку, буду любить его, как родного отца. После моего говнистого папки это будет, сам понимаешь, несложно…

Максим Т. Ермаков не хотел расстраивать Маринку — только в осуществимость ее матримониальных планов верилось с трудом. В Москве Маринка сделала успехи, почти содрала с себя провинциальную корку вместе с линючим красногорьевским тряпьем — но столица тем временем успела ее растереть. Изучая длинное, слегка раздавшееся в кости Маринкино тело, Максим Т. Ермаков больше не чувствовал в ней слитка материальности — того золотого слитка, что распознавался дома как особая ценность и особая судьба. Москва — громадная масса камня, бетона, металла, заливаемая миллионными и миллионными человеческими толпами — отняла у Маринки ее материальную автономность, сделала своей почти несуществующей частицей. Московская земля оказалась тяжела для панночки-ведьмы; она уже не летала, распустив по ветру черные волосья, а грузно царапала асфальт покореженными шпильками; всякий раз, когда Максим Т. Ермаков ходил с Маринкой под руку, он оставался с измятым рукавом. В Москве большие Маринкины глаза, зеленоватые в крапинку, стали похожи на препараты под микроскопом, на меланхоличное и бессмысленное подрагивание клеток в водянистой среде. Казалось, будто слезы, испускаемые этими круглыми источниками, тоже кишат вирусами — хотя это были самые обыкновенные соленые капли.

— Максик, ну скажи, что со мной не так? — всхлипывала Маринка, потеряв присутствие духа после самоотверженного секса.

— Дура, не реви, — грубо отвечал Максим Т. Ермаков. — Все дело в том, что в Москве до хренища блядей.

Помочь Маринке могло, пожалуй, только чудо, какое-то совершенно необычное стечение обстоятельств. Офонаревший от ее предложения и позволивший себя растерзать на бившейся в стенку кровати, Максим Т. Ермаков заподозрил, что такие обстоятельства имеют место быть.

Планы социальных прогнозистов делали Максима Т. Ермакова идеальным стариком. Судя по тому, что застрелиться надо было уже вчера, Объекту Альфа стукнуло, по матримониальному счету, лет девяносто. И десять миллионов долларов — неслабое наследство! Только откуда Маринка узнала? Неужели с ней провели тихую кагэбэшную беседу в темной конспиративной квартирке, заодно проверив на буром диванчике советского производства ее квалификацию? Непохоже. Глупо. Не возникает никаких дополнительных мотиваций для Объекта Альфа пустить себе пулю в башку. Маринкино поведение логично только как собственная ее авантюра, попытка оторвать крупный кусок. Однако где же Маринка схватила информацию? Они что, объявления в газеты дают? Мол, такой-то и такой-то, имя-фамилия-адрес, является недопустимой погрешностью в причинно-следственных цепях, из-за него, дорогие граждане, все ваши бутерброды падают маслом вниз, но в случае его добровольного самоустранения близкие получат от доброго государства десять лимонов грина.

Абсурдно. И тем не менее уже не все проявления народного протеста против существования Максима Т. Ермакова объяснялись наймом и инструктажем. В одно прекрасное утро, чапая по ледянистой слякоти от парковки до офисного крыльца, Максим Т. Ермаков увидел пикет. «ЖЕРТВЫ «ЕВРОПЫ» — гласил самодельный ватманский плакат, гремевший на ветру, как кровельная жесть. Сердце у Максима Т. Ермакова екнуло и провалилось в желудок. Человек пятьдесят стояло перед крыльцом неровной цепью, и хотя все они были одеты в приличное

штатское, почему-то казалось, будто это отряд, потерявший две трети своих. Почему-то мерещилось, что стоявших должно было быть гораздо больше. Отсутствующие обозначали себя белесой пустотой за спинами пикетчиков — и они же, очевидно, были на фотографиях, отчеркнутых с углов траурными лентами. Каждый пикетчик держал по такому обрамленному снимку. Максим Т. Ермаков, на всякий случай поставив торчком жесткий кожаный воротник, вгляделся в потерпевших. «Артисты? — подумал он. — Нет, не артисты».

Невозможно было сыграть или подделать свежее горе, уже присыпанное равнодушием жизни. Немолодая исплаканная пара вместе держала портрет густобрового парня в десантном берете, работавшего, вероятно, охранником в «Европе». Стриженая старуха в мужской каракулевой шапке пирожком выставляла перед собой чью-то фотографическую улыбку, неуловимую, как солнечный зайчик. Старикам Максим Т. Ермаков не верил, зная, что нанять их проще простого и немощи их — политические пятаки — продаются недорого. Точно так же он не верил студентам и прочим молодым балбесам, сшибающим в политических массовках на пиво и чипсы. Но большинство демонстрантов было в возрасте, когда и помимо пикетов есть чем заняться в жизни. Максим Т. Ермаков обратил внимание на высокую властную женщину, стоявшую, видимо, по привычке, впереди остальных. Несмотря на печать высокомерия, на что-то тигриное в складках тяжелого лица, женщина дрожала в тоненькой щипаной норке, и глаза ее были пусты, будто пересохшие чернильницы. Она же первая заметила Максима Т. Ермакова и замахала рукой в красной перчатке. По цепи пикета прошло движение, будто среди пассажиров в дернувшейся электричке.

— Трус! Вон, вон, побежал! — закричала женщина, что-то выкапывая у себя из глубокого кармана.

— Стой! Стоять! Подлец! Предатель! Чтоб ты сдох! — эхом пронеслось по пикету, и демонстранты, кое-как придерживая траурные снимки, принялись выхватывать стволы.

Максим Т. Ермаков не сразу понял, что направленное на него оружие — игрушечное. Был момент, когда он замер, стремительно сжимаясь до какой-то бездонной внутренней точки, тупо глядя на уставленные в него пустые черные дырки. Тут же все это пластмассовое полое вооружение затрещало, защелкало, едко запахло пистонной гарью, брызнули тусклые струйки из ядовито-зеленых водяных пистолетов. Стриженая старуха размахивала мумифицированной штуковиной, похожей, если присмотреться, на самый настоящий революционный маузер. Красная перчатка судорожно тискала нечто дорогое и вороненое, точно это был камень, из которого она пыталась выжать воду. Максим Т. Ермаков, весь взмокший под глухим кожаном, сердито топнул и увалился в офисную дверь.

Ни к вечеру, ни на другое утро пикет не исчез. Правда, он несколько сменил состав. Наиболее вменяемых жизнь призвала заниматься делами (властную женщину в щипаной норке Максим Т. Ермаков не увидел больше ни разу); зато другие укрепились и стояли с безучастными улыбками, точно ждали в зале прилета какой-то потусторонний рейс с дорогими людьми на борту. К жертвам «Европы» присоединились жертвы пожара в Красноярске, теракта в Краснодаре, взрыва газопроводных труб в непроизносимом поселке под Уфой. Сплоченные группы активистов представляли две большие авиакатастрофы и не то пять, не то шесть крушений пассажирских составов.

На пятачке между офисными башнями возникли палатки, ходившие ходуном на сильном ветру. Всюду летал разноцветный прилипчивый мусор, гарцевали и цокали по черному асфальту легкие банки из-под пива. Среди пикетчиков выделялись сибиряки, привыкшие уважать свои трескучие крепкие зимы; здесь, под московскими мыльными дождями со снегом, они в куницах и лисах

были как новорожденные птенчики с мокрыми перьями. Отдельно, под навесом из хлопающей парусины, располагались пострадавшие в инвалидных колясках. Некоторые, закованные гипсом в нелепые и патетические позы, напоминали поваленные статуи. Появление Максима Т. Ермакова пикетчики встречали всеобщим матерным воем и ураганной игрушечной трескотней. Толпа, опять ничего не придумав лучше, метала во врага народа гнилые овощи и другие малоаппетитные продукты; их Максим Т. Ермаков научился ловко отражать зонтом-автоматом, выбрасывая купол навстречу полужидкому обстрелу. Все-таки многие снаряды достигали цели, доставалось и коллегам гада и предателя, имевшим несчастье опаздывать и норовившим прошмыгнуть.

Максиму Т. Ермакову не возбранялось опаздывать; все были бы только рады, если бы он не появлялся вовсе. Непосредственная его начальница Ика была обойденная большой карьерой бывшая комсомолка, лютовавшая теперь в своем двадцатиметровом, дешево обставленном кабинетике. Примерно раз в три дня Ика предлагала Максиму Т. Ермакову написать заявление по собственному.

— Макс, ну вы же понимаете, — говорила она, осторожно трогая прическу, в которой, казалось, каждый волосок был позолочен и уложен отдельно. — Все, что вокруг вас творится, несовместимо с имиджем фирмы. Перед офисом стало как перед вокзалом, честное слово. Да вы потом отлично устроитесь! А пока корпоративная лояльность призывает вас…

— Не призывает, — перебивал начальницу Максим Т. Ермаков. — Никакого заявления писать не буду. Нет, и все.

— Это вы мне говорите «нет»? — всякий раз поражалась Ика, бледнея под пудрой, так что становились видны два не совсем совпадавших лица, одно нарисованное и одно настоящее.

— Вам, вам, Ирина Константиновна, — хладнокровно подтверждал Максим Т. Ермаков. — Четвертый или пятый раз, между прочим. А хотите, так увольняйте меня сами, по статье. КЗОТ еще никто не отменял. Приказ издайте, мол, за нарушение трудовой дисциплины Ермакову выговор. Я нарушаю? Нарушаю. Чего же вы ждете?

— Вы не только опаздываете, вы еще и работать перестали совсем, — эти слова начальницы сопровождались тонким дребезжанием, исходившим не то из ее разбитого комсомольского сердца, не то от стаканчика с остро заточенными карандашами.

— Работать? Без бюджета? — саркастически спрашивал Максим Т. Ермаков, задетый денежным вопросом за больную струну. — Мне на свою зарплату билборды обеспечивать? Расклейки в метро? Вот как было бы удобно: плати сотруднику шесть тысяч баксов, а дальше он сам подсуетится! Свои, если надо, выложит! Может, мне грант у Министерства культуры на нашу рекламу испросить?

— Ермаков! Раньше вы так не разговаривали!

— Раньше у нас не торчало по десять гэбэшников на каждом этаже, — задушевно напоминал Максим Т. Ермаков. — Ну, давайте, попробуйте, увольте меня!

Тут начальница без слов откидывалась в кресле и принималась гипнотизировать Максима Т. Ермакова холодными глазами, светлыми с паутинкой, от которых, должно быть, в лучшие времена у подчиненных бежал по коже легкий мороз. Теперь уже был далеко не тот эффект. Себе рассерженная Ика наверняка казалась коброй, грозно раздувшей капюшон, а Максим Т. Ермаков видел злую неудачницу, ни на что уже не годную, кроме как спускать представительские деньги на стилистов и косметичек. «Что ты такое по сравнению с моими государственными головастиками?» — не без самодовольства думал он, откланиваясь — и действительно натыкался в предбаннике на скромный экземпляр социального прогнозиста, который мирно что-нибудь читал или возился с хрипящей

кофеваркой. Между прочим, Маленькой Люси все чаще не случалось на рабочем месте. Если же она сидела за своим аккуратным секретарским столиком, то все равно как будто отсутствовала. Максим Т. Ермаков догадывался, что она либо бегает к сыну в больницу, либо водит его на медицинские консультации, либо что-то в этом роде. Выглядела Маленькая Люся настолько плохо, что Максим Т. Ермаков даже смог представить боль, которую испытал бы близкий ей человек при виде ее опухшего личика в мутных очках и синеватых ноготков, прозрачных, как рыбья чешуя. Максим Т. Ермаков даже готов был помочь ее больному сынишке, но только не самым радикальным способом.

В промежутках между появлениями Максима Т. Ермакова лагерь пикетчиков жил своей собственной повседневной жизнью. Дважды в день знакомый гэбэшный фургончик с рекламой садовой мебели на борту подвозил горячую пищу. Откидывался задний борт, тетеньки в халатах сомнительной белизны перевалили алюминиевые баки, шагая с ними, будто с начинающими ходить тяжелыми младенцами, поближе к краю платформы. Снизу им протягивали бесформенные, как ямы, железные посудины, сизые губы хватали горячую картошку — во всем этом было что-то фронтовое, гиблое и героическое, и клерки, поглощая в офисных кафетериях бесплатный корпоративный ланч, ощущали необъяснимый дискомфорт.

И вот что интересно: за целых две — нет, кажется три, вернее, три с половиной — недели в лагере не появилось ни одной телевизионной камеры. Ни одного завалящего журналюги, ни одного сюжета в новостях.

Теперь после работы Максим Т. Ермаков испытывал желание напиться — что в его специальном случае было все равно что хотеть уснуть во время жестокой бессонницы. Бросив в багажник вонючий кожан, он колесил по знакомым питейным заведениям, благо никакие тесты дорожных инспекторов не реагировали на его организм, влей он в себя хоть целое ведро.

Диму Рождественского Максим Т. Ермаков обнаружил в баре «Разгильдяй», где ему по совести было самое место. Журналюгский журналюга сидел у стойки, сосредоточенно нюхая желтое содержимое своего стакана. Его остекленелые глаза блестели тем же округлым блеском, что и протираемая барменом пузатая рюмка; на светлом шелковом галстуке у Рождественского темнел потек, похожий формой на восклицательный знак.

— Давай, за компанию, — двинул он стакан в сторону подсевшего Максима Т. Ермакова и, не найдя встречного сосуда, чтобы чокнуться, пихнул соседа в плечо.

Говорили, что Дима Рождественский получил повышение: теперь он заведовал отделом «Общество» в своем полуживом таблоиде, похожем на запущенный огород, с главным редактором, запиравшимся в своем кабинете на много суток и вылезавшим оттуда красным, как марсианин, почти забывшим русский язык. Работать в газете было практически некому — этим, вероятно, объяснялось повышение Рождественского. Журналюгский журналюга мало смыслил в общественных вопросах, но умел к любому факту присобачить глумливый комментарий, создававший впечатление, будто автор знавал намного лучшие общества, чем то, в котором вынужден, держась за больную голову, просыпаться по утрам. Эта же глумливая манера заразила и устную речь Димы Рождественского. Он обожал пугать молодых журналисточек и пиарщиц, намекая на неантропоморфные тайны профессионального мира. Он гипнотизировал жертву тяжелым взглядом, с трудом поднимаемым выше стола, и дружеским жестом, каким кладут собеседнику руку на плечо, брал коллегу за грудь.

Вынужденный скрывать, что знает жизнь меньше остальных — а когда ему было узнавать, попей-ка так! — Рождественский вообразил себе, буквально на-

дышал некое плотное облако, в котором, как ему казалось, крылись темные причины общественных и личных его неустройств. Он чуял это облако над собой, когда наколачивал на чумазой клавиатуре очередной материал. Он тайно был убежден, что судить о чем бы то ни было для человека невозможно, — и выдавал суждения с легкостью лотерейного барабана, по триста—четыреста строк в номер. Незнание, как некая самодостаточная субстанция и плотный наполнитель головы, развило у Димы особое чутье, сходившее за журналистский нюх в изданиях, где ни от авторов, ни от читателей не требовалось особого ума. Чутье не только восполняло Диме недостаток информации и опыта, но уберегало его от многих неприятностей. Дима, можно сказать, был компенсирован. Он никогда не попадался навстречу главному, если тот в озверении валил по коридору, расшибая о стену костлявый кулак; в такие плохие дни, когда редакция ощущала себя семейством, у которого отец ушел в запой и бегает по дому с топором, Рождественский присутствовал в офисе, но оставался невидим, как ниндзя. Точно так же он, управляя своей немытой «Маздой» в состоянии, близком к отключке, никогда не нарывался на гайцов, словно каким-то образом отводил им глаза. Опасность Дима чуял буквально своим нежнейшим носом, с бархатным родимым пятнышком, похожим на цветочную пыльцу; опасность воняла, смердела, и Дима, окруженный этими метафизическими запахами, уверенно утверждал, что жизнь — помойка и дерьмо. В этом была причина его неумеренности по части парфюма: сидя половиной задницы на высоком барном табурете, журналюга благоухал, как цветущий тропический куст.

— Чем это от тебя разит? — обратился он к Максиму Т. Ермакову, переводя нос из стакана наружу.

— Овощебазой, — лаконично ответил Максим Т. Ермаков, пытаясь привлечь внимание бармена, артистично вившего из двух бутылок полосатый коктейль.

— А по-моему, покойником, — определил Рождественский. — Я шокирован. Ты не из гроба вылез? Что-то у тебя рубашечка как будто истлела.

— Захлопни пасть, акула пера, — миролюбиво посоветовал Максим Т. Ермаков.

— Да ладно, очень милая шмотка. Стильная такая гнильца, мне нравитца, — заявил Рождественский, широко ухмыляясь. — Овощебазой от тебя тоже несет. Ну, чего расселся? Ты будешь бухать или нет?

Лысый бармен, у которого галстук бабочкой совершенно соответствовал форме черных холеных усов, наконец отозвался на призыв, и Максим Т. Ермаков потребовал водки, сразу триста. Бармен споро выставил перед Максимом Т. Ермаковым в ряд три стакашка с «Финляндией» и подогретый сэндвич с ветчиной. Наморщившись, Максим Т. Ермаков проглотил первые сто, в голове мягко стукнуло, хмель сразу вышел, как дымок из выстрелившей пушки. С большим неудовольствием Максим Т. Ермаков принялся за сэндвич, имевший температуру человеческого тела.

— У меня неважные отношения с алкоголем, — пояснил он не то Рождественскому, не то самому себе.

— А вот у меня отличные, лучше не бывает. Алкоголь мой друг, — прокомментировал Дима. — А ты все равно пей, раз пока живой. Раз уж тебя народ до сих пор не пристрелил.

— Ты в курсах, я не пойму? — отозвался Максим Т. Ермаков с внезапным раздражением.

— В курсах, а как же, — солидно произнес Рождественский. — Позавчера ходил на прессуху в фонд один благотворительный, офис напротив вашего располагаетца. Пронаблюдал! Классно ты зонтом шуруешь. Помидоры летят, зонт им навстречу — прыг! Брызги обратно — хлесь! Знаешь, на кого ты похож в

длинном черном кожане? На палача. Прямо весь такой сырой от крови, весь такой пропитанный. Очень, блядь, романтично!

— А чего ты, блядь, колонку не тиснешь? — с кривой гримасой поинтересовался Максим Т. Ермаков — Твоя вроде тема. Вот оно, общество, во всей красе.

Дима Рождественский вздохнул и взлохматил шевелюру, настолько дикую, будто она питалась, как почвой, непосредственно тканями пьяного мозга.

— Друг, мне тяжело тебе это говорить, но дело в том, что ты — не новость. Я имею в виду тебя как такового. Не ньюсмейкер. Понимаешь, нет? Как только станешь ньюсмейкером, я первый к тебе побегу, с диктофоном и фотографом. А пока, извини…

— Не понимаю, — жестко перебил Максим Т. Ермаков. — Стоит владельцам халуп, предназначенных под снос, устроить пикет, как вы все там. Куча камер, все каналы, интервью с главой администрации… А тут прямо в центре Москвы уже которую неделю митинг. И не просто какие-то пенсионерки в беретках. Люди со всей страны приехали. Тут тебе и выжившие с новосибирского самолета, и все главные гады с крушения под Питером. Что, про все про это и сказать нечего?

— Ну, про питерское крушение мы писали. Давали целый разворот. И про самолет писали, я, кстати, сам туда летал с эмчээсниками. Представляешь, круто! Они садились на шоссейку, трафик под ними дергался, как сумасшедший. Не вписались в поворот, распахали поле. От этой «тушки» осталась одна рванина. Вот бы тебе на это посмотреть!

— Не стремлюсь, — отрезал Максим Т. Ермаков. — Я тупой и нелюбопытный. Ты мне лучше объясни, суперский профи: почему одно событие становится новостью, а другое нет?

— Ишь ты, нелюбопытный какой! Пей давай. Со мной, ветераном борьбы за уничтожение алкоголя, даже не пробуй откосить!

С этими словами журналюга, пристроив в пепельницу прикушенную сигарету, забрал себе одну из двух оставшихся водочных порций, а вторую всучил Максиму Т. Ермакову. Пришлось опять глотать резкую жидкость, жегшую губы, точно они были разбиты. Пережив ожог пищевода и хлопок в голове, Максим Т. Ермаков тоже закурил, и сигаретный дым блаженно умягчил туманное сознание, посылающее куда-то тяжелые файлы.

— Ну? — придвинулся он к Рождественскому, у которого на определенной стадии пьянства вид становился растроганный и добрый. — Я выпил, теперь ты колись. А то в морду дам.

— Нет, вы слышите, га-ас-спада? — воззвал прослезившийся Рождественский к невозмутимому бармену и двум девицам поодаль, выложившим на стойку овальные декольте. — Он!.. Мне!.. По морде!.. Это как?

— Как? Физически, — хладнокровно пояснил Максим Т. Ермаков. — И не по морде, а в морду. Почувствуй разницу.

— Слушай, друг, ты такой толстый, а такой агрессивный, — укоризненно проговорил Рождественский. — Ну, хорошо. Ну, д-давай рассуждать вместе. Коллегиально!

Почему-то последнее слово показалось Рождественскому смешным, и он захихикал, еле держась на табурете. Максиму Т. Ермакову пришлось гулко стукнуть журналюгу по спине, заставив по-быстрому ссыпать хихиканье, как спускает монетки огретый автомат.

— Эй, Макс, ты руки убери, — сипло проговорил Рождественский, выпученный, сопливый и будто немного протрезвевший. — Реально меня отп..дить хочешь? За что?

— Да ладно, не хочу на самом деле, — устало ответил Максим Т. Ермаков, которого начинали угнетать тусклые, с каким-то осадком на дне, барные све-

тильники и доносившееся из полумрака щелканье биллиардных шаров. — Излагай насчет новостей. А то мне скоро перехочется тебя слушать.

— Думаешь, мне больно хочетца всю эту лажу озвучивать? — Рождественский нахохлился, медленно вращая перед своим невидящим взглядом пустой стакан. — Вопрос на засыпку: кто производит новость — масс-медиа или жизнь?

— Медиа, само собой, — сердито ответил Максим Т. Ермаков. — Но жизнь тоже участвует. Скажем, в качестве сырья.

— Так, да не так. Прикинь, если бы любой лох мог выползти на улицу с плакатиком и сделатца новостью. Если бы это было доступно широким слоям населения. Что было бы, а? — Рождественский поднял на Максима Т. Ермакова печальный взгляд, в котором пробивался сквозь алкогольную пелену какой-то осмысленный свет. — Но ведь недоступно, пойми! Так же кусаетца, как коттедж на Рублевке. Новость — это дорого. У-о-очень! В новость надо хорошо вложитца. Самый качественный пример эпохи: самолеты гребаной Аль-Каеды врезались в Близнецов. Давай считать. Столько-то лет подготовки теракта. Маньяков учили, поили, кормили. Потом: стоимость двух Боингов, двух небоскребов, всего, что в них было, плюс народу полегло охрененно. Плюс последствия. Буш одиннадцатого сентября велел всем самолетам над Штатами сесть и прижаться брюхами к земле. Сели и прижались. Тоже встало в деньги! Округли, сколько всего всосала эта мега-гипер-новость? Теперь твой пример с хозяевами халуп. Кому-то были бы их пикеты интересны, если бы земля в Москве не была золотой? Сырье, ты говоришь. Правильно, Макс. Но сырье должно быть жирное, как нефть. А из говна конфетку делать никто тебе не будет. Самодеятельность снизу не поощряетца. То есть, конечно, обыкновенный лох тоже может засветиться в новостях. Если он очень круто за это заплатит. Обольет себя бензином на хрен и сгорит назло президенту Медведеву. Ты, Макс, если застрелишься, как от тебя хотят, мы про тебя информашку поместим. Всего лишь заметку, понимаешь, за всю твою долбаную жизнь целиком! А назавтра твой следок смоет новая волна. И все. Так что, друг, не лезь на газетную площадь. Для тебя это местечко по цене места на кладбище. И давай уже, отвали…

Утомленный собственной связной речью, журналюга свесил волосы и поехал локтем по стойке, явно собираясь отдохнуть. Максим Т. Ермаков стиснул Рождественскому хлипкое плечо, ощущая его небольшое мутное сознание, будто колышимую в слоях эфира сонную медузу.

— Откуда знаешь насчет застрелиться? — Он тряхнул журналюгу покрепче. — Фамилия Кравцов тебе о чем-то говорит? Сергей Евгеньевич Кравцов, такой лысый, зенки страшные?

— Да не знаю я никакого Кравцова! — Журналюга возмущенно дернулся и едва не смазал Максиму Т. Ермакову пальцами по губам. — Ты, Макс, совсем плохой. Бежишь, а по сторонам не глядишь? Так па-сма-три из-за зонта. Те, кто кидаются в тебя, они еще и текстами трясут. Типа «Ермаков, застрелись сам». Клево, да? Ну клее-ево.. А сами из игрушек — тра-та-та… Смотри, там не только игрушки, я у одного кар-рабин «Сайга» видал… Пальнет со всей дури, зонтик не укроет. Са-абражаешь, чего говорю? И все, отъедь, утомил…

— Ну и хрен с тобой.

На другое утро Максим Т. Ермаков, еще толком не открыв глаза, подумал, что не выключил на ночь люстру. Комната, будто пудрой, была полна полузабытым солнцем; зеркало, вделанное в кривой советский гардероб, казалось металлическим. Что же за день сегодня?

Седьмое марта, е-мое! Завтра восьмое.

Геморрой во всю задницу.

Маринка принимала душ, щедро заливая шуршащей водой клеенчатую занавеску. Так, спокойно. Времени до завтра целый вагон. Ополоснув лицо, еще облепленное паутиной сна, Максим Т. Ермаков отправился на кухню варить в щербатом ковшике кофе. Наплескавшись, Маринка явилась жарко-ароматная, подслеповатая и безбровая без своей косметики; Максиму Т. Ермакову всегда казалось, что с мокрыми волосами, похожими на черные прутья метлы, вид у нее довольно глуповатый.

— Сегодня у нас корпоративка! — объявила Маринка, нацеживая себе зеленого чайку. — А у вас?

— И у нас, — сообразил Максим Т. Ермаков.

Странно: мужское сообщество фирмы, относившееся к Восьмому марта по принципу «Отдай, не греши», не выслало к нему человека за деньгами, обошло стороной. Может, купить начальнице самостоятельный букет? Или не надо букета?

Маринка, натянув на себя что-то радикально-желтое, с шелковым бурунчиком над тесно сомкнутыми коленками, убежала праздновать в свою контору — какой-то, кажется, инвестиционный фонд, куда ее пристроил, покидая, заботливый Полянский. Максим Т. Ермаков, сердито ворча, надел перед освободившимся зеркалом тот, розоватый, костюм. Слишком жаркий и пухлый для теплого времени года, слишком светлый для холодной, полной химикатов, московской слякоти. Брючины, сколько Максим Т. Ермаков ни пытался их чистить домашними средствами, были буквально прожжены, как сигаретами, бурыми брызгами. Ни один приличный галстук из сохранившихся запасов не соглашался соответствовать этому безобразию. Недовольное лицо Максима Т. Ермакова тоже не желало соответствовать женскому празднику. Давно пора было стричься: сахарная щетинка отросла и покрывала виртуальный череп бледным куриным пером.

А, ладно. Максим Т. Ермаков, не обращая никакого внимания на задубевших дворовых демонстрантов, залез в «Тойоту» и порулил по солнечным улицам. Солнце и яркая синева, занявшая небо почти целиком, принесли не тепло, но мороз: звонко лопались под колесами застекленные лужи, рваный асфальт был тут и там заштопан игольчатым ледком, женские каблуки стучали по нему отчетливо и глухо, точно он был пустой внутри. Возле каждой станции метро стояли в ряд торговцы с ведрами, полными озябших мелких роз и морковного цвета тюльпанов, чьи слабые коробочки были стянуты, чтобы не разваливались, тонкими резинками. Покупателей было навалом. Практически каждый пешеход нес в руках букетик, завернутый в ломкий целлофан и словно вынутый из морозильника: каждому букетику предстояло перейти из рук в руки в течение дня.

Максим Т. Ермаков припарковался возле оживленного цветочного базарчика. Оказавшись среди потока людей, он сразу почувствовал, что на него смотрят. Если раньше он умел, как все москвичи, ни с кем не встречаться взглядами даже в самой плотной толпе, то теперь то и дело попадал на чужие глаза, пытавшиеся заглянуть ему в мозги до самого затылка. Чужие глаза были настороженны, злы, любопытны: чем больше злости, тем солонее цвет. Одни любопытные отодвигались подальше, другие старались притереться, потрогать; Максима Т. Ермакова не оставляло ощущение, будто его пасут одновременно несколько карманников.

— Гля, это он? Точно, он!

На Максима Т. Ермакова жадно пялились мешковатые подростки; из широких штанов с карманами до колен стервецы торопливо вытаскивали мобильники, явно собираясь сфоткать объект безо всякого согласования с федеральными спецслужбами. Загораживаясь собственной спиной, Максим Т. Ермаков потрусил в цветочный павильон, где товар был поярче и попышнее, чем в народных торговых рядах. За прилавком стояла здоровенная свежая девка в рябом огром-

ном свитере, на котором, как на маскировочной сетке, болтались зеленые листья. При виде Максима Т. Ермакова она распахнула блеклые глаза и крепко сжала рот, словно поймала в последний момент готовое вырваться восклицание, что-то вроде «Убирайся вон!». Вместо этого могучая цветочница, переступив с ножищи на ножищу, выдавила писклявое:

— Слушаю вас, мужчина.

Максим Т. Ермаков гонял ее минут пятнадцать, осмотрев все по очереди дорогие букеты, в которых все было ярко, мясисто и словно завито на бигуди; при этом заблестевшие глаза цветочницы сильно бегали, исцарапанные красные руки то и дело что-нибудь роняли. «Ну, блин! — думал Максим Т. Ермаков — Ну, геморрой!»

Досаду его успокоили удивительно свежие белые розы, зеленоватые с плотных бочков и как бы недоспелые — так, что и правда захотелось их кому-нибудь подарить.

— Семь штук, — скомандовал Максим Т. Ермаков.

Однако всучить букет начальнице оказалось не так-то просто. Барыня, как всегда по праздникам, были не в духе. Они изволили явиться на службу без пятнадцати десять и, швырнув в приемной свою подержанную рыхлую шиншиллу, заперлись в кабинете. Все было готово к тому, чтобы, наконец, поздравить женщин, мерзнувших за компьютерами в голоруких платьицах каких-то слегка безумных телесных оттенков — словно каждая мечтала оказаться под платьем не такой, какова она в действительности, и эта мечта проступала сквозь тонкую ткань. Уже и Хлам, в превосходном галстуке сырого шелка, сказал перед коллективом торжественную речь и смылся. В кафетерии, на застеленных белым сдвинутых столах, блестели белым медицинским блеском пустые тарелки, в баре потихоньку редели водочные бутылки. Но начинать корпоративку, не поздравив Ику, было невозможно.

Максим Т. Ермаков валандался в предбаннике вместе с поздравляющей командой, которую возглавляла Большая Лида, всегда любившая что-нибудь возглавлять. Сейчас Большая Лида злилась и сильно дергала себя за белые хрустящие пальцы. Поздравляющая команда принесла корзину хризантем, пухлых, как творожные ватрушки, и гроздь воздушных шаров, которые мужчины надували, а женщины разрисовывали цветными смайликами. После двух с лишним часов ожидания смайлики немного скуксились, а сами шары, содержавшие если не добрые душевные порывы, то, по крайней мере, живое человеческое дыхание, сделались мутными, точно забродившими. В кабинете стояла тугая тишина: казалось, будто тишину туда накачивают, накачивают, и вот-вот она взорвется.

Все претензии были, конечно, к Маленькой Люсе. Время от времени она звонила в кабинет по внутренней связи и, роняя трубку на рычаги, сообщала со слабоумной улыбкой:

— Ирина Константиновна сказала — позже, работает еще.

— Ага, работает, как же, — бормотала Большая Лида, вышагивая по крохотной приемной. — Издевается, просто издевается…

Маленькая Люся была сегодня совершенно выключенная. Казалось, будто она одевалась и красилась без зеркала. Этот трикотажный свалявшийся костюмчик овечьего серого цвета Максим Т. Ермаков видел на ней постоянно все последнее время. Светлые глазки Маленькой Люси маячили ярко и бессмысленно, на запавшем виске мерно дергалась жилка, будто кровь в ее организм поступала по каплям. «Неужели умер пацан?» — подумал Максим Т. Ермаков с холодком под сердцем, пряча за спину тяжелый букет.

Он как будто ничего не брякнул вслух, но Маленькая Люся повернулась к нему и шепотом ответила:

— Еще нет, но говорят, вот-вот, — она наморщилась, точно укусила лимон.

— Как «вот-вот», ну сколько можно «вот-вот»? — налетела Большая Лида, стукнув длинными бусами о секретарский столик. — Битых два часа торчим, можно, наконец, принять людей!

Тут же за ее спиной с театральной демонстративностью открылась дверь кабинета. Все вскочили, спешно надевая на лица улыбки, будто противогазы по сигналу химической атаки.

— Два часа рабочего времени в моей приемной, как это мило, — проговорила Ика, стоя в дверном проеме, точно в раме официального портрета. — И сколько тут народу! Ну, у женщин праздник, это я еще могу понять, а мужчины почему отдыхают? Приняли Восьмое марта на собственный счет?

— Вадим Вадимыч уехал уже, велел праздновать, — заискивающе проговорила Большая Лида, за спиной делая виляющие знаки команде начинать поздравление.

— Но я-то еще здесь, — холодно возразила начальница, глядя Большой Лиде куда-то на подбородок, сжавшийся в напудренный комок. — Или это не считается? Я для вас пустое место, так? Что вы там трясете хвостом, как трясогузка?

Большая Лида в отчаянии выдернула руку из-за спины и схватилась ею за бусы, тотчас хлынувшие на пол и защелкавшие, с добавочным стрекотом, по голому паркету.

— Господи! Что я вам сделала? — со слезами в голосе воскликнула Большая Лида, пятясь от граненого ливня.

— Вы? Мне? — Ика иронически сощурила свои холодные глаза.

Начальница по случаю праздника была при полном параде, в мучительно продуманном костюме, где каждая деталь, выдержанная в зеленых и бежевых тонах, как бы ручалась за несколько других; ее нездоровое серое лицо, с какими-то темнотами, размазанными вниз, казалось полученным по факсу. «Блин, на фига я сюда приперся», — думал Максим Т. Ермаков, пятясь в угол предбанника, где стояли старые набрякшие рулоны с распечатками дизайн-макетов; рулоны поехали по стене дугой и грузно шлепнулись.

— Макс, и вы здесь! — нехорошо обрадовалась Ика, и поздравители поспешно расступились, предоставляя Максима Т. Ермакова и поваленную им бумажную рухлядь в распоряжение начальства.

— Ой, здрас-сьте! — откликнулся Максим Т. Ермаков противным детским голоском.

— Ой, а я как раз хотела вас вызывать, — в тон ему подхватила Ика. — Хорошая новость: утвердили бюджет. Не слышали еще? Большой, привлекательный бюджет. А вас, вы знаете, решили освободить для креативной работы. Финансовая часть проектов вас больше не касается. Замечательно, правда?

Максиму Т. Ермакову показалось, будто все освещение, включая солнечное, на секунду мигнуло.

— Я бы так не сказал, — произнес он осторожно, предъявляя Ике свою самую большую позитивную улыбку, от которой попискивало за ушами. — Я умею работать, знаю людей во всех партнерских структурах. Этим не обрастают за полтора месяца. И у меня вообще-то опыт…

— Знаю-знаю, — игриво перебила начальница, погрозив указательным. — Спасибо, что так беспокоитесь. Но я как-нибудь справлюсь, Макс, вы это должны понимать.

«Ну, ты и сволочь, — подумал Максим Т. Ермаков, продолжая улыбаться с остервенением, будто тянул сжатыми зубами грузовик. — Тридцать тысяч зеленых просто взяла и из кармана вытащила, это минимально. Я же намного скромней тебя, зараза. Я же почти на одних скидках живу, которые сам и добываю.

Кто тебе, такой вот швабре, даст дисконт? Нет, ты хапнешь грубо, откатом. Представляю, какой ты под себя накрутила бюджет…»

— Вы побледнели, Макс, — участливо проговорила Ика. — Знаете что? Мы, пожалуй, и часть креативной работы передадим какому-нибудь большому рекламному агентству. Надо освежить имидж нашего продукта. Так вот взбодрить его, понимаете меня?

На последних словах, показывая, как надо взбодрить бренд, начальница расправила плечи и рубанула воздух обтянутым лягушачьей кожицей энергичным кулачком. Тотчас многие из поздравительной команды выпрямились, демонстрируя нужную бодрость, тут и там сверкнули глаза.

— Можно, конечно, и передать, — вздохнул Максим Т. Ермаков. — Только встанет это во что? Агентство смету вам нарисует — и что туда заложит? Своих бухгалтеров, свою аренду, парковку свою. За нашу парковку фирма мало платит? Вот и на чужую раскошелится.

— А это не ваше дело! — злобно отрезала Ика, и Максим Т. Ермаков сообразил, что попал в точку. — Так, вы пришли сюда, я вас не вызывала. Что вы хотели?

— Да я же не к вам, Ирина Константиновна, — благодушно расплылся Максим Т. Ермаков. — Я вот к Люсе пришел. Праздник же сегодня. Поздравить и все такое…

От такой невиданной наглости поздравительная команда охнула. Кто-то дернул шарики, давно и мирно дремавшие на шкафу, кто-то бросился вперед с корзиной хризантем.

— Люсенька, с праздником тебя, с днем, так сказать, начала весны, — громко и торжественно произнес Максим Т. Ермаков и положил перед Люсей букет.

Казалось, эти цветы были первым, что Маленькая Люся увидела сегодня по-настоящему. И они стоили того. Белые розы в запотевшем целлофане чуть-чуть раскрылись, словно сделали вдох; нежный зеленоватый оттенок лепестков был как естественный румянец растения, шипы, будто слезами, заволокло чистыми каплями воды.

— Ой, какие… — прошептала Маленькая Люся.

Поздравители не дали Ике полюбоваться на эту странную сцену. Людской клубок, нестройно выкрикивая какие-то подхалимские стихи, выкатывался в коридор. Большая Лида выхватила из платяного шкафа рыхлую шиншиллу оскорбленного начальства и, тряся пальтишком, словно собираясь им накрыть всю свою кипучую кодлу, пристроилась в арьергард.

— Спасибо, Максик, — тихо проговорила Маленькая Люся. — Очень красивые цветы.

Настала тишина, в глубине которой еще звучало округлое эхо удалявшихся поздравлений, потом мелодично звякнул поглотивший Ику центральный лифт, и тишина расслабилась, привольно разлилась по этажу. «Ну вот я и в жопе. На голой зарплате. Поверить не могу», — тоскливо думал Максим Т. Ермаков. На месте денег, вынутых Икой из жизненных планов и из самой души, образовалась пустота: Максим Т. Ермаков чувствовал эту пустоту, когда вдыхал и выдыхал воздух.

— Ладно, я пошел, — уныло бросил он, направляясь к дверям.

— Максик, подожди, — окликнула его дрожащим голосом Маленькая Люся. — Мне очень надо с тобой поговорить.

— Пойдем покурим, — попросила Маленькая Люся, нервно дергая ящики стола в поисках сигарет.

Курилка располагалась далеко, на боковой белесой лестнице, и была обустроена со всеми неудобствами, приличествующими корпоративной борьбе с нехорошей привычкой и потреблением чужого продукта. Идти надо было через

весь этаж, потом подниматься, снова шагать вдоль длинной, сочащейся холодом стеклянной стены, затем спускаться на четыре пролета, тесных и крутых, — чтобы достичь наконец замшелой от пепла тумбообразной урны, механически спускавшей окурки в черную водицу.

— Тут, вроде, тихо, — проговорил Максим Т. Ермаков, пытаясь ровной интонацией успокоить Люсю, у которой пляшущая в пальцах сигаретка никак не брала огня.

— Макс, — произнесла Маленькая Люся грубым мокрым голосом, — ты знаешь, у меня Артемка, сын… Ну, ты в курсе… Его прооперировали в кардиоцентре. Успешная операция, я хирургу цветы отнесла, коньяк. И вдруг — стали отказывать все органы… Словно кто его отключает, систему за системой… Он в реанимации, в сознание не приходит уже двенадцать дней. Врачи говорят, что и не придет. Может, он слышит меня…

Тут глаза у Люси сделались вдвое больше и заблестели страшным зыбким блеском; вдоль носа двумя дорожками поползла горячая влага и, мутная от пудры, закапала с подбородка. Максиму Т. Ермакову стало не по себе. Он еще никогда не видел, чтобы слезы вот так непрерывно текли по неподвижному лицу, точно вода по камню.

— Я очень сожалею, — ответил он словами положительного персонажа из голливудского фильма.

— У нас осталось, может, несколько дней, — Маленькая Люся не столько затягивалась, сколько кусала сигарету. — Может, неделя или две. Артемка борется, не хочет уходить. У него совсем холодная кожа, только лоб горячий и волосы высохли, стали как синтетика. Он весь уже на искусственной поддержке, ночью сижу возле него, а такая гофрированная штука ухает, будто сова. Это Темка дышит. Он еще такой маленький, он совсем не понимает, что такое смерть, и как же ему умирать? Он ведь что-то думает, и я сижу рядом с ним, пытаюсь представить — что. Маленькому ребенку легко внушить, что он виноват: ломал игрушки, сумку маме разрисовал фломастерами. Я боюсь, что он думает, будто это все ему за сумку. Ребенок верит, будто его простят, не станут наказывать, если он пообещает, что больше не будет. Что мама простит… Иногда мне кажется, что я уже одна, совсем одна со всем этим, понимаешь, Макс?

— А чего тебе Ика отпуск не дает? — спросил Максим Т. Ермаков, почему-то переходя на шепот.

— Я не рассказываю никому, — тоже шепотом ответила Маленькая Люся. — Так, знают в общих чертах. Я боюсь почему-то. Кажется, если все поймут, как нам с Артемкой плохо, будет еще хуже. Почуют кровь и загрызут. Веришь, Максик, по улице иду, спускаюсь в метро и мечтаю стать невидимкой.

— Тогда мне почему говоришь?

В ответ Маленькая Люся улыбнулась той слабоумной улыбкой, которая в последнее время не сходила с ее обглоданного личика, и ухватила Максима Т. Ермакова за толстое запястье.

— Максик, они тебя все равно достанут, — жарко прошептала она, моргая слипшимися ресницами.

— Они — это кто?

— Они, — Маленькая Люся скосила глаза на стеклянную дверь. — Они же не отступятся, Макс. Я сейчас ужасные вещи говорю… Но только ты потом все равно… Из пистолета в голову… А нам с Артемкой будет уже поздно… Если бы ты решился? Это подло — так тебя просить, но я уже на все готова, на все!

— Погоди. Да погоди ты, не реви! — Максим Т. Ермаков опустился перед Люсей на корточки. — Сосредоточься, гляди на меня. Вот ты взрослый, умный человек. Ты действительно веришь в то, что если я застрелюсь, то Артемка будет жить? Давай, включи логику. Ты правда думаешь так?

Маленькая Люся медленно подняла на Максима Т. Ермакова пустые мокрые глаза, медленно помотала головой.

— Ну, вот видишь! — обрадовался Максим Т. Ермаков. — Сама понимаешь, этого не может быть. Какая связь? Как может один человек, который живет и никого не трогает, быть причиной аварий, катастроф, смертей? Я что, по ночам поезда пускаю под откос?

— Тогда почему?.. — тихо спросила Маленькая Люся.

Максим Т. Ермаков, конечно, понял, что имелось в виду. Если отвлечься от ясного внутреннего ощущения, что все обстоит именно так, как описали ему в памятной первой беседе государственные головастики, то история могла иметь множество объяснений: какой-то специальный тренинг, например, или кривая многоходовка охреневших спецслужб, принявших Максима Т. Ермакова за международного террориста. А что такое «внутреннее ощущение»? Нельзя ни потрогать, ни отколупнуть.

— Я не знаю, — почти честно ответил Максим Т. Ермаков Маленькой Люсе, почти без усилия глядя прямо ей в лицо, все-таки резавшее его почти открытый взгляд, будто слабосильная электрическая лампочка. От этой беспокоящей рези на глаза Максима Т. Ермакова внезапно навернулись крупные слезы, по чайной ложке каждая.

— Максик, какой ты хороший, — растроганно проговорила Маленькая Люся, вытирая тылом ладони вялую щеку. — Если бы я могла тебе помочь…

— А ты можешь, кстати, — вдруг сообразил Максим Т. Ермаков. — Видишь, меня прессуют, а я не понимаю ничего. Эти психи перед офисом — кто они такие, откуда взялись? Перед подъездом у меня такая же толпа придурков. Ну хорошо, со мной провели отдельную беседу, навесили мне на уши лапши. А им откуда известно про мою голову, про пистолет? Вот ты, к примеру, где взяла информацию?

— Как, ты ничего не знаешь? — удивление ненадолго переключило Маленькую Люсю с горя на реальность. — Ты давно набирал свою фамилию в поисковике, в Яндексе, например?

— Чего мне ее набирать? — в свою очередь, удивился Максим Т. Ермаков. — Я не знаменитость, не звезда. По телевизору про меня нет ничего. Мне вчера один журналюга доступно объяснил, что камеры не приедут, поскольку за пиар не плочено. Я и сам все понимаю, не вчера родился.

— Нет, ты не понимаешь, — деловито перебила Маленькая Люся, страшненькая, как старая обезьянка. — В Сети Максим Ермаков — это как бы не ты. То есть ты, конечно, но как бы персонаж компьютерной игры. Игра называется «Легкая голова», самая рейтинговая в онлайне. Ну, и блоггеры все время про тебя пишут. То есть как бы про того Ермакова, который персонаж, но на самом деле… Вот что, пойдем вернемся, я тебе лучше покажу. Ой, Макс, там такое!..

В приемной Максим Т. Ермаков взял у Люси ключи и обстоятельно запер дверь на три оборота замка. Тем временем Люся залезла в свое сутулое креслице и щелчком ногтя по клавиатуре разбудила компьютер.

— Максик, загружаю, — сообщила она, волнуясь и ерзая.

Максим Т. Ермаков протиснулся в секретарский закуток, отчего мебель крякнула, и вперился в монитор.

Так-так.

Даже ему, не понимавшему ничего про компьютерные игры и сроду в них не игравшему, сразу стало очевидно, какие громадные бабки вбуханы в разработку «Легкой головы». Графика была изумительная; дом, где обитал Максим Т. Ермаков, был узнаваем не только своим коренастым двухтумбовым силуэтом,

но даже жалобным выражением балконов, напоминавшим поставленные друг на друга тарные ящики со всяким хламом. Окно Максима Т. Ермакова на седьмом этаже мигало красным, будто тревожная кнопка.

— Максик, смотри, — Люся двинула мышкой, и дом начал укрупняться, распадаясь на мутную сетку и тут же уточняясь. На углу проявилась синяя табличка: «Усов пер., 16». — Это твой адрес, — сообщила Люся, что Максим Т. Ермаков и без нее уже уяснил.

— Кликни на окно, — потребовал он, шумно сопя носом.

Тут же ему показалось, будто в квартиру к нему вломилось полгорода москвичей. Реалистичность картинки была потрясающей. Вот комната, вот кое-как прикрытая пледом мятая кровать, вот бурый стол заслуженной учительницы с кубическим чернильным приборчиком, вот кресло, а на нем брошенные сегодня утром шелковые галстуки, напоминающие, при движении мыши, шевелящийся узорчатый змеиный клубок. Люся, составив бровки уголком, развернула картинку, повела влево, надвинулась прихожая, и Максим Т. Ермаков узнал на вешалке свое, висящее спиной к зрителю, испорченное кашемировое пальто.

— Так это что, смесь игры и реалити-шоу? — спросил он сам себя, быстро соображая, что разбросано в ванной.

— Не знаю, Максик, тут много странных фишек, — виновато откликнулась Маленькая Люся. — И это, представляешь, только обложка! Тут можно выйти на лестницу, спуститься в лифте, сесть к тебе в машину…

— А сам-то я где? — грубо перебил Максим Т. Ермаков.

— Сейчас, смотри.

Да, действительно, очень похож. Белая морда во весь монитор. Щеки, будто набитые чем-то карманы, выпученная ухмылка, какая бывает у отражения в самоваре. Вот морда отплывает подальше, поднимается толстопалая белая рука в черном рукаве и с черным пистолетом. Хлоп! Голова становится прозрачной, напоминая рентгеновский снимок; пуля медленно распарывает воздух, за ней тянется красивый радужный шлейф. Бамц! Пуля входит в голову и начинает там резвиться, будто золотая рыбка в круглом аквариуме. И снова ухмылка, как ни в чем не бывало, монстр как бы в комическом размышлении почесывает дулом пистолета толстокожую голову, на мониторе всплывает окошко: «ЖМИ СЮДА!»

— Ясно, — пробормотал Максим Т. Ермаков, пряча замешательство. — Люсь, ты кинь мне ссылку, дома почту приму, поиграю, погляжу, как там чего.

— Конечно, Максик. Ты, Максик, только сильно не переживай, — беспокойно заговорила Люся, брякая костлявыми пальчиками по клавиатуре. — Все, отправила! Максик, погоди, еще что покажу.

— Что? — резко обернулся Максим Т. Ермаков, уже нацелившийся вылезать из секретарского закутка и мечтавший порасшибать всю мебель в приемной.

— Я кое-что нашла в Интернете. Это, правда, важно. Видишь, люди путают игру с действительностью. Их на это провоцируют! — Маленькая Люся скорчила ту бессмысленную гримаску, которая в последнее время часто мелькала у нее на лице. — Вот, человек потерял близких в катастрофе. Представь его состояние. Если больше нет твоего мужа, твоего ребенка — это уже другой мир, чужой, непонятный. И если поверить, что твой муж и ребенок погибли, то можно верить и в другие невероятные вещи. Хоть в чертей, хоть в летающие тарелки. Жертвы эти, которые кидают в тебя овощами, воспринимают игру как подсказку. Им кажется, будто кто-то осведомленный дает им наводку. Тем более они моментально выясняют, что и адрес настоящий, и персонаж реально существует…

— Это я уже понял, — перебил Максим Т. Ермаков. — Хочешь сказать, что горе делает человека идиотом?

— Не всякого, — тихо, с обидой, проговорила Люся. — Ты, Макс, лучше посмотри. Я ведь и правда хочу тебе помочь.

На мониторе, с шипением и гулом неясных голосов, пошло любительское видео. Снимали зимнее взлетное поле, плоское и мерзлое, с чернильным леском на горизонте. Самолеты тут и там отрывались от бетона, похожие на задастых и важных, распустивших крылья гусаков. Картинка была неустойчивой; прыгала, то и дело попадая в кадр, какая-то неясная круглая башня. Вдруг камера поймала, как муху, трепещущий над башней серый силуэт. Силуэт, дрожа, стал стремительно расти, за ним тянулась жирная черная нить. Внезапно аварийный самолет сделался размером с кита и словно попытался нырнуть в пучину земли, плеснув, как кит, отломившимся хвостом. Вспыхнуло и вспухло курчавое пламя, гул человеческих голосов вырос до нестерпимой громкости и резко оборвался. Пламя застыло на остановившейся картинке, точно гигантская рыжая дамская прическа.

— Это казанская катастрофа, подлинная съемка, — пояснила Маленькая Люся, сворачивая видео.

— Ага, — пробормотал Максим Т. Ермаков, сразу вспомнив стоявшую перед офисом группу казанцев: плотных, плотно упакованных в черные кожаные куртки, в одинаковых круглых норковых шапках на почти одинаковых круглых головах.

— А теперь посмотри сюда, вот, четвертый уровень игры, — позвала, загружаясь, Маленькая Люся.

Все то же самое, но будто обернутое в целлофан. Воспроизведены один в один ряды запаркованных самолетов, тупой силуэт башни, даже проезд грузовой миниатюрной гусеницы, везущей похожие на кофейные зерна миниатюрные чемоданы. Разница состояла в том, что на летном поле лежали черные, как буквы, человеческие фигурки, из-под каждой вытекало, очень натурально подъедая снег, кровавое пятно. Игра, похоже, демонстрировалась в записи: безо всякого участия Маленькой Люси на летном поле шла перестрелка. Какой-то мультипликационный тип, с плечами широченными, как коромысло, и юркий клетчатый толстяк пуляли друг в друга круглыми зарядами, нанизывая их, точно бусины, на огненные нитки. Толстяк попал! Широкоплечий тип дисциплинированно улегся на бетон — и сразу в молочном небе появился серый дрожащий силуэт, самолет грохнулся, разломился, загорелся, на мониторе замигало, зудя, красное окошко: «Вы уничтожены».

— Это они, собственно, хронику обработали, только не пойму, в какой программе, — пробормотал Максим Т. Ермаков. — Представляю, сколько за эту съемку отвалили бабла. Снимал себе человек просто так, может, играл с новым телефоном, и вдруг раз — в миллионеры…

— Вдруг раз, и сто шестьдесят человек погибло, — напомнила, сверкнув глазками исподлобья, Маленькая Люся.

— И что? Я тут при чем? — злобно огрызнулся Максим Т. Ермаков. — Ты хоть представляешь, чего на меня грузят? Те погибли, те умерли, здесь, там — и все имеет отношение ко мне! Да в мире всегда что-то такое происходит, назови мне год, когда не падали самолеты! Это кем надо быть, чтобы взять все на себя и со всеми все пережить? Титаном, Христом?

— Максик, извини, — сразу смягчилась Люся. — Конечно, ни один человек такого не выдержит. Ой! Так ведь они на это и рассчитывают! — вдруг догадалась она, схватившись ладонью за щеку. — Ну, чтобы ты застрелился!

— Ага, дошло, как до жирафа, — Максим Т. Ермаков, набычившись, засунул руки глубоко в карманы своих позорных забрызганных брюк. — Но я-то выдержу. Это уж я тебе точно обещаю. Я им устрою облом. Кстати, про игру. Это что, обыкновенная тупая стрелялка? Ничего понавороченнее они не придумали?

— Придумали, конечно. Тут можно играть по-разному: одному создавать команду из персонажей с разными свойствами, играть онлайн в команде с дру-

гими игроками, даже проходить обучение и получать квалификации. Очень много сложных миссий. Главная цель игры — чтобы ты, то есть герой, выстрелил себе в голову из пистолета. Для этого надо попасть в героя, не помню сколько раз, больше тысячи, причем из разного оружия. А на первых трех уровнях, если игрок попадает в Ермакова, то Ермаков становится только сильнее, быстрее, лучше вооружается. Поэтому на четвертый уровень мало кто проходит. Только при помощи специального ключа…

— Очень, конечно, все интересно, только Ермаков — это я, между прочим, — язвительно проговорил Максим Т. Ермаков, чувствуя себя не столько застреленным, сколько ограбленным. Внешность его, перейдя в игру, сделалась как бы достоянием общественности. Внезапно уменьшившись до внутреннего содержания, Максим Т. Ермаков стал как десятилетний ребенок, ростом в метр двадцать, и этому ребенку, стыдно сказать, хотелось плакать. — А миссии, собственно, в чем состоят? Как они связаны с реальными катастрофами? — спросил Максим Т. Ермаков, терзая в карманах какой-то бумажный хлам.

— Напрямую и связаны, — с готовностью ответила Маленькая Люся. — Вот, там, где я тебе показала, надо было спасти самолет с пассажирами. Если бы кто-то из команды игроков выжил и нашел чемоданчик с кодом, самолет мог бы сесть и двигатель удалось бы потушить.

Максим Т. Ермаков медленно вынул руки из карманов. Бумажки, которые он отросшими ногтями превратил в клочки, оказались сторублевыми и пятисотрублевыми. Блин!

— Можно склеить, — Люся виноватым взглядом проводила порхающую наличность.

— Ладно, забудь, — Максим Т. Ермаков отряхнул со штанов налипшие клочки. — Только одно мне еще интересно: почему ты играешь в эту муть? Когда у тебя такие обстоятельства, ты уж извини!

— Это не я, это Темка! — с гордостью воскликнула Маленькая Люся. — В этой игре тысячи и тысячи разного народа, а Темка в четвертой сотне по очкам, представляешь? Никто из геймеров не знает, что он ребенок. Все думают, будто ему уже восемнадцать!

Выпалив это, Маленькая Люся вдруг осеклась, улыбка на ее лице застыла трещиной. «Никогда твоему сыну не будет восемнадцати лет», — отстраненно подумал Максим Т. Ермаков. Только бы она опять не разревелась, дала спокойно уйти.

— Ну, я поехал! — сообщил он бодро, прокручивая ключик, торчавший из дверного замка. — С праздником тебя еще раз, несмотря ни на что! И спасибо, ты мне правда помогла.

Пробка сияла, сколько хватало глаз, точно большая река в огнях. Сотни колес тяжело хрустели размолотым ледком, поднимался подсвеченный пар, густые лужи на подтаявшем дорожном полотне были как клей. «Вашу мать, больше двух часов, как на самолете до Парижа», — с досадой думал Максим Т. Ермаков, сворачивая наконец в хилый Усов переулок, известный теперь, выходит, тысячам и тысячам придурков. Парковка оказалась забита ржавыми советскими транспортными средствами, принадлежавшими, должно быть, дворовым демонстрантам. Кое-как приткнувшись, Максим Т. Ермаков выбрался из «Тойоты» — и только тут с отвращением вспомнил, что завтра Восьмое марта. Подарка Маринке он так и не купил, но надо хотя бы шампанского, конфет, торт какой-нибудь. Ничего, ничего. Держись, Объект Альфа, никто тебе не поможет, кроме тебя самого.

Подвальный минимаркет приветливо мигал электрической гирляндой, точно завтра наступало не Восьмое марта, а опять Новый год. В магазине бойко брякала касса, продавщица в овощном отделе сосредоточенно завешивала боль-

шую, как люстра, кисть винограда, покупатели толпились с полными корзинками, из которых в разные стороны торчали золотые и простые бутылочные горла. Праздник! Но только Максим Т. Ермаков собрался вступить в торговый зал, как путь ему преградил знакомый охранник, от которого на близком расстоянии сильно пахло грубой шерстяной одеждой.

— Вас не обслуживаем, — буркнул он, набычившись.

— То есть как? — опешил Максим Т. Ермаков. — Я постоянный ваш покупатель! Вы что, не узнали меня? Каждый день почти сюда хожу!

— Сказано: не обслуживаем! — громче повторил охранник, напирая на Максима Т. Ермакова толстой форменной грудью, усаженной, будто вбитыми гвоздями, железными пуговицами.

Максим Т. Ермаков беспомощно заозирался. Желтоволосая кассирша, всегда такая любезная, теперь показывала землистый непрокрашенный затылок, с преувеличенным вниманием разбирая корзины благонадежных граждан.

— Да я на вас в суд подам! — воскликнул Максим Т. Ермаков не своим, почти женским голоском. — Позовите директора!

— Нету директора, домой уехал. Давай, проход освободил, на улицу быстренько вышел!

С этими словами охранник вытеснил Максима Т. Ермакова из магазина и, сопя, пихая под лопатку, заставил подняться по неровным ступенькам наверх, туда, где неприятный ветерок вздымал, по горсточкам наметая с асфальта, скудную снежную крупу.

Максим Т. Ермаков в растерянности захлопал по карманам, ища сигареты. Охранник, потоптавшись, тоже вытащил коробку папирос. Оба закурили, заслоняя от ветра рваный огонь зажигалок, причем курносое лицо охранника, озаренное на миг турбореактивным пламенем из его кулака, сделалось похоже на большой и выразительный кукиш.

Тут за спиной Максима Т. Ермакова послышался мягкий, как бы шелковый, тенорок:

— Вечер добрый, сосед!

Максим Т. Ермаков резко обернулся. Перед ним стоял алкоголик Вася Шутов собственной персоной. Он состриг горелое со своей рыжеватой бороды, и теперь борода, сделавшись кривой, напоминала истертый, изработанный до корня веник. На голове у коренного москвича красовалась гнилая шапка-ушанка, похожая на кошачий труп, и одет он был в розоватый, цвета сардельки, женский пуховик, принадлежавший, должно быть, одной из его постоянных сотрудниц, в данный момент занятой с клиентом.

— Что, не продают тебе? — участливо спросил коренной москвич, помаргивая теплыми глазками, почти утонувшими в сизых мешках.

— Ну, — неохотно подтвердил Максим Т. Ермаков.

— Слышь, давай по-соседски помогу, — конспиративным шепотом предложил Шутов. — Ты скажи, чего надо, я мигом закуплюсь! И плохого не думай, у меня в голове бухгалтерия. Только дашь мне на беленькую, по случаю праздника. В виде комиссии, а? — Шутов подобострастно осклабился, показывая один, торчавший вперед, желтый, как щепка, передний зуб.

Максим Т. Ермаков заколебался. Иметь дело с алкоголиком Шутовым никак не входило в его ближайшие планы. А с другой стороны — как быть? Тяжело вздыхая, Максим Т. Ермаков отсчитал в трясущиеся руки алкоголика три пятисотрублевые бумажки, потом подумал и добавил еще одну.

— Значит, так: тортик йогуртовый, лучший, какой продают, потом коробку конфет, шампанское, коньяк, куриное филе или стейк из телятины, посмотришь там… — перечислял Максим Т. Ермаков, досадливо кривясь на радостные кивки

взбудораженного алкоголика. — Себе за труды возьмешь поллитру не самую дорогую. Мне сегодня денег на работе срезали, так что я теперь буду очень экономный!

— Все понл! Понл!

Держа перед собой радужные пятисотрублевки, алкоголик резво запрыгал по ступенькам в магазин. Максим Т. Ермаков остался на ветру, из-за которого обледенелый асфальт выглядел таким скользким, что по нему, казалось, нельзя было сделать ни единого шага. Время тянулось медленно. Подошвы тесных ботинок от холода сделались каменными, ног в ботинках как будто не было вовсе. «Сейчас наберет всякой дряни», — угрюмо думал Максим Т. Ермаков, глядя сверху вниз на магазинную дверь.

Однако опасения его не оправдались. Счастливый, словно уже отхлебнувший, Вася Шутов вылез на поверхность, волоча набитый доверху продуктовый пакет. В другой пакет, предусмотрительно захваченный на кассе, он стал по одной перекладывать покупки, одновременно сверяясь с длинным, уже замусоленным, магазинным чеком, и Максим Т. Ермаков с удивлением убедился, что Шутов взял все то, что он бы выбрал сам. Под конец в отощавшем мешке повисли, брякая, водочные бутылки.

— Ты, это, не обижайся, сосед, я тут две взял, акция у них, скидка, то есть, — виновато сморщился Шутов. — А если обижаешься, так бери одну себе! — Он вытащил и предъявил крайне подозрительную бутылку «Столичной», чье горлышко напоминало грубо забинтованный палец.

— Нет уж, пей такое сам, — отшатнулся Максим Т. Ермаков.

— Вот спасибо, добрый человек! А то девочки у меня, им тоже по глоточку! Работа у них тяжелая, вредная… — бормотал довольный Шутов, роясь в кармане пуховика. — Сдача! Все до копеечки, — он вложил в руку Максима Т. Ермакова комок перемятых десяток и несколько монет, липких, как леденцы.

— Да ладно, оставил бы себе, — проговорил Максим Т. Ермаков, отчего-то смутившись.

— Деньги — ни-ни! — Шутов куражливо вздернул косую бороденку. — Деньги берем только за услуги. Работаем честно! А так, по-соседски — всегда поможем. Так что обращайся. Номер квартиры знаешь. Все по списку купим, на дом принесем!

«Спасибо, что девочек своих не предложил», — кисло подумал Максим Т. Ермаков, раскланиваясь со щепетильным алкоголиком. Шутов, держа на отлете трепещущий мешок с бутылками, точно даму, ведомую в танце, заспешил вперед. Максим Т. Ермаков тяжело шагал, отставая, ручки его увесистого пакета вибрировали и посвистывали на ветру. Демонстранты перед подъездом сбились в тесный кружок и, судя по выражению спин, разливали спиртное. Ну и ладно. Гораздо неприятнее была долговязая фигура участкового, обрисовавшаяся под сутулым фонарем; маленький, скобочкой, рот милиционера был сердито сжат, походка выражала решимость совершить какой-то, пока никому, включая самого участкового, не известный поступок. «Этому, блин, чего надо от меня?» — с досадой подумал Максим Т. Ермаков, замедляя шаг.

Но оказалось, что участковый пришел не по его душу. Завидев Васю Шутова, милиционер дернул в его сторону костяным подбородком, и Вася послушно потрусил, запихивая водку вместе с пакетом за полу пуховика.

— Значит, шляемся где-то, дома не сидим, — недовольно проговорил участковый, приподнимая фуражку и обкладывая ледянистый лоб большим не первой свежести платком.

— Так я, Андрей Андреич, только до магазина и обратно… — заоправдывался Шутов.

— Ну, ясно, что не в библиотеку бегал, — насмешливо перебил участковый. — Я тебе говорил про рейд? Говорил. Так вот, на завтра назначено, на самый праздник. После двух часов сиди дома, как пришитый, приедем тебя забирать.

— Понл, Андрей Андреич! — бодро воскликнул Шутов, заправляя за пазуху торчавший и шуршавший полиэтиленовый лоскут.

— Смотри у меня, — нажал голосом участковый. — Мне завтра цифры нужны, показатели. У тебя вместо мозгов брага, убредешь куда-нибудь, и придется вместо тебя приличного гражданина сажать в обезьянник.

— Только, Андрей Андреич… Хорошо бы без этого, а? — Шутов осторожно дотронулся клешней до рыхлой, словно бы разваренной, скулы. — Ну, или не со всей дури, полегоньку? Я же добровольно и сознательно!

— Ишь ты, добровольно он, — зыркнул из-под фуражки участковый. — Твой образ жизни, гражданин Шутов, предполагает регулярное получение по морде. Притон держим? Держим. Пьем как лошадь. Тебя, если по закону, давно закрывать надо лет на пять общего режима. Соседи добрые у тебя, заявлений не пишут, только устно иногда пожалуются. И я что-то добрый стал. Такая беда, как ты, у меня на участке, а я еще с тобой по-хорошему, как с человеком, образно говоря.

— Андрей Андреич, да я же понимаю! Да я ж не подведу! — зачастил подобострастный Шутов, так, что Максиму Т. Ермакову захотелось сплюнуть. — Вообще завтра из дома носа не высуну!

«Вот он, наш народ, — злобно подумал Максим Т. Ермаков. — Вот и клади за них жизнь!» В этот момент алкоголик Шутов показался ему символом всей той беспросветной народной массы, во имя которой государственные головастики понуждали его застрелиться. Ветер закручивал штанины Шутова вокруг его тощих полусогнутых ног, норовил сбить шапчонку, обшаривал его, осклабленного, укрывающего водку. Одна из девиц, появившись из темноты, робко взяла своего патрона под локоть — еще более неустойчивая, чем Шутов, на высоченных платформах, отчего казалось, будто к ее ломким ножкам-спичкам привязаны чугунные утюги. Совершенно не меняя выражения лица, участковый извернулся и хлопнул девицу по заднице, плоской, как пакет формата А4. Путана, профессионально вильнув тщедушным тельцем, захихикала и заиграла подведенными глазками, отчего участковый налился кровью и крякнул.

«Вот она, гармония людских отношений, — думал Максим Т. Ермаков, ныряя в подъезд. — Эти трое на самом деле коллеги, можно даже сказать, семья. Вместе творят, так сказать, вещество жизни, ткут по миллиметру большое полотно. А я, значит, неудобный узел, который надо состричь. Или так чувствует себя любой человек, недостаточно простой? Везде в мире одиночество — личная проблема, а у нас — антиобщественная позиция. Или наша народная масса как-то по-особому устроена? Даже трудно вообразить, сколькими ниточками все они между собою связаны: соседи, родня, кумовья, кореша, одноклассники-ру… Просто мох какой-то, а не народ. Нет уж, спасибо. Я на вас, сограждане, положил с прибором. Лишь бы Маринка сейчас не начала концерта. Лишь бы не разоралась, господи, господи, тошно мне от всего».

Но никакой Маринки в квартире не было. В темноте вкрадчиво журчал унитаз, чью холодную кнопку Маринка всегда забывала понажимать, чтобы вода перестала течь. Максим Т. Ермаков включил в прихожей свет и увидел все то, что три часа назад наблюдал на мониторе: вешалку, пальто с овощными пятнами, похожую на овощ собственную шапку.

Интересно, где ее носит. Отсутствие Маринки возбуждало в Максиме Т. Ермакове почти ту же смесь удовольствия и раздражения, что и ее присутствие. Широкими шагами, выдававшими боязнь постороннего взгляда в спину, он про-

шел на кухню, выглотал из ухающего, щелкающего баллона литр минералки. Разместил покупки для романтического ужина в немытом холодильнике. Есть не хотелось совершенно, но Максим Т. Ермаков все-таки соорудил себе из батона, салата и ветчины лохматый сэндвич, наболтал в глухую чашку растворимого кофе и со всем этим, кое-как повесив в шкаф отяжелевший за день костюм, плюхнулся за компьютер.

Письмо от Маленькой Люси выскочило немедленно, будто озябшая, ждавшая под дверью собачонка. Но Максим Т. Ермаков не стал нажимать на ссылку, решив, что на сегодня видел достаточно. На самом деле ему было страшновато обнаружить себя же, сидящего за компьютером — оказаться словно в бесконечной анфиладе, какая возникает в двух стоящих друг напротив друга зеркалах, и бесконечно уменьшаться в симметричных перспективах, чья глубина так же нестерпима для ума, как бесконечность Вселенной. Вместо популярной народной игры «Легкая голова» Максим Т. Ермаков зашел на Яндекс и набрал свои имя и фамилию в строке поиска.

В новостях собственно про Максима Т. Ермакова не было ничего, там доминировал некий Максим Ермак, генеральный директор благотворительного фонда «Счастливое детство», сам похожий на пожилого розового карапуза и дающий на один подаренный детскому дому компьютер два интервью. Все, о чем говорила Маленькая Люся, располагалось в блогах. Здесь популярность Максима Т. Ермакова зашкаливала за все мыслимые пределы. Ветвились дискуссии, везде, куда ни сунься, было топко от ссылок: казалось, только ступи — и засосет, степ бай степ, в такую интернет-глубину, у которой ни смысла, ни дна. Понять, как это все структурировано и что это все означает, не представлялось возможным — по крайней мере на первых порах.

«Никогда бы не поверил, что у нас в России могут поднимать такие проекты!!! — захлебывался от восторга некий *demon_ada*, презентующий себя юзерпиком с изображением бронированного монстра, несколько похожего на бытовую скороварку. — Куда там Electronic Arts или SEGA, или Ubisoft!!! Революционная графика, движок поражает воображение! У Максима Т. Ермакова можно разглядеть даже пуговицы и щетину на морде. Зацените новинки в игровой механике. В общем, категорически всем рекомендую! Геймеры, я горжусь своей страной!»

«Можем, когда захотим», — комментировала *milena*, представленная портретиком блондинистой красоточки, ясное дело, не соответствующим действительности.

«Максим Т. Ермаков классный плохиш! Обаятельный и привлекательный. И страсть какой вредный для человечества. Эй, хорошие парни (и девчонки)! Все на борьбу с Максимом Т. Ермаковым!» — вторил красноглазому *demon'*у синеглазый paladin.

«Феерическая игра! — вел далее тему темпераментный *alex_bars*. — Подо мной два компьютерных стула пали, как скаковые лошади. Сплю два часа в сутки. Вот это жизнь! Разработчикам респект!»

«На английский игру будут переводить?» — простодушно интересовалась *milena*, вновь появившаяся со своими сахарными локонами и глазированными губками.

«Будут!!! Куда, на хрен, денутся! — бурлил патриотизмом *demon_ada*. — Даешь российский блокбастер!»

И далее в том же роде. Максим Т. Ермаков отлично знал эти левые технологии разогрева блогосферы, сам неоднократно проплачивал. Два-три юзера создают контент, два-три комментируют, стоит удовольствие недорого — в месяц пятнадцать тысяч деревянных. Правда, смотря какие юзеры. По условиям, это должны быть реальные люди с активными дневниками — но Максим Т. Ерма-

ков всегда подозревал, что в разогреве участвуют наструганные про запас виртуальные заготовки.

А дальше шло интересное.

Humanist (юзерпик с мультяшным котом в яркую пчелиную полоску): «Вчера видел живого Максима Ермакова. Реально, френды! Мне сперва сказали, я не поверил. Потом поехал в Усов переулок. Дом правда стоит. Я офигел. Потом из подъезда вываливает этот чел, зырк-зырк по сторонам — и в тачку. Ему вслед какие-то старцы палками — хресь! Не попали. Я бы попал!»

Verunchik (опять красотка, только не блондинка, а брюнетка с гладким крылом волос): «Так поезжай и попади».

Experiment (на юзерпике что-то абстрактное, многоногое, вроде раздавленного на стекле комара): «Ты сколько уровней прошел?»

Humanist: «Два. То есть полтора».

Experiment: «Ага, попал бы он. Чем кидать дешевые понты, попробуй попасть в него из арбалета во время теракта на Казанском, при индикаторе здоровья почти на нуле».

Анонимно: «Господа, это не реальный чел, это актер».

Verunchik: «Точно! Я его вспомнила!!! Он играл в сериале «Будь со мной» того олигарха, которого Катя случайно убила ножом. Как же его фамилия? Вертится на языке».

Experiment: «Не в «Будь со мной», а в «Крейсере», и не олигарха, а старпома».

Verunchik: «И в том и в другом».

Sela_mucha (юзерпик в виде ползущей мухи с оборванными крыльями): «Это рекламная акцыя игры. Ничо так креативно. Наняли артиста похожего отбашляли чтобы бегал такой красавчег. Скоро будут майки и кружки продавать с его патретом. Я куплю!»

Анонимно: «По-моему, это не коммерческая история. Игра-то бесплатная! Впаривают нам что-то, моют извилины. А вот что, не пойму».

Verunchik: «Я тихо угораю. Откуда такие анонимы «умные» берутся? Прошли курс полной разгрузки мозга? Конечно, на игре кто-то зарабатывает деньги, а какие, не наше дело».

Humanist: «Что-то не вяжется. Актера наняли, допустим. А дом тоже наняли? Или специально построили, чтобы был сразу старый, пост-советско-маразматический? Может, наоборот все. Дом рисовали с натуры, персонажа рисовали с актера».

Sela_mucha: «Безразнецы».

Experiment: «У этого актера, тоже не помню фамилию, такая своя фактура. Он поэтому играет одних мерзотных персонажей. Может, кто-то богатенький решил сделать подарок народу? Вдруг актер в конце по-настоящему застрелится из пистолета? Будут народные гулянья, как бы торжество справедливости. У миллионов людей камень с души упадет».

Verunchik: «Ага, вроде как все получат компенсацию».

Experiment: «Наш народ можно обирать, и топтать, и глотки затыкать. Но народу надо, чтобы кто-то время от времени жертвовал для него жизнью. Тогда будет баланс и самоуважение у всех. И дальше можно будет обирать и топтать».

Анонимно: «Какие мы все уроды».

Максим Т. Ермаков, читая всю эту муть, уже не чувствовал под собой ни задницы, ни кресла. Стояла глубокая ночь. В тишине по отдельности слышались звуки всех имевшихся в квартире часов: шарканье старых Просто-Наташиных настенных ходиков, крепкие щелчки железного будильника, нежная цикада механических Longines, снятых и брошенных куда-то в постель. Было что-то неестественное в отсутствии Маринки об эту пору. Никакой корпоратив не гуляет

до такого глубокого часа. Может, Маринка опять нашла себе приключение — сладкого папика с толстым кошельком? Ну и дал бы ей бог. А то ишь — замуж за тебя пойду!

Стоило бы, собственно, завалиться спать. Глаза Максима Т. Ермакова горели, словно засыпанные перцем, в голове крутился как бы слив мутной воды, забирающий в свою воронку все белое: шторы, постель. Но в Яндексе висели мегакилометры записей, содержавших мнения сотен совершенно незнакомых людей о Максиме Ермакове. Они привлекали неудержимо.

«С начала года не вылезаю из депрессняков, — сообщал некий *Kiber22*, почему-то визуализирующий себя башкой обритого жирного негра, похожей на коровью лепешку. — С тех пор как получил в табло в ночь на второе января, все в себя не приду. Мне разные мутные люди говорят, что сам во всем виноват, что со мной происходит. И даже друзья. Ну допустим, в том конкретном случае так и есть. Но чтобы виноват во всем??!!! Это кем надо быть? Я тут почитал разные посты про причинно-следственные связи и Максима Ермакова. Пишут, что из-за него у всех все плохо. Френды, дайте совет, плз: может, найти Ермакова, перетереть с ним жостко? Что он за чувак такой?»

«Я тоже читал про Ермакова, — комментировал *Ded_pichto*, заявивший о себе изображением, натурально, деда, разинувшего беззубый рот, затянутый седой паутинкой. — Тут, вроде, какие-то научные доказательства его особой роли в истории. Я долго думал над этим. По-моему, человек чувствует научные законы на уровне своей физиологии и быта. Если уронить камень из руки, то я знаю, что он упадет вниз. Без всякой формулы физики. Если я чувствую, что кто-то виноват в том, как я живу, значит, так и есть. И многие чувствуют так. Вообще большинство. Что из этого следует? Про Ермакова не лажа, а правда».

Kiber22: «А мне что делать? Может, Ермакова монтировкой по черепу отоварить?»

Ded_pichto: «Может, и отоварить. Тут всего бизнеса на полчаса».

Галерея кривых зеркал уходила в бескрайнюю Сеть. Через неизвестное время Максим Т. Ермаков почувствовал, что каждая буковка текста слезится. Серым пятном проступило за шторкой светающее окно, под потолком зыбились холодные табачные слои, снизу, из глубины двора, доносилось жесткое ширканье: дворник-таджик, похожий в своей муниципальной сине-оранжевой куртке на тропического жука, почему-то выжившего при минусовой температуре, тесал лопатой обледенелый асфальт. Максим Т. Ермаков вдруг осознал: кто-то должен быть виноват в том, что происходит в его жизни. Чувство, тонким липким язычком лизнувшее душу, было завистью — завистью ко всем согражданам, нашедшим виноватого в лице Максима Ермакова. Какое им вышло облегчение! И то сказать: людям в этой стране вот уже почти двадцать лет не дают толком определиться с виновными в постигших переменах, все играют с ними в хитрые игры. Где же они, блядь, враги народа?! Не происходит такого с народом без реальных злокозненных врагов! Дайте их нам!!!

Тут Максим Т. Ермаков словно бы погрузился в какую-то зыбкость, жидкость, тусклую муть. Каменюга сердца тянула его на дно. Это было какое-то новое, никогда прежде не испытанное состояние. Всякий видимый предмет сделался отвратителен: кружка — тем, что из нее надо пить, кровать — тем, что в ней лежат, тапки — тем, что их следует надеть и в них шаркать. Отчаяние, вот что это такое, догадался Максим Т. Ермаков. Он стоял перед компьютером босой, в развязавшемся халате, и тяжело дышал отвисшей, с гребешком белесого меха посередине, потной грудью. Стоп, стоп, скомандовал он себе. Это все запланировано. Социальные прогнозисты на это и рассчитывают. Они это специально устроили. Надо выбираться. За что бы зацепиться. За что бы схватиться, за какую соломинку.

Деньги — вот что спасет и согреет! Десять миллионов долларов. Мысль о них встречает по утрам, едва проснешься — еще недооформленная, как свет из-за поворота туннеля, поначалу серый и призрачный, но по мере приближения раскрывающийся, будто глаз, набирающий силы и жизни. Деньги — живительная субстанция, подлинная среда обитания Индивида Обыкновенного: как для рыбы вода, как перегной или морские тяжелые придонные слои для некоторых видов микроорганизмов. Будем думать о деньгах. Будем мысленно открывать плоский тяжеленький кейс, этак одновременным щелчком двух пружинистых замков; благоговейно полюбуемся ладной кладкой банковских пачек. Втянем запах: новенькие доллары, когда их много, пахнут полынью. Вынем один кирпичик, не совсем посередине, но и не с краю; он плоский и плотный, деньги не успели распухнуть от человеческих пальцев, они отдаются тебе первому, и приятный вес упаковки подобен таинственному, содержательному весу еще не прочитанного, ни разу не раскрытого томика стихов…

С этими мыслями, плывущими по комнате, Максим Т. Ермаков сладко уснул.

Разбудил его грубый, крупного помола, телефонный звонок. Сигналил Просто-Наташин домашний телефон, которым Максим Т. Ермаков практически не пользовался ввиду безлимитности мобильника. Допотопный аппарат помещался на ревматической тумбочке, в дальнем от кровати углу, и, несмотря на попытки Максима Т. Ермакова зарыться в постельное тепло, продолжал греметь. «Чего ей надо в праздник, поздравлений?» — подумал Максим Т. Ермаков про настырную Просто Наташу, из экономии никогда на мобильный не звонившую. Шатаясь спросонья и сильно шлепая босыми ногами по полу, он добрел до тумбочки, схватил и уронил скользкую трубку, выловил ее, качавшуюся на чумазом шнуре среди легких груд потревоженной пыли, и хрипло заорал:

— С праздником, с Восьмым марта!

— Тебя тоже, — ответил незнакомый голос, небольшой и плаксивый, но все-таки мужской.

Чертыхаясь, Максим Т. Ермаков нахлобучил трубку обратно на аппарат. Вкруговую потер ладонью лицо, зашуршавшее щетиной, увидел в зеркале свои глаза, красные, ошпаренные сном и как бы о чем-то вопрошавшие. Тут же телефон, надувшись, снова испустил крупнокалиберную трель.

— Чего надо? — вяло спросил Максим Т. Ермаков, прижимая трубку плечом и закуривая вчерашний чинарик, имевший вкус навоза.

— Ты трубку не вешай, интересное скажу, — прогнусавил давешний голос. — Твоя невеста, Марина Анатольевна Егорова, находится у нас. В милицию не звони. Приготовь три миллиона долларов юзаными купюрами…

— Стоп, стоп! — перебил неизвестного Максим Т. Ермаков, окончательно просыпаясь посреди холодной прокуренной комнаты. — Ты что, пацан, о.уел? Насмотрелся кина? Откуда у меня три миллиона? Надо десять баксов на дозу, так и скажи!

— А может, тебе пальчик отрезанный прислать? — обиженно отозвался неизвестный абонент. — Имей в виду, мы люди отмороженные. Не найдешь денег — будем возвращать тебе Марину Анатольевну по частям. Сперва пальчики, все двадцать. Потом носик, ступню, еще чего-нибудь такое, чтобы жива оставалась. Ну а потом уже и сам обрубок в отдельном чемодане. Желаешь получать такие посылки?

Максим Т. Ермаков потряс головой, отчего предметы в комнате посыпались и сложились наново, как в калейдоскопе. Так, сколько на валютном счету? Если забрать сейчас, плюнув на проценты? Дура Маринка, дура, дура, дура! Небось, позвали дурынду в ресторан, а привезли в подвал, с пыльной наледью на бетон-

ном полу и пустыми ржавыми батареями, издающими заунывные звуки. Лучше пока не думать. Такие воображаемые картинки могут попалить все деньги и нервы. И главное, дурища потом ни цента не вернет!

— А может, сто тысяч зеленью вам хватит? — хрипло спросил Максим Т. Ермаков плаксивого похитителя. — Все, что есть. У самой Маринки спросите, я же не олигарх.

— Ты не олигарх, ты тупой! — возмутился похититель. — Сказано тебе: три миллиона. Твоя проблема, где возьмешь. Нас не колышет, понял, нет?

Где-то на заднем плане гнусавого голоса все время выбегал сердитый женский говорок, заставлявший похитителя запинаться, мямлить и отмахиваться; еще там пиликала и прыгала какая-то маленькая музычка — и она же, вероятно, передаваемая по телевизору, слышалась сквозь стенку от соседей, отчего создавалось ощущение какого-то сквозного общего пространства, в котором похитителя можно потрогать рукой.

— Ну, хорошо, дай мне с ней поговорить, — примирительно сказал Максим Т. Ермаков, тоже вспомнивший содержание соответствующих фильмов.

— С кем это? — недоверчиво набычился плаксивый. — Да не с тобой! — обратился он изнанкой голоса к сердитой женщине, наседавшей на него с горячим шепотом, напоминавшим лопотание выкипающего чайника.

— С Мариной Анатольевной Егоровой, — усмехнулся Максим Т. Ермаков.

— С ней? А-а… Ну ладно, — вяло согласился похититель.

И положил, кретин, стукнувшую трубку на столик или что там у них имелось в качестве мебели. Сразу сделался слышнее телевизор, теперь передававший (в соседней квартире тоже) витиеватую, ноющую, как зуб, восточную мелодию. Максим Т. Ермаков жадно вслушался. Нет, не подвал. Судя по плотному, как бы закупоренному шуму, служившему фоном всей звуковой картине, это помещение на весьма высоком этаже, непосредственно над большим проспектом, где в настоящее время имеется автомобильная пробка. В помещении открывались и закрывались двери, перекликались сонные голоса, грубо брякали собираемые со стола тарелки, ложка или вилка проехала по тарелке вкруговую и зазвенела на полу. Их там человек шесть, не меньше. «Ну, где она?» — послышался далекий, уменьшенный вдвое, голос плаксивого. «В маленькой комнате, спит еще», — прозвучал сердитый ответ. «Нету там!» — крикнул плаксивый страдальчески. На это неразборчиво заговорили сразу две удалявшиеся друг от друга женщины, послышалось слово «ужратые» и еще «где я тебе возьму». «Да здесь я!» — крикнула откуда-то живая и целая Маринка, и сердце Максима Т. Ермакова нехорошо захолодело. Снова распахнулась дверь, послышался характерный звук водяного бурения, с каким сильная горячая струя наполняет ванну. Шепот, восклицание, округлый босой топоток. Наконец, Маринкин голос в трубке:

— Максик! Они меня завезли, надели на голову мешок. Спаси меня, Максик! Они меня убьют! Пожалуйста! — каждая интонация фальшива, все вместе напоминает плохое исполнение народной припевки.

— Все, хватит! — это плаксивый выхватил трубку. — Готовь деньги, тебе позвонят!

Некоторое время Максим Т. Ермаков тупо смотрел на пожелтелый от старости, напоминающий череп с бренчащими остатками разума телефонный аппарат, словно видел такую штуку впервые в жизни. Потом пошел на кухню, вытащил из холодильника, с треском ломаемой пластиковой крышки, праздничный торт, украшенный полупрозрачным желеобразным фруктом. Сожрал, сковырнув его пальцами, скользкий фрукт, потом отрезал, ломая кондитерский декор, толстый млечный клин, сожрал его тоже. Облизал испачканный кухонный нож, чувствуя сквозь сладость кислый вкус черного железа, щекотку лезвия на языке.

Значит, так: все, что слышалось по телефону, походило не на пьянку дежурящих братков, а на похмельное пробуждение хорошо погулявшей накануне дружеской компании. Человек, которого похитили, не кричит «Да здесь я!» из ванной. И вообще концы с концами вяжутся плохо. Ну, допустим, Максим Т. Ермаков, впечатленный угрозами плаксивого, использует единственный путь добычи суммы: быстренько напишет на Маринку завещание, а потом, как идиот, пальнет себе в башку. Все равно Маринка вступит в права наследства не раньше, чем через полгода. Будут ли ее держать все это время взаперти? Допустим, будут, сумма выкупа стоит того. Но, вероятно, ей самой предстоит потом являться в нотариат, проходить через юридические процедуры. Или это можно через доверенность? И все-таки: слишком неуклюжее построение, слишком много «но». Как-то все тупо. Но разве мало случаев, когда тупость в соединении с жадностью приводили к страшненьким последствиям, причем инициатор только лупал глазами на свои результаты, до которых просто не добрел в коротеньких мыслях?

Блин! Тут самолеты падают, здания рушатся, жертвы исчисляются сотнями. Борьба за права Индивида Обыкновенного требует отражать весь этот напор, все равно как держать на весу тяжелый щит, в который бьет весь мир. До сих пор получалось, вроде, хотя Максим Т. Ермаков далеко не титан. И вот, пожалуйста: пропущенный удар, от близкого, можно сказать, человека. Не набрать ли Кравцова Сергея Евгеньевича? Давненько не созванивались. В конце концов, разбираться с похищениями — его работа. Или все-таки это работа ментов? Интересно, что сейчас происходит в онлайн-игре «Легкая голова»? Наверняка осатанелые команды геймеров спасают похищенную брюнетку, а виртуальные посетители квартиры Максима Ермакова наблюдают разрушенный торт и валяющийся в прихожей, в позе бездомной собаки нагруженный пистолетом портфель.

Пойти, что ли, посмотреть, как там оружие?

Но в этот момент Просто-Наташин телефон, давясь своим зерном, опять зазвонил.

— Ты думаешь, козел, я с тобой шутки шучу?! — истерически орал в трубку давешний похититель. — Решил включить дурака? Не выйдет! Тебе человеческая жизнь ничто? Жизнь твоей невесты ничто? Своя шкура дороже? Какой ты после этого мужик!

— Тихо, тихо, — проговорил, ухмыляясь, Максим Т. Ермаков, которому все стало более или менее понятно. — Что у тебя за нетерпячка? Бабы накрутили? Включая мою так называемую невесту?

— Почему так называемую? — растерялся плаксивый, сразу сбавив тон. — Тиночка, он тут говорит… — обратился он куда-то в свое многокомнатное гулкое пространство, к неизвестным суфлерам. Сразу стало неразборчиво, потом раздался взрыв женского возмущения, похожий на падение ничком шкафа с посудой. В общем дребезге и звоне Максим Т. Ермаков явственно различил Маринкин треснутый хрусталь.

— Вот что, господин подкаблучник, — деловито обратился он к похитителю, — если дамы написали сценарий данного спектакля и не нашли на роль бандита никого покруче тебя, то им и правда можно посочувствовать. Особенно в день Восьмого марта. Тоскливо им, наверное, с тобой. Можешь, конечно, попытаться отрезать Марине Анатольевне пальчик с маникюром, только береги глаза: выцарапает. А мне больше не звони.

С этими словами Максим Т. Ермаков хлопнул трубку с куделью курчавого шнура на рычаги. По душе ходила электрическая зыбь. А если все-таки?.. Нет, вроде бы расклад понятен: Маринке не терпится получить свои — как она считает — деньги. Маринка пытается действовать, придумывает план, который и планом-то назвать нельзя: такое срабатывает только в дурацком сериале, но

никак не в жизни. Злые люди бедной киске не дают украсть сосиски. Так и живет, но сколько можно, в конце-то концов? Вот и дернулась, почему-то полагая, что к ее затее грешно применять логику. А Максим Т. Ермаков применил, подлец. Так, а если все-таки ошибка? Тогда последует обещанная посылка и новый звонок. По-другому им невыгодно. Значит, что? Значит, ждать. И думать, думать, думать, как выдрать из социальных прогнозистов свои миллионы — которые вдруг показались Максиму Т. Ермакову какими-то вульгарными, и не деньгами вовсе, а бутафорией дешевого триллера, в который он почему-то втянулся.

Да, праздничек сегодня! Максим Т. Ермаков, подбоченясь, оглядел свое тусклое жилище. Повсюду лежала пыль, собиравшаяся на палец в виде жесткой серой ватки; Просто-Наташина квартира вырабатывала эту толстую пыль по какой-то особой технологии, добавляя в пух цемент. На полу валялись засохшие до крепости драконьей шкуры мандариновые корки, грязные носки. Захватанное зеркало платяного шкафа все было в радужных синяках. Максим Т. Ермаков, двигаясь замедленно, переоделся в старые джинсы, напустил в пластмассовое красное ведро зарозовевшей горячей воды и принялся за уборку.

В конце концов, это было лучшее занятие в такой неопределенный и мутный день. Электрическая рябь все пробирала душу. Было жарко от ведра, от распаренных тряпок, от усилий, с какими приходилось добираться до запущенных темных углов. На грязных чашках, с черным дегтем и серыми радужными пленками внутри, тут и там виднелись рябенькие следы Маринкиной помады: именно они отмывались хуже всего. Легчайший сизый налет, оставшийся на столе после разрушения Маринкиной коробочки с тенями для век, вдруг дал, при прохождении тряпки, жирную сиреневую полосу. Должно быть, сквозняк, который Максим Т. Ермаков устраивал для освежения сна, разнес мельчайшую субстанцию по всей квартире: невидимая, она проявлялась теперь, будто тайные чернила, и буквально повсюду — на полу, на мебели, на холодном пластиковом подоконнике — получились от тряпки темные иероглифы, с которыми едва справлялись щедро проливаемые моющие средства.

Ё-мое, в жизни не отмыть!

И тут Просто-Наташин телефон разразился в третий раз. Максим Т. Ермаков крупно вздрогнул. Мокрой рукой он схватил вильнувшую трубку и, прикуривая тоже мокрую, точно набитую фаршем, сигарету, буркнул:

— Ну, что еще?

— Сыночка, это мама, — послышался нестерпимо родной, нестерпимо интеллигентный голос, похожий на слабый раствор сахара в воде.

Максим Т. Ермаков перевел дух. Сколько времени? Еще только половина четвертого. Опять недотерпела. Всегда она звонит первая и Восьмого марта, и в свой день рожденья.

— Мама, с праздником тебя! — воскликнул Максим Т. Ермаков, фальшиво улыбаясь красному ведру, в котором отяжелевшая вода напоминала борщ. — Желаю тебе здоровья, радости, долголетия!

— Сыночка, я просто беспокоилась, что ты так долго не звонишь. Думала, не случилось ли чего у тебя, — голос матери был нестерпимо кроток, вообще нестерпим во всех отношениях, с привкусом той сладковато-противной микстуры цвета бабушкиной катаракты, которую полагалось пить по столовой ложке три раза в день во время зимних простуд. Чего только не вспомнишь из детства. Максим Т. Ермаков с необыкновенной живостью представил родительский «телефонный» столик, хрупкий и сухой, отзывавшийся дрожью на человеческие шаги, отчего почтенный, старше Просто-Наташиного, телефонный аппарат побрякивал внутренностями, точно полная монет тяжелая копилка.

— Так что стряслось, сынка? Ты не заболел? — настаивала мать, уже готовая от волнения сорваться на крик.

— Мама, с чего ты взяла?! — возмутился Максим Т. Ермаков. — Просто занят был, уборку делал. Как раз собирался тебе звонить. Зачем ты всегда опережаешь? Что ты себе такое фантазируешь?

— Ну, ну, ладно, ладно! Хватит с матерью так разговаривать!

Мать всегда легко переходила от кроткого тона к бессмысленному покрикиванию, каким выгоняла с дачного участка соседскую пегую козу — и этот же тон применяла к людям, когда бывала застигнута на слабости, недопустимой для известного в городе музыкального педагога. Признаками этого состояния служили переборы желтых пальцев, рывшихся в рюшках у самого горла, и как бы внезапная сильная близорукость, дрожащий за стеклами золоченых очков сборчатый прищур.

— Мама, извини, — сразу отступил Максим Т. Ермаков, зная, что возражения приведут только к затяжной тяжелой ссоре, с маневрами оскорбленного молчания и звонками за полночь, никогда ничего не решавшими. — Ну, расскажи, как там у вас? Как сама, как отец?

Мать, сперва как бы неохотно, с печальными вздохами, принялась рассказывать. Отцу врач прописал немецкую мазь для суставов, очень дорогую. Отец сильно сердится, кричит, что врачи за такие рецепты получают проценты. Собирается на той неделе, если полегчает от мази, дойти до общества защиты прав потребителей, а если не полегчает, то будет дома сидеть. К матери сегодня уже приходили ученики. Помнишь Лидочку Малинину? Она уже музыкальный работник в детском саду. А Таню Носкову? Работает секретаршей у директора Красногорьевского рынка. У Танечки были как раз очень хорошие способности, а вот что с ней стало. И еще другие приходили, все взрослые, красивые, в кожаных плащах. Поздравляли, подарили новую кофемолку, натащили цветов. Отец в прошлом месяце разбил нечаянно большую вазу, ту, с васильками. Теперь некуда ставить букеты, так и лежат на пианино. Трамваи в городе стали ходить очень плохо, зато автобусы ходят хорошо. На месте хозяйственного магазина перед Новым годом открыли китайский ресторан…

Речь матери лилась из дырочек трубки, будто душевая вода, то горячая, то холодная. Казалось, если приноровиться с трубкой и шнуром, можно вымыть этой шуршащей водой всю комнату. Максиму Т. Ермакову, из-за длины шнура не могущему дотянуться до сигарет, очень хотелось все это прервать, крикнуть: «Да, случилось! Хочешь знать, что именно?». Однако же он прекрасно понимал, что вечные мамины страхи, в которых Максим Т. Ермаков температурит, ломает ногу, попадает в милицию, парадоксальным образом не имеют отношения к реальности. В этом воображаемом мире Максиму Т. Ермакову все еще не исполнилось восемнадцати лет, и потому он условен, будто тамагочи. Вероятно, существовали способы как-то разрушить стену миражей, чтобы черный ветер реальности ударил в напудренное старое лицо, чтобы сощуренные глаза цвета мутной морской воды наконец раскрылись по-настоящему. Ну, и что будет в результате? Никакой помощи сыну, никакого понимания, моральной поддержки, ничего. Скорее хаотический протест, поиск вины его, сына, как везде и всегда, — и немедленное попадание в больницу с приступом всех нажитых болезней сразу. Выйдет только себе дороже. Вот и приходится лгать, говорить самые естественные вещи типа «Поздравляю, мама» с интонацией вранья.

— Теперь ты расскажи о себе подробно, — строго сказала мать, закончив повествование про родной городок, казавшийся Максиму Т. Ермакову из Москвы какой-то картонной макеткой.

— Ой, мама, да и рассказывать-то нечего, — опять покривил душой Максим Т. Ермаков, стараясь говорить как можно бодрей. — Работаю там же. Недавно машину ремонтировал. Вот, мою полы… Вот и все, собственно…

— Не хочешь быть со мной откровенным, — обиделась мать («Да, не хочу», — мысленно подтвердил Максим Т. Ермаков). — Врешь мне, конечно («Еще как»). А помнишь, как часами рассказывал мне про школу, про ребят? Прибежишь, бросишь портфель в коридоре, и сразу: мама, мама! («Теперь ты врешь».) Ну, бог с тобой. Родители мало значат для взрослых детей. В отпуск хоть на этот раз приедешь или опять на Кипр?

— Я очень постараюсь, мама! («Какой теперь, на хрен, отпуск, да если и выйдет — куда угодно, только не домой!»)

— Ну, хорошо. Сходили бы на рыбалку с отцом. На даче крышу надо чинить. Приезжай.

И, наконец, повесила трубку. Максим Т. Ермаков, измочаленный, мокрый как мышь, бросился к сигаретам. Мать — это болезнь. Чем дальше, чем больше. Почему так тягостны ее звонки, ее смирение, ее обиды? Почему после пятиминутного телефонного воздействия мать продолжает присутствовать еще несколько часов, и намного явственнее, чем во время самого разговора? И тащит, и тащит с собой всю обстановку детства, отрочества, юности, теми бесконечно унижая Максима Т. Ермакова, сделавшего столько усилий, чтобы из этого вырваться!

Вдруг вспомнился, будто и не исчезал, трехэтажный длинный дом серого кирпича, сложенный, казалось, из брикетов грязного снега, почему-то не таявшего в летнюю жару. Чем выше к небу, тем больше дом относился к городу: на плоской крыше железными будыльями сквозили антенны, имелись на паре балконов даже белые, точно эмалированные изнутри, спутниковые тарелки. Чем ниже, тем явственнее дом погружался в деревенскую жизнь. Палисадник был обнесен реденьким забором, напоминавшим расческу без многих зубьев, забитую, вместо волос, травой, крапивой и даже побегами малины, на которых летом вызревали кислые ягодки на три зерна. Внутри палисадника разгуливали, в неопрятных панталонах и с хвостами топориком, ленивые курицы. Жительницы дома разбивали, для культуры быта, цветочные клумбы, представлявшие собой подержанные автомобильные покрышки, в которых теснились лохматые астры. Из всего, что имелось около дома, Максим Т. Ермаков любил только старое абрикосовое дерево: ветви его заржавели, искривленный ствол подпирался железным костылем — но каждую весну распечатывались тугие белые горошины, которые затем превращались в сизое цветущее облако, видное от самой автобусной остановки.

Ермаковы жили на втором этаже. Специфический сладковатый запах подъезда, специфический лязг, с каким наружная железная дверь отрезала человека от улицы. Квартира на четыре комнаты, которую мать называла «четырехклеточной». По нынешним временам высоких цен на недвижимость стоит не больше пятнадцати тысяч долларов. В коридоре всегда валялось множество тапок, плоских и заношенных, похожих больше на мухобойки — и ни у кого из семьи не было собственной пары. Всем служила одна и та же грубая фаянсовая посуда, ничего своего, только бабушке относили чай в особенной чашке, тонкой и на вид костяной, разрисованной поблекшими незабудками. По семейной легенде, только бабушка умела по-настоящему играть на фортепьяно; в это невозможно было поверить, глядя на ее шишковатые желтые пальцы, связанные узелком на животе.

Бабушка была совершенно крошечная, будто седая обезьянка; глаза ее, отягченные сморщенной кожей, были цвета куриного бульона: правый ясный, а левый — замутненный как бы овалом тонкого жира, с какими бульон достают из холодильника. Бабушка занимала самый уголок монументальной металлической кровати, чьи решетчатые спинки напоминали о кладбищенской ограде; эту кровать она делила с дедом Валерой, пока тот не умер. Кровать отгораживалась от

входной двери узким, как башня, увенчанным резными темными зубцами книжным шкапом. В этот маленький шкап было каким-то образом втиснуто как минимум втрое больше книг, чем он мог вместить. Казалось, что шкапчик, весивший столько, что его никто никогда не двигал с места, может в один прекрасный момент взорваться от внутреннего давления, будто деревянная бомба. Было почти нереально расшатать и вытащить какой-нибудь из крепких позолоченных томов, да и не имело смысла: казалось, все слова там, внутри, раздавлены. Однажды Максиму Т. Ермакову все-таки удалось добыть, валя ее на спину, одну толстенную книгу, стоявшую не совсем ровно, и выяснилось, что так и есть: некоторые буквы в словах были нормальные, а другие как бы выжатые и перевернутые. Эта книга, с похожим на окованную бочку корешком и с ветхими лоскутьями папиросной бумаги, скрывавшими многофигурные иллюстрации, не могла быть засунута обратно в сомкнувшийся, лишь немного набравший воздуха, ряд, и ее пришлось запрятать под диван.

Много после выяснилось, что вся, сросшаяся в монолит, библиотека, стоявшая темной скалой посреди суетливой и пестрой жизни семьи, была на французском. Бабушка, которой принадлежало все это книжное богатство, ни разу на памяти Максима Т. Ермакова к нему не обращалась — как ни разу не садилась за инструмент, к которому испытывала буквально физическую неприязнь. Советское пианино «Элегия», представлявшее собой скромную полку с потертыми клавишами и потертый же корпус, занимавший в шестнадцатиметровой «зале» чрезвычайно мало места, вызывало у бабушки саркастическую гримаску. «У нее слишком высокие требования», — раздраженно говорила мать, так определяя абсолютный эгоизм, в который, будто в вату, была укутана маленькая старушка. В повседневном противостоянии, витавшем в четырех темноватых комнатах, Максим Т. Ермаков был на бабушкиной стороне. У матери была правота: она готовила, стирала, убирала, гладила километры пересохшего на ветру постельного белья — а Максим Т. Ермаков ненавидел правоту, тем самым инстинктивно отвергая жизнь, в которой необходимо все это проделывать. Из-за этой, накопившейся за годы, правоты редкие звонки матери в Москву были почти нестерпимы. И готовила мать всегда отвратительно: мутные супчики с нитками мяса, пресные тефтельки.

Вот знала бы мать, чем Максим Т. Ермаков сейчас занят. Он занят тем, что смотрит на Просто-Наташин телефонный аппарат. Он вот уже полчаса или больше протирает, держа его в бархатистой от пыли тряпке, Маринкин флакончик парфюма, скользкий, почти растаявший, будто карамель, до сладкой желтой начинки. Во дворе какие-то придурки по случаю праздника бабахают петардами, огни на тлеющих нитях напоминают раскатившееся клубки рыхлой разноцветной шерсти. Уже половина восьмого, вода в ведре остыла, все разворочено, надо хотя бы сделать чай и дожрать, что ли, йогуртовый торт.

Странно, как много хранится в памяти ненужного мусора. Дома по праздникам всегда покупали торты — тяжелые, квадратные, местного производства, плотно напитанные крашеным маргарином. Украшения на торте располагались по принципу, повторявшему принцип квадратной скатерти на столе. Мать всегда резала торт сама, так, чтобы не повредить ни единой жирной розочки и ни единой завитушки; долго морщилась и примеривалась ножом, прежде чем провести черту. Ей почему-то было очень важно сохранить декор таким, будто торт и не трогали вовсе, чтобы можно было, что ли, все составить обратно. Иные кондитерские лепнины были совершенно несъедобного цвета — например, хвойно-зеленого или того бело-голубого, каким бывает мыло.

Бабушка, которой всегда относили в постель самый богатый кусок, лишь брезгливо трогала его собственной, кривой от старости, десертной ложкой, валила

набок и так оставляла лежать на рифленом блюдце с незабудками. Сам Максим Т. Ермаков выяснил разницу между чайной и десертной ложками только в Москве, на чужом корпоративе, при любезном содействии костлявой дамы в состоявшем из каких-то полуистлевших полос дизайнерском платье, похожей оттого на забинтованную мумию. После этого Максим Т. Ермаков сделал все, чтобы не встречаться с мумией вторично, хотя она была нужна ему по делу и сама дала тисненую визитку. Дома все обиходные ложки, вилки и ножи, будучи помыты, сваливались мокрой гремящей кучей в расшатанный кухонный ящик. Мама, мама, где же ты была, когда я рос таким идиотом? Мама была на автобусной остановке у Центрального универмага. Там она стояла, в ряду других торговок, перед шатким тарным ящиком, застеленным газеткой. На газетке белели в ряд, подобно некрашеным матрешкам, разнокалиберные баночки с творогом и сметаной. Где-то мать находила по четыре тысячи, продавала по шесть тысяч за килограмм. То было время, когда отцовский «родной» завод наглухо стоял, буквально перестал дышать, не издавая больше в ночи знакомого уханья, шипения, бормотания; отец, насупленный, с отяжелевшими темными руками, похожими на выдранные из земли, обрубленные корни, тихо сидел на кухне либо пропадал на даче, причем первые партии кроликов у него, по неизвестной причине, все передохли. Тогда получалось только у женщин; женщины, простые или опростившиеся, вроде матери, каким-то образом чувствовали перепады цен буквально в пределах знакомых городских районов, как чувствуют рыбы перепады давления в воде; они безошибочно находили укромные подвальные оптовки и устанавливали в бойких местах свои дощатые прилавки. Только женщины тогда и добывали копейку, делали ее буквально из жесткого солнечного воздуха, из пыльного ветра, подбиравшего и тут же ронявшего сокровища — блескучие бумажки от невиданных прежде Марсов и Сникерсов, от жвачек и сигарет. Никто им за их копейку не говорил «спасибо». Творог у матери был сухой и невкусный, будто известка; взвешивание и распределение продукта по многочисленным ошпаренным баночкам сообщали квартире вид и запах детской больницы. Все, не продавшееся за двое суток, еще более явственно отдающее пеленками, полагалось съедать до крошки. До сих пор у Максима Т. Ермакова во рту этот кислый марлевый вкус, до сих пор у него в глазах оскорбительная картина: мать, обветренная и прямая, как почетный караул, над своим торговым ящиком, с ниткой волос в сжатых губах, завистливо косится на соседку, у которой задастый обстоятельный мужчина покупает носки. За материнскую кисломолочную торговлю Максима Т. Ермакова дразнили во дворе. Сейчас бы он сказал этим соседским кривозубым шакалятам слово «бизнес», и они бы моментально заткнулись.

Дети, пока не сравняются ростом с родителями, совершенно не замечают жизнь, идущую у них над головами. Это как слой облаков, как погода; хотя виртуальные осадки, выпадавшие с этих небес на белесую макушку Максима Т. Ермакова, всегда производили в его невесомой голове холодную метель, теперь он об этом совершенно забыл. Сохранилось темное воспоминание: мать беззвучно плачет, судорожно двигая подбородком, и снизу это выглядит так, будто ей мешают собственные зубы. Тут можно было бы сказать: материнская слеза прожгла мне затылок. Но слезы на самом деле были не жгучие, а тепловатые, они как-то очень быстро растворялись в коротко стриженных волосах, точно волосы и кожа, и самое существо Максима Т. Ермакова были пустыней, жадно впитывающей дождевые капли. Именно это впитывание запомнилось навсегда, отчего Максим Т. Ермаков до сих пор не любит попадать под дождь с непокрытой головой. Нет никакой логики в сохранности и угасании воспоминаний. Багаж памяти подобен багажу беженца, точно человек за жизнь много раз спасается, эмиг-

рирует, бросает нажитое — прихватывая в спешке только то, что под руку попадется. Хотя, казалось бы, жизнь течет ровно и обыкновенно. Что же это за перемены и сломы, не доходящие до поверхности сознания? Вот, пожалуйста, еще одна ярко освещенная картинка: бабушка тянет верхнюю морщинистую губу, похожую на сухой лавровый лист, к своей наклоненной чашке, в которой чай, видный сквозь стенки, прозрачен, как мед. Зачем это? К чему относится? Вот вроде бы ни к чему, а захочешь стереть — не сотрешь.

Как-то все потом у матери наладилось. Кто-то из родителей все еще верил, что учиться на фортепьяно ребенку на пользу. Приходили главным образом отличницы закрытой музыкалки: разновозрастные, мелкие и дылды, а одна была такая, будто на постройку ее почти двухметрового тела пошли цельные свежие бревна. Получив в прихожей тапки, шаркали, как на лыжах, к раскрытому инструменту. Их мягкие резиновые пальчики ходили по черно-белым клавишам не бегом, а пешком; чем-то эти упражнения напоминали девчоночьи игры в классики. Зайдя в «залу» во время урока, Максим Т. Ермаков видел два склоненных затылка и четыре работающих локтя — и каким-то образом сквозь зеленую стенку видел бабушку, скорченную под одеялом от тупых ударов ученической музыки. Почему-то все музыкальные звуки имели к бабушке прямое и личное отношение, отзывались в ней и будто влияли на самый ее физический состав. Иногда по радио передавали нечто, с точки зрения Максима Т. Ермакова, сладко-сумбурное, а на бабушку это действовало, будто полив на увядающую розу. Но так бывало редко, а в основном вся обиходная музыка содержала яды, моментально попадавшие в дряблые ткани и не убивавшие старушку только потому, что кровь несла их слишком медленно по синеватым жилам, похожим, где они проступали и были видны, на дохлых червяков. Бабушка не могла, как все, слушать и не слышать; только тишина была ей убежищем.

Не желая заниматься мучительством, к тому же жалея тратить время, которое было нужно, чтобы терзать игровую приставку и тереться возле гаражей, Максим Т. Ермаков яростно сопротивлялся, когда мать пыталась и его принудить к музыкальной долбежке. Он предполагал, что его экзерсисы, во время которых перепутанные пальцы то и дело почему-то складывались в кукиши, раздражают старуху безумно.

Это было, конечно, не особенно важно, мало ли что там думают старухи. Но все-таки бабуся у Максима Т. Ермакова была особенная. Она не испытывала к единственному внуку никакого родственного интереса, ни тени сентиментальности, совсем ничего — но именно потому Максим Т. Ермаков бабусю уважал. Бесполезная и противная на вид, с какими-то странными отложениями под глазами и на осевших щеках, она была, тем не менее, реально крутой. Вот ее было совершенно немыслимо поздравлять с Восьмым марта: старуха не принимала поздравлений ни от кого и ни с какими праздниками. Она ко всем была одинаково равнодушна. Правда, Максим Т. Ермаков иногда привлекал ее внимание, вызванное, как он понял позднее, каким-то глубоким сродством между старухиной прозрачностью для музыкально организованных звуков и гравитационным феноменом у него на плечах. Поманив Максима Т. Ермакова плохо гнущимся указательным, бабушка брала его голову двумя холодными лапками, как берут сосуд, который собираются снять с полки. С выражением глубокого недоверия она ощупывала череп Максима Т. Ермакова, отчего мозг в черепе колыхался слоями. С одинаковым любопытством старуха заглядывала Максиму Т. Ермакову в глаза и в уши, как заглядывает кошка в мышиную нору. Должно быть, она видела или ощущала что-то; тогда Максим Т. Ермаков еще не догадывался, что с его головой не все обыкновенно, и думал, что в голову все-таки попала муха или палка, и бабушка смотрит, чтобы это достать.

Вот странно: когда же она умерла? Наверное, лет семь или восемь назад. Сама она, разумеется, не звонила Максиму Т. Ермакову в Москву, а мать почти не упоминала про нее, и в один прекрасный момент не-упоминание сделалось настолько длительным, что старуха просто уже не могла оставаться в живых. Благодаря матери создалось впечатление, будто старуха у себя за шкапом постепенно уменьшалась в размере и значении, пока не исчезла совсем, безо всяких врачей, официальных бумаг и похорон. Казалось, она растворилась в спертом воздухе своей комнатенки, как рыхлый кусочек сахара в стакане воды. Максим Т. Ермаков довольно часто думал о ней — то есть не то чтобы думал, скорее, ощущал ее присутствие в собственном прошлом, гораздо более явственное, нежели родительское. Тем не менее старухину смерть он пропустил совершенно, а вернее, нисколько не заинтересовался этим далеким фактом.

Собственно, и бабушку нисколько не волновало, как он тут в Москве — в отличие от матери, требовавшей в первое время подробнейших телефонных репортажей. Максиму Т. Ермакову доставляло своеобразное удовольствие все для нее перевирать — имена приятелей, фамилии преподавателей, устройство студенческого общежития, названия столичных выставок и премьер. Таким образом, в представлении матери выстраивался совершенно фантастический фрагмент Москвы, который она мысленно контролировала, крепко держа в уме Максима Т. Ермакова, готовящегося к зачету в зеленой комнате на третьем этаже — в то время как он в желтой комнате на пятом держал на коленях подвыпившую сокурсницу. Телефонное вранье давало Максиму Т. Ермакову восхитительное ощущение свободы. Несомненно, большая настоящая Москва даже не почувствовала бы всех этих самовольных переделок, случись они в действительности. Однако для матери, однажды все-таки нагрянувшей с инспекцией, искажение пространства обернулось неприятностью. Не признав в сером штукатурном корпусе описанной Максимом Т. Ермаковым многоколонной и многофронтонной общаги, мать зачем-то снова спустилась в метро и до глубокой ночи каталась там от станции к станции, будто шарик от лунки к лунке, когда игрушку накреняют и трясут.

А ведь запросто может заявиться опять. Прямиком в гущу событий. Интересно, что она скажет, если вдруг узнает всю правду. Наверняка первым рефлекторным движением души будет ужас и возмущение от неподчинения сына властям. Наверняка активируется тот, имеющийся у каждой русской матери душевный уголок, где живет жертвенный героизм и играет марш «Прощание славянки». Животные материнские инстинкты вытравлены воспитанием — не только тем, что получала сама, но тем, что давала ребенку, опираясь на незыблемость и правоту окружающего мира. «Значит, все идут не в ногу, а ты в ногу», — говорила, бывало, когда Максим Т. Ермаков, со своей зыбкой головой, отлынивал на физкультуре от футбола, опасного, как поле сражения с летающими пушечными ядрами, или отказывался тащиться с классом в скучнейший и некомфортабельный поход. Мать бессознательно употребляла слова, относящиеся к строю, маршу, армии, дисциплине. От хождения строем, от дурной слитности бьющих в землю сапог, голова Максима Т. Ермакова резонировала и дрожала до самой глотки; он мог нечаянно блевануть от одного вида роты лопоухих солдатиков, марширующих по улице в кино.

Интересно, Маринка звонила матери в эти последние дни? Спокойно могла позвонить и сообщить о радостном событии: мол, выхожу за вашего Максика замуж. Но тогда бы мать устроила по телефону целый допрос. Да и зачем сближаться со свекровью в видах многомиллионного наследства? Схватила кусок и отбежала с ним подальше, как крыса. Лучше всего куда-нибудь в Европу. Или нельзя так думать сейчас о Маринке? Вот брякнет дверным звонком улыбчивый

золотозубый бандюган, передаст конверт, а в конверте розовая холодная креветка: отрубленный пальчик.

Вот приходится слышать мнение (продолжал сам себя забалтывать Максим Т. Ермаков), есть, значит, такое тупое мнение, будто Москва не настоящая Россия и только за МКАД начинается что-то такое подлинное, реальная жизнь и тэпэ. На самом деле все наоборот. Отход матери от реальности объясняется именно тем, что она всю жизнь прожила в куцем, с короткими улицами, областном южнорусском городке, не дававшем никакого умственного и зрительного представления о жизни за его пределами. Сам городок был неспособен вырабатывать подлинность и тем обеспечивать своим обитателям собственную почву под ногами. За исключением крошечного исторического центра (группа плотненьких штукатурных строений со стариковскими причудами, вроде ржавого флюгера или башенки под черепицей, похожей на сосновую шишку), город был застроен домами распространенных типов: четыре, украшавшие Заводскую площадь, семиэтажные «сталинки»; затем трехэтажные, по малости города, хрущевки; затем неопрятные пятиэтажки семидесятых, где панели сварены грубыми черными швами, что создает, вкупе с решетками на окнах первых этажей, впечатление тюрьмы; наконец, дома современных серий, фасонисто обложенные рыжим кирпичом, среди них даже один действительно большой торговый центр, весь из тонированных в синь стеклянных панелей, как бы добавляющих блеклому небу фальшивой синевы. На что ни посмотри, все — копия, и кажется, что где-то есть гораздо лучшие, гораздо более реальные оригиналы.

Теперь, по прошествии лет, Максим Т. Ермаков полагал, что мать настояла на покупке дачи с одной-единственной целью: придать своей «четырехклеточной» квартире статус городского настоящего жилья. Подлинность достигалась от противного. «Дача» представляла собой дощатый, крытый латаным железом, домишко-сундучок на шести бесприютных сотках садового товарищества, и там всегда протекала крыша. Максим Т. Ермаков никогда не понимал, во имя каких идеалов надо было каждые выходные тащиться туда на астматическом и грязном рейсовом автобусе, а потом еще полтора километра переть на себе тяжелые сумки, в окружении, так сказать, родных просторов, состоявших из колючих посевов и вонючих коров. Внутри дощатого коробка имелась комната о двух топчанах, кухня с грудой серой посуды за ситцевой занавеской, имелась маленькая плотная печка, пускавшая из щелей сизый едкий дымок, когда в ней занимались, попискивая от сырости, грубые дрова. Жизнь отказывалась держаться в этом ненастоящем домишке: всего за пять рабочих дней забытая на «даче» рубашка бралась каким-то нежным тленом, могильным бархатцем, свойственным всему отяжелевшему «дачному» тряпью; крупная соль в солонке, насыпанная накануне, застывала, будто гранит.

Все бы ничего, если бы «дача», например, служила детским играм, вроде той сказочной избушки, что красовалась, размалеванная, в городском дворе на детской площадке и часто содержала закатившиеся под лавку водочные бутылки. Однако родители относились к «даче» с тупой серьезностью. Мать уродовалась на грядках, громко расхваливая жирный чернозем, которого больше нет нигде в мире, кроме как у нее на огороде. Чернозем, действительно, был знаменитый: мягкой зимой он красил, как тушь, подтаявший снег, а летом питал главным образом роскошные сорняки, почему-то жалея своих могучих соков на морковку и свеклу. Отец вбил себе в седую твердую башку, будто кролики, поскольку они активно размножаются (отец любил повторять слова «в геометрической прогрессии»), решат все семейные проблемы с деньгами и продовольствием. Зверушки были довольно крупные, с ушами ослиной величины и сороковым

размером задних лап. Однако на памяти Максима Т. Ермакова кроличье мясо ели дома только однажды: оно было жесткое и темное, застревавшее в зубах, и в памяти сохранилось, как отец, шевеля багровыми ушами, вгрызается в каплющую жиром кроличью ногу, будто пытается понять какую-то трудную истину.

В общем, отцовский бизнес-план с треском провалился, геометрическая прогрессия почему-то подвела. Но не это Максим Т. Ермаков ставил ему в вину. Он не мог простить отцу, что тот за жизнь так и не собрался купить автомобиль, так и не посадил единственного сына за руль. Когда семейство, нагруженное поклажей, топало к «даче» по ухабистой грунтовке и их обгонял, треща потревоженным гравием, соседский «жигулек», у отца на потном лице появлялось такое выражение, будто при нем кто-то громко испортил воздух. На задворках садового товарищества, в соседстве горько-зеленой ольховой рощицы, стоял, на кирпичах вместо колес, облупленный, когда-то синий, слепой на оба глаза, «Запорожец». Максим Т. Ермаков любил забираться внутрь, на распоротое водительское сиденье, и, шатая туда-сюда выпадающий руль, воображал, что управляет автомобилем, что он уже взрослый. На первые заработанные деньги (удачно перепродал два «четырехсотых» компьютера) Максим Т. Ермаков купил себе тяжелый мотоцикл «ИЖак», тоже сильно не новый, с подтекающим аккумулятором, с потертыми седлами, еще сохранявшими в дизайне память о доблестной кавалерии. Переборкой усталой коняги Максим Т. Ермаков занимался все лето. Он бы, конечно, не решился подставить сквозную голову встречному ветру и всему его опасному содержимому (знал, что в воздухе всегда находится больше предметов, чем кажется обычному человеку: от насекомых и древесной трухи до падающих с балконов цветочных горшков). Однако дело решил шлем, ставший, собственно, одной из причин покупки мотоцикла. В этой уютной штуке голова успокаивалась и уплотнялась, переставала чувствовать щекотные информационные сквозняки. Но ведь не будешь ходить в шлеме просто так, будто детсадовец, наряженный на елку космонавтом. Шлем Максим Т. Ермаков купил новый и дорогой. Красный, крепкий, с двойной вентиляцией и размером с пылесос, он давал Максиму Т. Ермакову ни с чем не сравнимое чувство защищенности. Собственно, покупка мотоцикла и экипировки стала первым в жизни Максима Т. Ермакова настоящим счастьем. И тогда же он полностью ощутил, что они с отцом совершенно чужие люди. Отец как-то резко отдалился, приобрел привычку смотреть мимо Максима Т. Ермакова, а если и обращался к сыну с какими-нибудь короткими вынужденными словами, то будто бы силился увидеть что-то у него за спиной — нечто важное, что сын досадным образом застил. Покупка мотоцикла разом сделала Максима Т. Ермакова взрослым и ненужным. Бывало, он не умел скрыть радости после хорошего разгона по трассе и плюхался ужинать с широкой улыбкой на горящей морде. Тогда отец тихонечко вставал, немножко поддавая снизу стол с брякнувшей посудой, и, сутулый, с покатой тусклой плешью, отражавшей лампочку, шаркал к себе в спальную «клетку».

Бессмысленное дело выписывать родителям счета: они никогда не будут предъявлены к оплате. Чем больше пунктов в этих счетах, тем себе дороже. Не только не скажешь про счет никогда, но будешь стараться не проговориться, не намекнуть ни тоном, ни словом. Будешь терпеть с кривой улыбкой семейные беседы, в которых нет ничего про главное, а есть лишь взаимное обслуживание, где реплика подается, как передается соль или перец за столом (изредка мать бьет тарелки, но не все). Попробуй-ка пробудить этих седых и больных младенцев к реальности — получишь катастрофу. Понимаешь умом (не сердцем, увы), что мать и отца держали в черном теле, что они несчастные люди, что им всегда есть что предъявить в ответ на твои претензии: два букета никогда толком не

леченных в районной поликлинике застарелых болезней, две пары отяжелевших рук и заскорузлых ног, вытоптанный, как газон, зеленый палас, треснутый кухонный подоконник с невыводимым отпечатком некогда присохшей газеты, мутные баночки с какой-то едой в дребезжащем холодильнике, вросшие ногти, сломанные очки, вечно протекающую «дачную» крышу. Они на самом деле не осознают, что с ними произошло. Не понимают, что государство их имело по полной, как и «родной» завод, что никем, собственно говоря, не планировалось ни их долголетие, ни их благополучие.

Глаза на реальность надо было открывать тогда, когда еще оставались силы, где-нибудь лет до тридцати пяти. Сейчас поздно. Вон, отец опять побежал на Заводскую площадь за своим наркотиком: красными транспарантами, революционными маршами и напыженным оратором, очень похожим, вместе со своей трибуной, на бронзовые бюсты героев войны и труда, установленные рядком перед заводской проходной. Так и кажется, будто приволокли на трибуну перед людьми одного из курносых истуканов, что остальным истуканам тоже есть что сказать. В общем, полный дурдом. Могли бы родители что-то изменить, если бы жили с открытыми глазами? Вряд ли. Была бы та же квартира, тот же завод, и в качестве средства выживания — позорная кисломолочная торговля. Но были бы, по крайней мере, несчастны по-человечески. Не лезли бы из одной неустроенности в другую, худшую, делая вид, что топчан вместо кровати и кривой сортир на огороде — это хорошо. Никакой «дачи» не было бы точно. И не было бы никаких «домов отдыха» с палатами на десять человек и танцами-шманцами под лакированный бравый баян. А такими, каковы они сейчас, их, честно, не жалко.

У каждого ребенка проходит поперек судьбы темная граница, которую он переступает, высоко поднимая коленки. До этой границы ты уверен, что папа и мама могут все, что сильней и лучше будешь только ты сам, когда вырастешь. После — видишь родителей такими, каковы они есть, и с ними становится не о чем говорить. Таких сумрачных зон в детстве несколько, природа их плохо изучена. По-настоящему известна и описана только одна: когда человек лет в пять или семь осознает — я умру, и все умрут, и папа с мамой умрут тоже. Максим Т. Ермаков своевременно сделал это открытие — подсобил деда Валера, однажды утром найденный уже холодным, рядом с бабушкой, забившейся под одеяло, почему-то до конца делившей с умирающим кружевную ветхую постель. Следующие сумерки наплыли буквально через полгода. Максим Т. Ермаков спросил отца: «Пап, ты будешь начальником, когда ты станешь стариком?» — «Может, буду, может, нет», — буркнул отец и свесил брови на глаза, мелко моргавшие. А Максим Т. Ермаков тогда считал, что все взрослые, по крайней мере, правильные взрослые, к старости становятся начальством — как первоклассник, если он не отпетый двоечник, через одиннадцать лет закончит школу. Теперь, в сознательном возрасте, Максим Т. Ермаков понимал, что задал тогда отцу самый, быть может, болезненный для него вопрос. Но это понимание ничего не меняло. В памяти остался отец беспомощный и сердитый, с заклеенным порезом на бритом подбородке, выбирающий из своих перекошенных брючек хлесткий ремень — который он, впрочем, так и не решился применить в воспитательных целях. Ну, а потом была ненавистная «дача», скука, комары, бурый суп с тушенкой из эмалированных мисок, белый «жигуль» на соседнем участке, один на все садовое товарищество черный прудок с омерзительным, как бы живым, илистым дном, дождь, сырая хмарь, жесткая трава.

О чем ты думаешь, Максим Т. Ермаков? Нет чтобы подумать о Маринке. Нет чтобы подумать как следует. По мобильнику недоступна, находится вне зоны действия сети. Часто ли он набирал до сегодняшнего дня ее мобильный номер? Раза два в неделю, не больше. А теперь, пожалуйста, вызовов сто за вечер. Зара-

за добилась своего: Максим Т. Ермаков мечтает, как никогда, услышать в трубке ее мяукающий «ма-асковский» голосок.

Вот и три часа ночи. Вот и звонок в дверь.

Явилась. Бедная киска. Распахнутая шуба в мокрых зачесах, будто она, на кошачий манер, вылизывалась языком. Желтое платье измято, все в водяных знаках от пролитых и высохших напитков. Колготы порваны, длинные острые сапоги застегнуты криво, но пальцы на трясущихся руках целы все до одного.

— Ну, вот и с праздником. С прошедшим тебя, дорогая! — иронически поклонился Максим Т. Ермаков.

Тут же морду ему ожгла косая пощечина. Таких Максим Т. Ермаков еще не получал. Левая щека, принявшая плюху, сразу стала тяжелее правой на целый килограмм. Кажется, голова совсем не так невесома, как представлялось раньше. Ах, сучка! Три миллиона долларов тебе на булавки? На, получи!

Маринка, схватившись за лицо, налетела спиной на косяк. Ладонь Максима Т. Ермакова горела и жужжала, точно он отбил крепкий пас в волейболе. Дверь на лестничную клетку все еще была открыта, и проснувшийся социальный прогнозист, легкими стопами поднявшись на площадку, осторожно показал длинный полупрозрачный нос и сидевший сбоку моргающий глаз.

— Не твое собачье дело, вон пошел! — заорал на него Максим Т. Ермаков и злобно захлопнул дверь.

— Па-адлесс ты, Макс-сик… Кахкой ты па-адлесс!.. — прошепелявила Маринка, кое-как выпрямляясь на каблуках.

Она была явно с хорошего похмелья. Левая щека горела, длинный рот, с кровью припечатанный к зубам, едва отклеивался. Однако глаза ее в павлиньей раскраске вчерашней косметики светились таким настоящим и ярким отчаяньем, что Максим Т. Ермаков немного струхнул. Вдруг и правда с ней сделали что? Хватаясь за стенки прихожей, Маринка содрала сапоги и той угловато-пяточной походкой, какая бывает у женщин после высоких шпилек, проковыляла в комнату.

— Что за представление ты устроила? Что за придурок мне звонил? Будешь отвечать? — Максим Т. Ермаков последовал за Маринкой и еле успел выхватить у нее из-под ног плеснувшее ведро.

— Как ты могх, Максик, как ты могх… — Маринка раскачивалась, обхватив себя за перекошенные плечи. — Я что, совсем не щеловек? Хоть бы я сдохла, так, шчто ли? Мне с-совсем ничего не положено в жизни хорошего? Пусть мне пальсцы режут, пусть мне ноги рубят? Как с-скотине? Люди и ухом не поведут…

— Да ведь ты подстроила все! — заорал, подбоченясь, Максим Т. Ермаков. — Думаешь, я не слышал, как ты отвечала придурку из ванной? Трубка лежала рядом с телефоном! Какое похищение?! Какие отрезанные пальцы?! Вы там погуляли хорошо, уснули кто где и кто с кем, а потом решили с утра поправить материальные дела. Где я тебе три лимона зеленью возьму?!

— А что дороже, щеловек или три миллиона?! — огрызнулась Маринка, сверкнув глазами исподлобья.

— Да где бы я их взял, ну? Расскажи, как ты это себе представляешь. Давай, изложи последовательность действий, — потребовал Максим Т. Ермаков.

Он хотел заставить Маринку проговорить — мол, напишешь завещание, потом застрелишься. Чтобы она, произнося это вслух, осознала процедуру и цену вопроса. Вместо этого Маринка, запрокинув голову, свесив на сведенные лопатки тусклые космы, словно засыпанные сажей, завыла в потолок. Она выла по-настоящему, натягивая белое горло, — и столько было в ее руладах звериной, волчьей жалобы, что Максим Т. Ермаков понял. Он сам какие-нибудь сутки назад окунулся в отчаяние — в совершенно незнакомую мутную среду, скорее

жидкость, чем газ, сжавшую сердце, как течение воды сжимает на ногах резиновые сапоги. Для Маринки настал момент Большого Облома, и Маринка надрывно изливала жалобу на несоответствие себя и собственной жизни. На то, что не родилась в богатой и чиновной московской семье, не имеет всего, что положено, просто так, потому что живет на свете; что могла бы, наверное, вырасти хорошей девочкой, с аккуратным пробором на теплой макушке и безмятежностью во взгляде, — а приходится быть потасканной сукой, пускаться во все тяжкие — и все равно, и все равно не дается счастье — а без этого простого московского счастья нельзя примириться с жизнью, никогда, ни за что! Так говорите, человек ценнее трех миллионов долларов? Вот я, я — человек, где мои деньги?! Что, молчите, падлы? Ау-ау-у-у-у! А-у-у-у!

Маринкина непримиримость — вот чего прежде не осознавал Максим Т. Ермаков. Маринка будет биться об стену, что отделяет богатую Москву от понаехавших и прочих — и убьется об эту стену до смерти, оставит на ней свою запекшуюся кровь. Тоже по-своему величие и героизм.

— Ладно, иди умойся, я чай заварю, — примирительно пробурчал Максим Т. Ермаков. — Спать надо, кофе не дам.

— Спать?! Ш тобой? Ты охренел софсем, Ермаков? — Маринка улыбнулась запекшейся красной улыбкой, обнажившей разбитые десны. — Ты меня предал. Ты меня ударил. Ты женщину способен ударить, шкотина! У меня зуб сатается теперь. С-сволочь… — Тут Маринка сморщилась, состарилась на десять лет, и павлинья косметика потекла по щекам, размываясь обильной влагой из двух нестерпимо сияющих источников. — Я замуж за тебя собиралась, Макс! Я, может, любила тебя, ишпытывала тебя. Теперь все, ты понял, все! Сумку мне дай щейчас же!

Максим Т. Ермаков, пожав плечами, протянул ей сумку-мешок с испачканной бахромой, которую Маринка бросила на пол возле рухнувших сапог.

— Да не эту, кретин! Большую или щемодан какой-нибудь! Вешши собрать!

Максим Т. Ермаков покорно выволок из-за шкафа мрачный впалый чемодан с заедающей колесной частью, с которым десять лет назад приехал в Москву, с которым перебирался в Москве с жилья на жилье. В чемодане обнаружилась слежавшаяся стопка: джинсы и футболки, еще из города-городка, пахнувшие сквозь время и пыль какой-то незапамятной стиркой, плюс короткая черная курточка, когда-то свистевшая на ходу своей полиэстровой тканью, теперь слипшаяся в чернослив, — все это какое-то маленькое, детского, что ли, размера, хотя Максим Т. Ермаков приехал в столицу отнюдь не ребенком. Не успел он выхватить из чемодана свои лежалые реликвии, как туда полетели, моментально увядая в куче, в хранимом чемоданом прошедшем времени, цветные Маринкины тряпки. Маринка бегала по квартире, глухо стуча тяжелыми пятками, варварски обдирала вешалки шкафа, выхватывала оттуда и отсюда шарфик, трусики, мятый шелковый халат. На тряпки упали, брякнув, сметенные с подоконника в пакет бутыльки маникюрного лака, сверху легло принесенное из ванной, угловато пересохшее бельишко, похожее на потрепанные суперобложки давно прочитанных дамских любовных романов; туда же пошли, завязанные в полиэтиленовый кулек, кружка, ложка, вилка — и было в этом последнем что-то арестантское, точно Маринка садилась в тюрьму.

Наконец она обвела маниакальным взглядом взъерошенную комнату, закрыла чемодан, злыми рывками застегнула окостеневшую молнию. Теперь чемодан сделался еще мрачней, бок у него вздулся, точно изнутри торчал локоть.

— Денег дай, — потребовала Маринка, с трудом вбивая ноги обратно в сапоги.

Делать нечего. Максим Т. Ермаков достал бумажник, раскрыл его, задумавшись над тощей пачкой пятисотенных. Сколько дать? Если дело дальше так пой-

дет, скоро надо будет распечатывать кубышку, просто на жизнь. Не успел он оглянуться через плечо, как Маринка точными пальцами выщипнула все деньги, оставив бумажник разинутым в удивлении, с мелочью в щелях.

— Тебя, может, отвезти, куда ты там собралась? — неохотно предложил Максим Т. Ермаков, следуя за Маринкой и за своим навсегда отбывающим чемоданом в желто освещенную прихожую.

— Обойдус-сь! Меня внизу, между проччим, машина ждет, — злобно бросила Маринка, барахтаясь в рукавах своей зализанной шубенки. — А тебя, Ермаков, я теперь ненавижу, так и с-снай. У-ух, как ненавижу! Школько лет на тебя потратила зря. Нянчилась с-с тобой. Ну ничего. Тебе каждая моя слес-са отольется. В пулю отольется! Ты думаешь, я не щеловек? У меня доссоинства нет? Погоди, вссретимся еще!

С этими бессвязными угрозами, пихая хромой и валкий чемодан, Маринка наконец выбралась на лестничную клетку. Лифт, вероятно, не отлучавшийся с тех пор, как привез Маринку на этаж, раскрылся сразу и услужливо подкатил к ногам пассажирки рокочущую стеклотару, которую Маринка от души пнула. Створки лифта сошлись, и ночной подъезд клацнул, словно передернули ружейный затвор.

Максим Т. Ермаков, поеживаясь, зябко растирая плечи, вернулся в квартиру. На носах благородных ботинок от Cesare Paciotti остался серый след от чемоданного колеса, портфель, который, как блохастый пес, жил теперь в прихожей, был прислонен в сутулой позе пьяного к стене. В комнате у Максима Т. Ермакова возникло ощущение, будто его ограбили. Все вокруг него выглядело именно таким: точно здесь поработал грабитель. Хотя, собственно, Маринка забрала только свои вещи, совершенно не заботясь об остающихся предметах, переведя их в разряд хлама. Хотя, стоп: на столе заслуженной учительницы отдельно стояли кубическая чернилка и другая кубическая штука с двумя черными ноздрями для ручек, а подставка прибора отсутствовала. Интересно, зачем Маринке понадобился этот кусок невзрачного мрамора? Вот Просто Наташа взбеленится! «А я-то сколько лет потратил на тебя», — думал Максим Т. Ермаков, заваливаясь в ограбленную, лишенную женского тела постель.

Ушла — и хорошо. Назад не позовем.

Март и даже апрель в Москве — это вовсе еще не весна. Это пустота между зимой и весной, где время не движется вперед, а шатается туда-сюда, и жаркие дни перемешаны с ледяными, точно карты в перетасованной колоде.

Впрочем, перемены погоды были не самыми большими неприятностями. Соседний минимаркет, еще недавно такой уютный и симпатичный, наотрез отказался обслуживать Максима Т. Ермакова. То же самое произошло во всех других ближайших магазинах: охрана делала оловянные морды и преграждала путь, насильно вырывала из рук Максима Т. Ермакова дребезжащую корзину для покупок, на злобные его тычки под дых реагировала сдавленными нехорошими улыбками. Максим Т. Ермаков помнил, что ему ни в коем случае нельзя попадать в милицию. Плевать хотевший на государственных головастиков во главе с самим Зародышем, он ловил себя на том, что испытывает робость перед магазинными секьюрити, похожими в своей коротенькой вздернутой форме на школьников-переростков. Эта робость была плохим, очень плохим симптомом; и все-таки Максим Т. Ермаков стал обходить стороной торговые точки, где продавали еду.

Он, наверное, начал бы потихоньку голодать, если бы не услужливость алкоголика Шутова. Этот коренной москвич, весь пропитанный каким-то плотским горьким запахом, напоминавшим запах помидорной рассады, лихо катав-

шийся на милицейских иномарках в родной обезьянник, — видимо, свято не понимал, что происходит вокруг. Возвращаясь из офиса, Максим Т. Ермаков звонил в обитую порезанным дерматином дверь притона; мутный глазок на двери темнел и моргал, после чего приходилось ждать еще минут пятнадцать, слушая странные звуки, как если бы в притоне спешно двигали мебель. После этого дверь приоткрывалась на дециметр, и Шутов, как крыса, ловко протискивался в щель, всегда оставляя внутри один из двух, расслоившихся и драных, клетчатых шлепанцев. Бывало, что вместо Шутова на площадку выходила кое-как запахнутая в халатик мятая девица, а иногда просто высовывалась голая женская рука с обгрызенными крашеными ногтями, с мокрым пухом под мышкой. Максим Т. Ермаков отдавал листок со списком покупок, в который были завернуты деньги, и отправлялся наверх. Через совсем небольшое время либо Шутов, либо кто-то из девиц являлся с продуктами и подробными финансовыми отчетами. Не пуская к себе, они и сами не шли в чужую квартиру, а топтались на площадке, на виду у дежурных социальных прогнозистов, бросавших раздраженные взгляды на самовольничающий асоциальный элемент. Максим Т. Ермаков первое время боялся, что путаны, следуя профессиональному инстинкту, попытаются виляющими рыбками проплыть в квартиру и в койку. Однако девицы вели себя совершенно нетипично: стояли струнко, тесно сдвинув кривые ножки, между которыми зияли просветы, какие бывают в заборах из горбыля. Были все они до странности непривлекательны: грубые родинки, длинные рты, хрящеватые носы школьных отличниц — и, по совести, не с такими ногами носить короткие юбки с разрезами по самое не балуй. Впрочем, в нехорошей квартире алкоголика Шутова вряд ли можно было ожидать внезапной встречи с Клаудией Шиффер. Девушки все были очень старательные — старательность составляла, вероятно, их единственное профессиональное достоинство, хотя и сомнительное; к чекам часто прилагалось пояснение на листочке от руки, сделанное аккуратным девичьим почерком, напоминающим узкое кружевце. «В сиротском приюте он их набирает, не иначе», — думал Максим Т. Ермаков про алкоголика Шутова и его контингент. В денежных расчетах обитатели притона были честны до копейки; гонорар составлял неизменно две бутылки водки, самой дешевой, способной, казалось, насмерть отравить анемичные девичьи организмы. Максим Т. Ермаков не раз предлагал алкоголику Шутову брать водку хорошую. На это Шутов, видимо, совсем не понимавший, как можно платить дороже за тот же градус и литраж, только тряс нечесаными патлами, в которых пробивалась свинцовая жирная седина.

— Так ведь водка не для здоровья, — разъяснял он незадачливому соседу. — Она наоборот.

И то верно.

Максим Т. Ермаков все ждал, каким будет следующий ход социальных прогнозистов. У головастиков весной образовались новые проблемы: повсюду начались громадные лесные пожары, из глубоких складок тайги дым валил, будто там треснула земля. В новостях показывали снятые с вертолетов рыхлые огненные язвы, размером с целые электрические города, вздымаемые жаром в небо искры и хлопья, задымленные сосняки, в которых точно стелился по земле призрачный снег. Пылали сибирские поселки, выли, обнимая детей, погорельцы, по обочинам смутно рисовались закопченные автомобильные остовы, человеческие жертвы исчислялись тысячами. В онлайн-игре «Легкая голова» появились новые персонажи — пожарные, без которых теперь не могла обойтись ни одна серьезная миссия. Виртуальный толстяк получил способность выдыхать могучие огненные струи, от которых вспыхивали факелами разведчики, стратеги и стрелки. Огнедышащий монстр буквально сдувал с лица земли вековые де-

ревья и узнаваемые по телевизионным репортажам сельские улицы; остановить толстяка могла только бренчащая, как будильник, пожарная машина с расторопной командой.

В общем, народу наглядно разъясняли, кто опять во всем виноват. Следовало принимать новые усиленные меры к обезвреживанию Максима Т. Ермакова. И вот однажды, пробегая в офис мимо пикетчиков, по случаю пожаров наглядно измазанных сажей, Максим Т. Ермаков увидел то, от чего душа его буквально провалилась в пятки.

Он или не он? Целый день Максим Т. Ермаков думал, уставившись в пыльную, изрисованную пальцем, столешницу. Тот мужик стоял с отсутствующим видом, держа древко транспаранта, как держатся за поручень в метро. Слишком мелок для Вована Колесникова, слишком узкоплеч. И все-таки это был он, Вованище: его поседевшая, будто заплесневелая, щетина, его куртейка в матрасную полоску, словно перешитая из того колхозного пиджака, из которого Максим Т. Ермаков когда-то вытащил набитый долларами грязный конверт. Даже не глазами узнал его Максим Т. Ермаков, а солнечным сплетением, заплясавшим от ужаса.

Что делать? От крыльца до «Тойоты», оставляемой из предосторожности в укромном переулке, пятнадцать минут бегом. И не очень-то побежишь в ломком пластиковом дождевике, который теперь, с наступлением весны, защищал Максима Т. Ермакова от гнилых овощей — и создавал внутри запотевший зловонный парник. Завтра Вованище наверняка придет опять. Вот головастики, знают дело, подлецы: откопали, привезли и поставили на видном месте именно того человека, который способен отравить жизнь Максима Т. Ермакова по-настоящему.

Рабочий день закончился, приободрившийся народ повалил из офисов навстречу хорошей погоде. Максим Т. Ермаков, похожий в мутном дождевике на рекламу мясного полуфабриката, плелся одним из последних. Вован стоял на прежнем месте и курил, закусив неровными, как камешки, зубами, кривую папиросу; транспарант, другой конец которого вздымала повыше горбоносая седая дама, в профиль напоминавшая старую белую ворону, со стороны Вована заметно провис. Максим Т. Ермаков, сделав глубокий вдох, приготовился рвануть бегом — и вдруг с удивлением обнаружил, что ноги, ставшие легкими и плохо управляемыми, сами несут его прямо к Вовану. Это было ужасно, это было невозможно; примерно за десять метров до врага Максим Т. Ермаков уловил шершавую, будто оса, молекулу знакомого народного одеколона — и с каждым шагом рой густел, грозно гудел, затекал в надувшийся мозг, точно там было их осиное гнездо.

Растерявшиеся пикетчики, по большей части немолодые женщины в черных газовых шарфиках, подались назад; транспарант, щелкнув, натянулся, стало видно, что на нем написано: «Ермаков, из-за тебя погибли наши дети!». Вован выплюнул папиросу, его набрякшие глаза — кровь с соленой синевой — уставились Максиму Т. Ермакову куда-то в переносицу.

— Что, Вова? Здравствуй, раз пришел, — произнес Максим Т. Ермаков, почти не слыша сквозь осиное гудение собственного голоса. Рука, выпростанная из дождевика и протянутая врагу, была от ужаса словно в колючей шерстяной перчатке.

Вован заморгал, удивленно покосился на свою темную клешню и, придерживая древко транспаранта под мышкой, протянул ее вперед, словно все-таки не был до конца уверен в ее существовании. Пожатие получилось кривым и болезненным; клешня Вована, совсем не такая громадная, как помнилось Максиму Т. Ермакову, с пальцами короткими и желтыми, будто окурки, все-таки обладала жесткой силищей, от которой у Максима Т. Ермакова слиплись костяшки.

— Как живешь, Вова? — бодро спросил Максим Т. Ермаков, выдавливая улыбку.

В ответ на это плесневелая морда Вована дернулась такой затравленной злобой, что сразу стало понятно: жизнь у Вованища не сахар.

— А я тебе денег должен, помнишь? — Максим Т. Ермаков улыбнулся так широко, что почувствовал упругое сопротивление собственных ушей.

— Ну, — настороженно подтвердил Вован, и голос его, шершавый и севший, все-таки был тем самым, что десять лет назад вгонял Максима Т. Ермакова в холодный пот.

— Поехали ко мне, отдам, — предложил Максим Т. Ермаков с отчетливым чувством, будто видит самого себя в каком-то странном сне.

Кровавые, как рыбий потрох, глаза Вованища заворочались в глазницах.

— С чего вдруг такое счастье? — просипел он, ежась.

— Да просто деньги есть, — честно ответил Максим Т. Ермаков, вспомнив, что дома, точно, лежат доллары, «серая» часть зарплаты, позавчера полученная в конверте.

Теперь уже сам Вованище заметался, как бы зашатался на месте, пытаясь ступить заношенными кедами налево, направо, вперед, назад.

— Пошли, — решительно бросил Максим Т. Ермаков и двинулся мимо полуразрушенного строя пикетчиков к запаркованной «Тойоте».

Еще немного помедлив, Вован, словно намагниченный обещанными деньгами, последовал за Максимом Т. Ермаковым — причем горбоносой белой вороне пришлось семенить за ним с протестующим криком, пока Вованище не догадался просто бросить на землю свое древко транспаранта. Минуя фээсбэшный фургончик, разрисованный на этот раз рекламой турагентства, с двумя условными пальмами, похожими на зеленые настольные лампы, Максим Т. Ермаков со злорадством заметил, как вытянулись физиономии дежурных социальных прогнозистов.

Сразу стало понятно, что с Вованищем будут одни мучения. Он двигался неуверенно, враскачку, каждая его нога норовила на один шаг вперед сделать полшага в сторону. Максим Т. Ермаков сперва подумал, что Вован отчего-то не хочет ехать за своими деньгами, а потом догадался, что это у него такая походка: будто двигают, переваливая с угла на угол, тяжелый шкаф. В «Тойоте», на комфортабельном переднем сиденье, Вован снова сделался небольшой и усохший; видно было, что он не езживал в автомобилях такого класса. Сбив с панели на пол пачку сигарет, Вован, пристегнутый ремнем, весь изъерзался, пытаясь выудить пропажу в неравной борьбе со своими нескладными коленками, торчавшими вверх наподобие противотанкового ежа. Максим Т. Ермаков вел «Тойоту» машинально, думая: «Зачем я все это делаю?». Салон машины жужжал, полный почти уловимыми для глаза роящимися точками; у Максима Т. Ермакова было ощущение, будто он везет на пассажирском сиденье тикающую бомбу — однако бомба, извлеченная из толпы пикетчиков, фактически украденная из-под носа социальных прогнозистов, теперь на какое-то время принадлежала ему.

В подъезде дежурные, видимо, уже извещенные коллегами о поведении объекта, попытались испепелить Максима Т. Ермакова горящими взглядами, но объект живо втолкнул украденного Вована в душную квартиру. Вован, озираясь, скинул свои опорки; носки его оказались бумажного, несколько разного, серого цвета, из дыры глядела красным буркалом толстая мозоль. На кухне Вован сразу забился в угол, втянул голову в плечи по самые уши, похожие сейчас на овощи из горячего борща.

— Кофе? — светски предложил Максим Т. Ермаков, берясь за чайник.

— Деньги.

— Как скажешь.

В комнате Максим Т. Ермаков достал из-под стопки белья пачечку долларов, отсчитал двадцать пять тряпичных «франклинов». Потом, словно кто толкнул его под руку, добавил еще пять.

— Вот, держи. Даже с некоторым процентом, — гордо объявил он, вернувшись на кухню.

Вован принял неожиданное богатство двумя руками, заметно дрожавшими. Долго не мог успокоиться, тер в пальцах каждую бумажку, будто надеялся, что от трения одна сотня расслоится на две. Наконец, упаковал доллары во внутренний карман куртейки, застегнул их там на какую-то мелкую увертливую пуговку.

— Вот теперь и выпить можно, если, конечно, нальешь, — проговорил он подобревшим страшным голосом. — Кофе ты себе оставь, мне бы чего-нибудь… — Тут Вован мечтательно возвел глаза к потолку, точно предполагая, что оттуда к нему на шелковинке спустится бутылка водки.

Максим Т. Ермаков, почесывая затылок, отправился к бару. Минуту выбирал между виски, водкой и коньяком. Затем, ведомый наитием, сгреб все брякнувшие бутылки, точно дрова, в охапку. Зачем беречь, если самому Максиму Т. Ермакову все эти элитные жидкости — пустые хлопушки? Держал запас в основном для девок, но девки сейчас не главное. У Вована при виде такой богатой выпивки морда озарилась словно бы солнечным светом. Максим Т. Ермаков, решивший ничего не жалеть, настрогал колбасы, вскрыл мясную и рыбную нарезку, изничтожив, таким образом, весь запас, доставленный накануне одной из старательных путан.

Вован употреблял алкоголь толково, с надлежащим почтением к стопке. Он наполнял ее до краев, с горбом, нес, сам сгорбившись над нею, к приоткрытому рту и резко замахивал в горло: была в этом особая плавность и пластика, напоминающая рывок веслами в бурной водной пучине. На параллельную стопку Максима Т. Ермакова, ходившую реже и не опорожнявшуюся, Вован из вежливости почти не обращал внимания, только иногда тянулся к ней с бутылкой «маленько освежить». Да, жизнь вышла говно. Отмотал два года от звонка до звонка. Кто зону не топтал, не поймет. Мать померла, пока сидел. С аппендицитом ходила неделю, боялась, денег много возьмут в больничке. Везде боялась платить, думала, с нее в магазине за макароны спросят миллион. Дура, хоть и мать. Потом, когда повезли на «скорой», узнала перед смертью, что аппендицит вырезают бесплатно. А он, Вован, весь срок без передачек, на одной баланде. Ну, откинулся с зоны, работал там-сям. После зоны какой институт? Курсы только закончил. Одни, другие. Где на курсах хорошая стипендия была, туда и шел. С последней работы выгнали за правду. Правды в глаза никто не любит. Он, Вован Колесников, так и сказал старшине: мол, ты, Валерий Палыч, козел. А как не козел? У него и фамилия была Козлов. Ну, выперли сразу, типа за нарушение техники безопасности, зарплату за три месяца не выдали, мол, денег нет у станции. Хочешь, говорят, бери списанным снаряжением, свое дело откроешь. А какое там снаряжение? Не то что техника безопасности — чистое самоубийство. Клееноперeклеено, дыра на дыре. Бери, говорят, не жалко! Ага, нашли идиота…

Был ли Вован женат? Ну, да, он и сейчас вроде как состоит в браке. Надя работает оператором на заводе, а может, уже и не работает. Раз пришел домой немного выпивши, Надька разбежалась его выгонять, а он, Вован, возьми и правда уйди. Он, Вован, всегда за правду, в том числе в семейных отношениях. Вован такой, с ним не шути. Но Надька хорошая женщина: когда старшина Козлов попер Вована со станции — приехала забирать домой. Все перестирала, навертела котлет. А тут ваши, ну, эти, серые в фургонах. Предложили работу в Москве, всех дел — стоять в пикете, пятьсот рублей в день. Надька в крик, мол, не

надо, боюсь. Но что женщину слушать? Такую работу кто еще предложит? Да и в Москву прокатиться интересно, вспомнить молодость. А тут, видишь, как удачно: встретил кореша, кореш вернул должок. Может, и правда Вовану открыть собственное дело? Купить домишко у моря, обслуживать туристов — мол, дайвинг для всех желающих, на глубину три метра по десять минут. Для корешей — всегда бесплатно!

— Стоп, стоп! — перебил Вована очнувшийся Максим Т. Ермаков. — Так кем ты работал на этого козла Козлова?

— Ты что, глухой? — удивился Вован. — Тебе русским языком говорят: водолазом на станции в Самаре!

Вот оно! Вот зачем все это. План Максима Т. Ермакова, как «застрелиться» и все-таки остаться в живых, вдруг передвинулся из области миражей в реальность. Что требуется для качественной имитации? Чтобы труп разу после выстрела делся. Куда? Под воду. Выстрел в голову на ночном мосту, сомнамбулический полет с пистолетом в слабеющей руке, краткий удар о черную рябь, зыбкость, муть, дурнота, нанятый профессионал, дающий дышать из шланга, тянущий на себе прочь, куда-нибудь подальше, к безлюдному бережку. А потом социальные прогнозисты пусть ищут-свищут. Пусть тралят дно в поисках утопленника. Остается, конечно, масса проблем — с честным наследником, с фальшивыми документами. Но за деньги можно все. Можно даже сделать пластику лица — такую, что и мать родная не узнает. Мать, впрочем, совершенно ни при чем. Потом послать родителям тысяч двести зелени на безбедную жизнь. Хотя их жизнь останется бедной и с миллионом, и с двумя — это не лечится.

Дальнейший разговор происходил голова к голове, под развязный треп и музычку «Авторадио», вкрученные на полную громкость для натруженных ушей социальных прогнозистов. Вован, разобрав предложение к обретенным трем тысячам долларов заработать еще десять кусков, возбудился и сделался важен, будто индюк. Красно-бурые складки под его небритым подбородком заходили ходуном. Отставной водолаз принялся с жаром расписывать трудности предприятия. Снаряжение — раз. Гидрокостюм сухой, компенсатор плавучести, белье теплое специальное, маска, то-се, всего два комплекта, каждый по двести тыщ рублей. Москва-река — два. Водосток зарегулирован, шлюзовые системы — вроде вентилей на водопроводной трубе, течение слабое, мертвенькое, на дне метра три ила, плюс затопленные плавсредства, автомобили и холодильники. А то и покойники! Три — это полное отсутствие подготовки у Максима Т. Ермакова.

— Ты как собрался прыгать? Пузом на воду? Видали каскадера? Да ты расшибешься так, что я тебя под водой не приму, воздуха не вдохнешь совсем, — втолковывал Вован Максиму Т. Ермакову, налегая грудью на тарелку с колбасой. — А со здоровьем как у тебя? Вот мне здоровье позволяло и позволяет, а тебе? Что такое баротравма, знаешь? Сосуды порвет к едрене-матрене, будешь, как Аполлон, весь мраморный в прожилках красивый лежать на больничной койке. И со снаряжением надо уметь работать, а ты — ни поддуться, ни обжаться, даже фонарь под водой не сможешь включить. Как я тебя поволоку? А если приму под водой еще живого, а вытащу покойника?

Все это было совершенно справедливо. В реальности затея выглядела пугающей и крайне некомфортной. Придется на самом деле прыгать с высоты в речную муть, бултыхаться в этой антисанитарии, мокрым выползать на топкий бережок, где-то скрываться полгода, дожидаясь денег, потом выбираться из страны, ясное дело, не через «Шереметьево-два». Не говоря о том, что рядом долгое время будет обретаться Вованище, от которого мороз по коже. Но и отступать было совершенно некуда. При мысли, что теперь всегда придется проживать в

квартире с телекамерами и таскать на хвосте расписные фургоны социальных прогнозистов, Максим Т. Ермаков на секунду захотел и вправду застрелиться. Вот-вот, они на это рассчитывают. Следовало заинтересовать Вована накрепко, тем более что он и после прыжка мог оказаться полезен. Снять через него квартирку в каком-нибудь тихом Подмосковье, отправлять с поручениями, то-се. Или алкоголика Шутова подключить.

— Кстати, снаряжение, оба комплекта, можешь потом оставить себе, — громким шепотом предложил Максим Т. Ермаков, заодно страхуясь от покупки клееного-переклеенного барахла.

— Вот это хорошо! Вот это по мне, — осклабился Вован, близко показывая серые потресканные зубы и сизые десны. — Ладно, так и быть, чего не сделаешь для кореша. Ты деньги давай на снаряжение, я закуплюсь и поработаю с тобой, найду какую ни на есть акваторию, деревенский пруд с карасями. Будет тебе персональная школа. А потом, глядишь, и прыгнем!

Деньги, всю сумму новенькими пламенными пятитысячными, Вован получил на другой же вечер: притопал уже знакомой дорожкой к запаркованной «Тойоте», все еще разгоряченный деятельностью в пикете, попавший, между прочим, Максиму Т. Ермакову в плечо тухлым яйцом. Считая и упаковывая деньги, он хозяйственно держал запас завязанных в кулек снарядов на сдвинутых коленках.

— Это вам выдают или сами приобретаете? — спросил Максим Т. Ермаков, кивая на испачканный кулек с соплями на дне.

— Это мои, стухли, так чего хранить, — деловито ответил Вованище, лаская пятитысячные. — А вообще подвозят каждое утро, помидоры прямо ящиками. И груши бывают, и киви, и бананы, сам еще не видел, люди говорят. Иногда на целый ящик две-три подгнивших помидорины. Люди перебирают по-быстрому, сумками домой уносят. Ну, некоторые, конечно, не берут ничего, умер там у них кто-то, ну, это их дела. А вообще женщины довольны. Консервированием занимаются, то-се. Я Надьку свою вызову сюда, пускай тоже банки закатывает.

Похоже, Вована совершенно не интересовало, что происходит вокруг и почему надо кидать в Максима Т. Ермакова гнилыми овощами. Какие-то бесформенные гипотезы бултыхались у него в голове — про агитацию к выборам, про съемку кино. Его дело сторона. Получив четыреста тысяч, он азартно занялся закупкой снаряжения. Вместе с деньгами Максим Т. Ермаков вручил Вовану свой старый засаленный мобильник с новой сим-картой — наказав звонить только по делу, чтобы зазря не светить номер. Однако Вован названивал почти ежедневно: советовался, хвастал, посылал кривые фотографии чего-то, напоминавшего гигантских дохлых тропических рыб. Сперва Максим Т. Ермаков, походив по сайтам, решил, что Вован наваривается на снаряжении — но потом догадался, что отставной водолаз, как ни странно, любит свое подводное занятие и, дорвавшись, набирает лучшее.

— Ты с какого моста собрался прыгать? — спросил Вован недели через две, сидя на грохочущей кухне Максима Т. Ермакова, где основательно нагрел себе угловое удобное место. — Их тут, туда-сюда, больше двадцати.

Максим Т. Ермаков хотел с Крымского. Под этим мостом, должно быть, благодаря его подвесной конструкции, было особенное выражение воды: спокойное и пригласительное. Река под Крымским казалась туго натянутой, на манер спасательного полотнища, какое разворачивают, к примеру, пожарные, чтобы люди безопасно выбрасывались из окон. Должно быть, благодаря этой провокации Крымский мост лидировал в Москве по числу самоубийств. Неплох был и Большой Каменный мост, с открыточными видами на Кремль и самовар Христа

Спасителя, с имперской, знаменной и звездной, чугунной оградой, весьма удобной, чтобы забираться по ней башмаками.

— Ты вроде умный, а совсем дурак, — рассердился на этот выбор Вованище. — Вылезать на набережную будем, прямо к ногам гуляющего народа? Или думаешь, я с тобой, таким сподручным, двадцать километров по дну проползу? Надо еще и поглядеть, какое дно. А то сиганешь, и прямо на штырь, как бабочка в коллекцию. Мне ничего такого не надо. Придется самому поработать, разведать, что и как.

Этим Вован и занялся, как только потратил все деньги, что были даны на экипировку. Взял привычку заявляться к Максиму Т. Ермакову часов в двенадцать ночи, чтобы угощать инвестора подводными репортажами и самому широко угощаться из холодильника и бара. Приходил грузный, сырой, следил на полу в прихожей, скрипел пальцами-буграми в перекошенных носках, бурчал по пути на кухню голодным животом, точно внутри у него был аквариум, в котором работал мощный аэратор. Сжирал и выпивал все подчистую, за исключением кофе, которым брезговал. Крошечная кухня, переполненная радиопередачами вперемешку с трескучими помехами, казалась закупоренному слуху Максима Т. Ермакова глухой, как река подо льдом; верхние соседи, колотившие в потолок, были словно рыбаки, пробивавшие прорубь, чтобы спустить приманку. Трудно было говорить, не повышая голоса до крика; следовало как бы скользить под слоем шумов, льнуть голосом к самому столу, с которого совершенно беззвучно падали на пол то вилка, то нож. У Вованища получалось лучше — должно быть, сказывались навыки не столько подводные, сколько тюремные.

По словам Вованища, которые Максим Т. Ермаков разбирал отчасти по губам, дно Москвы-реки и Яузы представляло собой кисель. Видимость максимум метра полтора. Муть, хлопья, топляки. Лежит отломанная корма, белесая, мятая, как ведро из-под побелки. Едва не зацепился. Никто не убирается, водная артерия столицы, перемать! Солнышко со дна еле-еле видно, еле трепыхается на волнах, будто мелкая рыбешка в сетке. А глубина всего-то метра четыре, смех один!

— В центре Москвы вообще нырять нельзя, — Вован в ажитации таращился прямо в глаза Максиму Т. Ермакову, словно предлагая заглянуть сквозь свои синеватые мутные стеклышки непосредственно в душу. — Там такие патрули, ты что! Акулы! Ты про Крымский мост забудь.

По рассказам Вованища, он не раз и не два видел под водой забранные решетками коллекторы, возле которых гроздьями висели боевые пловцы. Наверное, коллекторы ведут куда-нибудь в Кремль, а то и в тайный правительственный бункер. Решетки обросшие, шевелятся, как живые, будто червяки в консервной банке, за ними тьма такая, что жуть берет. Лучше даже не соваться! Вована и одного чуть не арестовали под водой, а если он еще человека на себе потащит, тогда что будет? Возникли двое вдруг, из ниоткуда, уже подхватили, скользкие, Вована под руки, и головы были у них, ей-богу, такие, как у того гражданина начальника, что приезжал Вована нанимать в пикет: вроде длинных, не очень туго надутых, воздушных шаров. Хорошо, Вован вывернулся. Он, Вован, верткий. И удачливый, да!

Вован, между прочим, никак не хотел бросать свою копеечную подработку в пикете. Добросовестно отстаивал смены (через день по двенадцать часов), с аппетитом обедал горячим варевом из привозного бака, завел какие-то темные знакомства, вышел в лучшие метатели гнилых овощей. Шмякнув помидориной в обтекающий дождевик, махал Максиму Т. Ермакову перепачканной лапой: мол, привет, ничего личного. Рядом с Вованом иногда топталась симпатичная женщина-тумбочка, смешно сощуренная на солнышко. Вероятно, это и была та самая Надька, и, судя по грузным сумкам у нее в ногах, консервирование продвигалось успешно.

С Максимом Т. Ермаковым творилось неладное. Он чувствовал, что в нем истощается какой-то жизненно важный ресурс. Все, что внутри человека, имеет свой ресурс работы: сердце больше, печень меньше. Как определить субстанцию, чье убывание Максим Т. Ермаков ощущал как падение внутреннего душевного давления, отчего давление внешней среды становилось все более явственным, все более грозным? Что это — мужество, стойкость? Скорее, пофигизм. Убывание пофигизма создавало в душе пустоту. Максиму Т. Ермакову хотелось побыть одному, без дежурных, бледных по весне, социальных прогнозистов, без камер по всей квартире, без своего мультяшного двойника в он-лайн игре «Легкая голова», чья резвость непостижимым вампирским способом высасывала силы, а изрыгание огня порождало изжогу. Хотелось побыть одному, в просторном свободном пространстве — но от этого желания острее чувствовалось реальное одиночество, о котором прежде Максим Т. Ермаков думать не думал. Ни одного настоящего приятеля, даже Маринка пропала с концами, не заявляется и не звонит. Даже Просто Наташа, приходя за квартплатой, не рассиживается больше, не трет указательным пятнышки на мебели, а, втянув головенку в поднятые плечи, поскорей выкатывается в подъезд. Похоже, не заметила пропажу драгоценного мраморного куска, и о выселении молчок — видимо, с ней побеседовали, объяснили, что к чему. Вот до чего дошел Максим Т. Ермаков: он бы и с Просто Наташей сейчас поговорил. Он бы и с алкоголиком Шутовым выпил. Он чувствовал, что наблюдение ночью и днем, особенно в домашних стенах, делает его суетливым, сообщает ему какие-то женские стыдливые ужимки; если вдруг появится в постели какая-никакая баба — камеры наблюдения сделают его импотентом. Вот если бы на месте Вована оказался хоть кто-нибудь другой! Максим Т. Ермаков все время ощущал на своем лице мокрое дыхание отставного водолаза; конфиденциально придвинутая Вованова морда была как подушка, которой Максима Т. Ермакова хотят задушить. Зря Максим Т. Ермаков полагал, будто времени нет у социальных прогнозистов. Времени нет как раз у него самого.

Времени нет, а поди его убей. С увеличением светового дня образовалось несколько лишних часов, день сделался велик Максиму Т. Ермакову, он болтался внутри каждого дня, будто горошина в стеклянной банке. Предпринимал после работы пешие прогулки. Раньше Москва-река представлялась ему просто полосой невзрачной серой воды, что мелькает иногда справа или слева по ходу автомобиля, ненадолго прерывая угловатый шаг городской застройки. Теперь он смотрел на реку новыми глазами. Москва-река пахла, как старая женщина; звук, издаваемый ее волнами, бившими в набережные и словно искавшими объятий у каменной стенки, был всегда плаксив. Между тем воды ее казались странно тяжелы — что не объяснялось одними загрязнениями и многолетним отсутствием донной очистки. Москва-река только на четверть состояла из природных вод — остальное содержимое попадало в нее, пройдя через бесчисленные городские капилляры, вобрав в себя биохимический состав столицы, ее пятнадцати миллионов жильцов. По сути, в кривых берегах текла лимфа мегаполиса; эта желтоватая органика была насыщена информацией — и река, будучи не в силах унести на спине ржавое, как полузатопленный крейсер, отражение Кремля, волокла в Оку, Волгу и дальше в безвыходный Каспий свои нечитаемые файлы.

Чем-то Москва-река была сопричастна таинственным московским подземельям, что, подобно живым существам, шевелились внутри московских холмов, двигались, меняли форму, сплетались в клубки, погибали, оставляя по себе затхлую скорлупку, отчего знаменитые здания давали внезапную усадку и кренились на манер Пизанской башни старинные колокольни. Из той же породы был московский метрополитен: система до странности роскошных дворцов, не имеющих ни фасадов, ни крыш — по сути, лишенных внешнего вида, безвидных,

несуществующих. Московское метро, прокачивая ежедневно по семь или восемь миллионов пассажиров, упорно не поддавалось восприятию человеческими чувствами; должно быть, неслучайно люди утыкались в книжки и в спины друг другу, когда состав, с воем летевший по маслянистому черному туннелю, внезапно проскакивал как бы внутри ископаемого скелета: исчезали, мелькнув, ребристые своды, заросшие корками колонны, какие-то призрачные кабели, на которых еле сочились редкие йодистые лампы. Что это было? Неизвестно.

В метро мозг Максима Т. Ермакова, ограниченный сверху непроницаемыми пластами, был как воздушный шарик под потолком: колыхался и сморщивался. Мозг улавливал, помимо потоков воздуха, нагнетаемого вентиляцией, еще какие-то тихие, ползущие по стенкам сквозняки. Метро было перчаткой, которую все время натягивала многопалая бесплотная рука. Это характерное движение Максим Т. Ермаков ощущал в подземке не только плывущей головой, но и позвоночником. На многих станциях можно было наблюдать, как под сводом, над пустыми рельсами, безо всякой видимой причины раскачиваются, тяжко и вразброд, мутные светильники — точно ведра с водой из Москвы-реки, несомые на коромыслах. Ту же самую качку, тот же грузный перепляс Максим Т. Ермаков улавливал в речной волне: ритм был совершенно узнаваемый, ни на что другое не похожий. Теперь эта новая, нутряная, безвидная Москва притягивала Максима Т. Ермакова, пожалуй, не меньше, чем когда-то манила к себе из города-городка Москва огнистая, богатая, единственная в своем роде, существующая в одном уникальном экземпляре. Москва, признав Максима Т. Ермакова своим, тянула его в свою утробу — заранее давая понять, что там, в ее земле, покоя нет и не будет.

Окончание следует

Сергей Круглов

Серафимополь

Наплаканное в стакан

Москва слезам не верит, — а ты, Питер, веришь ли?

Углём прорисован, чаечной солью пьян,
Предъявляю тебе — последним словом, вещею вещью ли —
Мухинский гранёный советский стакан.

Универсальный предмет, — к уху прикладываю
Толщею зеленоватого дна! —
И слышу, как за стеной скандал раскладывает
Вепска твоя весна;

А то — опущу поплавок с фитилём его
В елей, в дно,
И вот — лампада гранёная, —
Неимоверное, но — самое пылающее оно.

Чиррк — чадит, трещит, но горит, даже если
Икон лики темны!..
Гранёный стакан, цилиндрическое веры место,
Укрывище милосердия и весны!

(Двадцать граней насчитал — правильно, скульптор-мать? —
Нет, так собьюсь!.. переверну, начну опять).

Да и спирт ли сырец там пылает, елей ли, — о не гася
Прими: Твоя от Твоих Тебе приносяще
О всех и за вся.

Об авторе | Сергей Геннадьевич Круглов родился в 1966 году в Красноярске. Одна из первых представительных публикаций состоялась в «Знамени»: «Стихи, присланные из Минусинска», 1996 год, № 12. Вышли книги стихов: «Снятие змия со креста» (шорт-лист премии Андрея Белого, Москва, 2003), стихи последних лет — «Зеркальце» (Москва, 2007; премия Андрея Белого, 2008), «Приношение» (Абакан, 2008), «Переписчик» (Москва, 2008), «Лазарева весна», «Народные песни». Лауреат премии «Московский счет» (2009), член жюри литературной премии «Дебют» (2010). Служит священником Русской православной церкви, живет в Минусинске. Предыдущая публикация в «Знамени» — №2, 2009.

* * *

О.К.

По всей стране — мегатонны снега,
тают, топят, стада, груды…
Ах Питер, альфа моя и омега!
Утонуть бы туда — отсюда.

Как льдяной морж, поплыть бы, фыркая утопающей головой,
на Васильевский через Строителей (бывш. Биржевой).

Но пред тем поглядеть бы, как на Петроградке,
среди призраков покинутых заводов,

плывут твои фантомные финноугорские утки,
крячат языками вяйнямейненовских переводов

с голодаевского.

Дырка на чулке Мэгги Дилин, пляшущей скользящую жигу

Вы видывали дев иных,
Но Мэгги — лучшая их них,
Ей Гэльская в единый взмах
Вся рукоплещет лига:

«На девять огненных восьмых,
На девять медленных восьмых,
Ведь это слип, ведь это — ах! —
Слип-жига!»

Она красивей всех подряд.
«Ах, как же Мэгги хороша!» —
Все расхвалить её спешат,

С иголочки на ней наряд.
Но разглядел я вдалеке:
Вон — дырка на её чулке.

Она танцует свысока,
То руки утвердив в бока,
То их купая в ветерке,

И ножкой— памс!
Другою — трампс! —
И взоры всех — в её руке,
В победно сжатом кулачке!

А я — в сторонке я сижу,
На что, на что, на что гляжу? —
На дырку на её чулке.

Я не был с ней накоротке
(Словами Мэгги промолчит,
О чём мне танцем говорит:

Она, уж верьте, такова!) —
Но эти я прочту слова
Сквозь дырку на её чулке.

Ах, в этой дырке белизна
Плывёт, как белая луна,
Что ночью светит для двоих!

И под волшебною луной
Плывёт в родимой стороне,
В морях, зелёный остров мой,

И расцветает остролист,
И Патрик заклинает змей,

И, чист, ручей бурлит, речист,
Чей говорок вплетал я в стих,

И дети призрачной Дану
Пасут быков из Куальгнэ,

И юность, в сладостной тоске,
И поцелуй, что не рискну —

О нет, вовеки не рискну! —
Вовеки приложить я к ней,
К волшебной дырке на чулке!

Склад двухколенный, скорый темп, —
Ни взгляда в сторону мою! —

А я над бездной, между тем,
И плачу, бедный, и пою,

И сердце падает в пике,
Я провожу его — адью! —
Лети же в дырку на чулке!

А вслед за сердцем — жизнь моя,
Ползут, плывут её края,
Напропалую и не в такт,

Теряет петли жизнь моя,
Как дырка на её чулке,

Бесстрашно, бесшабашно так,
Как дырка на чулке.

Антипасха

Фёдору Васильеву и Облакову Штанаху

Не всяк невидящий — блажен.
Не всякий жаждущий — напьёся,

Когда тысячелетний плен,
Чтобы закончиться, начнёся.

Но ты — узнаешь ли Меня
В соитии вина и хлеба,

В смиреньи смерти и огня,
Фома, попавший пальцем в Небо?

На смерть Соломона Апта

При к**о**рнях дерева — давно лежит секира;
При к**о**рнях ржи — отточен, серп…

На глас шестый — звучи, звучи, стихира:
«Немотствуй, кайся, смерд!..»

Вы, грешные, родимые, больные!
В моё предстательство — о, вера как глупа:

Я в вашем сн**о**пе — только колос, выю
Склоняющий пред посвистом серпа.

* * *

Андрею Полякову, в ответ (представляя
бессмертные очи таврических богов,
неподвижно глядящих в глухую бесчеловеческую
ночь и отказывающихся постигать)

2012 на часах
зимы.

Евксинский Понт стеклянной гладью стал,
и впору

учинить соревнованье в беге
до самой Каппадокии, — но нет
на улочках твоих ни одного
точильщика, чтоб наточить коньки,

Серафимополь! зимняя столица,
приют умерших шестипалых конькобежцев.

Да и размер конькового ботинка,
увенчанного ржавою снегуркой,
давно не тот,

хромой Гефест, паралимпиец-бог.

* * *

маленьких новобранцев двадцать первого века
воспитанных матерями-одиночками
жизнь вынуждает стать мужчинами

обвязаться ответственностью как гранатами
встать из окопа выбраться
идти в бой лечь на дзот
под лязгающие мерно
равнодушные траки

видишь: армия дезертиров валит
наступает в собственный тыл

смяв беспощадный заградотряд
категорического императива
с его звёздными пулемётами

Постное (борясь с помыслами)

я вчера
не пришёл в себя

где же ты, сволочь! пошёл искать

и что вы думаете? поймал
себя на мысли

мысль-то ладно: завизжала
прикрылась убежала

а с собой-то что делать

так и стоим сжав кулаки
вне себя

Минусинск

Игорь Зотов

Богбандит

рассказ

Пенсионер Николай Петрович Пурин стоит перед беременной девкой в полулупустом переходе с «Театральной» на «Площадь Революции». Та держит обеими руками (точно боится, что вихрь подземный вырвет-унесет) бумажку: «Помогите на жизнь».

— А ноги когда расставляла да м.ндой торговала, о жизни думала? — строго вопрошает Пурин.

— Что?

Гулко, девка в толк не возьмет, чего привязался этот высокий старик с глазами серыми, злыми, под глазами мешки.

— Ноги когда расставляла, о жизни думала? — повторяет тот громче. И прибавляет: — М.ндюшка!

— Чего вы ругаетесь? — спрашивает девка, но как-то машинально, лицо опухшее то ли с горя, то ли с пьянства.

— А того: нах тебе такая жизнь? Родишь — и чего? Аборт нужно было делать, а-борт. И об борт ее швыряет! — Пенсионер вдруг поет неожиданно приятным баритоном. — Пошла б удавилась, и то лучше. И тебе, и помету твоему вонючему…

— Слышь, папаша, иди-ка ты отсюдова, — все так же бесстрастно девка.

Она лишь немного сердится, и то, кажется, не на нравоучения, просто старик мешает.

— М.ндюшка! — Николай Петрович поворачивается, чтобы идти, но вдруг передумывает, говорит:

— Кто же на тебя такую позарился, вот что мне скажи. Ноги кривые, ляжки толстые, шеи нет, рожа поперек себя шире… Разве по пьяни…

— Да иди ты… — вяло девка.

А он уж почти ласково:

— Может, с толстыми ляжками тайно придет она, и ты будешь читать свою чахлую дохлую лирику… Э-эх, ты, м.нда с ушами! Ведь и взрослая вроде, а того понять не хочешь, что уж коли родишь, так по-любому сдохнет твой помет. Это лишь вопрос времени. Ежели ты, конечно, не Богородица!

И Николай Петрович опять поет, на сей раз частушку, заполняя баритоном своды тоннеля:

— Ох, да не целуй меня взасос,
Ох, да я не Богородица!
Ох, да от меня Иисус Христос

Об авторе | Игорь Зотов родился в Москве в 1955 году. Закончил филфак МГУ. Переводчик, журналист. Автор двух книг прозы: «День Деревякина» (2002) и «Аут» (2009). Живет в Калужской области. Рассказ «Богбандит» входит в новый роман, который автор только что завершил.

Да все равно не р**о**дится!
Опа, опа!
Срослись с м.ндою жопа,
Да этого не может быть —
Промежуток должен быть!

И уходит, уходит, руки в широкие карманы перелицованного пальто, через плечо сумка.

«Вот, кстати, два зимних модных аксессуара: п**а**ховик и м.нд**о**! Хе-хе-хе-хе…» — бормочет громко, в переходе факт бормотания очень слышен, но содержания — не разобрать.

Пока Николай Петрович спускается на свою любимую станцию с бронзовыми истуканами в нишах, коротко поясню, что классическую строку он процитировал не из случайного каприза, — он вообще-то знает изрядно и стихов, и прозы — даром, что ли, больше тридцати лет проработал учителем словесности — и большой любитель щегольнуть цитаткой. Полузапретную в известные годы поэзию добывал где мог и переписывал, переписывал средневековo в амбарные книги — он и по сей день читает не типографские томы, а эти сероватые страницы, испещренные бисерным, невероятно четким почерком: стихи, стихи, стихи и даже в прозе — от руки исполненные «Москву—Петушки» и отчего-то «Машеньку» Набокова.

Пурин на платформе. Спешившая впереди девушка в модных штанах вдруг вильнула влево, привычно погладила намоленную коленку статуи рабочего в кепке и с винтовкой в бронзовой хватке — и дальше. «Ишь ты, м.нда позорная! В бога они верят, ха! Любому тельцу рады поклоняться! А штаны-то, штаны! Точно обосрал**а**ся!..». И вдогонку:

— Эй, эй, засра-анка!

Но та уж далеко, а вот прохожие заоборачивались: кто недоуменно, кто весело — дедуля спятил. Поток уносит любопытных, Николай Петрович останавливается. Он стоит как раз против парашютистки — по-всему только что приземлившейся, подбирающей с земли стропы. «А вот ее за сиську никто не погладит! Э-эх, люди!» Подходит поезд, пенсионер грузится, уезжает.

Изучает схему метро — куда податься. Конечный пункт вояжа с некоторых пор всегда один — «Третьяковская», но это потом, потом. А пока Николай Петрович выходит на «Арбатской», поднимается на эскалаторе и в буфете покупает стаканчик кофе с молоком. Это у него ритуал — пить кофе, разглядывая роящихся людей. К соседнему столику подходят две глухонемые тетки, они ничего не пьют, не едят, а просто притормозили потолковать. Обе некрасивые, в нелепых шерстяных шапках невероятных раскрасок. Пурин внимательно следит за пряжей их разговора, улыбается: «Ишь, парки страшенные! Плетут, плетут, потом — бац! и нет человеков!» Тетки замечают его взгляд, оборачиваются, руки их замирают.

— Чего уставились, убогие? На башне спорили химеры, которая из них урод? Хе-хе-хе! А вот угадайте по губам! Что, слабо? Сик-кушки!

Тетки укоризненно качают головами, дружно отворачиваются, взмахивают руками, уходят. Пенсионер допивает кофе, спускается на платформу «Библиотеки».

Есть у него одно налюбленное местечко — переход с «Лубянки» на «Кузнецкий мост». Там, возможно, стоит сейчас гордость его, так сказать, коллекции — старик, с виду ровесник Николая Петровича, со звонкой табличкой на груди: «Умер единственный сын. Нет денег похоронить. Помогите!»

Впервые Пурин приметил его в вестибюле на «Пушкинской» лет тому шесть или семь, когда еще не практиковал свои вояжи. Тогда, с непривычки подивившись про себя скорбному обстоятельству из жизни коллеги-пенсионера, подумал: «А сын-то небось в морге лежит, не дома ж! Интересно, сколько его по закону будут держать? Куда потом снесут? В яму общую? Этаким Моцартом?»

И надо же — месяца через два, но уже в переходе на «Кузнецком мосту», Николай Петрович вновь увидал знакомого старика с той же табличкой. «Оппаньки!» — остановился, долго недобрым взглядом буравил сверстника. Наконец, тот либо устыдился, либо надоело — поковылял к эскалатору, уехал первым же поездом.

Позже Николай Петрович встречал убитого горем отца то на «Китай-городе», то на «Пушкинской», то на «Баррикадной», но чаще на «Кузнецком». Повсему старик жил где-то у этой линии и не слишком разнообразил географию нищевания.

Собственно, с этого старика и начались вояжи Николая Петровича. Как-то раз не удержался, подошел к попрошайке вплотную и ехидно: «А что, сынок твой разве не разложился еще, так сказать, до первооснов?»

— Тебя не спросил! — неожиданно резво ответил тот, щеря желтые клыки.

Пурин смутился, он не ждал отпора, он ждал смущения, раскаяния, слез раскаяния. Не найдясь, чем еще ущемить нищего, отошел.

С годами Николай Петрович подробно изучил завсегдатаев подземного мира. Запросто мог отличить залетную молдаванку с грудным младенцем, просящую по старинке на прокорм — глазки у нее бегали еще неуверенно, не привыкла, знать, еще к московской публике, — от старожила, с достоинством справляющего свои нищие надобности. Отыскать же старика, все хоронящего и все не могущего похоронить своего сына, Николай Петрович считал особой удачей. Встречи их случались в разных местах, всегда неожиданно, и задавал пенсионер один и тот же вопрос:

— Ну-с, мил человек, на какой стадии разложения наш сыночек? Скелетизирован или же мы его в прохладе, в подполе храним? То бишь — мумифицирован…

Безутешный отец в полемику не вступал, молча прятал свою афишку, летом — за пазуху, в иные сезоны — под полу плаща или пальто (вполне приличных, впрочем, он вообще одевался прилично — тем самым располагая к себе прохожую публику: не бомж какой-то, но человек с бедой, с кем не случается!..), и ковылял прочь.

Однако на сей раз в переходе никого. Николай Петрович припоминает, когда в последний раз встречал убогого. Выходит, что давно, кажется, еще в сентябре. «А может, и помер. И лежат они теперь вдвоем, этак по-семейному, один скелетом, другой подгнивает разложенцем… Э-эх, что наша жизнь?! Игра!»

И отправляется на «Третьяковскую».

Сюда с некоторых пор он приезжает регулярно. Здесь ему раздолье. Здесь он богохульствует. Здесь ахматовская церковь, и, поднимаясь по эскалатору, Николай Петрович неизменно шепчет про себя одно и то же:

«Один идет прямым путем, другой идет по кругу и ждет возврата в отчий дом, ждет прежнюю подругу. А я иду — за мной беда, не прямо и не косо, а в никуда и в никогда, как поезда с откоса…».

На Ордынке, на углу у здания банка, что напротив церкви, стоит мужичок виду татарского, скуласт, пухлоглаз. Завел на цоколе под окном песнопения, у кривых ног разместил пожитки. Тулупчик расстегнут, на груди — большой белый крест из бумаги, на овечьем лацкане записка: «Подайте православному страннику!».

— Стран-ник, — нарочито по слогам читает Николай Петрович вплотную. — Хе! …один бранил меня, другой моей супруге советы подавал, иной жалел о друге, кто поносил меня, кто на смех подымал, кто силой воротить соседям предлагал; иные уж за мной гнались; но я тем боле спешил перебежать городовое поле, дабы скорей узреть — оставя те места, спасенья верный путь и тесные врата…

Мужичок слушает внимательно, рукой же аккуратно, дабы не спугнуть чужого вдохновения, двигает по оконному откосу коробчонку за подаянием. От пенсионера, впрочем, сей жест не укрылся:

— Не шурши, убогий! Всю поэзию попоганил! Откуда идешь-то? Из Вологды в Керчь или наоборот?

— Зачем в Керчь? С Оки иду, из Мурома, — недоуменно мужичок.

— От Петра с Февронией?

— От них, от благодетелей, — сладко улыбается просящий, так что глаза и вовсе исчезают.

— Утром проснувшись, обнаружили люди, что раздельные гробы князя с княгиней пусты, святые же тела их лежали в общей могиле у храма Богородицы… — с удовольствием как бы припоминает пенсионер. — Помыслить такое невозможно, убогий, — какая в них сексуальная мощь была, в этих усопших!

— Какая? — с недоумевающей машинальностью мужичок.

— А такая: оне и костями умудряются совокупиться, а попросту — по.бстись!

— Ай-ай-ай! — вдруг взвизгнул мужичок, глазки вновь сузились донельзя, но уже зло, зло, побелели. — Ай-ай-ай, бес, бес!

И слюной брызжет.

Николай Петрович поспешно ретируется, семенит по переходу к самому храму. Озирается, но странник уж на него не смотрит, принимает милостыню от какой-то в платочке. И слава богу.

У свечной лавки бомжик клянчит без креста и затей: «Мне денег не надо, я покушать прошу, а не денег!».

Николай Петрович ухмыляется, снимает перчатку и несграбными ручищами с желтыми ногтями чудовищных — в полпальца — размеров достает из внутреннего кармана спеленатые рекламной газеткой бутерброды с сыром (берет из дома в свои экспедиции), отделяет один, отламывает от него половину, протягивает:

— Ешь.

Тот принимает недоверчиво, и, не снимая грязной перчатки, — тут же жевать: крошки на ворот небесно-голубого некогда свитера.

— Любишь хлебушек-то? А если с маслицем да с сырком? А? Еще?

— Спасибо, вкусно очень, — хрипит бомж и тянется за добавкой.

— Ишь ты! — Николай Петрович отводит руку с бутербродом за спину. — А может, ты и мяса хочешь? Или жирное не ешь? Холестерина избегаешь?

— Мясо вкусно, — сипит бомж, губы его растягиваются в улыбке, обнажая отсутствие всяческих резцов.

— Так чего же ты стоишь? — выдержав театральную паузу, продолжает Николай Петрович. — Ступай, я же тебя не бью!

При звуке этих классических слов бомжик точно сглатывает улыбку, покачиваясь, собирает с сугроба драные пакеты с барахлом, послушно ковыляет прочь вдоль ограды.

— Мяса ему подавай! Пидарас… вонючий!

Замечу, что последнее выражение — наилюбимейшее у Николай Петровича. Причем первое слово никогда не остается у него в одиночестве: старик выдерживает паузу и прибавляет неизменное — «вонючий»! Всегда.

— А чего у Боженьки не спросишь? — Николай Петрович не отстает от убогого, идет рядом, бубнит. — Не дает, что ли? А то бросил бы тебе с небес плова небесного котелок, сарделек горних, а? Дай же ты всем понемногу, дескать, ну и не забудь про меня… Хе-хе-хе! Окуд-жаба ты моя смрадная!

Бомж влачится молча, хлопает гноящимися глазами. По всему видно — единственное его желание — опохмелиться. Пусть даже выслушав перед тем ругань и издевки этого, невесть откуда чуть ли не всякий божий день возникающего старика в длинном драповом пальто.

— Потому и не дает, что никакой он не Бог, а есть сущий бандит. Он с небес на нас развлекается. Ему смешно, как ты под забором от холода кочуришься, а я последние крохи от пенсии на черный хлеб собираю…

Это Пурин привирает для пафоса — никаких последних крох на черный хлеб он не собирает, он вполне себе обеспеченный старик, живущий на ренту с одной из своих квартир (у него их две), которую сдает семье врачей — причем половину берет деньгами, а другую — регулярным медицинским обследованием и лекарствами. А богохульствует оттого, что Бог наиподлейшим образом увел у него жену.

Между тем, пенсионер замечает, что в профиль бомж поразительно похож на Параджанова — просто копия! И тогда он говорит:

— Ну-ка стой, стой!

Тот послушно останавливается, опускает пакеты на землю.

— Ты вот убогий-убогий, а сам того не знаешь, что сидишь на златом мешке!

Бомжик озирается по сторонам, смотрит под ноги, назад, но мешка со златом не обнаруживает.

— Да не туда глядишь, не туда, — смеется Николай Петрович. — Ты в зеркало гляди, тебе на Мосфильм надо бежать срочно, пока совсем не издох, на главную роль проситься — ты на Параджанова похож, как брат-близнец!

Бомжик тускнеет лицом — он не знает, кто Параджанов и почему ему на Мосфильм.

— Да и хер с тобой! Заболтался я, к храму, к храму! Вот ты мне скажи, убогий, отчего ты не на паперти стоишь? Не пускают? Правильно — там своя мафия нищая! А тебе судьба на задах торчать… Эх, не по-христиански, не по-христиански…

— Мне денег не надо, — вдруг вспоминает бомж, — я кушать хочу…

— Это мы уже слышали, — Николай Петрович идет дальше, к паперти, к паперти.

Дорогой он напевает «Тореадора». И неспроста: в юности Николай Петрович грезил оперной карьерой, был у него немаленький баритон. В школьном хоре солировал, пел звонко, громко, всем на зависть. Как голос сломался и вновь оформился — посулил ему школьный хормейстер звездную карьеру, посулил щедро, так что Николаша поверил безусловно. Решил поступать в училище, но буквально накануне прослушивания — простыл, осип и на экзамен не пошел. Отец его — Петр Николаевич, инженер, человек нрава крутого, рассудил просто: «Петь — не по-мужски, поют одни пидарасы, заканчивай школу» (заметим в скобках, что слова эти в устах Пурина-отца звучали по меньшей мере нелогично: сам он оперу очень даже уважал, был заядлым «козловистом» и дома постоянно напевал из любимых «Онегина» да «Вертера»: «О, не буди меня, а-а-а-а!.. дыхание весны-ы…»).

Разумеется, сын школу закончил. Но, памятуя о посулах хормейстера, решил тайно попытать счастья еще. На сей раз горло берег как сокровище, воды холодной не пил, мороженого не ел, на сквозняках не ошивался, даже на пляж на Ленинские горы с приятелями купаться не ездил — хотя лето стояло знойное. И надо же, как назло — за два дня до экзамена слег с температурой — банальная ангина! Хотя, повторим, жара в те дни в Москве была несусветная.

Вместо музыки вышел у Николаши журфак университета: дядя, Тимофей Николаевич, недавний фронтовой корреспондент, а следом — партийный журналист, составил высокую протекцию.

Николай Петрович поет из Бизе по-французски: «Торе-адор ан га-а-арде, торе-адор, торе-адор!». И ровно с последними тактами сноровисто восходит на паперть.

На ней три нищенки. Завидев пенсионера, озираются, точно ища пути к отступлению. Заметь они его раньше — схоронились бы в храме, но Николай Петрович уж тут как тут. Заприметив в руках одной — долговязой, нелепой, в стоптанных до сути сапогах да в грязно-красном платке на нечесаных волосах — порожний стаканчик из «Макдоналдса», Пурин криво ухмыляется:

— Ты что ж, м.нда верстовая, америки у храма проповедуешь?! Не могла тару поотечественнее сыскать?

Та держит глаза долу, мешкает, а он смачно плюет прямо в мерзлую мелочь.

— Господь ужо тебя покарает, покарает! — каркает, выдвигаясь перед подругой, другая — скукоженная старушенция, карлица почти.

— Ой, не смеши, вша убогая! Ой, помру со смеху!..

— А вот я старосту, старосту!.. — грозится та мизерным перстом.

При этом пятится, выдавливая спиной понурую подругу с крыльца в церковные двери. И крестится истово, и все окрест крестит — словно гоняя бесов, слетевшихся к старику в поисках безбожной поживы:

— Ишь, бандит какой! Бес, бес! Свят-свят-свят!

— Это я — бандит? Ха! Это Бог ваш — наипервейший бандит и бес! — бубнит Николай Петрович, но все ж негромко, осторожно.

Он знает, богохульное счастье его скоротечно: сейчас карлица шепнет сторожам о его явлении, и выведут Николай Петровича под белы рученьки вон со двора. Бить не станут — место святое. Он еще видит рыбью спину долговязой — и та исчезает за дверью. Остается лишь третья, расслабленная, сидит на стылом камне, раскорячив немощные ноги.

— И ты тут, агентство недвижимости! — пенсионер мрачно плюет с паперти в снег.

Стоит в секундной нерешительности, извлекает из сумки пакет, открывает, задумчиво смотрит внутрь, сворачивает, наклоняется вроде оставить пакет на паперти, но нет — не оставляет, кладет обратно. Вздыхает. Спускается прочь.

К тому же хочется и по-маленькому. Николай Петрович хоть и старик, но мочится не часто: пару десятков лет уже как грызет он тыквенные семечки — с простатой полный у него мужской порядок. По утрам бывает, разглядывает себя голого в большом зеркале в прихожей, восклицает: «Стоит родной, стоит покуда!».

Ему б в бесплатные удобства «Макдоналдса», но там, на пути, на углу банка торчит помехой злой татарин-странник. И Пурин — во дворы, во дворы, и между сугробами, не таясь, дырявит вялой мочой серый снег.

Скоро сумерки, хотя и четырех еще нет. Пора возвращаться — обедать, листать амбарные книги.

Карьера журналиста у молодого Николаши не задалась с самого начала. Когда он вышел из университета, все тот же дядя пристроил его в ведомственную строительную газету, из которой при известном рвении и везении путь в большую журналистику мог стать легким. Но незадача — как раз о ту пору шла по стране так называемая оттепель, и юный борзописец воспринял ситуацию слишком доверчиво, что, в общем-то, простительно для его возраста. Получив

первое задание — написать очеркушечку про молодую женщину — героиню производства, положившую в минувшем году то ли сто, то ли двести тысяч кирпичей в кладку коммунистического фундамента, Николаша ничтоже сумняшеся заключил: ей бы детей рожать, а не кирпичи класть, ибо сказано древними: Богу Богово, а бабе бабье. Чем больше она кирпичей положит, тем меньше у нее шансов родить здорового члена нового общества. Редактор покрутил пальцем у виска и отправил романтика делать колонку строительных новостей: провели, заложили, сдали в эксплуатацию… Николаша полгода промучился, кладя словесные кирпичи, а как выдался случай — перешел в другую газетку, рангом пониже, да что там — в многотиражку обувной фабрики. Передовиков хватало и здесь, но тема была, как ему казалось, более человеческая — ботинки-полуботинки, боты, сапоги, кожа, кожзаменитель, колодки, подметки, шнурки, в конце концов. Зато на новом месте раскрылся наконец в полной мере и вокальный дар Николаши: стал он попевать в местной самодеятельности. И имел локальный, пусть на смотрах обувщиков, но все же успех. Здесь же произошло, пожалуй, наиважнейшее во всей его жизни событие — знакомство с Юлием Арнольдовичем, записным меломаном, ходившим в Москве буквально на все, что имело хоть какое-то отношение к оперному искусству, а то и просто к пению: и в Большой, и в музыкальный Станиславского, и в Оперетту, Консерваторию, зал Чайковского, Гнесинку, не исключая и всевозможные дома культуры.

Юлий Арнольдович после концерта аплодировал у авансцены исключительно Николаше, руки тянул, слезу смахивал, так и познакомились.

Юлий Арнольдович — вот ирония судьбы — был начисто лишен музыкального слуха, и ни единожды, даже и про себя не спел ни куплета, но чужое пение, особенно мужское, особенно баритональное — нередко доводило его до слез экстатических, до навзрыд!

Большую комнату в коммуналке на Волхонке он делил со своей дочерью Василиной, по-ласковому — Басей. Жена умерла в войну в эвакуации, сам же на фронт не попал по причинам, во-первых, немецкого наполовину происхождения, во-вторых, по чахотке, которую вроде бы и удалось остановить, но от которой, тем не менее (забегу вперед), он и умер.

Две стены его комнаты уставлены были сосновыми стеллажами, а те — биографиями и монографиями, газетными вырезками, посвященными оперным певцам, портретами оных — иные с автографами. Были там и Пирогов, сладкая парочка — Козловский с Лемешевым, и даже Шаляпин, но красное место в капище занимали классические баритоны: Лисициан, Мазурок, Норцов и примкнувший к ним молодой кумир Магомаев…

Имелись и пластинки в этой музыкальной коллекции, но мало — Юлий Арнольдович пение с винила не жаловал, умел наслаждаться им только вживую. Для Гоби, Руффо да Тадеи он бы и рад сделать исключение, тем паче, что пластинки великанов бельканто у него были, были, да вот только слушать их было не на чем, ибо во всем остальном в комнате царила банальная советская нищета: круглый стол посередине без скатерти, без клеенки, даже без графина, но исцарапанный, испятнанный, исщербленный; две железные панцирные кровати — одна отца, другая, в дальнем углу у окна за блеклой ситцевой ширмочкой, — дочернина; сбоку у двустворчатой двери вместо гардероба — вбитые в стену гвозди с одеждой.

Зато знала Юлия Арнольдовича вся музыкальная Москва. Кассирши оставляли ему билетики на галерку, публика шушукалась, когда он восходил по длинной консерваторской лестнице, а сами певцы, казалось, перед первыми тактами какого-нибудь романса искали в зале его долговязую фигуру с одухотворен-

ными руками, искали точно некий талисман, и, найдя — вдохновлялись, и голос их тек вольно, мощно!

Тогда и Юлий Арнольдович впадал в экстаз, ерзал, подтаптывал ножками, подтактывал худыми пальчиками, слезы проступали на его голубых до одури глазках, и уж не помнил он себя. Себя он вспоминал после, когда, выйдя с концерта, в ближайшей подворотне извлекал из внутреннего кармана пальто полбутылки дешевейшего портвейна — «Солнцедара» или «Агдама», вынимал бумажную затычку и отхлебывал из горлышка.

Николай Петрович достает из сумки гигиенические салфетки, тщательно протирает ладони и пальцы, откусывает остатки бутерброда, жует на ходу.

Вот он снова в метро. По вагону идет человек, как-то нарочито припадающий на левую ногу, восклицает:

— Хирург сказал — резать ногу! Помогайте, пожалуйста, помогайте!

Застывает, протянув руку, ждет, как дадут, не отходит, настойчив. Николай Петровича, как человека, имеющего отношение к словесности, привлекает в слогане убогого несовершенный вид глагола. Это грамматическое обстоятельство придает обращению какую-то особенную наглость: помощь требовалась не единовременная, а регулярная, этаким пенсионом — только успевай совать руку в карман и давать, давать…

Когда инвалид достигает Николай Петровича (поезд тормозил на станции), тот клонится к его уху и язвит:

— Ногу отрежут — так и хорошо, хорошо! Счастья своего не знаешь! Хорошо тому живется, у кого одна нога — потому что х.й не трется и не нужно сапога!

Инвалид дико смотрит на пенсионера, поезд останавливается, двери раздаются, и он выскакивает вон с неожиданной прытью.

«Смутил, смутил наглеца-мошенника!» — ликует пенсионер.

С некоторых пор Николай Петрович повадился объезжать подземный мир в поисках жертв почти ежедневно. Бывало, проснется утром в состоянии разбитом — болит голова или суставы, или все разом — старость («Если в нашем возрасте ты проснулся и ничего у тебя не болит — значит, ты умер», — любит повторять пенсионер), лежит долго, скорбно вперившись в низкий потолок. Наконец, берет над собой усилие и принимается разминать члены, массировать ноги, руки, живот. Встает, принимает лекарства, пьет по-английски чай с молоком да с бутербродом, правда, чай с годами становится все жиже, а бутерброд площе, но это не по скупости, а в целях сугубо диетических — сокращения танинов-холестеринов. Слушает новости, смотрит в окно. Потом не спеша одевается, кладет в карман опять же бутерброд или яблоко и к метро. Эти десять—пятнадцать минут прогулки действуют благотворно. По пути не пропускает он ни единого прохожего, ни эллина, ни иудея, ни мужеского, ни женского полу, ни старика, ни старуху, ни мать с младенцем, ни девушку, ни юношу, чтобы не пробормотать с разной степенью громкости (это зависит от моментально оцениваемой способности адресата к ответу и отпору) какую-нибудь реплику: «Давай, давай, старая м.нда, шевели корягой, пока не сдохла!» (старухе, переходящей улицу), «Ишь, нам.ндилась, точно праздник какой! Ах ты, сучка, — на лекцию она бежит, а заодно и по..стись!» (студентке, спешащей в институт), «Убери свой помет с дороги! Нарожают тут мяса пушечного, пройти негде!» (мамаше, ведущей ребенка за руку).

Подняв таким образом состояние духа, Пурин спускается в уже комфортное дневное метро и начинает подземный цикл вояжа.

Знакомство с Юлием Арнольдовичем круто переменило участь молодого репортера. Нет, сказки не случилось: не запел Пурин соловьем-самородком, не был приглашен ни в Большой, ни в Скалу — хотя бы и потому, что к началу знакомства Николаша уже несколько лет активно курил, причем наидешевый из табаков — «Беломорканал». Однако стал желанным гостем спивающегося меломана в помещении на Волхонке. Садился за щербленый стол, хозяин напротив, и начинался монолог, прерываемый разве что жадным прихлебом портвейна из липкого стакана (гость деликатно от алкоголя отказывался).

Юлий Арнольдович читал, читал из книг, любимейшей из которых была «Парабола» Руффо. Потом рассказывал: о концертах, о певцах, о встречах, о верхних «до» да нижних «фа».

Голос его скользил, иногда спотыкаясь, почти падая, переходя в сип (это Юлий Арнольдович начинал задыхаться), и вновь скользил: чахотка успела унести из груди одно легкое.

Завершался вечер неизменно чтением стихов, которые Николаша, к стыду своему, слышал всякий раз впервые, хотя и знал имена авторов, и своих Мандельштама, Цветаеву, Есенина, Ахматову, и заграничных Рильке да Бодлера с Аполлинером… Оказались увлечения Юлия Арнольдовича и шире, и глубже баритональных. Оказались на полках его не все лишь слащеватые мемуары, а и потаенные томики стихов. Оказалось, знавал Юлий Арнольдович в эвакуации и саму Ахматову, даже оказывал ей кой-какие бытовые услуги, за что был вознагражден автографом на куцем сборнике «Из шести книг»: «Милому-милому Ю.А. от А.А. Ташкент, февраль 1943 г.».

Иногда юный гость приносил с собой чемоданчик, который оборачивался скрипучим проигрывателем «Юность». И слушали, слушали, слушали что-нибудь из коллекции Юлия Арнольдовича. Или шли в концерт, причем почтенный полунемец легко позволял приятелю платить за себя в кассах.

Бася в мужских посиделках участия не брала вовсе: она училась в медицинском на вечернем, работала медсестрой в районной больнице, домой приходила ночевать, да и то — когда не дежурила в отделении. За все время (меньше трех — но каких! — лет) знакомства Юлия Арнольдовича и Николаши молодой человек видел ее не больше десятка раз или второпях на лекцию, или терпеливо зевающую за ширмочкой в ожидании, когда гость уйдет и она сможет раздеться и лечь. О ней Николаша сумел бы сказать лишь, что худощава в отца, что на узком лице всегда стынет вежливая, хотя и потусторонняя полуулыбка.

Всего-то три без малого года этой странной музыкально-поэтической дружбы, но.

Как-то Юлий Арнольдович с пьяным упоением принялся агитировать: «Ах, оставьте вы, Николаус, эту никчемную борзопись — читатели газет, глотатели пустот — ах, идите, мейн либер Фройнд, сейте разумное, доброе, чело-вечное… Дети, дети… они спасут мир, спасут и сохранят…».

И Николаша внял. Отправился в школу рабочей молодежи по соседству с домом — прознал, что учителей там нехватка. В школу обычную его без специального образования покамест не брали. Что ж: учил взрослых, сам же одалживал у своего учителя (так почтительно про себя называл Юлия Арнольдовича) стишки, переписывал в амбарные книги, вдумчиво, аккуратно, а заодно заучивал. Потом поправилось: стали строить в Строгине новый район, возвели мост, открыли школу и взяли Николашу туда словесником.

Не повезло в храме и не случилось на месте сынопохоронного старика, зато были же и удачи! Перейдя на «Китай-городе», Пурин углядел впереди — бонус! бонус! — нездешнюю, не-из-метро пожилую даму в роскошной шубке из щипаной норки. Она нарочито уверенно рассекала подземное пространство, но нездешность ее бросалась в глаза, бросалась! Не мог, не мог подземный завсегдатай Николай Петрович Пурин пропустить этакое исключение.

Нагнал и говорит. Говорит громко, чует — адвокатов себе в метро эта дамочка не возьмет:

— Ишь ты, вырядилась! Венера в мехах! Небось лю-юбишь плеточкой-то себя огреть, а? М.ндюшка меховая! А свой-то — промеж ног — мех, что, не греет? А? Греет небось… Или броешься там вчистую?

Дама шарахается, она все слишком хорошо услышала, тайное ее презрение мгновенно сменяется животным страхом: старик, безумный старик, а под поезд толкнет, под поезд! ах!

Николай Петрович с юмором глядит вслед, оборачивается в последней надежде, но нет, нигде нет любезного сердцу его ровесника. «Да и х.й бы с ним совсем!»

Садится в поезд — домой, домой.

Удача стережет его и в этом вагоне, впрочем, Николай Петрович уже и за удачу таковое не держит — простая закономерность, там пусто, здесь густо, как говаривал Ломоносов: высокий старик у дверей напротив. Но каков! Кто может сосчитать сановника доход!

Однако сперва Николай Петрович натыкается на широкую женскую задницу — баба в шубе, в колпаке, украшенном невероятной какой-то и размером и рисунком своим пуговицей, пришитой сбоку, перегородила проход.

— Посторонись, голуба, че раком встала? Я сегодня не обслуживаю! — прямо в пуговицу говорит он.

Женщина почти не реагирует, слова его, застревая в шубе, шерсти, коже, жире, едва протискиваются к ее мозгу. Но вот сторонится немного, давая толику прохода. И Николай Петрович шагает прямо к удаче.

Удача же являет собой старика в модной кожаной с мехом ушанке, с модно связанными ушами на затылке, с торчащим из-под длинным хвостом седых волос, в длинном же бежевом синтетическом пальто, за плечами рюкзак, в руке палка — все эти аксессуары решительно выдают в пассажире элегантного интеллектуала. Итак:

— Кто может сосчитать чиновника доход? Бессмертны высокопоставленные лица! (Где управляющий? Готова ли гробница?) В хозяйстве письменный я слушаю отчет… — провозглашает Николай Петрович уже вплотную.

И безо всякого удивления, но с наслаждением слушает ответный пароль:

— Тяжелым жерновом мучнистое зерно приказано смолоть служанке низкорослой, — священникам налог исправно будет послан, составлен протокол на хлеб и полотно…

— Мы с тобою поедем на «А» и на Б» посмотреть, кто скорее умрет, а она то сжимается, как воробей, то растет, как воздушный пирог. И… — Николай Петрович делает рукой взмах-приглашение.

— …едва успевает грозить из угла — ты как хочешь, а я не рискну! У кого под перчаткой не хватит тепла, чтоб объехать всю курву Москву… — заканчивает старик с хвостом.

Поезд как раз начинает тормозить, въезжая на «Кузнецкий мост». Хвостатый делает импульс к выходу, Николай Петрович щерится:

— Виагру небось пьешь?

— Пью, — кивает хвостатый.

— Поэт?

— Прозаик.

— Оно видно, что не поэт. А вот я, прозаик, виагры не пью, у меня и так стоит — не согнешь!

— Мои поздравления… — на ходу, уже назад кивает хвостатый и выплывает из вагона.

— Пидарас… вонючий — умиленно сипит вслед Николай Петрович.

Опускается на свободное сиденье: домой, домой!

Напротив восседает старуха в очках, страшная, с толстыми ногами, сосет— насасывает конфету, попутно плотоядно разглядывая обертку, и так ее, и этак, и сбоку, и вверх ногами.

— Все сосешь, м.нда очковая! — бормочет Николай Петрович, гипнотизируя ту взглядом. — В молодости, знать, не насосалась!

Старуха, разумеется, не слышит, да и не глядит она на пенсионера — а все на свою обертку, и сосет, сосет, сосет.

Николай Петрович вздыхает, ему хочется домой. Он даже хотел было пересесть на другую ветку и ехать до «Сокола», оттуда ближе идти. Но старческий консерватизм — не время менять привычки — берет свое, и он остается сидеть.

Выходит на «Октябрьском поле», закуривает (он теперь курит немного, но с наслаждением), вышагивает по мосту, разглядывая сквозь пелеринку снежинок вагоны, вагоны, вагоны и рельсы внизу. Вдыхает горький запах железнодорожного угля. Рельсы неизменно манят Николай Петровича своими сходящимися невесть где бесконечностями. Где кончатся эти? У Гибралтара, у парома в Марокко? Или в Таллине, у парома в Стокгольм? Был такой — «Эстония», а потом потоп, потоп. Или же в Благовещенске у парома на Сахалин? Или в лесном тупике под Вологдой у руин бывшего лагеря? Где угодно, где угодно. И нигде, нигде.

С моста видит он окна своей квартирки — на шестом этаже девятиэтажки: вон кухонька, левее — гостиная, а проще — проходная комната, в ней телевизор, сервант, продавленный диван, тертый ковер на стене, дверь скрипучая на балкон. Еще левее — спальня. Там они прожили с женой Василиной ни много ни мало, а тридцать три года. Без детей, вдвоем, как два перста, с правой руки и с левой.

Дома его ждет еще одно развлечение, которого он сам втайне стыдится. Телевизор. Стесняется же Николай Петрович по причинам сугубо творческим: с телевизором, вернее, с персонажами, мелькающими на его экране, он тоже заговаривает, комментирует, высмеивает, материт. Те-то про него, про Николай Петровича Пурина, разумеется, ничего не ведают, о его существовании не догадываются, его комментариев не слышат. И это ему обидно, и клянет он себя за свою многолетнюю слабость, но всякий раз, сготовив нехитрый ужин: пару сосисок с гречневой кашей, да кусок черствого хлеба с заветренным сыром, да стакан чая с лимоном, причем стакан в подстаканнике, как в поезде, отстукивающем стыки по параллельным бесконечностям; стало быть, всякий раз, отужинав на кухне, он переходит со стаканом в руке в проходную комнату и зажигает экран. Разумеется, больше всего поводов к комментариям ему дарят новости. Возникнет ли президент, принимающий чиновника в кремлевском кабинете, Николай Петрович загогочет: «Эгей, родной, проснись, проснись, тебя обокрали!». Возникнет ли премьер-министр на заводе, пенсионер поставит стакан на пол, встанет, вытянется в струнку, ладонь приложит к виску и гаркнет: «Равнение на экран! Смир-на! Ра-ды ст-раться, г-сподин ф-льд-фебель!».

Поводы в телевизоре неисчерпаемы: и тексты песен, и реплики ведущих, и закадровые голоса, да все что угодно! Иные фразы становятся для пенсионера любимыми, сопровождают его годами. Как, например, словосочетание «отойти ко Господу», которое он услышал от румяного толстомордого с бородкой веду-

щего новостей какого-то непервого из каналов. Как-то, заключая свой выпуск, тот сообщил о кончине некоего то ли архиепископа, то ли иного важного иерея (Николай Петрович запамятовал — кого именно): «Накануне отошел ко Господу…». Пенсионер и посейчас помнит, как подскочил он с восторженной прытью со своего дивана, так что стакан с подстаканником кувырнулись, рельсы кончились, шпалов нет.

— Во дает, во дает, ублюдок мордатый! Ко Господу, ко Господу! Одесную сел? Или ошуюю? А то напротив. Или же на задах! У Бога народу много!

С тех пор Николай Петрович за каждый свой вояж по десятку, не меньше, раз приборматывал с разной степенью внятности и громкости: «А не пора ли тебе, родная (родной), отойти? Ко Господу?»

История его женитьбы очень странная. Как-то весенним звонким вечером приезжает Николаша на Волхонку, звонит в дверь, в отдельный звонок, над которым бумажка: Ю.А. Бирн. Вместо же Юлия Арнольдовича открывает дочь его, и с вечной полуулыбкой, только на сей раз растерянной, сообщает: «А папа помер. Утром плохо стало, кровью рвало, «скорая» приехала, не взяла — туберкулез, инфекция… Пока специальная ехала — помер. Раньше это скоротечной чахоткой называли…»

Стояли в дверях, Николаша не ведал, что ему делать и говорить. Не ведала и Бася. Но пригласила: «Входите». Вошел. В высокие окна комнаты ярко брызгал закат — Бася застыла в профиль на его фоне, и отчего-то (он сам не мог объяснить, отчего?) Николаше очень глянулись Басины пухлые губы, захотелось их поцеловать. А тут случай и представься: Бася сказала, что квартиру — скандал, скандал! — санитарные власти постановили закрыть на дезинфекцию, дело нешуточное, туберкулез.

— Где же ночевать будешь?

— В отделение поеду, в сестринской на диване.

Николаша положил руку на Басино плечо, как бы в утешение, погладил, погладил, уткнулся носом в волосы: «Ах, как пахнут твои волосы!». «Грязью пахнут, не мыла давно». А все равно чем! Он повернул Басю к себе лицом да и поцеловал. Еще, еще, подтолкнул легко к кровати, повалил, последней лопатой в топку похоти стал слабый возглас: «Я еще девушка…». Потом, вспоминая эту сцену соблазнения и сватовства, Николаша решительно понимал, что кабы не смерть «учителя» да не дезинфекция, он навряд позволил бы себе таковое деяние. Просто потому, что Бася ему не нравилась — рыба и рыба, худая, костлявая, холодная. Но вот эти пухлые губы, на которые падали отголоски закатного солнца, вызвали в нем мгновенные и жалость и похоть, последствия которых оказались далекими, словно рельсы. И это «я еще девушка»! К чему?

В тот вечер он увез Басю к себе домой, объявив родителям, что вот, мол, это его невеста.

Жить же стали на Волхонке, откуда Николай Петрович каждый день шесть раз в неделю ездил в Строгино — час сорок пять туда да час сорок пять обратно.

Изменил Николай Петрович Басе уже спустя неделю после женитьбы, изменил в родительской квартире на Соколе. И потом изменял, все тридцать лет изменял часто. Причем Бася об этом, кажется, и не догадывалась, во всяком случае — молчала-таила. Все тридцать три года молчала. А вот ее-то, законную свою жену, Пурин за все эти годы употребил по-супружески считаное количество раз. Это случалось так: он смотрел на нее, она улыбалась в ответ, как бы виноватясь за потухшие свои губы, он же недоумевал: что же такое воспалило его тогда в этих вялых чертах? Наверное, долг, долг, не иначе. Сие скучное заключение нео-

жиданно и парадоксально возжигало его плоть, и он брал ее, закрыв глаза и воображая никогда не существовавшие закатные губы.

Работала Василина в поликлинике физиотерапевтом. Как жили они все эти годы, Николай Петрович толком рассказать бы не сумел: как-то проживали. Вечерами он возился с тетрадями, потом включал музыку, принимался за переписку в амбарную книгу очередного томика, добытого невесть какими путями. Бася же вязала, вязала. Она почти все деньги свои тратила на шерсть. Вязала же оттого, что постоянно мерзла и полагала, что равно мерзнут и другие — аукалось зябкое военное детство. Они почти не разговаривали, она почти не готовила — разве сосиски да гречку, и вся кулинария.

Попутно Николай Петрович жил во все тяжкие: спал с учительницами своей и соседней школы, дома не ночевал, врал, что останется у родителей, что де далеко всякий день туда-сюда мотаться.

Бася верила, верила. Да и детей у них не случилось — какой-то там у нее по женской части был непорядок, о котором говорить стеснялась. Она вообще говорить не любила. Улыбаться — да. Пурин прозвал ее «блаженненькой».

Николай Петрович открыл дверь — кислый разночинный запах царил, как и пол- и четверть века назад, неистребимо. Опустился на стул в прихожей, распутал шнурки, снял пальто, вдел ноги в тапочки — и на кухню. Вынул из сумки пакет, тот самый, что вынимал и порывался оставить на паперти. Извлек женские войлочные полусапожки советского еще фасона с кокетливой вышивкой по голенищу — цветочки, цветочки алые да зеленые. Еще почти новые, почти еще ненадеванные, чуть подошва на каблуках поистерлась — если кто и носил, то недолго. Вздохнул, поставил сапожки под вешалку, пошел на кухню, достал из холодильника кашу и сосиски. Пока грелось-варилось, разделся, набросил на плечи старый халат.

Выпил рюмку дешевой водки, занюхал горбушкой ржаного хлеба, наспех поужинал. Сел на диван, взял со столика амбарную книгу № 3 (они все были пронумерованы) со стихами Гумилева, полистал, отыскал «Заразу», медленно, с выражением, как некогда на уроке, прочитал вслух: «Приближается к Каиру судно с красными знаменами пророка, по матросам угадать нетрудно, что они с востока…».

В школе Пурин блистал! Явился в нем зримо актерский талант: проникновенно, но без ложного пафоса декламировал ученикам стихи, которых со временем выучил наизусть сотни. Стихи на любой случай, где нужно — строку, где строфу, а где — и целиком. В любимчиках у него ходили Гумилев да Заболоцкий, но пуще всех — Мандельштам. В школьной программе до самого конца 80-х таких стихов не числилось, но ни разу ни один из учеников его, даже из самых нерадивых, лишенных какого бы то ни было поэтического и музыкального вкуса, не выдал, не наябедничал по начальству про миниатюрные лекции своего литератора, которым он посвящал окончание каждого урока. Разберут образы комсомольцев в «Молодой гвардии», останется семь—восемь минут, и расскажет Николай Петрович апокриф о последних днях Мандельштама, как того, уже мертвого, тащили зеки в строй, чтобы не лишиться нелишней пайки. А на сладкое прочтет: «Есть женщины, сырой земле родные, и каждый шаг их гулкое рыданье…». Разумеется, дети стихов этих не понимали, но, как ни странно, — любили.

Пожалуй, лишь одного из опальных тогда поэтов Николай Петрович не жаловал — Пастернака. Самым любознательным своим ученикам, которые не без душевного трепета восклицали про февраль-чернил-и-плакать, Пурин пенял деликатно: ничего, это возрастное, гормональное, вырастете, поймете: всю поэзию свою Борис Леонидыч вынимал (так, девочки, закрыли ушки!) — из трусов!

Смех, детский, без оглядки!

Пенсионер теребит пульт телевизора: включать — не включать? Нет. Продолжает чтения. Но вместо «женщины, которою дано, сперва измучившись, нам насладиться» в висках выстукивается дурь: «Бася, Бася, Василина, мордочка из пластилина…».

Встает, встает тяжело, ноги устали, не желают гнуться. Шаркает на кухню, опять берет сапоги. Нюхает пыльный войлок.

— Застоялись без хозяйки… Теперь таких не делают… — в гулкой кухне привычное бормотание. — Теперь в таких выйдешь — засмеют! Ничего, ничего, молчание, молчание… Вы думаете, мне легко? А как помру? А один?! Воды подать некому… Впрочем, какая вода мертвому, хе-хе-хе! — припарки!

Николай Петрович вдруг замирает, прислушиваясь, лицо его одевается в легкое беспокойство.

— Ну-ка, ну-ка…

С чувяками в руках плетется во вдовью свою спальню, почти всю площадь которой занимает старая, родительская еще, деревянная кровать, а слева за дверью ютится узкий высокий шкаф с пожитками.

— Ну-ка, ну-ка…

С прикроватной тумбочки берет механический будильник, прикладывает к уху — молчание. Трясет — молчание. Крутит завод — ничего.

— Ты что ж это? Ты зачем, родной?

С самого детства Николай Петрович панически боится остановившихся часов, даже и нарисованных! Все тщится найти разгадку этой фобии, но не может. Дело дошло до того, что он физически не может находиться, скажем, в музее, если по стенам развешаны старинные, и, разумеется, не идущие, часы — такие залы пробегает поспешно. Когда же он замечает, что остановились уличные часы, мимо которых лежит его путь, на другой же день меняет маршрут.

— Эй, родной, родной!

Будильник не отзывается, лишь щелкает пару раз, когда хозяин его трясет, и опять молчит, глухо молчит.

Пурин идет в проходную комнату, распахивает балконную дверь и швыряет механизм вниз, в сугроб.

Расстались, притертые друг к дружке долгими годами совместного проживания, Бася и Николай Петрович неожиданно. Уже давно умерли его родители, уже давно расселили и перестроили дом на Волхонке.

Бася взамен получила однокомнатную квартирку на «Спортивной». Хотели ее сдать, да постеснялись чужих людей, побоялись хлопот. Жили на Соколе. Бася вышла на пенсию. Вязала, смотрела сериалы, начала даже ткать гобелен — он, не законченный, висит над кроватью Николай Петровича: ива, пруд, плывет кто-то — то ли гусь, то ли лебедь. Фона как бы и нет — не доткан.

Однажды, февральским вьюжным деньком Бася отправилась на свою квартиру — цветы полить, пыль вытереть, счета забрать. Открыла дверь и первое, что увидела — голый мужнин зад кузнечным прессом вздымался и опадал над диваном, вздымался и опадал. Правее же, в душных подушках тонул смазливенький девичий лик. 57-летний Николай Петрович совокуплялся с ученицей своего выпускного класса, с Тоней Баруздиной. С той самой очаровашкой Тонечкой, что с подружками пару раз заходила к мужу на консультации, Бася поила их чаем.

И Бизе, Бизе радостно гремел. За Бизе полюбовники Басю не услышали — зад не прервал фабричного хода. Бася тихохонько прикрыла дверь — А-ах, Карме-ен, Карме-ен! — на цыпочках спустилась по лестнице, вышла в снежную улицу — метель, метель мела — во-все-концы-во-все-пределы — и исчезла.

Николай Петрович обзвонил, как водится, морги да больницы, а как прошли три дня — заявил в милицию. Басю объявили в розыск, да и не нашли. Пурин ума не мог приложить — куда пропала эта почти старуха, в кошельке которой (если кто и позарится) отродясь не бывало и пятисот рублей. Сперва был растерян, слонялся, обвялился, с трудом терпел работу, годы до пенсии протянул машинально, по обязанности. А как вышел, сдал Басину квартиру, стал доживать.

Вместе с пропажей Баси прекратились и сексуальные похождения Николай Петровича. Лишь изредка, примерно раз в месяц, из «терапевтических соображений» (Пурин свято верил: секс продлевает жизнь) спускался он прямо в тапочках на второй этаж, где в такой же квартирке жила одиноко вдова Таисия Павловна (тоже ведь бывший врач — везло ему на докторов) и уестествлял ее к ее удовольствию. Причем сам никакого удовольствия не испытывал, только боль да скуку. Но всякий раз убеждал себя, что нужно, нужно, хотя бы и «с гигиенической точки зрения», хотя бы только с нее. Либидо же угасало, угасало. Таисия Павловна вопрос о юридической стороне соитий поднимать не торопилась, знала: сосед хоть и вдовец, но как бы и соломенный. Сама же появлялась на его пороге регулярно, то супчику кастрюльку принесет, то курочку жареную, то котлет-солений-варений-пирогов. Приручала.

В процессе уестествления Николай Петрович Таисию Павловну старался не видеть, ее морщин да кожи сухой лишний раз не замечать, но вот худые ее запястья, опушенные с внешней стороны светлыми волосками, лезли, лезли в глаза, да так, что почти вслух проборматывал: «Ишь ты, лапки курячьи! А че такие худые?! И бульона не сварить порядочного!..»

Когда Николай Петрович лег, ему вдруг предположилось, что будильник мог снова пойти после падения, «шоковая ведь терапия, дурашка механическая!».

Не поленился — оделся наскоро, вышел на улицу. Холодно, пронзительный ветер крутит вихри во дворе.

Вот сугроб, вот мерзлый товарищ — Пурин купил его в универмаге у метро бог знает сколько лет назад. Молчит.

Николай Петрович кладет его на асфальт и бьет ногой, бьет, бьет, треск, треск, белый кругляк будильника превращается в лом. Собирает, несет, кладет в мусорный бак.

Возвращается, ложится. Завтра, завтра опять вояж, опять «Третьяковка», ахматовская церковь... Три нищенки: Надежда-карлица, Нинка расслабленная да Василина рыбьеспинная — его, между прочим, законная жена.

Прошлым апрелем, голубым, веселым, обнаружил он давнюю пропажу на знакомой паперти. Свою «блаженненькую». Только вот она его не признала, стояла с протянутой кружкой, улыбалась апрельскими своими глазами, дура.

Завтра он — клянусь! — ругаться удержится, плеваться не станет, просто подойдет, одарит без слов ее вместо милостыни пакетом с войлочными чувяками.

«И думал я: витийствовать не надо, мы не пророки, даже не предтечи, не любим рая, не боимся ада, и в полдень матовый горим, как свечи…» Шепчет, шепчет, и все не нашепчется. И про Бога бандита, что увел у него жену, и про то, как жутко одному-то ко такому-то Господу будет отходить. Напоследок вспоминает свой старый, любимый — ровно дитя родное! — будильник. Шепчет ласково:

— Пидарас… вонючий…

Февраль 2010 г.

Александр Закуренко

Дрожанье стрекозы

Тарковские в Юрьевце

I.
Нёмда, белая вода, золотые невода,
Как по полю разгулялась стопудовая беда.
Лёд трескучий, словно боль, запах краски, канифоль,
Ящик намертво сколочен, и уже готова роль.
Пачки писем в нём лежат, буквы русские дрожат,
Как ушёл солдат сражаться, был во всём он виноват.
Лошадь ржёт, шуршит овёс, куры бродят, брешет пёс,
А на розвальнях рогожа, чтоб укрыться в полный рост.

II.
Прощай, трескучая вода,
Последний лёд,
И мартовские холода,
И песенка навзлёт.
Какая зреет впереди
И жизнь, и ширь.
Но бьётся, как в силках, в груди
Подраненный снегирь.

III.
Пятиглавая церковь на том берегу,
А в далекой Украине — глад.
Здесь, в Завражье — окрестят, а там — ни гу-гу,
Как в пуху, в чернозёме лежат.
И апостол Андрей, и умолкнувший брат,
Сотаинник Сергиев, — тут,
Где умученных души, как птенчики, в ряд
Крохи хлеба небесного ждут.

Об авторе | Александр Юрьевич Закуренко родился в 1962 году во Львове. Закончил математическую школу в Киеве, поступил на мехмат Киевского государственного университета. В 1982 году ушёл по собственному желанию. Работал грузчиком, санитаром «Скорой помощи», патронажным медбратом, охранником. В 1989—1990 годах находился в США, получил приглашение в докторантуру Колумбийского университета по специальности «Русская литература Серебряного века». После возвращения в Отечество закончил аспирантуру. С 1993 года преподает русскую литературу в московских школах. Стихи, проза, научные работы печатались в США, Венгрии, Болгарии, Югославии, СССР, России, Украине. В «Знамени» публикуется впервые. Живёт в Москве.

И гудят на погосте звериной пургой
То ли колокол, то ли года.
И язык человечий им вторит нагой.
Лёд идёт. И над Волгой — звезда.

Памяти Михаила Гаспарова

Авсоний говорил,
Слагая каталоги,
Что Бог един, не боги,
Всё к благу сотворил.

Вал односложных слов,
И гул имён различных
Для памяти отличный
И повод, и улов.

Закат имперских дней,
Наперечёт все звуки,
Морфемы-виадуки
Над площадью корней.

Когда умолкла речь
И в римских переулках
Стал слышен топот гулкий
И звон меча о меч,

Когда распался свет
И город мира вымер,
В огне, распаде, дыме
Не выживет поэт.

Друзей, учителей
Лишь перечень фамилий;
Плывущий среди лилий
Корабль до наших дней.

Поэзия

Разбудит и ведёт. А ты молчи,
— не шевельнись, ни вздоха.

Ребёнок ль прокричит в ночи,
Завод, эпоха.

Прозрачное ль прошелестит крыло —
В пернатом воздухе паренье.

И лодочник остановил весло,
И капля тяжелей мгновенья.

И, медленная, всё ещё течёт
В родную колыбель, в тот самый миг творенья,

Где свет вовне себя ликует и растёт,
Ни меры не прияв, ни измеренья.

* * *

И снега зернистого горстка,
Землицы широкий рукав,
Лоснятся, как пардужья шёрстка,
Себя под собою подмяв.

Морозные крохи разлуки,
Воздушные шарики льда,
Следы подоспевшей разрухи,
Воды подступившей слюда.

Когда бы из хрупкого тела
Глядела, трезвея, душа,
На малые наши пределы,
Теплом милосердным дыша.

Как в ту полынью на оконце,
В прозрачный распахнутый глаз
Всё смотрит морозное Солнце,
Тепло принимая от нас.

* * *

Снег в сухие морозы
Светлым ветром несом,

Словно отрока слёзы,
Серебрист, невесом.

На заутрени тихо.
Как поленья в печи,

Согревай меня ты хоть,
Тёплый лепет свечи.

Лики строги, и всё же
Я прощенья молю.

Мал, нелеп, неухожен,
Жизнь листаю свою.

Это — капельки соли,
Это воск, это прах.

Я виновен на воле,
Как убийца в цепях.

Но в прощенье сгорает
Всё, что мучит и жжёт.

За оконцем, играя,
Голубица поёт.

Памяти моей собаки

Дочери

Нашей авы нет, малыш:
Под землею спит!
Шерсть её в кулёчке лишь
Скомкана лежит.

Только миска для воды,
А воды-то нет:
Смерти чёрные следы,
Белой боли след.

Знаешь, сколько с нею я,
Словно пёс, бродил?
В поисках жилья-бытья
Десять лет кутил.

Десять лет текла вода
Под крышею одной,
Протекла, да в неводах
Рыбки ни одной.

Десять лет она со мной:
Да из дома в дом.
Вот теперь построил свой —
Нету авы в нём.

То ли в птицах суть её,
То ль в траве вокруг,
Тёплой плоти бытиё
Добрых глаз испуг.

То ль в прозрачных облаках,
Под снегом цветах,
То ль в протянутых ветвях
К Солнцу в небесах.

Говорят, что смерти нет,
Что бессмертны мы,
Ну, а эти десять лет
Конуры да сумы?

Кто расплатится за всё
Смерть исторгнет вон? —
Аву в жертву принесёт
Мировой закон?

Раны к лету заживут,
Авы мимо побегут,
Начинается весна,
Под землёй она.

* * *

Я не умру в Венеции, родная,
на площади Сан-Марко утоплюсь
не я, и в голубой, прозрачной
и плещущей толпе не захлебнусь,

где голубей клубится хор невзрачный.
Италии щебечущая речь
и плавные напевы гондольера,
и облака, как сброшенная с плеч
кудрявая накидка Примаверы,

и Навсикая берегом идёт.

Зачем душа поверила словам?
Зачем в словах есть косточки и мякоть?
Зачем, Венеция, по вянущим волнам,
качаются арбузовые корки
и нищие вздыхают по задворкам?
Мне хочется и говорить, и плакать,

и как Флоренции изгнанник и провидец
слагать стихи со звёздами в конце,

а если ад сужается кругами,
мне хочется не как Вергилий-витязь,
проснувшийся со светом на лице,
дитя узреть; но, ощущая пламень,
следить, как плавятся иголки на венце.

* * *

Взять, уехать бы в никуда,
Где холмы и реки составляют одну линию,
Где слово «вода» и есть вода
Глубокая, синяя.

Там деревья дольше живут, чем мы,
А трава выше бегущей собаки,
И не хватит белка, белил, сурьмы,
Чтоб замазать перепады, где взлёты и буераки.

Дорогие озёра, стойбища сна!
Сосны, лёгкие, как птенцы
Цапли, вспыхивающей, что блесна.
Золотых колосьев венцы.

Старой мельницы круговорот,
Ряска двигающихся болот,
В глубине сырой поворот,
Взмах, прощающий от ворот.

Что ж, прощай и ты, человечий костяк,
Привечай нас, сырой песок.
Дом для тёплой жилки — висок,
Гроб, где крови поток обмяк.

Неуёмные, летучие...

Неуёмные, летучие,
Золотые облака,
Неподвижные по случаю,
Дело к лучшему пока.
Над полями густо-рыжими,
Над прозрачною, рябой
Я и сам когда-то сиживал
Жизнью пахнущей водой.
А теперь на сгибе времени
Лишь бумажная труха:
За случившееся ль премия,
Для гаданья ль потроха?
По-над снегом жмутся голые
Городишки-дерева,
Пудрою скрыпучей головы
Припорошены сперва.
А потом пойдёт губерния
Долгим воздухом строчить,
Буквицы черны сквозь тернии,
Словно поздние грачи.
Движется, течёт, кудрявится,
Просыпается, скворчит
То, что только к смерти явится,
Не растает, не простит.

Памяти Владимира Рыженко

3. Восемь месяцев прошло,
Пыль с могилы унесло,
Чёрным ветром обернулось
Бесконечное число.

Твой убивец по земле
С алой лентой на челе
Ходит, ищет новой жертвы
С топором в двойной петле.

Ты, смиренный и простой,
В полутени неземной
Усмехнёшься, обернёшься,
Не останешься со мной.
В храме свечку затеплю,
Пиво с водкой пригублю,

Крестным знаменьем прощаясь
С тем, кого ещё люблю.
Свет на розовом кусте,
Капли слёз на бересте.
Может, встретимся с тобою
На заоблачной версте.

6. Дрожанье стрекозы
Над просекой лесной,

Звенящие часы,
Небесные весы,
Обеденный покой.
А здесь шумит прибой
С чугунною волной
И краб, как домовой,
Клешнёй грохочет,
И взвешены уже
И рыба на барже,
И крошки на ноже,
И д**о**лги на душе…
Зачем же ты хохочешь,
Стрекозонька-голуба?
Раскрой прозрачный зонт.
Разрежет горизонт
Как бритва душегуба.

Вербное воскресенье

Пахнет прелыми ветками. Медленный дым
Головою качает над речкой и лесом,
В ломком палевом плате, светло и чудесно,
Тишина повисает над миром самим.
Ива руки сгибает пластичней, чем мим,
На песчаной косе под провисшим навесом
Черепахи-лежанки, сгрудившися тесно,
Левитановским воздухом дышат одним.
Жёлтый цвет растворяется в сером, огни
Разобщённых костров сквозь лесную завесу
Серебрятся, как котики, с бархатным блеском.
Скрип горящих поленьев, тепло, и над ним
Человек появился и сразу исчез Он…
И ворота открылись в Иерусалим.

Прощёное воскресенье

Доходя к своему окну один,
Вспоминая строки далёких эдд,
Я сосульку вижу в разрезе льдин,
А в её сердцевине — свет.
Это снежной бабы костёл во дворе
Воздвигает детство до ноты Ля.
Это скрип заходящих в себя дверей
Над одетой в себя *земля*.
Для чего Ты удвоил меня, Господь?
Отлучив луч речи от ласки двух?
Где играют дети — в победе плоть,
Где рыдают их — побеждает дух.
Боже, Боже, возвах из той глубины,
Где народы и страны сплелись в ком,
Я ослеп на врагов. Что ж горечь вины
Рвёт и рвёт мне горло чужим куском?

Марина Бувайло

Отдам даром в хорошие руки

рассказ

Никита летал на качелях с Танькой, когда она, Танька, бесцеремонно дернула его за ногу. «Икоша, — прокричала она, — смотри, что я нашла!» — «Чего тебе, отстань!» — «Икоша, иди скорей, смотри, какой буфетик, какой я сто лет искала. Вот он, там!» — «Отстань, я сплю!» — отбрыкивался Никита, стараясь удержаться в теплом уюте сна, в котором и он, и Танька были еще подростками, без особых забот, кроме как где найти место, чтобы побыть вдвоем. Теперь у них были сын Алик и бабушкина двухкомнатная квартира, и Танька совершенно помешалась на старой винтажной мебели, которой она очень умело выживала легкомысленно раскоряченный гарнитур, приобретенный бабушкой в середине прошлого века. Бабушка только охала, навещая внука и правнука, она и к Таньке относилась вполне хорошо, только не могла взять в толк, чем той не нравились полированный гэдээровский платяной шкаф и письменный стол с хлипкими ящичками. «Я бы еще поняла, — вздыхала бабушка, — если бы вы покупали современную мебель, в ИКЕЕ, например. Леночкина дочка обставила спальню, очень удобно, и функционально, и красиво, а заменять одно старье более древним, еще и требующим непрерывного ухода? Во всех этих завитушках скапливается пыль. Мебель ваша рассчитана на прислугу, ежедневно протирающую ее влажной тряпочкой. В наше время все должно быть приспособлено к современной скорости и занятости. А этот монстр разве предназначен для малогабаритной двушки?» Никита был отчасти согласен с бабушкой, письменный стол был, конечно, великоват и вытеснил обеденный, но оба компьютера, и принтер, и сканер, и все бумаги прекрасно разместились на дубовой поверхности и в глубоких ящиках, которые выдвигались солидно, неторопливо. Их удобно ложащиеся в ладонь ручки были отполированы усилиями нескольких поколений.

Танька умела не слушать бабушкиных лекций, вообще она потрясающе умела не слушать, после почти десяти лет знакомства и только что отпразднованного пятилетия супружеской жизни Никита так и не научился понимать, когда она все-таки слышит. Смотрит светло-зелеными глазами, кивает, даже улыбается чуть-чуть, подбадривая говорящего, и не слышит ничего. В школе она считалась тупой, математик говорил на родительских собраниях — такая старательная, так пытается понять, и выводил скрепя сердце тройку за случайные сочетания цифр и букв, которые он получал от Таньки после контрольных. Домашние по всем предметам, кроме сочинений, Танька списывала у подруг и Никиты.

Об авторе | Марина Бувайло родилась в Баку. По образованию врач. С 1981 года живет в Лондоне, где работает психиатром в клинической больнице.

Прозу пишет много лет. Публиковалась в журналах «Знамя», «Новый мир», «Звезда» и др. Автор книг «Эх, дороги» (2006), «Игры» (2009).

Она и при списывании умудрялась насажать кучу ошибок, что придавало достоверности — делала уроки сама, прилежная, но неспособная. Но глаза… Получала тройки и даже иногда четверки за красивые глазки. «Яблочные очи, я люблю вас очень» были единственными стихами, которые Никита написал в жизни. В девятом классе.

«Отстань, — отбрыкивался Никита от Таньки, щекотавшей ему пятки, — отстань от меня, уйди к черту, сейчас получишь», — но на самом деле он уже проснулся и выжидал, пока Танька подойдет поближе, чтобы схватить ее. «А теперь иди, посмотри», — моментально вскочив и накинув халатик, приказала Танька. «Утром», — заныл Никита. «Ты с ума сошел, завтра суббота, все рванутся! такой буфетик! даром! надо немедленно ответить и утром ехать».

Утром, затолкав в машину хнычущего Алика, которого волокли вместо обещанного бассейна неведомо куда, они после долгих плутаний наконец добрались до старой развалюхи в Березовке. Когда-то, наверное, обихоженный, зажиточный дом был взят в окружение пятнадцати-двадцатиэтажными зданиями и потерял волю к жизни, крыша просела, крыльцо, даже на взгляд издали, готово было обвалиться, на террасе стеклянные квадратики почти все были или треснуты и поддерживались липкой лентой, или заменены на картонки. Но хозяин еще боролся — земля вокруг пионов была аккуратно разрыхлена, на клумбе и грядках вылезли всякие не опознанные Никитой растения. И забор был добротный, из туго натянутой алюминиевой сетки. Никита и Алик прогулялись вокруг дома, пока Татьяна нетерпеливо искала звонок, потом вернулась в машину и надавила на клаксон. После серии долгих гудков появился хозяин, не косматый старик или старуха, а плотный, скорее молодой, чем средних лет, в джинсах и садовых перчатках, с лейкой в руке. Не обращая внимания на Татьяну, бегущую к воротам, он щелкнул замком и пригласил — проходите, мужики. Никита пропустил жену вперед, из вежливости, но больше потому, что не хотел участвовать в разговоре. Хозяин зажал лейку под мышкой, стащил грязную перчатку и сунул руку Никите — Виктор. Пришлось представляться. Выдержали паузу. Татьяна сказала: «Это я послала вам мейл, он мне очень понравился». — «Шкаф или Димоша?» — «Шкаф, конечно. Буфетик!» — «Без Димоши не отдаю, без Димоши я бы его и не отдавал, пусть уж с домом… Нас к осени сносить будут, значит, все, меня здесь больше ничего не держит. Уеду к брату в Дюссельдорф. Заранее отдаю, чтобы посмотреть, как приживется». — «Да кто он, Димоша этот?» — поняв по Танькиной безучастности, что она не слышала ни слова и думает только о том, как бы поскорей увидеть этот буфетик, спросил Никита. «Да ты, мужик, объявление мое читал?» — «Вот она читала, Татьяна, жена. Я только фотографию и размеры…» — «Я ж… ну, ладно, пошли в дом, покажу. У вас звери-то есть, кошки-собаки там?» — «Нету, — встрял Алик, — мама не хочет, говорит, нельзя их на целый день одних оставлять, им скучно будет». — «А-а! Добрая, значит, мама», — Виктор первый раз заинтересованно посмотрел на Татьяну. «Добрая, — с энтузиазмом ответил Алик, — мы буфетик отвезем и в бассейн поедем».

«Да кто он, Димоша?» Никита, проходя за хозяином в дом, ответа не услышал, только увидел, как поднялись и опустились плечи на широком торсе. А буфет был действительно классным, с матовыми гравированными стеклами, тугими завитушками, вырезанными на деревянных колонках по бокам. Пока Татьяна обмеривала его, гладила резьбу, открывала дверцы, хозяин пристально разглядывал ее, оценивающе, показалось Никите. «Вот. Димоша там живет, — хозяин показал на нижнее боковое отделение, — туда только мягкое класть можно, полотенца там, салфетки. И не доверху, чтобы место ему было. Он аккуратный, не пачкает. А стаканы, тарелки не надо, гремит и перебить может».

По Танькиному лицу было понятно, что даже если этот Димоша окажется десятиметровой гремучей змеей, они этот буфет возьмут, что она, скорее всего,

и не врубалась в разговор, планируя перевозку и очередную перестановку мебели в квартире. «А чем его кормить?» — спросил Никита. «Я хочу на него посмотреть!» — закричал Алик. «А сколько ему лет?» — спросила Танька. «Да лет сто пятьдесят, не меньше. Он нам от прапрадеда моего достался. С буфетом вместе. Кормить его не надо, он сам себе пропитание находит. Ома, бабушка моя, ему молочко ставила, но, я думаю, он с ним только баловался, купался, разбрызгивал. Нет, смотреть на него нельзя, он застенчивый, не любит. Я и сам его только два раза видел. Когда Опа, дед, умер, он вылез, расстраивался очень. Он больше мужчин уважает, а к женщинам не очень. И когда я с Чечни вернулся, я там на второй день на мине подорвался, других намертво, а мне вот только пальцы, — Виктор стащил перчатку и с левой ладони, покрытой шрамами, без трех пальцев, — я по молодости очень переживал, что уродом сделался и играть не смогу, я раньше и на аккордеоне, и на гитаре. Лежу ночью, уже дома, слышу, скребется и руку больную трогает, вроде лижет. Я дремал, а тут проснулся — смотрю, Димоша сидит, жалеет. Раньше-то он меня не любил, ну дразнил я его, деда с бабкой не слушал. Ты, парень, смотри, не ссорься с ним. Я из-за него столько раз в беду попадал — то двойку схвачу, то ногу один раз сломал».

За это время Никита понял, что человек не очень в себе и им надо поскорей буфет этот забирать, пока он не передумал. Танька не переживет, если такую игрушку потеряет. «Ну, мы его обижать не будем, правда, Алик?» Алик так же, как мать, что-то переваривал про себя, но от разговора не отключался — это он унаследовал от них обоих — умение полностью погружаться в свои размышления, но, в отличие от Таньки, как бы записывать на пленку то, что происходит вовне и в нужный момент быстро проматывать, чтобы услышать и понять. «Не будем. Я его любить буду. Он похож на Чебурашку?» — «Не-ет, скорей на щетку такую колючую, и ушки острые. Хотя он разный бывает, Ома его чаще видела. Когда они из ссылки вернулись, он прямо днем перед ними выскочил, так обрадовался. И доложить, что дом сберег, вокруг во время войны…»

«Ну, все, Никиш, поехали! — вдруг включилась Танька. — Давай подумаем, как везти. Наверное, стеклянные дверцы снять можно, а сам буфетик на крышу, я тряпки захватила, чтобы не поцарапался». «Нет, нельзя его на крыше, еще испугается, свалится. И вам, и мне плохо будет. Тут новостройки вокруг, переезжают многие. Я на всякий случай мужиков из мебельного телефончик записал. Вы езжайте, адрес только оставьте, мы сами довезем. Тысячу дадите им, и ладно. Зато в сохранности доставим». — «Конечно, конечно, — с облегчением оттого, что такую тяжелую вещь не придется громоздить на крышу машины, согласился Никита, стараясь не смотреть на расстроенное лицо Татьяны, она бы, конечно, хотела забрать шкаф немедленно. — А когда вы доставите? Мы собирались в бассейн…» — «Нет! Лучше сразу». «Сейчас позвоню», — Татьяна и Виктор отреагировали хором. Никита сжал руку Таньки, удерживая ее. Она, конечно, прослушала все разговоры и не понимает, что имеет дело с человеком больным, наверное, контуженным во время взрыва. Если она будет спорить, он может разозлиться и просто не отдаст им шкаф.

«Куда везти? — отрывая мобильник от уха, спросил Виктор. — В лифт войдет? Ну вот, лады! Часика через три подвезем. Вы пока мальца в бассейн сводите, мы и подъедем». — «Вы езжайте, я останусь, тоже подожду, дорогу покажу», — сказала Танька. «Я с Димошей останусь, а то ему страшно будет», — неожиданно сказал Алик. «Ты же хотел в бассейн, поезжай с мамой, а я помогу грузить и дорогу покажу, от меня хоть прок будет», — Никите совершенно не хотелось, чтобы Татьяна и Алик оставались в этом доме.

«А может, вы еще от чего-нибудь старого хотите избавиться? Если уж машина?» — спросила Танька. «Да у меня другого и нет ничего, что можно, брат за-

брал, что-то продали. Дядя тоже взял кое-что, а Димошу я им отдавать побоялся, старые они с теткой, детей нет. Помрут, кто знает, что с буфетом станет. Вот холодильник отдам, когда ломать начнут. Хотите, позвоню, заберете. Он хоть и старый, но работает, как зверь, и Димоша к нему привык».

Сейчас Танька очнется, услышит про Димошу, скажет, никаких зверей, и начнется бодяга. «Поезжайте, поезжайте, — поторопил Никита, — поплавайте и вернетесь как раз вовремя». — «Я останусь», — твердо сказал Алик. «Ну ладно, — подумал Никита, — потом объясню, что сказка, лишь бы Татьяну выпроводить побыстрей. Но она и сама решила, что раз за буфетом проследят, чтобы не уплыл к другим, она поедет место ему подготавливать.

Проводив Таньку, убедившись, что она приспособила зеркала и сиденье на свой рост и пристегнула ремень, Никита, твердо держа Алика за руку, вернулся в дом. Хозяин уже освободился от лейки и держал теперь бутылку водки: «Давай, мужик, выпьем по капельке, расскажу кое-что. Ты ж, небось, думаешь, что я так, первому встречному Димошу отдам. Нет, я смотрел, вы ему понравились. Ты-то его не слышишь пока, а я слушал, он смирно сидел, не шалил, понравились, и сам понравиться хотел». — «А можно мне одним глазком на него посмотреть, я тихонечко», — попросил Алик. «Да не увидишь, он по большей части невидимый, если сам не решит». — «Алик, давай пойдем погуляем немного, — сказал Никита, ему и самому становилось все больше не по себе в компании сумасшедшего, — мы же мешаем человеку». — «Да успеете погулять, давай выпьем, раз машину не поведешь, а ты, пацан, обожди, придет срок, увидишь. Иди, сходи в огород, морковки надергай, у меня без химии. И мы закусим». — «А Димоша морковку любит?» — «Да кто ж его знает, может, и таскает потихоньку по ночам. Пошли, покажу, какую дергать можно».

Никита поплелся за ними. Вернулись с пучком молодой тощей морковки, Виктор сполоснул ее под краном, половину бросил на стол, к бутылке, половину отдал Алику, тот так и остался стоять, не понимая, что с ней делать. Виктор разлил водку в два стакана, умеренно, граммов по пятьдесят, взял одну морковку, обернул корень зеленым, сунул в рот, сказал Алику: «Ешь прям так, с ботвой, витамин сплошной. Ну хочешь, открой дверцу, посиди, послушай, может, поскребется или помурлычет чего, если захочет». — «Я ему морковки дам», — сказал Алик, уселся на пол, и больше его слышно не было, только деликатное похрустывание — ел морковку, и действительно, с ботвой, хотя дома и тертую не заставишь. Поглядывая на него время от времени, Никита с облегчением думал, что вроде он не напуган и не смущен.

После проглоченной водки Никите стало полегче, тревога улеглась, хозяин, пусть и с зайчиками в голове, был миролюбив и, если не про Димошу в буфете, говорил разумно, жаловался на стройку, на то, что новоселы ведут себя, как дикари, бросают мусор где попало, музыку крутят везде какую попало, лишь бы погромче.

Всякий раз как Виктор упоминал Димошу этого, Никита начинал торопливо задавать вопросы: что было на месте новых домов — дачи? деревня? Что делает его брат в Дюссельдорфе? Что там собирается делать сам Виктор? Женат ли? А дети есть? Кем работает? Виктор отвечал обстоятельно, — был здесь поселок, совхоз. В тридцатых, во время голода в Поволжье, прадед с семьей перебрался сюда. Собственно, перебрались несколько семей поволжских немцев. Нашли место, то ли опушку леса, то ли поле заброшенное. Отстроились, можно сказать, своими руками совхоз устроили — коровы, парники, на начальство московское работали. Поволжские немцы к ручному труду привыкшие. Во время войны их всех в Казахстан выселили, в ссылку, в степь дикую. Многие не вернулись, кто помер по дороге, кто уже на месте, кто на фронте погиб, — которые помоложе по фальшивым документам, русские ребята вроде, в военкомат

пошли. Да чего там, они и были уж русскими давно. Деда братья тоже, а дед остался, он к тому времени женат был, дети, родители старые, то ли сам не пошел, то ли не взяли. У него еще и руки золотые были, грамоты всякие получал. После войны многие остались там — привыкли уже, обжились. А дед про Димошу не забывал, волновался, как он здесь, не сожгли бы с буфетом да домом. Едва ссылку сняли, так он назад, сюда, в Березовку, собрался. Ехали месяца два, оборвались, обнищали, приехали — все вокруг побито, поломано — и бомбили, и на дрова, да и так, растащить, пограбить. Один наш дом, как и сейчас, в кругу этого безобразия стоит, почти и не тронут. То штаб здесь был, то сельсовет. Вернулись, а сельсовет как раз на другое место, в кирпичное здание, перебирается — крыша в нашем течь стала. Заходят, а Димоша навстречу и туда-сюда мечется, радость показывает. Брат в Дюссельдорф лет пятнадцать назад перебрался, работает, доволен. Зовет меня давно, да я вот все, пока дом стоит, не решался из-за него, Димоши. А с женой мы развелись, не почему-то, а так, обстоятельства. Здесь жить она не хотела, работает в Сокольниках, ей, и правда, отсюда больше часа, а то и два добираться. А я бабку одну бросить не мог, старая была. Свою работу я на компьютере где угодно делаю. Ну поездили мы друг к другу в гости, поездили, да и развелись. И с Димошей тоже… Не верит она, мыши, говорит, в шкафу вашем… Детей нет. Я думаю, в Дюссельдорфе устроюсь, либо уговорю ее приехать, либо там найду кого-нибудь. Детей пора своих заводить. Ты, мужик, молодец, вон какого парня состряпал. Смотри, как он около Димоши сидит, не шелохнется. Это ему Димоша, видать, мурлычет чего. И жена у тебя правильная, понравилась ему.

Мою-то он сразу невзлюбил, стопку разбил, соль просыпал. Она и из-за этого тоже жить здесь не полюбила. Образованные, говорит, а в чертовщину всякую верите. Я компьютерщик по образованию, математик. Слушай, ты, небось, думаешь, я сказки тебе рассказываю или с приветом. Вот поверь, через Димошу нашей семье как бы охранная грамота была. Полтора века уже в семье нашей все своей смертью умирают. Ты думаешь, мало это? Чего за полтора века не происходило, вот меня возьми — другие парни насмерть подорвались, а я в самом центре стоял, у меня пальцы только. И человеком стал после этого, пьянки-гулянки прекратил, аттестат получил, Бауманский кончил. Меня перед армией дед позвал и велел — пойди помирись с Димошей, скажи, уважаешь его, просишь за Опой и Омой следить и тебя охранять, чтобы было кому нас в старости кормить. Я в душе, конечно, не верил уже в такое, ну, вроде взрослому парню говорят, пойди, попроси у Деда Мороза прибавки к зарплате, но на этот раз с Опой спорить не стал, армия не детский сад, всякое случается и не в Чечне, хотя чувствовал — в Чечню попаду, думал, деду с бабкой легче будет, если будут знать — меня Димоша бережет. Сел перед буфетом, как твой сейчас, сказал, что дед велел, а сам про себя посмеиваюсь. Сижу, молчу и вдруг слышу, мурлычет он, раньше-то он не мурлыкал мне, только когда совсем малышом был, а потом не любил меня, я строптивый рос, хулиганил, деду с бабкой грубил. Отец мой в Казахстане остался, нефтяник, большой пост занимает сейчас, а когда раньше по разработкам и командировкам мотался, мать наша его бросила, такой жизнью жить не захотела. Мы и так, как в школу пошли, всю зиму тут, в Березовке, жили, отсюда до Москвы, школы с немецким, сорок минут на автобусе, сначала дед возил, потом сами ездили. Со Стасом, братом старшим. А как мать за другого вышла, так и вовсе здесь на круглый год оставались. Ну, я и баловал. Ага, вот шофер, видно, звонит.

Виктор говорил по телефону, коротко кивая. Никита, обрадовавшись передышке, подошел к Алику, присел рядом с ним. «Ну как? Вкусная морковка?» — «Вкусная. Слышишь, пап? Он плакал сначала, а сейчас говорит — ладно, поедет.

Я ему паровоз подарить обещал, который бабушка на деньрожденье. Слышишь, это он так поет. Может, он со мной спать захочет?» — «Нет, парень, не думай. Димоша не игрушка. И не кошка. Он, как бы объяснить тебе, он…» — «Я тебе потом, дома объясню, хорошо, Алик? Мы Димошу привезем и потом поговорим». — «Едут, минут через пятнадцать будут здесь. Я им объяснил, как заезжать. Сам видел, найти непросто. Пошли, по последней примем, пока они едут. Давай, может, я тебе побольше про Димошу расскажу, тебе ж жить с ним».

«Алик, ты бы пошел во двор, смотри, солнышко какое, чего тебе взрослые разговоры…» — сказал Никита нерешительно. «Пусть тоже послушает, ему с ним тоже жить придется». Они снова уселись на табуретках. «Смотри, если б я его с собой взять мог, я бы взял. Шкаф через границу не пропустят, антиквариат. А он, похоже, часть шкафа этого. Иначе прадед с дедом его с собой взяли бы в ссылку, шкаф не возьмешь, а если бы его только, то конечно. Я с ним попробовал поторговаться, он-то нас понимает без проблем. Уговаривал, давай, тебя ж оттуда привезли, из Германии, но он не может, если даже хочет с тобой, но вот не может без шкафа этого дурацкого. Я же спрашивал его, давай ящик твой возьмем, молчит. Тут много ходили по объявлению, ты думаешь, жена твоя первая? Многие ходили, буфет-то, и правда, настоящий, лет под двести ему. Димоша-то попозже завелся. А может, он всегда был, только не замечали, моей прапрабабке, а может, прапрапра, я уж сбился, буфет ей на свадьбу подарили. Кто-то из родственников краснодеревщиком был, даже не краснодеревщиком, виолончели делал, видишь, гриф виолончельный вырезан. Знаешь, приеду в Дюссельдорф, пока работу искать буду, времени свободного много, историю семьи поищу, ну, знаешь, на интернете, в архивах. Я думаю, Димоша — это дух, ну только, когда показаться хочет, становится… ну как костюм маскарадный надевает. Может, если о мастере этом узнаю, я и о Димоше тоже. Напишу тебе тогда. Если он у вас приживется». — «Алик, пойди погулять или хочешь, давай маме позвоним, она уже доехала, наверное».

Татьяна в самом деле была уже дома. Доехала нормально, без приключений, готовит место, убрала круглый стол с кухни и стулья, как раз освободится… «А обедать стоя будем?» — «Икош, приедешь — увидишь, довези их в порядке и все». Никите очень не хотелось заканчивать обнадеживающе житейский разговор и возвращаться к обсуждению всякой бредятины с больным человеком, но Танька уже отключилась. Алик показывал хозяину недавно выученный фокус с проглоченной монетой, неуклюже роняя ее на пол.

Никита подошел к окну, с удивлением заметив, что его недавно мыли — в углах оставались волнистые треугольнички, радужно преломляющиеся на солнце. Там, за окном, легкомысленная часть сада с цветами, морковкой, пестрым зонтом над круглым пнем-стулом резко обрывалась в мрачную, колючую непроходимость из крапивы и спутанных веток, сухих плетей, из которых тем не менее прорастало что-то живое, неестественно живое. Если смотреть прямо или влево — ухоженный дачный участок, вправо… тут уж точно Димоши привидятся. Виктор подошел, по повороту Никитиной головы понял, что смотрит он на дикий угол, — «еще при жизни стариков зарос, сил у них уже не было стричь да копать, а мне и некогда, и лень. Так, разгреб спереди да серединку, а больше незачем, сноса давно ждем». Но эти мирные слова показались Никите такими же пугающе-беспокойными, как и зеленые отростки на мертвых, сухих ветках. Наверное, и Алик что-то почувствовал, он подошел и прижался к отцу. «Где же… — начал Никита, — а-а, вот наконец-то!»

Дальше все происходило как бы и без его участия, шкаф подняли, положили на пол пикапа, устеленный сплющенными мебельными коробками, обмотали, прикрепили, Виктор руководил, помогал, а Никита с Аликом на коленях безуча-

стно сидели в кабине, то есть он сидел безучастно, а Алик, вывернувшись назад, заглядывал через узкое окошко в кузов, беспрерывно задавал вопросы, на которые сам же и отвечал. Никите было тоскливо — оттого, что долгожданный выходной так бестолково растрачивается, не выспался, полдня просидел, слушая сумасшедшего. От водки развезло, но о том, чтобы прилечь, и мечтать не приходится — Татьяна либо запряжет в очередную перестановку, либо отправит с Аликом в бассейн. И завтра тоже они будут передвигать, приспосабливать, выкидывать, втискивать стол, посуду. Ради чего? Домой попадают поздно вечером, только Алика помыть и уложить, самим поесть да усесться перед экраном либо компьютера, либо телевизора. Зачем ей понадобился этот буфетик, да еще с сумасшедшим хозяином в придачу. Хоть бы он не тащился с ними. Нет, залез в кузов.

Даже дорогу не пришлось указывать, водитель справлялся сам, и Никита задремал, проваливаясь в один и тот же нудный кошмар с бараками, залитыми нечистотами, Москвой, которая во сне на настоящую похожа не была, но он знал, что это Москва и где-то здесь его дом, и не мог найти, вздрогнув, просыпался, и опять бежал по горбатому городу с маленькими кривыми улочками, и искал Таньку в лабиринтах бараков, выходящих в темные заросли, и снова просыпался, и снова искал в длинных общественных сортирах, грязных, но почему-то с душевыми кабинками, в них мылись, Танька, думал он и врывался туда, но там оказывался кто-то огромный, косматый. «Откуда заезжать?» — потряс Никиту шофер. Никита с тяжелой, тупо болящей головой проснулся, тем не менее, благодарно.

Буфет вошел и в лифт, и в прихожую, и на кухне точно вписался в указанный Татьяной промежуток между окном и холодильником. Круглый стол, выброшенный в коридор, преграждал путь в комнату Алика, пришлось срочно откручивать его ножки, потом бежать в соседний магазин к банковскому терминалу, чтобы расплатиться за доставку, — Татьяна, понадеявшись на него, о деньгах не позаботилась.

Проводив грузчиков, Никита с удивлением обнаружил, что Виктор не уехал, все еще сидит на кухне на банкетке, чудом уцелевшей после Танькиных трудов, Алик рядом, Танька стоит, прислонясь к холодильнику, пьют кофе. Никита заглянул в кофейник — пусто, сесть некуда, на шкафчике у раковины свалены тарелки, баночки и банки, где они размещались раньше — непонятно, уютной кухни его детства не узнать, чистой чашки нет, все в мойке — рабочих поили, пока он за деньгами бегал. На Никиту накатил приступ бессильной ярости, которая осталась внутри исключительно из-за неумения проявлять ее, но внутри, про себя, он орал и топал, матерился, расшвырял с грохотом посуду. «Посмотри, какие салфетки нам Виктор подарил, ручная работа, потрясающе!» — «Мне они ни к чему, а Димоша привык, они там всегда, в ящике его. Ома, когда гости приходили…» Никита влетел в спальню, — круг столешницы неуклюже балансирует у застекленных книжных полок, стулья громоздятся у кровати, — полежал поперек постели среди наваленных для глажки горок белья, прислушиваясь к разговорам на кухне, говорил в основном Виктор, но и Татьяна тоже, слов особенно слышно не было, но журчали дружелюбно. Разозлился еще больше, вернулся на кухню: «Алик, пошли в бассейн!».

Обедали поздно, пельменями, держа тарелки на коленях: Алик и Никита, закусив пирожками по дороге в бассейн и после, ели лениво, Танька молчала, то ли обиделась, что ее не взяли, то ли планировала, как справляться с хаосом.

Никита попытался пересказать последние Аликины достижения — метра три проплывает совершенно без поддержки и в воду выдыхать научился, но Танька не вовлекалась, поднимала зеленые непрозрачные глаза, кивала, а о чем думает, не узнаешь. И когда она вдруг спросила: «Как ты думаешь, он кто?» — Никита ни на секунду не подумал, что это имеет отношение к его рассказу. «Ну,

псих, конечно. Наверное, травмированный, он говорил же, в Чечне был». — «Интересно, почему он в этом буфете поселился?» Никита, который всегда знал, что Татьяна умеет отключаться полностью, и находил это милым и привлекательным, вдруг взбеленился, как будто гнев, запертый весь день в тесном, где-то под ложечкой, пространстве, вырвался, заполонил собой все тело, и тело принялось исполнять то, что Никита не разрешал ему. Первым делом на пол полетела тарелка с недоеденным пельменем, попрыгала на линолеуме, не разбилась и ускользнула в угол, пельмень тоже увернулся из-под ноги. Никита стукнул кулаком по шкафчику у мойки, и посуда, на нем наваленная, лязгая и звякая, поехала в раковину. После этого Никита совсем уж утерял контроль над тем, что вытворяли его конечности, они грохали, пинали, перевернули миску с молоком, почему-то оказавшуюся на полу. Татьяна смотрела на него с удивлением, а Алик с восторгом, как на клоуна в цирке, как если бы это было веселое представление.

Потом ноги, продолжая расшвыривать все, что попадалось на пути, вынесли Никиту в коридор, а потом во двор, на улицу, прогуляли быстрым шагом до метро, но тут уж он пришел в себя и в метро спускаться не стал, тем более что ноги вынесли его без кошелька и без копейки денег в кармане. Никита пришел в себя, но стыдно ему не стало, скорее никак, пусто. Побродив немного, он вернулся домой. Дверь ему не открыли. Ключи, как и кошелек, остались дома. Вот я идиот, думал Никита, нажимая на кнопку звонка, чего сорвался, знаю же Таньку, как на слепого за то, что не видит, злиться. А теперь она обиделась, думал Никита, осторожно, носком ботинка постукивая в дверь.

Ну ладно Танька, думал Никита, теряя терпение и колотя в дверь изо всех сил, ну Алик-то мог бы открыть. И я тоже, что стоило ключи в карман сунуть. Устав звонить и стучать, Никита отправился вниз, посмотрел на окна, в их квартире света не было. Пришлось занимать у соседей деньги, ехать через весь город к бабушке за ключами, успокаивать и врать, что все в порядке.

Дома было темно и незнакомо — передвинутые вещи делали квартиру непредсказуемо опасной. В электрическом свете хаос стал еще более депрессивным, контролировать его казалось невозможно. Танька ничего убирать не стала, взяла Алика и уехала. Поколебавшись — не бросить ли все как есть и завалиться спать, Никита все-таки стал убирать. Вытер разлитое по полу молоко, выкинул осколки тарелки и чашки, вымыл уцелевшие, собрал разбросанные ножки стола, запихнул под кровать, столешница туда же влезла, составил стулья, вернулся в кухню, достал холодное пиво, сел на подоконник, выглянул, не идут ли Татьяна с Аликом, подумал вдруг, хорошо бы побыть одному, хорошо бы остались у тещи, вообще странные мысли лезли в голову — если когда-нибудь разведемся, пусть Танька буфет…

Буфет прочно вписался в новый облик кухни, без стола окончательно потерявшей уют семейной столовой, вертикальные линии холодильника, буфета, балконной двери почему-то напомнили какую-то декорацию, какой-то едва вспоминаемый спектакль, герой играл на скрипке… Псих этот сказал — виолончельный мастер делал буфет. Никита подошел рассмотреть резьбу и услышал… сначала ему показалось, что в холодильнике, — их прежний холодильник, включаясь, недовольно хныкал, потом — что Алик, в младенчестве Алик укачивал себя тихим нытьем, потом он понял, что это буфет, не скрипит, а… подвывает, еле слышно, горько, Алик, видно, про это сказал, — сначала он плакал… наверное, мастер что-то вмонтировал туда, может, струна там где-то. Никита протянул руку и погладил шкаф, как собаку.

Александр Носков

Мужчины городских окраин

Печка

Печка остыла к утру,
Но дом ещё держит тепло.
Туман со стекла сотру —
Немножко станет светло.
На улице нашей пустой
Никто почти не живёт.
И только татарин глухой
Тоскливую песню поёт.
Пойду к нему покурить,
Пока закипает чай.
С ним можно не говорить,
А просто сидеть и молчать.

Понедельник начинается в понедельник

Жизнь и прекрасна, и сурова.
В метро спускаюсь налегке
С романом Саши Соколова
В похмельной трепетной руке,
С лица необщим выраженьем,
С эффектом очень красных глаз
Я еду скромным отраженьем
Почти что каждого из вас:
Мужчин, которые беспечно
Вчера добили до конца
По литру водки и, конечно, —
Чтоб насмерть! — пива и винца...

Завод. Сверхурочная работа

В цеху погашен свет. Лишь на моём участке
У мёртвого станка толкутся слесаря:

Об авторе | Александр Владимирович Носков родился в 1958 году на Урале, в «закрытом» городе Свердловск-45 (нынче город Лесной). Школу закончил в Рыбинске. Уехал учиться в Москву, в станкоинструментальный институт. Работал инженером в цехе на моторостроительном авиазаводе. Потом ушел в программирование. Первые стихи написал в 2005 году. Нигде никогда не печатался. Живёт в Москве.

Лебёдкою с него пытались снять оснастку,
Да бросили – устали, короче говоря…
И тут являюсь я! Шикарный, загорелый,
Эффектно так куря, иду на длинных ног.
«Ребята, я пришёл!» — И две бутылки белой
Фигак им на верстак. И стал для них как бог…

Смерть одинокого инженера

Оркестр нестройный, гроб, венки…
В углу тихонько плачет кто-то,
Молчат угрюмые станки,
И с чёрной ленточкою фото
Висит. Где ты удачно снят
В венгерской импортной рубашке
Лет двадцать пять тому назад
Для заводской многотиражки.
…Чтоб помянуть хватило мест,
Сколотят грубые скамейки…
И от завода сварят крест.
Хороший крест. Из нержавейки.

Летние каникулы детства. Истребитель

Кусок батона съесть с вареньем
И после, сидя на траве,
Курить и с удовлетвореньем
Разглядывать на небе две
Инверсионные полоски,
В которых летчитцкий привет:
«Спокойно, парень! Я — Дубровский!
Всё чики-пуки. Смерти нет».

Школьные годы жизни

Училка выгнала меня со своего урока,
И я к двери с портфельчиком обтёрханным иду.
Ну, досведанья, Марьиванна. Как претставлю, скока
Вы крови детской выпили… Встретимся в аду!

Мишка на севере

Раздёрнешь зимней ночью шторы…
Ах, как же в северной глуши
Высоковольтные опоры
На фоне неба хороши!
Они скрепляют неба своды
Со снежным саваном земли.
На случай ветреной погоды,
Чтоб оторваться не могли.
Упали звёзды и зависли,
Морозом скован ход планет…

Мешают спать Луна и мысли, —
Что год не плочено за свет...

Печальные песни о космосе

1. КОСМИЧЕСКИЕ ТАНКИСТЫ

Вышел в тёмное поле я ночью,
Чтоб с ракетою встретиться чтоб.
У неё метеорами в клочья
И корма вся издрата и лоб.
От прорыва земной атмосферы
Обломились антенны у ней,
И мерцает глазами пантеры
Жёлтый свет аварийных огней.
И снутри вдруг отдраились люки,
Вышли бледные все пацаны,
Испытавшие смертные муки
Космонавты советской страны.
Их задание было опасно,
Но они победили свой страх
И стоят, офигенно прекрасны,
В обгорелых своих свитерах.

2. ПИОНЕРЫ КОСМОСА. НОВЫЙ ГОД

На чужой безотрадной планете
Космонавты сидят у костра.
Стартовали они ещё дети,
А сейчас помирать им пора.
На обратную к дому дорогу
Керосина почти что уж нет,
Да и жизни осталось немного
Покорителям чудных планет.
И сухими, как пепел, глазами
Друг на дружку они не глядят,
Стали вместе они стариками
И от этого тихо молчат.
Не жалеют они и не плачут,
Что геройский избрали свой путь.
Ничего ихни слёзы не значут,
Если значут — то только чуть-чуть...
Медицинского спирта из фляги
Каждый н**о**лил в гранёный стакан.
На скафандрах советские флаги.
«С Новым годом», — сказал капитан...

3. ВОЗВРАЩЕНИЕ

Возвращаться из космоса страшно
На безлюдный пустой космодром.
И трибуна стоит не покрашена,
Лишь дежурным сигнальным костром
Освещённый старик в телогрейке
Потихоньку навстречу идёт.

Из-за севшей почти батарейки
Мало света фонарик даёт...
Экипаж достаёт сигареты,
Чтобы дать старику закурить.
Из обрывка какой-то газеты
Понимают, что не хрен спешить...
Их не ждут. Их почти что забыли.
Только ветхий безумный старик
Отряхнёт от космической пыли
Командиру его воротник.
Будут возле буржуйки тесниться,
Что не греет — топи не топи.
И привычно заплачет волчица
В бесприютной казахской степи...

4. СЛУЧАЙ С КОСМИЧЕСКИМИ КОСМОНАВТАМИ

Вот такая случилась петрушка —
Сбились с курса на десять парсек.
Шесть мужчин не глядят друг на дружку —
Кислорода на пять человек...
Командир приказал экипажу,
Чтоб летели к Земле без него,
И тогда хватит воздуха даже
Для собачки любимой его.
Он «до встречи» сказал по привычке,
Об собаку потёрся щекой,
Прикурил папиросу от спички,
И стоит одинокий такой...
И, как только задраились люки,
Он шагнул прямо в пламень и дым —
Чтоб не жить в одиночестве скуки
И остаться навек молодым.

5. МОЛИТВА МОЛОДОГО КОСМОНАВТА

Оле Анисимовой

Дыры забиты фанерой,
Сорваны нах тормоза.
Корабль вошёл в атмосферу,
Командир закрывает глаза
И тихо шепчет: «Гагарин,
Спаси меня и сохрани!
Я такой же улыбчивый парень,
А не как эти старые пни,
Что меня отправляли в космос,
Лишь бы к празднику только успеть...»
И Гагарин включает тормоз —
Не даёт пареньку помереть!

6. ОБРАТНО В КОСМОС

Чаю с сахаром пьют капитаны
В космодромном дешёвом кафе
И конфеты ссыпают в карманы

Неуклюжих штанов-галифе.
Подойдут к потемневшей ракете,
Затушив огоньки сигарет,
И взлетят к серебристой планете.
А куда — нам не скажут. Секрет.

7. КОСМИЧЕСКИЕ СОБАКИ

Ракета несётся сквозь вакуум подальше от грешной Земли.
Два места пилотов собакам учёные сделать смогли.
Геройские Белка и Стрелка глядят на приборов огни,
Под попами ихними грелка, штурвалы сжимают они.
Но, кроме тепла и приборов, им нужен в пути кислород
И рация — для разговоров друг с дружкой, когда вдруг припрёт,
Сказать чтобы доброе слово, когда подступает тоска
И вспомнишь пивную в Кусково и кости цыплят табака...
…Уж скоро в канистре наступит всему кислороду конец,
И смерть к ихнем душам подступит, и чуют собаки крантец.
И слёзы немножко стекают из Стрелкиных маленьких глаз,
Она их хвостом вытирает и помнит последний приказ:
Чтоб слать с корабля телеграммы с известьем — ну как там дела,
И вот послан**а** телеграмма, что Белка почти умерла,
Лежит и готовится к смерти, а свой кислород отдала
Подруге своей. И, поверьте, ни капли она ни ссала,
Што щас ей закончить придётся жестоким удушьем свой век...
И сердце почти что не бьётся... И плачет больной человек,
Который её был хозяин когда-то на этой Земле,
Которая где-то сияет в космической тягостной мгле...

8. ОЧЕНЬ ОДИНОЧНЫЙ ПОЛЁТ ЧЕЛОВЕКА

В холодный морок космоса пустого
Взглянул пилот, дыханье затая,
И вновь не увидал ничо такого.
И не такого — тоже ни..я...
Задёрнул шторку, выпил кружку чая
И тупо целый вечер заполнял,
Бессмысленности слов не замечая,
Печальным текстом бортовой журнал.

Эрдель. Лёшеку

Какой я всё-таки дурак...
Как жаль. Зачем же я напился...
И укоризненный собак
Со мной, как с маленьким, возился
Всю ночь. Беседовал со мной,
Превозмогая отвращенье...
Жалел меня. Такой смешной.
В неверном лунном освещенье
Он, Лёха, на тебя похож.
Он думал, мне и правда плохо...
Я врал ему. Он чуял ложь,
Но не прогнал. Спасибо, Лёха.

Глупый стих про добрую электричку

У окна вечерней электрички
Занял место. Пять минут спустя
Я уснул. Как будто бы табличку
На меня повесили — «Дитя
Спит». Торговцев шум и разговоры
Не мешают — я так крепко сплю —
Даже подъезжая под Ижоры,
Не проснулся. А ведь как люблю
Пушкина А.С. произведенья
И других поэтов прошлых лет…
Бабы-контролёры в умиленье
У меня не требуют билет…
В ихней жизни счастья очень мало —
Поглядят на сонный мой уют,
И, поправив куртку-одеяло,
Поцелуем в голову добьют.

На работе. Спать хочется. А. Чехов

Когда закидывает в сон
Неодолимой мягкой силой,
И вдруг безумный телефон
Взрывается. И голос милый
На совещание зовёт.
И ты идёшь на совещанье,
В руках сжимая пулемёт
И текст, что скажешь на прощанье…

Кем быть?

А я не терзаюсь этим вопросом —
Я знаю: в конце концов,
В следущей жизни я стану матросом.
Как Николай Рубцов.

Буду ходить на барже-сухогрузе
Большою русской рекой.
Рек дофига в Советском Союзе,
Мне всё равно какой…

…По берегам огоньки жилья,
Дизель работает тяжко.
И на корме средь мужского белья
Сохнет моя тельняшка.

Дмитрий Вачедин

Расписание

рассказ

Я впервые увидел Дмитрия Вачедина в Липках, на мастер-классе «Знамени». В последние годы из Германии приходит немало русских прозаических и поэтических текстов. Найти себя в русской прозе, живя в Германии, довольно трудно. Одно дело — воспоминания о жизни в России, приправленные немецкими бытовыми подробностями. Или — попытка писать немецкую прозу по-русски. То есть — стилизовать по-русски усредненную западную прозу… Но как, оставаясь в русском контексте, писать о сегодняшнем русском немце?

Вачедин лишен ностальгии. Но Вачедин предан русской культуре. Вачедин в отличие от писателей-эмигрантов старших поколений, не осознает себя эмигрантом: он ни от кого не бежал… Вачедин избрал самый надежный, но почти не исхоженный в последние годы путь русского писателя, живущего в Европе — традицию. Традицию Сирина, Газданова и даже Шкловского, создавшего «ZOO». И — переживание традиции немецкой бюргерской прозы, новеллистики Томаса Манна прежде всего.

Главное, что обнадеживает меня в прозе Вачедина, — устаревшее нынче, но и самое продуктивное, едва ли не сакральное отношение к русскому литературному языку. В этом Вачедин принципиально старомоден, как и подобает тому, кто не суетится в стремлении оказаться и удержаться на поверхности немедленного социального успеха. Да и зачем суетиться на платформе Боннского вокзала, где вот она — дорога на Кельн, вот и на Кобленц, а вот и неотменимое Расписание всех наших станций, адресов и дат?

Андрей Дмитриев

I

Вечером жаркого июньского дня 2009 года в самом конце третьей платформы боннского вокзала появился мужчина лет пятидесяти, обладавший очками, седой бородкой и свернутым в трубочку литературным журналом. Растерянно оглядевшись по сторонам, он направился к желтому щиту с расписанием, стоявшему как раз у того места, где платформа обрывалась — дальше где-то вдалеке по закону перспективы сходились рельсы, ниткой тянулись по направлению к Кельну. Протерев очки в старомодной оправе и поглядев на часы, он стал водить пальцем по пыльному стеклу, отыскивая свой маршрут.

Об авторе | Дмитрий Вачедин родился в 1982 году в Ленинграде. В 1999-м переехал в Германию. В 2007-м получил премию «Дебют» в номинации «Молодой русский мир». В 2008-м закончил университет в городе Майнц, факультеты политологии и славистики. В настоящее время живет в Майнце, работает на радио «Немецкая Волна» («Deutsche Welle»).

Обнаружив щит с расписанием на краю вокзальной вселенной, он обрадовался, ибо не только спешил домой, но и встречал любое напечатанное слово как старого друга, без раздумий доверяя буквам и цифрам свое дальнейшее путешествие. Однако увиденное произвело на него странное впечатление — едва его палец, оставляя на пыльном стекле дорожку, нащупал на листе цель поездки, как человек густо покраснел, сглотнул, открыл рот, зачем-то еще раз протер свои и без того чистые очки, беспомощно посмотрел по сторонам — вокруг не было ни души — и в недоумении зашагал взад-вперед по маленькому пятачку на краю платформы.

Потом Иван, так зовут нашего героя — Иван Берг, вновь бросился к расписанию и начал жадно глотать его строчка за строчкой — начиная от мифических утренних поездов, тихих и мучительных, до шумных и пьяных поздневечерних — по правде говоря, ни на тех, ни на других ехать ему было совершенно некуда. Мысли его метались между вопросом «Кто это все подстроил?» и спокойным утверждением «Вот, значит, как оно будет...». Место, в котором он находился сейчас, не в силах оторваться от расписания, казалось ему теперь странным, нелепым и кошмарным — да странным оно, признаемся, и было.

Длинная платформа — метров в четыреста — с одной стороны, в направлении Кобленца, оканчивалась острием, похожим на нос корабля — нос рассекал зелень деревьев, и волновалась за бортом океанская лиственная рябь, и как мачты торчали столбы. С другой стороны — там, где стоял сейчас Иван — платформа обрывалась внезапно, без всякого перехода, и не было никакой листвы, лишь голубое небо до самого Кельна, и платформа выводила прямиком в него — отсюда надо было взлетать, как с вышки для прыжков в бассейне, иначе зачем было приходить сюда? Не садиться же в поезд — редкие поезда могли позволить себе растянуться на всю длину платформы.

Здание вокзала отсюда казалось маленьким, другие, отчего-то более короткие платформы, давно закончились, и за рельсами виден был город, которому никакого дела не было до поездов и издаваемого ими шума. Слева тянулась тихая улица с породистыми красивыми домами, домами с историей и родословной, каких много в Бонне, справа — ничем не примечательная пустая маленькая площадь, похожая на отпечаток ладони. Конец третьей платформы уже почти не относился к вокзалу, это была площадка, арена, где город рассматривал тех, кто приезжал в него или из него уезжал.

Странен был и желтый щит с расписанием — пыльный и забытый, и история его появления, наверное, была также туманна и загадочна. Быть может, это вокзал застолбил свою территорию в вечной борьбе с городом, щит стоял как пограничная крепость, как замок над Рейном, в двух шагах от которого холодеет пропасть с виноградными саженцами на дне. В Германии не ставят расписания в столь неподходящих местах, как безлюдный край длинной платформы, а покрываться пылью они могут разве что на маленьких горных станциях в Шварцвальде, но никак не в бывшей столице, которую с одной стороны до блеска отмыл Рейн, а с другой проветрил чистый и холодный ветер с Айфельских гор.

Но самым странным было то, что на расписании, как раз под поездом, на котором Иван рассчитывал поехать, 19:53 Bonn — 20:22 Köln, ему бросилась в глаза следующая строчка: 19:54 Tarasovka — 19:57 Serov — 19:71 Moskau — 19:96

Köln-Süd — 20:11 Bad Breisig — 20:20 Bad Breisig (x). Удивительны тут были даже не дурацкие и невозможные 19:71, и не названия русских населенных пунктов, будто сошедшие со страниц какого-нибудь «Доктора Живаго» — просто в Тарасовке, снежной Тарасовке с черными от угля улицами и вечным лаем собак, он и родился в 1954-м, а в 1957-м их семья переехала в более крупный Серов, и дальше по списку — 25 московских лет с учебой, работой, женитьбой на Изабелле и, наконец, переезд в Германию, квартирка в спокойном районе Кельна, книги, прогулки по Рейну, все то, что составляло сейчас его жизнь.

И, что самое страшное, запланирован был уже и переезд в свой домик, обязательно высоко над Рейном, вклеенный в склон холма и запахи леса, с большими окнами — с теми окнами, глядя на которые снизу, сразу же даже не глазами, а кожей чувствуешь открывающийся из них вид, от которого сладко прыгает сердце. Там, в тишине и спокойствии, Иван планировал написать роман, легкий и воздушный, даже не написать — сплести по рецепту старых мастеров, а за ним еще один — громкий и скандальный, вернуться ненадолго в молодость, все до крошки собрать, что когда-то, не задумываясь, разбрасывал по всем углам. Ну а завершить это дело должен был роман третий — мудрый и спокойный, настоящий роман прощания, роман едва заметной улыбки и туманов над зимним Рейном, написанный как бы уже и не человеком. Бад Брейзиг, отмеченный в расписании, отлично подходил для этого проекта, и при наличии подходящего варианта Иван и его жена Изабелла с радостью переехали бы туда. Вернее, они туда и переедут, и в этом провинциальном городишке он умрет через одиннадцать лет, завершив свой маршрут, — ведь на это указывает крестик, на что же еще. Если только это не шутка.

Однако уже пора и рассказать, каким образом Иван оказался на краю платформы. Утром он не смог завести свой автомобиль — старый огромный похожий на ньюфаундленда «Вольво», и его, грустного и встревоженного, подвез в Бонн сосед — до бывшего правительственного квартала, здания ООН и чудесной набережной. Там Иван и работал, возглавлял в русской редакции радио «Голос Германии» отдел культуры, состоящий из него самого, Марины и Сергея. Это была настоящая команда — восторженный голос Марины, рассказывавшей о художниках на очередной Арт-Колонь, сменял уверенный и чуть насмешливый голос Сергея, доставшего редкую запись финских музыкантов, и над всем этим царил неторопливый, московский, мягкий голос Ивана, чьей областью, охотничьим угодьем и райским садом была литература.

Приближался день смерти Гофмана, и сегодня Иван, позабыв о поломке машины, с восторгом и умилением, так как всегда впускал в сердце то, о чем сообщал, записывал передачу о нем, полную цитат, образов и той особой атмосферы, густой, как чернила, которой всегда славились передачи Берга. «Ведь он отличный писатель, отличный», — с нежностью думал Иван, отправляясь на автобусе на вокзал после окончания рабочего дня. Тут он не был уже несколько лет, но, как ему казалось, сразу же сориентировался, отметил, что вокзал оказался ржавого цвета затонувшего военного корабля, вошел внутрь и тут же прошел вокзал насквозь, словно какой-то фокусник, взмахнув платком, убрал целое здание, спрятав его в чудесную шляпу. Так же легко в автомате на первой платформе был куплен билет, быстро нашлась нужная платформа, и до отправления поезда оставалось не более трех минут, когда зазвонил телефон — это была Изабелла.

Вот тогда Иван и убежал от всех в самый конец платформы, где нашел злополучное расписание, убежал, чтобы не мешали, убежал, забыв про поезд, потому что совсем недавно открылось, что в груди Изабеллы живет рак, и результаты лечения были неочевидны, и необходимо было именно сейчас говорить с ней весело и нежно, мужественным и мягким голосом, которым Иван рассказывал в своих передачах разве что о Хемингуэе. И если неизвестные злоумышленники могли сломать его машину и подстроить его приход на вокзал, то уж точно никто не знал, что телефонный звонок приведет его в самый дальний уголок вокзала, куда люди если и попадали, то чаще всего по ошибке.

II

После работы я вновь отправился на вокзал. Автобус медленно плыл вдоль рельсов. Слева я видел поезда, казавшиеся мне теперь живыми и мифическими существами вроде драконов. Посланцы судьбы. Я отчетливо ощущал такое же медленное, как ход автобуса, тиканье — внутри меня шли мои старые часы, отсчитывая секунды до какого там? До 2020-го. Осталось одинадцать лет. Круглые, некрасивые, больше похожие на военный прибор, чем на предмет интерьера, старые советские ходики. Ведь я теперь знаю, у меня есть преимущество знания. За одиннадцать лет я могу много успеть — если не терять больше ни минуты. Напишу роман, я о нем мечтал с молодости. И Изабелла поправится, я умру у нее на руках. Умру, может быть, даже попробовав поздней и ароматной, как яблоко, писательской славы.

Потом я шел по платформе, и по мере того как продвигался вперед, вокруг становилось все меньше людей — они не знали, они ничего не знали, а я уже знал и нес теперь этот груз, и буду нести его до 2020-го, приход которого я отпраздную так, как никогда раньше не праздновал, а потом буду ждать, гулять с Изабеллой по набережной и запоминать запахи и звуки, учиться быть ветром, водой и землей.

Уже издалека было видно, что у того самого расписания стоит человек в зеленой рубашке, но не успел я подойти к нему, как он сам направился мне навстречу. Когда он проходил мимо, на секунду наши взгляды встретились, и я понял, что он знает, что посвящен в тайну, и он понял то же самое про меня. Я остановился, оглянулся и увидел, как он, не замедляя шага и не оборачиваясь, поднимает ввех сжатую в кулак руку. Я зачем-то помахал в ответ — он меня не видел. Скоро я о нем забыл. Передо мной раскинулась желтая пустыня расписания, и я принялся искать на ней свои следы, чтобы еще раз убедиться, что мне это не приснилось, что есть доска человеческих судеб и что я умру через одиннадцать лет. Маршрут был прежним — от Тарасовки до Бад Брейзига. Каким же он мог быть еще?

Уже через пять минут рядом со мной оказался довольно молодой человек в деловом костюме с портфелем. Он с полминуты посмотрел на расписание, пошмыгал носом, сказал «опаздывает» и повернул голову туда, где скоро должен был — железным стеблем из горошины — вырасти его поезд. Я заглянул в то место на расписании, куда он смотрел, и спросил:

— Извините, вы ведь родились в Бонне в 1971-м?

Он не ожидал этого вопроса, а я говорю с акцентом, поэтому фразу пришлось повторить. Но когда он меня понял, то ответил:

— Да. Откуда вы знаете?

Я чувствовал себя очень глупо, но все же тыкнул пальцем в расписание и сказал, что это написано здесь. Вот здесь. Он смотрел не на желтый лист, а на меня, кажется, он начал меня опасаться, может быть, боялся, что я брошусь на него. Я продолжал водить пальцем по его расписанию. Выходило, что он всю жизнь прожил в Бонне, но скоро переедет в Кельн.

— Здесь написано, Бонн 19.71, ведь не бывает такого времени, значит, это ваш год рождения.

— Это опечатка. Есть поезд на 19.21, — он старался тщательно выговаривать слова, как будто говорил с ребенком.

Я еще раз посмотрел на расписание и увидел, что он умрет через пять лет. Я покраснел и принялся извиняться, после чего обогнул щит с расписанием, чтобы он не видел моего лица. Это было нелепо, чудовищно нелепо, особенно посреди разговора, но я почувствовал, как по моей щеке скатывается слеза. Расписание расплылось громадным желтым пятном, видимо, я издал какой-то звук, потому что он крикнул:

— Я могу вам помочь?

— Нет. Я прошу вас меня извинить, — попробовал я произнести, после чего достал носовой платок и высморкался.

— Может быть, хотите вместе посмотреть расписание? Это действительно интересное совпадение.

— Нет, нет. Это ошибка. Извините.

Подошел поезд, я почти не видел его, спрятавшись за своим укрытием. Поезд проглотил парня в пиджаке, зато выплюнул других, невидимых людей.

— Дерьмо, — произнес кто-то за щитом. — Столько еще шагать до выхода.

И они потащили к выходу свои чемоданы, на расписание никто не смотрел. Да и зачем им было? Ведь они уже приехали.

Я остался один, стоял и плакал, потому что внезапно понял, что ничего не будет. Ничего у нас не получится. Тебе осталось жить от силы пару лет, у тебя рак, а после твоей смерти я уеду один в этот Бад Брейзиг и закопаюсь глубоко в какую-нибудь темную нору. Сначала будет спасать работа, потом меня уволят, и я неделями не буду выходить из дома, опущусь, перестану мыться и бриться, буду пить по русскому обычаю, от Джойса перейду к сборникам анекдотов, а когда я умру — в 2020 году, — дом придется долго отмывать от моего запаха, как место, в котором жило жирное и гадкое насекомое. Зачем я себя обманываю. Я уже никогда ничего не напишу.

Зазвонил мобильный. Конечно, это была ты, но говорить с тобой я сейчас не мог, пойми меня, родная. Не мог я и ехать домой.

Выйдя из оцепенения, я позвонил Сергею. Он подъехал на своей «Субару» космической расцветки, и мы поехали в Кельн, в бар, в котором звучало что-то похожее на музыку моей молодости — когда я закрывал глаза, то видел цветы. Сергей говорил об этой музыке, употребляя слова «лаундж» и «фьюжн», мы пили коктейли, и вокруг было много молодых людей. Я казался им стариком — того типа, на которого не хочешь быть похожим в старости. Да, я находился в «крутом» месте, но не был «крутым» и не одевался, как «крутой». В Германии я располнел, у меня слишком аккуратная и хорошо выглаженная одежда пастельных тонов, я не ношу джинсов, а когда-то они у меня были, настоящий клеш. Наконец, я русский. Знаете ли, довольно скучно быть русским в Германии.

— Я из поколения бунтарей, — сказал я Сергею, чтобы что-то сказать. Мне здесь нравилось. — Лично я, конечно, не был бунтарем — может, самую малость. Хватало и без меня. Ну а вы должны быть нашей противоположно-

стью, поэтому вы слушаете легкую музыку, пьете коктейли и не ходите на демонстрации. Через двадцать лет снова придут бунтари, и тогда вам не поздоровится.

Кажется, я даже погрозил ему пальцем — мол, гляди у меня.

Через полчаса меня развезло — все это время я пил коктейль за коктейлем, и Сергей начал беспокоиться. Я был его начальником и неплохим стариком. Теперь он наблюдал за моим превращением в свинью. Несколько раз он порывался отвезти меня домой. Напрасно, зал заполонили цветы, они просто появились в какой-то момент, я их чувствовал — как они росли, поднимались и качали бутонами под музыку. Среди них ходили молодые девушки. Мне кажется, я хотел собрать их вместе и повести за собой на вокзал, к расписанию, может быть, я даже трогал их руки, предлагая тотчас же рассказать им их будущее. Почему-то мне казалось очень важным сообщить им, что их ждет впереди. Я был старым, пьяным, толстым иностранцем, правда, перечитавшим за свою жизнь несколько тысяч книг, но было даже что-то забавное в той легкости, с которой эта кожура с меня слезла. Кажется, так же я мог ходить по Тарасовке — от забора к забору и петь песни. Кажется, я вообще никогда не покидал этой Тарасовки. Она живет внутри меня.

Потом я сбежал от Сергея. Мучительно было наблюдать, с каким лицом он смотрит в мою сторону. Распевая мелодию из бара, я пронесся пару сотен метров и свернул на какую-то улицу — тут я решил искать бунтарей. Скоро я их нашел и отдал им почти все свои деньги на их революцию, потом зашел в киоск и купил бутылку водки. Я пил ее из горла, ощущая, как вокруг все становится желтым — я просто прохожу своим маршрутом от Тарасовки к Бад Брейзигу без остановок. Мой поезд почти достиг конечной станции, моя жена смертельно больна, а я неудачник, болтающий языком о том, чего делать не умею и по-настоящему не понимаю. Я жалок. Просто жалок.

Когда я пришел в себя, я был на боннском вокзале, стоял на четвереньках под своим расписанием. Внизу, прямо под его опорой, кто-то положил цветы, я трогал лепестки руками. Кажется, светало. Я услышал какие-то звуки — прямо надо мной, но не обращая на меня никакого внимания, стояла женщина, смотрела на расписание и плакала.

— Вот видишь, — закричал я, или попытался закричать. — Вот видишь, что они с нами делают!

Потом я понял, что кричу по-русски. Но она и так ничего не ответила и ушла, закрывая лицо руками, ушла по направлению к выходу, постепенно уменьшаясь, исчезая на этой бесконечной платформе. Я сел на асфальт, прислонившись к щиту, и закрыл глаза. Через некоторое время меня разбудили люди в форме, и скоро я был уже дома. На работу я в тот день не вышел.

Мы говорили несколько часов, я все рассказал тебе, кажется, я лежал на твоих ладонях и впервые за много недель, с тех пор как мы узнали о твоей болезни, не чувствовал страха. Летний день, большую часть которого я проспал — в своей постели и немного на боннском вокзале — медленно опустился на крыши, впитался в землю. День — это тот же дождь, только очень медленный. А потом ты взяла меня за руку и повела.

— Нет, — попросил я. — Не делай этого. Пожалуйста.

Ты только рассмеялась.

И была недолгая поездка на самом последнем за сегодня поезде, и не было никаких надежд, и шли старые скрипучие часы внутри меня. Ты сидела — ужасно бледная, ужасно смелая и улыбалась, я, отвернувшись от тебя, смотрел в окно. Не надо было ехать. Тошнило и кружилась голова. Но как только мы оказались на боннском вокзале и перешли на ту самую платформу, все вдруг стало ясно. Просто на фоне ночного неба, как простыня растянутого над Бонном, распустился огненный цветок. Да, все было ясно, но мы все равно дошли до конца и хорошо рассмотрели разбитые стекла на полу и горящее расписание.

За нами раздался звон стекол, где-то в другом конце вокзала кто-то разбил еще один щит. Мы обернулись и стали смотреть, как он медленно разгорается там вдали.

— Ну что, ты довольна? — спросил я. — Можно ехать домой?

Ты рассмеялась.

— Поехали.

— Вот только возьмем такси.

Dj Stalingrad

Исход

повесть

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Мои дети — не такие.

И дети моих друзей, их однокашники, сослуживцы, приятели — тоже не такие.

Герои, сюжетные повороты, реалии предлагаемого к обсуждению текста у благонамеренного читателя могут вызвать оторопь: неужели все это есть в современной России? Кое-кто, возможно, даже почувствует себя оскорбленным тем, как грязно и агрессивно эти молодые люди разговаривают друг с другом и с миром, как устраивают свою жизнь, власть каких моральных норм признают над собою.

Они — принципиальные и убежденные маргиналы. Как маргинальна и сама повесть «Исход», подписанная условным именем и имеющая, сколько нам известно, хождение в Интернете, в слое радикальной молодежной субкультуры. Перед нами, по сути, самиздат, свидетельство о том, чего, по правде говоря, и знать-то не хочется, но знать все-таки необходимо. Потому что без этих голосов, без этих жизней наше представление о стране и народе будет тоже заведомо неполным.

Откуда они? И куда идут? Достоверен ли образ мира, возникающий в повести и в сознании ее героев? И как по отношению к этой части нашего молодого поколения должно вести себя общество?

Попробуем разбираться вместе.

Сергей Чупринин

Очень сильно печет солнце. Голубое небо и вода в море — цвета синьки, как в детстве. Мы поднимаемся вверх по холму, в старый город, туда, где, извиваясь каменными драконами, раскидала свои кольца древняя крепостная стена. Вокруг полно заброшенных домов, их нельзя ни сносить, ни ремонтировать, в большинстве из них живут цыгане. Мы тоже ищем себе новый дом. Вверх, вверх по брусчатой маленькой улочке, почти забрались на вершину и нашли.

Небольшая, аккуратная беленькая вилла: два этажа, виноградник, веранда. Проверили свет — есть, проверили воду — тоже есть, людей — никого. Приехали-нашли.

Поставил кресло на веранду. Жара, на дворе декабрь. Внизу — черепичные крыши, гавань, залив и снежные горы на горизонте. Среди хлама в доме нашлись книги на неведомых языках и пустая тетрадь в линейку — я в ней пишу. Мне очень давно не хотелось ничего писать, а теперь — хочется. Мне это надо. Я расслабился и про-

От редакции | Текст для публикации предоставлен автором, который просит не разглашать сведений о своем настоящем имени и местопребывании. Учитывая специфику бытования текста в рамках молодежной субкультуры, повесть печатается с сохранением авторской лексики.

сто записываю картинки, одну за другой, как они всплывают из памяти. Они жили во мне все это время, населяли и мучили меня, я не мог ни о чем думать, кроме них. Теперь я делаю эти записи, и с каждой страницей один из демонов, что повисли, сцепившись, над моей головой, покидает меня, обретает себе новую оболочку — на бумаге. Чем дальше я пишу, тем легче мне становится, я перекладываю все свои страдания на эти листы, а они, как всегда, все стерпят. Мне действительно становится легче, я вспоминаю, чтобы забывать.

Мы сидим с Женей на квартире у подруг в Петрограде. За окном валит снег, мы грустим. Мы уехали из родного города, с которым нас связывало так много. Женю наконец прищучил наркоконтроль, у его квартиры слежка. Рома пошел к нему в гости — его отпиздили в машине, потом он два часа приседал голый, чтобы из него выпал героин. Теперь мы здесь, я уколол его в вену — Женя доволен. Дамы поят нас, у меня настроение поговорить о серьезном, погрустить. Я ставлю на прослушивание сборник романсов Вертинского.

— Тебе давно надо было сменить место жительства, Евгений. Ты обязательно должен был либо сесть, либо умереть от передоза, если бы остался в Москве.

— Ты помнишь, как я чуть не умер в Петрозаводске?

— Да, ты тогда чуть не сдох, мы еле тебя нашли. Ездили на наших автобусах по всему городу, потом смотрю — ты у светофора стоишь и глаза закатил. Я так и не понял, зачем ты тогда принял пятнадцать капель.

— Ну, я решил попробовать, как-то само получилось. Свой выбор я давно уже сделал. Ничего не помню, помню только, очнулся в автобусе, рядом ты и все парни, а сердце вдруг останавливается. И тишина. Я бью себя по груди, изо всех сил, один, второй раз. Заработало… Прекардиальный удар, первая помощь.

— Первая помощь — хороший удар по ебалу. Мы так часто приводили людей в чувство на работе. Православные боксеры говорили — «Искушение».

— Помню, я спрашивал Федю, откуда у него те шрамы на всю бровь. Он говорит: «Как-то раз подрался пьяный, отпиздили до бессознания. Меня доставили в «пьяную травму» — травматологическое отделение для невменяемых. Ночь, я очнулся на железном столе оттого, что мне грубо, как собаке, какой-то мужик зашивает бровь и курит прямо над моим лицом. Мне больно, я пьяный, первая реакция — дал ему по ебалу. Тут такие мужики, в белых халатах, как холодильники, со всех сторон набежали, так меня отхуячили, пиздец, выкинули на мороз. Пять утра, еле дошел до метро, ничего не понимаю, вся одежда деревянная от засохшей крови. Нет денег на билет. Старуха у турникетов говорит: «Проходи, сынок, из пьяной травмы опять…» У него было полно таких историй.

Да, мы еще, я помню, лет пять назад ехали в Киров, он всю дорогу рассказывал о своей работе, все эти заводы. Как они играли в цеху в карты пьяные, а проигравшего подвешивали на крюк к крану и катали над мартеновскими печами. Тот визжит, поджаривается, все веселятся… Как через ванны с кислотой на спор прыгали. Еще про фартуки, ты знаешь?

— Нет.

— Это он на фабрике работал, там, в столярном цеху, если напился на работе, делали так: у них были брезентовые фартуки, его надеваешь, прихуячиваешь гвоздями к станине и уже не упадешь! Начальник смены заходит проверять — весь цех стоит прибитый…

— Да, четко. Он работал так лет с четырнадцати…

— Ну да, я часто думаю, что… и он сам говорил… что он поднялся нормально в жизни. Что судьбой ему было уготовано постоянное прозябание, исполненное нищеты и говна, а так он прожил веселую жизнь, поднялся в ней. Говорил: встретил одноклассника, тот работает в какой-то конторе, в дешевом пиджачке, улыбается все время, целый час рассказывал, как купил себе новый велотренажер, какой он классный, хвалился. А Федя — уставший, на отходняках, после работы еще, тот его спрашивает — а ты чего достиг? Федя заебался и напрямую: «Тренажера у меня нет, живу бедно, вот вчера зато на Рязанском проспекте бил человека ведром, тот на «скорой» уехал…

— Как мы не сели все только, одного не пойму.

— Ну, мы не сели, вот в Питере сейчас Вертинского слушаем, Федя в могиле, Коля за решеткой… каждому свое, как говорится.

— Да, вот Коля вообще непонятно как все эти годы гулял… как мы тогда обдолбались, у метро словили приход, прыгнули на модников каких-то, он со стволом, я с мачете. Пиздец, как мексиканские бандиты, отходили в метро, спина к спине, махали оружием, менты все попрятались.

— Вы уже в розыске все давно были, а все исполняли… ствол еще этот, он все время из него палил. Входит ночью в вагон метро пьяный, достает ствол и кричит: «За Сталина!» Все пассажиры — нахуй из поезда…

— Или как мы в магаз пошли пьяные: он напиздил водки, коньяков, изо всех карманов торчат бутылки. Подходим на кассу, Коля платит за жевательную резинку, тут у него из куртки прямо на ленту падает пистолет. Он извинился, взял жевачку и ушел, охранники просто расступились…

— Это как повезет, не всегда. Прошлым летом в такой же ситуации он ебанул охранника стендом с сигаретами, раскроил ему башку, потом башку разбили Коле… Всю ночь возил его по травмпунктам…

— Да, это все был беспредел, как будто ему уже было наплевать на все.

— Ну и действительно, терять ему нечего: нищая семья, родители — пенсионеры. Что ему было делать? Грузчиком он работать не хотел… Да и я ведь тоже, сколько ни работал — все впустую, нормально я поднимаюсь только тогда, когда плохо лежит или когда само в руки идет. Вот, например, не работал весь последний год, делал все эти концерты, а денег было больше, чем когда бы то ни было. И интересно, и почет, и финансы, и работать не надо… Такие были вечеринки этим летом, просто отлично…

— Да, я тогда тоже отлично напродавал на этих вечеринках…

— Оно и видно, с ума все сходили, резали друг друга ножами, «розочками», били кастетами своих же знакомых, ночью люди в костры падали, поджаривались… Утром дождь пошел, люди ползали голыми в грязи, музыканты играли в настоящем болоте! Вот это рок-н-ролл!

Или как зимой, в Доме культуры, я делал концерт, подбегает ко мне директор, весь красный, кричит: «Что за хуйня, мы так не договаривались! Ребята колются прямо в вестибюле!» Вот отлично было…

— Да и здесь все то же самое можно было бы… Обживемся в Питере, будем мутить всякое… не соскучимся.

— Нет, ты как хочешь, а я — все. Для меня все это кончилось. Федю убили — у меня в один момент как пелена с глаз, я был в мороке каком-то и прозрел. Ничего больше не хочу, не надо, достаточно. Концерты, выезда, драки, кутеж, веселье — все, это ничего не значит теперь для меня. Я больше так не смогу.

Он пришел ко мне из ночных черных окон, из тьмы бесконечных московских зим. Он открыл окно и вошел в мое испуганное детское сердце, и сказал:

«Вот, ты обречен. Все будет очень плохо, твоя жизнь будет бессмысленной нескончаемой пыткой тебе и неприятной обузой окружающим. Ты будешь терпеть, потом будут терпеть тебя, это не кончится никогда. Так Я сказал.

Но вот, ты можешь сделать иначе, преклонись Мне, служи, предайся полностью Моей воле, и Я сделаю твою жизнь такой, как Я сам пожелаю. В ней будет много отчаянного, тупого, четкого, мерзкого… У тебя ничего не будет своего, Я все дам тебе, что захочу, чтобы ты имел. В нестяжательстве, ты будешь только побираться и воровать. Со временем Я буду использовать тебя все больше, ты станешь любимой фигурой в Моей игре, но однажды Я променяю тебя, раздавлю и выброшу в мусор. Так будет, доверься Мне».

И я остался с Ним, Он вошел, угрозой и страхом, в мое сердце навсегда, я поклонился Ему и принял в себя. Через несколько лет я решил, что Он — это Господь Бог. Мне остается надеяться на это и теперь...

Скажите мне, почему? Почему? Для себя я знаю точно, почему.

Этот парень, он неплохо одет, скромно, со вкусом. Аккуратная стрижка, волевые черты лица, выглядит атлетически, занимается спортом, уверенный взгляд карих глаз. Он не из всех этих модных пидорков, он серьезный, хороший парень — сильный, смелый, нормальный мужик. Он расчетлив, но любит азарт, момент и кураж игры. Нос с небольшой горбинкой — сломали в драке, этот парень не понаслышке знает вкус крови на губах, он всегда готов постоять за себя и близких. У него много друзей, среди них он пользуется заслуженным уважением. Много подруг, которые любят его за то, что в нем есть что-то опасное, рискованное, что-то мужское, чего так не хватает в обычных городских парнях. Он увлекается, страстно играет, легко тратит деньги, легко выкручивается из сложных ситуаций, он еще молод, но уже очень опытен. И серьезен, он хороший парень, у него есть правильное представление о том, как правильно прожить жизнь. Не только красиво, с задором, веселыми девчонками и шальными друзьями, но вдумчиво, так, чтобы не было стыдно. Надо знать, понимать. Надо любить свою страну, уважать отца и мать, защищать свои жизненные принципы, не злоупотреблять алкоголем, найти хорошую девушку, создать семью, воспитать детей. Все сделать как надо, красиво прожить красивую жизнь, на одном дыхании.

Вот этот парень стоит вечером у магазина, и я подхожу к нему сзади. В растянутом свитере, в грязных кроссовках, неаккуратно выбритая «под ноль» голова, подростковые усы, прыщи на всем лице, гнилые зубы. Через секунду этот отличный парень превратится в кусок говна, обрезок железной трубы сделает из его головы кровавый фарш. Зубы, куски кожи, кровь во все стороны. Я — двоечник с последней парты, меня презирают одноклассники, я бухаю и дрочу. У меня впалая грудь, рахитичное пузо, я предрасположен к астме, плохое сердце. Никогда не было нормальной работы, никогда не было папы, никогда не было девушки, через секунду я отомщу этому пидарасу за все эти годы, за всю мою жизнь, за всех таких же, как я, придурков, за убогих, за больных, за детей из семей бюджетников, за тупых, инфантильных, за всех неудачников, которые составляют охуительный процент населения нашей страны. Я буду бить его по голове обрезком железной трубы за всех нас, и в этом будет что-то от святости. Или в святости всегда есть что-то от этого.

«Дети ментов ненавидят ментов!» — в 2005-м мы все поехали зимой в Рязань на электричках, был мороз, все просто охуели. Пришли в заброшенный кинотеатр, местных не было почти никого, так, концерт для своих. Нас всех, человек сорок, находившихся в зале, охватило какое-то болезненное возбуждение, переходящее в эйфорию. Как мы любили.

На сцену вылез пьяный Гена, схватил микрофон и начал скандировать какие-то речевки, мы не сразу поняли, что это песни, одну за другой. Все эти его безумные хиты. Мы просто пришли в какое-то бешенство, падали на пол в судорогах, водили эпилептичные хороводы, исполняли агонизирующие пляски, просто били друг друга. Потом — в ночи, через весь город, к вокзалу, Миша чуть не убил свою подругу, кинул ей в голову кирпич. Несколько человек убилось по пути об асфальт так, что сами идти уже не могли, их несли. Сережа, отец двоих детей, сказал, что умирает, поймал машину и уехал на вокзал. Не стоило отпускать его одного — там он повздорил с группой вооруженных спецназовцев-десантников из Чечни, которые сразу вынесли ему вердикт. Они пили водку в зале ожидания с местными ментами и закусывали тортом-мороженым, который нарезали штык-кинжалом. У всех автоматы. Мы тоже вооружены кто чем, к тому же нас больше, мы агрессивно настроены, служивые решили пойти на переговоры и угостили парламентеров водкой. Те выпили и вступили с ними в антивоенную дискуссию, утверждая, что в либертарном мире анархии армия не нужна. Пока десантники переваривали эту информацию, подошла утренняя электричка, и мы ретировались. Начали загружаться в вагоны, я смотрю — опять нет Сережи. Думаю — взят в плен, бегу через платформу, вдруг вижу — стоит мент у касс, тоже ждет электричку, к нему сзади подходит Сергей, отец двоих детей, расстегивает ширинку и начинает отливать на его штаны… Решительно отправляем Сережу в аут, заталкиваем его в вагон… До скорых встреч.

Сережа очень не любит ментов, каждый раз, когда напивается, идет по городу, бьет их, те бьют его, грабят, тащат в отделение, ночью приезжает Сережина жена и выкупает его. Это повторяется регулярно. Сережа однажды чуть не получил нормальный срок, когда, сидя в «обезьяннике», через решетку бахнул следователя, проходившего мимо.

Сергей — очень хороший, потерявшийся в жизни советский человек. Таких теперь немного.

Все началось еще давно. Красный день. Дохуя народу: старики, старухи, безумцы, клоуны, ряженые, психи, дураки, лжецы, воры, весельчаки. Все мы. Утром в красный день на площади у ног Вождя. Готовы идти от него, как алый, пламенный привет, к Учителю, который стоит напротив Большого театра. Я сильно простужен, ночью накачался лекарствами — не помогло. Утром мы с Колей шатались по обезлюдевшему Замоскворечью в поисках аптеки, я был в горячечном бреду, жар, все плывет перед глазами. Заебись, как раз что надо.

Собрались наши потихоньку, ботинки — такие же красные, как и флаги. Рядом — внушительная колонна в черном, выглядят очень сурово и революционно-романтически. В центре стоит белокурая красавица в черном милитари, опершись на древко знамени с черными серпом и молотом, шутит с бойцами и угощает их сигаретами. Да… нам до них далеко.

Наша красная колонна, точнее, не колонна, а толпа — самая последняя в этом параде, здесь панки, люди в кожаных рокерских куртках, безумцы в сталинских шинелях, мы, революция. Все пьяны и готовы к действиям. Вокруг нас, в хвосте левацкого марша — весь сброд, мелкие группки психопатов разных мастей. Казаки в ненастоящих мундирах с самодельными орденами, черносотенцы — щуплые православные студенты, сектанты-богородичники в ярких шизофренических рясах. Часть людей с иконами Богородицы, часть — с иконами Сталина. В общем, пиздец.

Начинается движение, мы идем последними. Первый ряд — с транспарантом, они все держатся друг за друга, идут в плотной сцепке, потому что так пьяны, что могут просто упасть. Впереди — пионеры, тюльпаны, варшавянка, а сзади мы портим партийцам праздник. «Выеби буржуя в рот — Сталин, Берия, Пол Пот!» «Завершим реформы так — Сталин, Берия, ГУЛАГ!» Пионеры, комсомольцы и ветераны охуевают, когда слышат такое у себя за спиной. Еще больше они охуевают, когда посреди дороги им в спины начинают лететь петарды и фаера.

«Перестаньте кидать петарды!» — кричат нам озлобленные пионеры в красных галстучках.

«Начинайте кидать гранаты!» — подхватывает Юра из первого ряда и валится на соседа.

Потом была еще потасовка с комсомольцами, уже у памятника Марксу, когда обезумевший дед заперся в машине с громкоговорителями и пытался вызвать дух вождя народов, скандируя безумные сталинистские лозунги. Мощная аппаратура позволила ему заглушить красных бонз, выступавших с трибуны, и те дали указание комсомольцам извлечь провокатора. Мы ринулись на защиту революции, но наша помощь не понадобилась, пенсионеры сами отбили атаку — старухи стали плотным кольцом вокруг машины, какой-то ветеран залез на крышу автомобиля и разил комсомольцев сверху древком красного знамени, как Георгий Победоносец. Мы все любили такие моменты.

Через семь лет снова был Первомай, то же место, то же время, но теперь у нас самих была машина и аппаратура стояла помощнее… Из колонок хуячит техно, черную колонну окружило двойное кольцо ОМОНа. Сквозь них к нашему грузовику проталкивается испуганный депутат со свитой. «Я не знаю, кто вы все такие, но ради Бога, не надо ничего крушить, нас ведь всех тогда повяжут, и меня с вами заодно. Пожалуйста, не надо терроризма!» Я улыбаюсь, жму его трясущиеся руки и ставлю на проигрывание трек «Let's start a riot!».

Мы познакомились с Федей, когда ему было двадцать три года, а сейчас двадцать три мне. Мы собрались вдесятером, прихватили арматурку и поехали на стрелу в во-

енный городок в Подмосковье. В электричке сразу начали разливать водку, когда доехали — все уже были в угаре. На платформе нас встретил татуированный пацан с тоннелями в ушах и предложил сойтись в русском поле как древние витязи. У нас хватило ума послать Мишу для просмотра поля, которое находилось на режимной территории, за бетонным забором. Через двадцать минут он вернулся и в тревоге сообщил, что это стопроцентная подстава и нас там похоронят — вокруг поля бродят десятки подозрительных людей в ожидании чего-то. О честном бое витязей уже не могло быть и речи, весь поселок кишел людьми, съехавшимися нас бить.

К станции медленно подъехала электричка в сторону Москвы. Я посмотрел на Федю. «Ну бля, мы что, зря сюда приехали? Похуй!» — сказал он, и мы пошли в село искать оппонентов. Искать долго не пришлось, они посыпались изо всех щелей, как тараканы, оформляясь в толпу человек в пятьдесят. Мы встали на автобусном кругу между ларьков, и через секунду орущая лавина обрушилась на наши головы. Сразу в ход пошла арматура, вокруг зазвенели бутылки, меня достаточно сильно отхуячили, тяжелые ботинки отлично прошлись по моей голове и ребрам. Для противника столкновение оказалось тоже болезненным, первые ряды, с разбитыми головами, отступили назад. Я открыл глаза и увидел над собой Федю, он держал в руке железный прут и отгонял мразей. Я и еще несколько лежавших на асфальте, мы встали, все в крови, и построились с арматурой в ряд, приглашая их на продолжение вечеринки. Второй атаки не последовало, они еще попрыгали перед нами, покричали, а потом начали отходить. Все пятьдесят человек, непонятно. Возможно, они несколько охуели от нас и не придумали, что делать дальше.

Хуже всех досталось Сереже — вся голова, лицо, одежда в крови. «Ты как, дотянешь до дома?» — «Нормально. Только жена с ума сойдет, дети еще… Папа приехал…»

Они нас обманули — умники и богачи. Нам, тысячам убогих, бедных и глупых, сказали, что мы многого достойны. Что мы сможем сделать что-то великое или хотя бы что-то хорошее. Тем, кто поглупее, — великое, тем, кто потрусливее, — хотя бы хорошее. Разделили и овладели. Теперь они нас используют в своих целях, великих и осмысленных по-настоящему. Чтобы их таланты развивались, чтобы их сила росла. Умники и богачи.

А все осталось по-старому, не нужно никаких иллюзий. Убогие созданы, чтобы страдать, бедные — чтобы трудиться и выживать. Это просто, как раз-два-три. Больные созданы для болезней, сироты — для детских домов, пенсионеры — для старости, инвалиды — для мучений, нищие — для зависти, дураки — для смеха. Все одно и то же, и очень просто, не надо мне ваших сказок и бредней, вытянутых из ниоткуда. Их все выдумали умники, у них — бизнес-планы и айфоны, таланты и гранты, они посмеиваются над всеми вами, смотря, как вы карабкаетесь и успокаиваете себя. Рая нет и не будет, забудьте эту хуйню.

Давайте представим мир по-новому — ничего нет. Вы — кусок живого мяса на этом скотном дворе, не умный, не талантливый, не богатый, не здоровый. Все эти определяющие параметры ведь заложены в вас от рождения, вы ничего не можете поделать с вашими генами, социальным положением родственников или вашим воспитанием в первые полтора года жизни, когда, собственно, формируется ваша личность. Ваши гены и история отечества уже таят в себе токсический заряд, который отравит вам всю последующую жизнь. Скажите спасибо еще, что не родились с заячьей губой или вовсе без рук и ног (а таких людей навалом, сами знаете). Этого несчастья вы уже избежали, слава Богу. Теперь вашей основной задачей на всю оставшуюся жизнь, на самом деле, должно стать стремление избежать тех крайних ужасов боли и безумия, которые щедрая судьба раскидала повсюду на нашем пути. Именно это, а вовсе не построение лучшего мира, развитие талантов, самовыражение в науке и искусстве, достижение богатства и процветания. У вас нет и никогда не было ни умственных, ни финансовых ресурсов для всего этого, это чушь. Сколько бы ты ни работал, твоим успехом будет только покупка «Жигулей». Творчество? Все, что ты можешь творить, — это для таких же тупиц, как ты. Все, чего действительно надо добиться в жизни, — это не стать бомжом, инвалидом, открытым сумасшедшим, умереть быстро и без мучений. «Смерть безболезну, непостыдну подай нам, Господи».

Но если посмотреть еще глубже, то ситуация становится еще более четкой и откровенной. Вот наша жизнь, ведь мы не можем просто сохранять середину, не болеть, не беднеть, не страдать. Дзен-благополучие у нас — всегда сквозь сжатые зубы. Мы болеем, нищаем, мы стареем, в конце концов, плюс нас окружает негостеприимная природа и куча мудаков. Мы не можем оставаться в стороне от этого, как бы ни старались, рано или поздно нас посадят в тюрьму, у нас будет инсульт, простатит, нас постигнут и иные немощи. Нас будут увольнять, оскорблять, насиловать, бить, предавать, мучить дома, на работе, коллеги, родные, близкие, друзья, враги, животные… Перст судьбы будет беспрерывно давить нас, пока не раздавит совсем и из нас не вылезут кишки.

Если ты нищий и убогий, единственное, что тебе остается делать, — это ставить на кон все, что у тебя есть. Все то, что мы творили все эти годы, — это были большие ставки. Это верная стратегия, мальчики в странах третьего мира всасывают это понимание игры с молоком матери, лично я четко познал его в школе, из книги «Сокрытое в листве». Жизнь — как игра в очко, и у тебя полная рука мусорных карт. В этой ситуации самое правильное — идти ва-банк, ставить все. У тебя всегда остается последняя, не разменная фишка — твоя жизнь, ты ставишь ее снова и снова, и противники пасуют, скидывают карты. Это верный путь выигрывать нормальный куш до поры до времени. Однажды тебя поймают на блефе и убьют. Это случится непременно. Но, вообще говоря, если молиться каждый день, утром и вечером, можно продержаться в игре достаточно долго. Такая стратегия — самая верная партия для неудачников, у меня полно примеров.

Друг подарил мне ветровку, даже не подарил, а одолжил, на один выезд, чтобы я не смотрелся нище, как обычно. Это большая проблема, совершенно ничего не понимаю в одежде, донашиваю старые шмотки родственников, штопаю носки, выбрасываю ботинки только тогда, когда у них отваливается подошва. А тут надо было ехать на ответственный выезд в Минск, и мне приказали выглядеть более-менее. Так вот, мне выдали ветровку «Даффер» синего цвета, с капюшоном, в обтяжку, без карманов. На логотипе — четыре буквы «D», сложенные свастикой.

День Победы. Ясная погода, печет солнце, ровные мостовые, как на дорогом кладбище или в древнем городе мертвых. Везде чисто, каменные громады, бетонное превосходство. Пятьдесят человек идут через весь центр, орут, шумят, смеются. Нервное оживление, эйфория обреченных, как мы любим. Весь город ненавидит нас, стены коммунистической столицы кружат вокруг нас кольцами, по проспектам шествуют счастливые семьи, дети показывают на нас пальцами в страхе. Машины ментов проносятся мимо, они уже бессильны предотвратить то, что произойдет через пару минут. Мы сворачиваем с проспекта в сторону стадиона. Лукашенко не готов к встрече буйных гостей. Спускаемся вниз по улице, впереди уже видны кассы.

Из-за угла, волна за волной, начинает хлестать поток хулиганья, там все, москвичи, люди из Бреста, местные, они хотели раз и навсегда распрощаться с нами. Толпа человек в двести катится бесконечными валами на нас. Сзади я слышу, как Коля орет: «Нам пиздец!» — это сигнал к наступлению. Федя бросается один в самую середину их рядов, мы — сразу за ним. Плотность такая, что нельзя размахнуться, я сцепляюсь с каким-то человеком, через секунду мы уже летим в черную пропасть. На дороге ремонт, везде развороченный асфальт, у фундамента дома вырыты глубокие котлованы. Обе толпы встречаются прямо над ними и первые ряды слоями устремляются в ад. Человек мечется и рвет на мне новенькую ветровку «Даффер», мы не выпускаем друг друга из враждебных объятий, валимся в яму и не можем упасть на дно, будучи сплетены в клубок с еще десятком людей. Мы грызем друг друга, зависнув в яме вниз головой, над нами еще два слоя людей, которых Руслан и другие наши ребята втаптывают еще глубже, под нами, на самом дне бетонного колодца, Виктор, научный сотрудник биоинженерного института, схватил какого-то драчуна железной хваткой и выдавливает ему глаз. Минск сити, 2006.

Теперь «Даффер» снова на мне, я приехал сюда в единственной своей приличной куртке, хотя в ней теперь дыры не только от Минска, но и от Киева, и от Рязани… ребята дразнят меня за нее.

Мне уже давно видится эта картина, она у меня перед глазами, живет своей параллельной жизнью. Это не сон, я впервые представил ее, вполне бодрствуя, она так сразу вошла в мое существование, легко, будто все само собой разумеется, будто я всю жизнь только и представлял ее. Теперь представляю, и правда, постоянно, и даже когда не думаю о ней, она, эта картина, живет параллельно со мной, во времени и вечности, как уже сказано выше.

Итак, это какая-то колоннада, вроде античной, везде арки и мраморные колонны, и, что очень важно, мраморный пол. Это библиотека, или древний храм, или дворец, или мэрия — какое-то монументальное здание, но давно покинутое и заброшенное. Как если бы все люди разом исчезли, заколотили сюда все входы и проклляли его. Теперь все тут в запустении, везде застарелая грязь, по ее контурам вдоль стен и вниз по лестницам видно, где текут ручейки дождевой воды, когда они спускаются по облупившимся сводам с обветшалой крыши. Старое, заброшенное, монументальное здание.

В одной из колоннад лежит на полу труп. Трупный запах плотно стоит повсюду, очень сильный, настоявшийся в закрытом помещении. Так как повсюду камень, тело не сгнило, а высохло, провялилось как-то. Это мужчина, очень худой, без одежды, совершенно голый, лежит на полу, свернувшись, на боку. Вокруг него, опять таки, виден желтоватый контур — это высохла постепенно жидкость, вытекавшая из трупа после смерти. Теперь это уже не тело человека — это пустая оболочка, оставленная здесь, в этом здании, как ненужный, забытый мусор.

Этот человек — я. Это и я лично, и вы, и человек в принципе, как первозданный Адам, человек с большой буквы. Се человек. Вот он лежит, как высохший жук, который не смог вылезти из стакана. Я вижу эту картину так ярко, она живет своей отдельной жизнью, потому что содержит какую-то высшую очевидность. Она поселилась внутри меня уже давно, и к этому нечего добавить.

Мне нравится чувствовать боль, это единственное, что мне остается, как не стыдно признать. С детства жизнь всегда учила меня: возлюби боль.

Когда я был маленький, я думал завести тетрадку, в которой бы отмечал плохие и хорошие дни — те, когда мать била меня сильно, и те, когда не очень. Все годы моего детства я вспоминаю как постоянную боль, она била меня просто бесконечно. Память вытесняет неприятные, болезненные моменты, детство я помню смутно, лишь урывками. Одно из первых воспоминаний — мне года три—четыре, я стою в коридоре, плачу. Мать смотрит мне прямо в глаза и в бешенстве кричит: «Я убью тебя!». Она очень бедная женщина, больная шизофренией или еще чем-то, она тоже постоянно испытывает какие-то нечеловеческие страдания, боль, это толкало ее всякий раз причинять боль тому, что было частью ее самой, — мне. Приступы боли и ненависти захлестывали ее постоянно и непредсказуемо, поэтому я никогда не мог предсказать, в какой момент она атакует. Собственно, следовало ожидать этого всегда, как перманентную боль, которую нельзя предсказать или предотвратить.

Я только недавно научился нейтрально относиться к своей матери. Она бедная, больная, охуевшая сука, по правде говоря. Мне не следует иметь детей, вероятно, я бы обходился с ними точно так же.

Боль — это то, как мы воспринимаем окружающий мир. Звук проходит через чувствительные мембраны и отпечатывается рваной бороздой на поверхности виниловой пластинки. Так и реальность, все ее объекты и мир в целом, через боль, болью оставляют свою борозду на поверхности нашей личности, создают, моделируют ее. Машина беспрерывно нацарапывает все окружающие звуки на гладком пластике, нечто, растворенное в воздухе, становится предметом. Жизнь каждую секунду ранит нас через глаза, уши, ноздри, рот, кожу — из нас течет кровь, мы становимся такими, какие мы есть. Иногда рука мастера срывается и делает слишком глубокий надрез — мы можем умереть или сойти с ума. Со временем шрамов становится слишком много, они перекрывают одни другие по многу раз, и мы перестаем быть чувствительны к ним, теряем тонкость восприятия реальности. Мы больше ничего

не чувствуем, будто бежим через поле, поросшее травой с острыми тонкими листьями, и не понимаем потом, почему все ноги в крови.

Боль делает нас нечувствительными к боли, и мы стоим теперь одни, посреди бескрайнего поля.

У меня есть друг Коля. Мне кажется, он сошел с ума. Когда мы учились в школе, он уже был достаточно активным, и этим сильно меня пугал, его активность была пугающей. Как маленькая черная дыра, он поглощал музыку, новости, впечатления, слухи. Потом он начал поглощать еще и радикально-политические взгляды, алкоголь, одежду, наркотики и старое доброе ультранасилие. Со временем черная дыра все расширялась, в нее вливалось все подряд: случайные знакомые, бессмысленные дамы, оголтелые вписки, беспробудные алко- и наркотрипы, плюс проблемы с законом. Людям казалось, что он продал душу хаосу, стал его могущественным аватаром, гневным и порочным божеством. Мне же виделось, что в простом механизме его души что-то сломалось, как сломалось в той или иной степени у многих из нас. Он все крутил и поворачивал тумблер своей жизни, нагнетал давление все выше и выше, пока он не сломался, пока все не вышло из-под контроля. Теперь Коля все крутил и крутил его, а он только проворачивался вокруг своей оси, перестал что бы то ни было регулировать. Все это потеряло смысл, закружилось само собой. Как-то он чуть не выкинул какую-то девочку из окна ее собственной квартиры, хотя потом спал с ней, много раз бросался на друзей, знакомых, иногда с ножами, мечтал приобрести на руки ствол, все трепетали от этого.

Сейчас Коля сидит в тюрьме, это то, чего он ожидал уже давно, у него новая житуха, новые кореша и даже тюремная кличка есть. Тумблер все еще крутится.

Как-то раз, еще давно, Коля пришел ко мне, посидел и вдруг говорит: «Слушай, а может быть, я — сумасшедший? Может, я просто псих, сошел с ума и мне нужна помощь врача? Нет, действительно, я чувствую, у меня в голове что-то не так, как-то все не сходится, возможно, мне помогут».

Парень кричит в микрофон, на улице похолодало, зима, а он в одной футболке, в сыром грязном подвале, над головой дымится и искрит единственная лампочка, она согревает все помещение, как солнце, ведь солнце светит так же одиноко в захламленной Вселенной. Она светит на наши худые, иссохшие, издерганные тела, трясущиеся на холодном полу, согревает нас всех, ведь нам нужно так мало, мы довольны малым. От этого тепла на нас выступает холодный горячечный пот, липкий и горький.

Парень кричит в микрофон, а мы барахтаемся в грязи и дергаемся при свете единственной лампочки в сыром, холодном подвале.

Иисус Христос Аллин был последним пророком рок-н-ролла. Он родился 29 августа 1956 года в городке Ланкастер, Нью-Гемпшир, США, в трейлере религиозного фанатика, которому во сне явился Спаситель и приказал ему назвать мальчика своим именем. Это был поганый городишко, вместо того чтобы учиться в школе, здесь было принято слушать панк-рок и залезать в чужие дома. Как-то раз Аллин со своим братом отрепетировали пару песен и выступили на школьной вечеринке — она закончилась погромом и вакханалией.

Он пел во многих группах в разное время: «Шлюхи с Кедровой улицы», «Нацисты из Техаса», «Наркоманы-убийцы» — с годами ненависть поглощала его все больше, стихи становились все хуже. «Я убиваю все, что ебу», «Изнасилуй мать свою, убей отца своего», «Убивай ментов», «Анальная пизда», «Уебок», «Съешь это, мразь» — его нетленные хиты. Здоровый, бритый наголо мужик с мудацкими усами, он выходил на сцену голый и погружал зрительский зал в бездну психоза. Он резал себя, бил о голову бутылки, испражнялся и ел свои фекалии, разрушал аппаратуру и истязал себя проводами. Он не забывал и зрителей, пиздил их всем, что попадалось под руку, ссал на них, калечил и оскорблял женщин. Массовая драка в зале на его выступлениях начиналась с первых аккордов. При этом больше всех страдал сам зачинщик, его яростно избивали всей толпой, под конец все его тело становилось как кусок окро-

вавленного мяса. Его увозили на «скорой», если не арестовывали, в зависимости от того, какие травмы он успел нанести зрителям.

«Вы все молокососы, трусливые ублюдки, я вас ненавижу, твари! — обращался он к своим поклонникам и всему роду человеческому в целом. — Вы ничего не можете, нытики! Попробуйте прожить хоть один день так, как я прожил все последние годы: половину времени я провел в больницах, половину — за решеткой, мне нечего стесняться».

Он безбожно ширялся героином, множество раз врачи доставали его с того света, их он, вероятно, ненавидел больше всего. Мир рок-н-ролла боялся Аллина, его никуда не приглашали, когда он приходил на какую-нибудь вечеринку, это значило, что будут неприятности. Пару раз его звали на телевидение, он приходил в нацистском шлеме, полуголый, эти интервью тоже ничем хорошим не заканчивались.

Армия поклонников Аллина все росла. Это были отбросы мира рок-н-ролла: закомплексованные извращенцы, наркоманы, задроты, убогие, подростки с отклонениями. Он вел их прямо в рай деградации, они молились на своего кумира. «Мой разум — это автомат, мои руки — это пули, а вы — мишень!» — кричал он им, перед тем как отмудохать какого-нибудь очередного идиота из первого ряда. Он насиловал девушек прямо на глазах их приятелей и называл это правильным подходом. Под конец он совершенно сошел с ума — обдолбанное, жирное, исполненное вселенской ненависти чудовище из преисподней, в гнилых татуировках, крови и испражнениях.

Наконец какая-то дама, одна из его жертв, подала на него в суд, и Аллина посадили в тюрьму на два года — пока он сидел, его популярность достигла своего апогея, про него даже сняли документальный фильм. Выйдя на свободу, он сразу обширялся и дал концерт, на котором его пиздил весь восторженный зал. Разбили всю аппаратуру, Аллин просто вышел с толпой поклонников на улицу голый и гулял по ночному городу, избивая прохожих. Потом его привели в отель, он еще раз пустил по вене и умер. Фанаты еще целый день фотографировались с его телом, думая, что он просто в отключке…

Похоронили его, как он был, — полуголого, в одних трусах, в кожаной куртке и темных очках, все его тело было изувечено. После смерти из него сделали коммерчески успешный культ, брат Аллина собрал новую группу с таким же названием, нашел нового вокалиста и катается по всему миру с гастролями. Когда они играли в городке, где томится в эмиграции Красный Леха, тот взъебал брата Аллина в настольный футбол и, в наказание, послал в магазин за водкой.

Мы то, что в себя вливаем. Водка, пиво, наркотики, кофе, чай, сахар — все это влияет на наше состояние, на нас самих. Мы и дня не проводим без этих небольших поправок, корректировок курса, того, что делает нас сильнее, бодрее, умнее, веселее. Мы — то, что мы пьем.

Один суффийский аскет сказал, что не стоит забивать голову сложными формулами и мыслями, реальное значение для жизни имеет только то, что ты ешь. «Я всего лишь разборчив в еде».

Мы пьем страх, голод, радость, ненависть, болезни, музыку, секс, плохое воспитание и дурную наследственность. Мы все это глотаем с рождения, и это делает нас такими, какие мы есть.

Посадим белую подопытную мышку в клетку с двумя камерами. В одной к полу подведен ток, в другой — нет, между ними перегородка с дырочкой. Сажаем мышку в часть с электричеством и нажимаем кнопку «старт». Легкий, но болезненный разряд поражает животное снова и снова, мышь в панике находит спасительное отверстие и перебегает в благополучный отсек. Все в порядке.

Теперь то же самое, снова два отсека, снова ток, снова мышь, но на этот раз в перегородке нет никакого отверстия, будто никогда и не было.

Подаем ток — мышь начинает метаться по клетке, она лезет на стены, ищет выход, но его просто нет. Отчаянные попытки вылезти продолжаются несколько

минут, в конце концов зверек падает без сил на пол клетки и затихает. Мощность электрических разрядов очень мала, их совершенно недостаточно, чтобы убить его, однако они болезненны и, главное, постоянны. Не будучи в силах избавиться от них, осознавая своим крошечным мозгом бесполезность приложения усилий, мышь перестает сопротивляться, тихо лежит на полу, подрагивая. В ее организме в это время происходят необратимые изменения, угнетается нервная, гормональная, иммунная система, она потеет, вся трясется, она умирает, но не от электричества, а от истощения и прочих естественных физиологических процессов, своим ускоренным и неконтролируемым ходом раздавивших ее жизнь.

Теперь последний опыт. Есть клетка, перегородка без дверки, электрический пол, но теперь в камере сидит не одна мышь, а две. Подключаем электрод. Сначала оба зверька, как и следовало ожидать, в панике мечутся по клетке, лезут на стены, ищут выход. Потом оба отчаиваются и падают от усталости. А затем они непременно, всегда, начинают драться и грызть друг друга, с каждым разрядом тока стервенея все больше. Через некоторое время все их лапки искусаны, все их беленькие тельца в красных капельках крови, они готовы искусать и исцарапать друг друга до смерти. Но возьмем теперь у них анализ крови, проведем досконально медицинское обследование каждой. Странность в том, что за исключением травм, полученных во время поединка, их физиологическое состояние можно признать удовлетворительным: все показатели в норме, все гормоны на месте, все органы и системы функционируют нормально. И уж точно зверьки не собираются умирать. Мыши указывают нам путь ненависти.

Однажды родившись, отделившись от кровеносной системы матери, мы беспрерывно испытываем страдания, гормоны не дают нам спокойно жить. Страх, голод, холод, похоть, боль — то, что мы чувствуем каждый день. Мы боремся с этим, вливая в себя порции контрагентов, мы пьем алкоголь, занимаемся сексом, спим, ходим в спортзал, едим, принимаем наркотики, молимся в церкви, рожаем детей. Ну и конечно, мы боремся с чем-то или за что-то, это самый комплексный подход.

Жизнь человека — борьба стрессовых гормонов, гормонов боли, адреналина, с эндогенными опиатами, эндорфинами, естественными гормонами анальгезии и удовлетворения, вырабатываемыми нашим мозгом. Наркотики против наркотиков, вот и все.

Когда ты начинаешь учить иностранный язык в средней школе, твои первые слова — «мама», «папа», «дом», всякое такое. Когда ты узнаешь новые слова в чужой стране, после того, как съебался — все совсем по-другому. «Мент», «мудак», «шлюха», «ублюдок» — то, что ты слышишь каждый день.

«Теперь мы крикнем то, что всем давно знакомо: мусора — убийцы, мусора — ублюдки». Черная толпа в несколько тысяч человек ползет гигантской змеей через южный туристический город, рушит банки, магазины, поджигает машины, плюется камнями и бутылками с зажигательной смесью, жрет, жрет, жрет. Ментов здесь очень мало, несколько отрядов по десять человек, они жмутся по стенам, прикрываясь щитами, в них летит все, что попадается в тысячи рук. «Ты закрываешь лицо шлемом, свинья! Тебе ведь стыдно, ублюдок!» — кричат им отовсюду.

Я жду своего момента. На лице повязана футболка, в руке — массивный кусок древесины, ножка большого кресла из разгромленного ресторана. Я жду, мне нужен мент, всего лишь один. Я жду, когда толпа наконец ринется на этих убогих и просто растерзает их. Это будет победа всего святого, я вспомню все.

Ничего не происходит. Это как огромная игра в снежки: с одной стороны камни и коктейли Молотова, с другой — ракеты и гранаты со слезоточивым газом. Они травят нас им, как тараканов, выжимают, выдавливают из центра города, заливая белым облаком все вокруг. Демонстранты прыскают в глаза раствором Маалокса — лица и одежда все как в мелу от белого порошка. Отступая, толпа рушит все вокруг, сооружая баррикады из мусора, стройматериалов, кусков автобусных остановок, все это горит. Огненные стены перегораживают курортные улочки, мусорный дым смешивается со слезоточивым газом и поднимается к небу. Ни сейчас, ни завтра ни один мент серьезно не пострадает. Я испытываю разочарование от игры.

Мы все ненавидим ментов, каждый истинно советский человек. Ненависть. Мне все равно, личные качества человека не имеют никакого значения и никогда не имели. Ты — то, во что ты одет, я знаю это точно, и пора всем к этому привыкнуть. Ты одет в форму — ты — мент, мне безразлично, какой ты друг, товарищ и брат. «Бесплатный проезд в общественном транспорте, оплачиваемый отпуск, бесплатное платье» — написано в листовке, которую получают все пацаны в Москве, которым исполнилось восемнадцать лет. Фу, блять, платье, потом я действительно увидел пару ребят из своей школы, из классов младше меня, в таких платьях, уже разжиревших, с очень хуевыми лицами. Ненависть, гадость, мрак. Представьте, например, вот вы заходите на сайт «одноклассники.ру», к примеру. Это есть такая штука в Интернете, можно найти фотографии и данные всех твоих одноклассников, жирных, с женами уже. И вот, смотришь — этот родил дитя, другой купил «Жигули», а третий вдруг раз — и смотришь фотокарточку, а он — в форме! Вот шутка природы, получеловек, полунежить какая-то, из-под век — свинцовое ничто, как две пули ПМ. Мы все продаем кому-то душу, но тут как-то все слишком гадко...

Темная клетка, вонючие деревянные скамейки в облезлой старой краске. Они все изъедены, изодраны надписями, зарубками, просто следами от ногтей, нервно впивавшихся в эти доски на протяжении многих лет. Я на удивление спокоен, даже не ожидал, что спокойствие и безразличие во мне уже настолько прогрессировали. Теперь все серьезно, думаю, штрафом не отделаться. Люминесцентный свет, каменный пол, скука — по ту сторону, по эту — темнота, тишина и ожидание.

Со мной в клетке в основном нелегалы, их приводят, уводят. Они привычно жуют насвай, шлют SMS с запрятанных телефонов, переговариваются тихо. Рядом со мной сидит пожилой человечек, сухой, аккуратный, поникший старик.

«Мать всегда его баловала, это она виновата. Вырастили такого амбала на свою голову. И пьет, и орет, и дерется, бьет нас все время. А мы все терпим, мать в нем души не чает. Вот опять пришел, пьяный, все разгромил, стал вымогать деньги, я говорю — нет, не дали еще пенсию. Ну он — бить меня. А я все, как обычно, сношу, терплю, что он меня колотит, и вдруг, в одну секунду, так мерзко, противно стало... я его в ответ двинул легонько. Он пьяный, упал на диван, смотрю в его глаза и вижу — убьет. Со страху схватил что под руку попалось — молоток — и начал его бить, чтобы он вырубился. Знаю, если встанет — не жить мне...

Ну жив он, в больнице, в сознании уже. А милицию старуха вызвала, сказала потом, что, мол, не было никаких побоев, ни у нее, ни у меня, а будто я сам, по умыслу, хотел его убить. А у самой все лицо разбито. Ненавидит меня, что сына тронул, говорит, хочет, чтобы я в тюрьме сгнил. И сын торопит, говорит, теперь у вас один выход — квартиру на меня переоформлять. Все меня теперь ненавидят. Ну мне все равно уж, чего там».

Меня уводят на очередной, третий допрос. В коридоре ждет очереди старая проститутка, в одном халатике, ее мужик отпиздил и выкинул на двадцатиградусный мороз. Я отдаю ей свою куртку не задумываясь.

«Я никак все не пойму, против чего вы все, — выпускник юрфака, допрашивающий меня в отделении, крутит между пальцами дорогой телефон, — все эти бритые, панки какие-то… Делать нечего?»

«Пожалуй, что и так, — зеваю от усталости. — Все по-разному отдыхают. Кто-то в подъезде, кто-то в игровых автоматах. А кто-то одевается нормально, идет на концерт или едет на выезд в другой город, тусуется с веселыми подругами, интересуется чем-то, в группах на гитаре играет. Так делают умные ребята, это дешево и красиво. Мы всего лишь пытаемся при ограниченных средствах жить по-королевски, как говорится. Но в этом городе, в Москве, все всегда залито какими-то отбросами, постоянно приходится расчищать себе место под солнцем от грязи. Толпы придурков мешают москвичам жить и отдыхать нормально».

«Это ты называешь «красиво жить»? Вот мне двадцать лет, я работаю в милиции, тебе двадцать четыре, ты безработный, хотя и университет окончил. Эти бо-

тинки я покупал в Охотном Ряду, они стоят дороже, чем вся твоя одежда. Выходит, я лучше тебя живу, я умнее?»

«Наверное. Ты же работаешь в милиции».

«Пизди всех!» — орет в алкобезумии Коля, и несколько спортсменов начинают планомерно выносить всех находящихся на танцполе. За час до этого мы уже отхуячили всех тех, кто стоял у клуба в ожидании нашего приезда, потом всех их друзей, московских гостей, всех мудаков, кто попался на глаза. Тотальная зачистка, десятки жертв. В результате теперь весь город жаждет нашей крови, все ждут окончания концерта. Мне разбили голову, волосы и куртка в крови, я заинтригован. Снова здорово, «Обожаю Рязань на выезде», — говорит Федя.

Шоу подходит к концу, клуб закрывается, сотни местных подростков стараются как можно скорее ретироваться по домам, у дверей давка. Мы собираем за ними пустые бутылки, разбираем вешалки на железные прутья, сгруппированно выходим на площадь перед клубом. Ночь, начало зимы.

Из парка напротив ровными колоннами, построившись в прямоугольник, выходит толпа людей и организованно движется к нам. Их около пятидесяти, нас двадцать три. Мы встаем на лестницу у кинотеатра на возвышении. Две ментовские машины, стоявшие между нами, почтительно отъезжают в стороны, чтобы дать свершиться драме.

Толпа доходит до лестницы и останавливается в пяти метрах от нас. «Идите сюда, мрази!» — кричим мы им, «Зиг хайль!» — кричат они в ответ. Рома хватает мусорную урну, полную отходов, и с высоты метает ее прямо в середину их первого ряда, мы спускаемся за ней следом. Я кричу «Алилуйя!» и получаю несколько раз бутылкой по голове. Федю опять оттащили в самое пекло, мы идем отбивать его. Менты издали включают сирену, противник медленно отступает, мы за ним. Кидаем в них мусор и камни, они исчезают во дворах.

Возвращаемся к своим раненым, одному парню серьезно располосовали ножом череп, плюс сотрясение, он лежит в луже крови с пеной у рта. Менты без интереса стоят над ним. Кричу им, чтобы вызвали «скорую», вместо этого они вызывают еще четыре машины ментов и автобус ОМОНа. Мы начинаем орать на них, те отбиваются резиновыми дубинками, пытаются арестовать зачинщиков, в результате сержант получает с ноги по ебалу. Мы окружаем машины, ситуация выходит из-под контроля, дегенерат в истерике тычет в нас «калашниковым» и визжит: «Всех перестреляю, мрази, на колени!». Начинается потасовка с ментами, ее прекращает подоспевший ОМОН, нас кладут на асфальт, руки за голову, нескольких арестовывают. С остальными делать нечего, через полчаса нам приказано убираться из города в сторону леса. Приехала «скорая», наконец-то кладем в нее паренька, я договариваюсь с одним из ментов, пока суть да дело, он оставляет машину с задержанными открытой, мы все медленно расходимся из центра.

Потом всю ночь шли по лесам, путям, до станции за городом. У Ромы проткнута шилом насквозь рука, мне снова разбили голову, все в крови, грязи, охуевшие. Пришли на станцию, там только бетонная платформа и лес вокруг, разожгли костер из каких-то обломков шпал, разлеглись вокруг на кусках картона и мусоре. Пацаны пьют водку из горла, повсюду едкий дым. В три сорок приходит электричка, загружаемся на пустые скамейки вповалку. Перед тем, как заснуть, я встречаюсь взглядом с пареньком, сидящим на соседней лавке. Он модно одет, аккуратно коротко подстрижен, у него на куртке маленький значок с древнегреческим шлемом. Он смотрит на нас, узнает лица из Интернета и думает: «Да это Они! Что за хуйня?? Я столько читал о них, столько слышал, я представлял их совсем другими. Что это такое? Какая-то свора бомжей, какие-то обезьяны просто. Им реально место в зоопарке, как говорится!»

Мы все рождены для войны, для того, чтобы идти в ровных шеренгах на бойню. Прямо на пулеметное гнездо, прямо на минное поле. Всегда в человеческом обществе шел естественный процесс отсева ненужной части мужских особей. Они от рождения не приспособлены к продуктивной общественной жизни, они стали бы плохими мужьями, отцами, работниками, хозяевами. Это опосредовано генетически, у

этих людей изначально есть предрасположенность к деструкции. Грамотные механизмы внутренней регуляции общества вычисляют этих людей еще на ранних этапах, поощряют, в подростковый период, их единственный достойный навык — причинять и терпеть боль, а затем, когда посчитают их готовыми, отправляют туда, куда им и дорога, — на общественно полезную бойню. Обычно это война.

В течение всей человеческой истории общество время от времени устраивало себе кровопускания, чтобы удалить из своего организма лишнюю мужскую кровь. Это очень мудрый механизм — ведь все остаются довольны. Одни умирают с улыбкой на устах, с чувством выполненной жизненной миссии, другие остаются жить и продолжать человеческий род в обновленных условиях. Когда этого не происходит, когда общество, в силу разных причин, отказывается от войн, доселе мирные и благополучные земли наполняются ордами преступников, головорезов, маньяков, авантюристов, святых — это начинает бродить и отравлять все вокруг невыпущенная мужская кровь. Внутренние механизмы общества начинают работать вновь и находят компромиссное решение — теперь война переносится внутрь страны, части ненужных мужчин присваивается наименование «полиция», остальным — «преступность». Это помогает немного решить проблему, кровь начинает снова течь тонкой струйкой. Но на самом деле ни ту, ни другую сторону это не устраивает, то, чего они в действительности хотят, — так это настоящей войны, где умирает более тридцати процентов принимающих в ней участие, а, возможно, и все сто процентов.

Я часто представляю себе свою смерть в ходе военных действий в тех местах, где нахожусь. Перестрелка в городе, по нам работает дальняя артиллерия, мы бежим через разбитые улицы и прячемся в горящих руинах домов. Вокруг себя я вижу такие же бессмысленные, решительно-обреченные лица, как и мое собственное, нас убивают шальные пули и осколки снарядов по мере продвижения вперед. Наш отряд выдвигается из переулка и прямо перед нами встает укрепленная точка противника. Длинная, непрекращающаяся очередь кладет нас всех, в меня попадает несколько пуль, задето легкое и еще что-то внутри. Я падаю, из меня обильно течет кровь, через несколько десятков секунд я теряю сознание и умираю.

Мы все — поганое постсоветское поколение, у нас ничего нет, никаких целей и принципов, но в наследство от столетия коммунизма нам осталась тоска. Советский человек не должен был хотеть ничего, личная жизнь, радости быта, общественные удовольствия и развлечения — все то, что мотивирует жизнь западного потребителя, — все это вызывало насмешку и презрение. Советский человек-гигант жил для того, чтобы пожертвовать своей честной, простой жизнью — на стройке, в ГУЛАГе, на амбразуре, в шахте, в многодетной семье, в поганой пятиэтажке. Жизнь — подвиг, жертва. Не нужен Иисус, когда здесь все иисусы.

Прошло время, и теперь у нас осталась только бездна презрения и цинизма, «прагматичный нигилизм», усталое стяжательство. Но тоска по подвигу осталась где-то глубоко во мне и в прочих людях, кто еще не сделал в квартире евроремонт. Мы должны были страдать и умереть во имя чего-то, а теперь, когда все это безразлично и глупо, нас просто тянут к себе страдания и смерть. Если не знаешь, за что страдать, — можно хотя бы страдать впрок. Это не православие, не Достоевский, это рассказы Шукшина и песни Высоцкого.

Тоска у нас в крови, мы чуем только боль, и она тянет нас в могилу.

«Слушай внимательно. Сейчас мы уходим, мне пора. Я вот что думаю, ты меня слышишь? Я думаю, ты вот так вот будешь жить, жить всяко, но недолго, лет до двадцати семи. Да, не думаю, что ты будешь жить дольше. Мучиться, мучиться, но только до двадцати семи лет, не больше».

Она огорченно смотрит на мое распухшее, размякшее лицо. Вокруг ревут усилители, носятся люди. Я лежу полуголый, совершенно невменяемый у какого-то костра, весь в грязи, пепле, траве, водке. Старые яблоневые деревья в заброшенном саду опечаленно склонились надо мной, они обхватывают меня толстыми ветвями и укрывают от собственного стыда и бессилия.

Нам всегда говорят отовсюду — будь собой, не стесняйся, будь собой. А что, если для многих людей быть собой — значит быть негодяем или шизофреником? Что если в твоей натуре — быть больным, несчастным, дураком, трусом? Тогда ты готов «быть собой»?

К этому выбору, в таком случае, надо относиться с большим уважением.

«Ты еще за все ответишь!» — кричит мне розовощекий мальчуган с ножом в руке.

«Маловероятно», — отвечаю я и выхожу из автобуса. Он сильно продырявил мне запястье, хлещет кровь, я ловлю такси и еду к Саше.

У него в комнате нет кровати — он спит на матрасе, который днем сворачивает, все пространство занимают токарные станки, фрезы, электрорубанки, везде навалены доски, недоделанные заготовки, медикаменты, над всем этим висит большая боксерская груша. Саша готовится к войне, он тренируется каждый день, работает на «скорой помощи» сутки через трое, ходит в храм по выходным, делает мебель и читает экстремистскую литературу с мобильника. Он готов к вторжению, к тотальному коллапсу третьего мира, новой войне севера и юга, к Армагеддону. Он даже умеет строить срубы из стволов деревьев на болотах. Теперь Саша в ванной на газете штопает мне руку.

«Не лезь никуда сегодня, рана может снова начать кровить. В прошлый раз ты расхуячил мой гипс через два дня».

«Затягивай потуже, все в порядке. Сегодня вечером надо будет прищучить еще пару мудаков».

«Вы все бакланы, это не почетная масть. Люди воруют и убивают, чтобы есть, а вы садитесь не пойми зачем. Так нельзя. Так черные нас всех перебьют».

«Никаких черных не надо, в этом городе большинство — беспомощные нытики и завистливые онанисты, они перережут тебе горло, пока ты спишь. А мы как раз, мы все, наоборот, начеку. Мы живем, понимаешь, и живем хорошо. За три года мы многого достигли, — нас было десять человек, — теперь нас около сотни, и будет еще больше. Ребята, которые не имели в жизни никаких шансов, поднялись, почувствовали себя нормальными, ценными, сильными людьми. Не трусами, не предателями, не теми, кто ищет, где теплее, не всеми этими городскими идиотами, которые не знают, что происходит у них во дворе. Конечно, оно того стоило. Ну и повеселились, конечно, на славу».

«Про что эта песня?» — спрашивает Саша у таджика, нарезающего капусту в круглосуточной шаурме. «Про маму». — «Так предыдущая, ты говорил, тоже была про маму?» — «И эта про маму». — «Вот видишь, — Саша поворачивается ко мне, — они победят».

Мы стоим за красными металлическими столами, в неуклюжих ватниках и сапогах, облокотившись о стену, мы заебались. С шести вечера до девяти утра мы видим одно и то же — пустые переходы, грязь, фекалии, полусгнивших людей, невменяемых мудаков, замерзшие трупы, собак, ментов, снег. Это все так примелькалось в глазах, вошло в нас, мы почти забыли о том, кто мы такие и что здесь делаем, только грязь и холод. С нами Ира — медсестра-рокерша с добрыми, усталыми глазами и Серега — боксер-тяжеловес. Он испытывает постоянный голод, безработный и злой. Три года назад он продал свою квартиру и ушел в монастырь в лесах. Там он валил вековые деревья и отращивал черную бороду в течение двух лет, а затем осознал, что все, чего он действительно хочет, — это жить нормально в квартире, с бабой, смотреть бокс по телевизору и прочее. Он изошел из лесов, приехал обратно в Москву и оказался без жилья, работы и денег. «Искушение», — говорит он.

Вообще, на «скорой помощи» искушений много, здесь я перестал ценить человеческую жизнь, потерял последние остатки сочувствия. Мы беспрерывно били бомжей, они лезли на нас в безумии, они не чувствовали боли, их можно было бить бесконечно. Еще бы они чувствовали, если половина их тел покрыта гангреной и трофическими

язвами. Ты голодаешь, от голода на твое тело приходят трофические язвы, ты греешься на теплотрассах, получаешь ожоги на всю спину, ты спишь на улице зимой — наутро часть твоих пальцев уже отмерла. Все это гниет и неизбежно ведет к гангренам, потом такие, как мы, начинают тебя нарезать, как колбасу, все выше и выше, пока от твоих ног не останется ничего. Чтобы не чувствовать боли, ты пьешь средство для ванн «Русский Север», от него часть клеток коры головного мозга умирает и ты сходишь с ума. Побочные эффекты. Срешь в штаны и думаешь, что все в порядке.

Люди часто умирали у нас на руках. Они лежали в пустых холодных переходах, а мы стояли над ними. Иногда Ирка молилась, читала двадцать второй псалом. Однажды мы пришли к такому телу, а собаки уже отъели ему лицо. В другой раз мы нашли мужика в голубятне, он лежал там с осени. Парализованный, он испражнялся под себя последние три месяца, все это смерзлось с его телом в один комок с наступлением морозов. Так он пролежал до марта, живой. Вокруг него суетилась и стонала безумная женщина, она кормила его с ложечки все это время, гладила, целовала синие татуировки, которыми было покрыто все его тело. Она ничего не понимала и почти не говорила уже на человеческом языке. «Скорую» вызвал мужик из соседнего дома, его собака почуяла запах гнилого мяса.

Мы никак не могли отодрать того парня от земли, он примерз намертво. Потом мы придумали — вскипятили воду в чайнике и начали поливать его крутым кипятком. Голубятня наполнилась паром и запахом, который не забыть. Мужик начал немного постанывать. «Володя, Володенька, тебе не больно?» — лепетала его заботливая подруга. Ему не было больно, он уже ничего не соображал, а тело наполовину отмерло. Или было, не знаю. Я лил кипяток на него, и тут мне позвонили, другой рукой я нажал на кнопку — отлично, опять резня в центре города, пострадавшие, задержанные. Нет, я не могу сейчас приехать в ОВД, я на работе. Завтра поговорим, пока.

Володю доставили в «ленинскую комнату» одной из больниц Москвы. Это такая комната без мебели, один бетонный пол, которая находится рядом с приемкой в любой из горбольниц. Туда стаскивают всех бомжей и закрывают ее на ключ. Там он, вероятно, и умер.

Наш начальник, православный энтузиаст Илюша, строго следил за моральным состоянием сотрудников, увольнял мужиков за пьянство, мат, агрессивное поведение. Его заместительница, Маргарита Михайловна, худая высокая женщина с бледными тонкими губами, покрывала наши проделки перед ним и выдавала нам лишние пайки, поила чаем. Через год я узнал, что ее похоронили, у нее уже давно был рак. Илюше Патриарх всея Руси выдал орден за дела милосердия.

«Знаешь, Саш, я что-то очень сильно устал. Все это кажется бесполезным, мы делаем работу, не нужную никому, мы никому не нужны, на самом деле, нас все считают тунеядцами, бездельниками. Я действительно очень устал за эти месяцы, вот-вот потеплеет, я хочу нормально отдохнуть».

«Знаешь, не советую. У меня было много друзей сложной судьбы, которые тоже однажды решили начать отдыхать. Обычно их отдых продолжается не очень долго, достаточно скоро он заканчивается в тюрьме, в наркологичке, в могиле. Не надо отдыхать, знаешь, таким, как мы, нельзя начинать отдыхать».

Аня рассказала историю из детства, она очень хорошо ее запомнила, кадр за кадром. Как-то раз они сидели дома, и за окном что-то пронеслось сверху вниз. Они выбежали на балкон посмотреть и увидели на асфальте тело маленького мальчика с восьмого этажа, все в крови. Он был еще жив, но очень скоро испустил дух. Наверное, играл на балконе, поскользнулся и выпал как-то.

Приехала «скорая», заезжает во двор, но с другой стороны, не там, где лежало тело. Смотрят — на общем балконе восьмого этажа стоит баба в халатике и курит.

«Эй, алло! Мы тут что-то заблудились, это какая улица?»

«Такая-то. Где вас только находят таких, если вы в своем районе путаетесь!»

«Да мы тут дом ищем, никак найти не можем, как-то криво все корпуса построены».

«Это у тебя в штанах криво построено, а наши дома тут уже двпдцать лет стоят, никто не жалуется».

«Ну вот нам нужен дом номер такой-то и корпус этакий».

«Так это он и есть, дурень, чего приехал-то?»

«Да вот, тут сигнал поступил, соседи позвонили… у вас ведь восьмой этаж?»

«Ну да, а чего стряслось-то?»

«Да я у вас должен спросить, вы ж там стоите, ваши соседи нам уже обзвонились».

«А в чем дело?»

«На вашем этаже из среднего балкона только что ребенок выпал».

Это оказалась его мать, не хотела курить при ребенке.

Человек — муравейник. Хитрое нагромождение клеток, этакая колония, как коралловый риф, например. Они живут в симбиозе и выполняют различные функции на общее благо, процветание и размножение колонии. Муравейник растет, расширяется, делится, вымирает.

Дали по нему ногой, разворошили — муравейнику больно. Растоптали муравьев, запалили на нем костер — муравейник плачет.

Слепой Вилли Джонсон — один из великих блюзменов начала XX века, его голос, хриплый и спокойно-фанатичный, наполняет мою жизнь смыслом, когда я его слышу.

Джонсон родился в нищей негритянской семье, как и все легенды блюза. В одиннадцать лет мачеха в приступе бреда жестокости плеснула ему кипятком в глаза — Вилли ослеп. Все его родственники трудились день и ночь на угледобывающей шахте, а он теперь оказался совершенно бесполезен, его выкинули на улицу побираться. Многие дни и годы он просидел на перекрестке дорог в своем городе, в куче мусора, перебирая на ощупь струны сломанной гитары. Он играл слайдом, для этого он прижимал струны перочинным ножом, и они издавали ломкие, надрывно-тягучие звуки. Он пел собственные песни, все они были о Боге, очень простые, как детские считалочки, где одна и та же фраза повторяется по многу раз. И эти фразы западают в сердце навсегда, один раз услышав их, ты напеваешь их беспрерывно, они уже внутри тебя. В них все страдание, простота, нищета, величие, пафос, заложенный в христианстве, в идее Бога вообще, простые слова обо всей нашей жизни.

Когда Вилли было около тридцати, его случайно заметил какой-то воротила звукозаписи, вытащил его из помойки и заставил записать пластинку, а также сфотографироваться в костюме. Эта фотография осталась единственным изображением слепого Вилли. Пластинка пользовалась успехом, и через некоторое время продюсер сделал Вилли царский подарок — купил ему дом. Впервые в своей жизни Вилли обрел постоянное место жительства, представляю, как он был счастлив.

А потом случилась большая гроза, и молния угодила прямо в его домик, тот загорелся. Слепой Вилли ничего не мог поделать, он метался, как-то выбрался на улицу, начал звать на помощь. Но вокруг жили белые люди, они не считали своего нового соседа за человека, никто так и не вышел и не помог ему. Дом сгорел дотла, Вилли остался лежать на пепелище под проливным дождем, заболел плевритом и через несколько дней умер.

Я часто слушаю его песни в своем плеере. Недавно, находясь в компании дамы, поймал себя на мысли, что все время напеваю про себя какую-то мелодию. Это оказалась «Can't nobody hide from God» слепого Вилли, к моему изумлению.

Одна молодая одинокая мать, усталая женщина из убогого городка, как-то сказала мне: «Все советские мужики — говно. Они ничего не могут, пока не напьются, а когда напьются — ничего не могут». Она беспрерывно крутила колесо швейной машинки и грустно смотрела мне прямо в глаза.

Советский человек — мой друг. Я узнаю его глаза. Он не лжет, только крутит обреченно желваками на скулах. В своей тесной квартирке он молча стареет и отращивает усы, в будни он пьет крепкий чай, в выходные — водку. Когда я прихожу к

кому-нибудь в гости, я сразу смотрю на обои — если они старые, в цветочек, с подтеками, пузырями, фотообои, дурацкие календари — я в доме, где меня поймут. Здесь живут честно, никому не верят, многих презирают, бесконечно пьют чаи и ждут, когда же это все кончится. Добро пожаловать в мир пропащих, некрасивых, замкнутых, недальновидных. Здесь мой дом, мне не нужно другого.

Федя рассказывал про один из первых своих выездов за «Спартак». Ему было лет шестнадцать, они с ребятами с района погнали на электричках в Ярославль. Тогда фанаты еще выглядели не как голубые, а как надо: куртки «пилот», тяжелые ботинки «спецназ», шарфы. Вроде Федя тогда еще не брился наголо, и еще у него были подростковые усы, я видел на фотографиях. Все перепились, в результате в городе Александрове сотни оголтелых малолеток вышли на улицы и начали все громить на своем пути. Сразу приехали автобусы с ОМОНом, армия, начали всех хуячить, часть людей повязали, уложили на асфальт человек двести, руки за голову. Остальные с боями стали отходить к станции, но электрички перекрыли, и было решено захватить здание вокзала. Расхуячили первый этаж, все разнесли, забаррикадировались на втором, в зале ожидания. Там были железные скамейки и столы, они сразу пошли в ход, полетели из разбитых окон на головы подступающим мусорам. Когда скамейки кончились, ребята огляделись вокруг и поняли, что, кроме всего прочего, в зале ожидания располагается кафе. Толпа подростков рванула в бар, разбили витрины, хватали что попадется в руки и пили из горла, начался хаос. И тогда Федя перепрыгивает через барную стойку и кричит обмершей от страха продавщице: «Кассу давай!».

Блядь, это самый охуенный заряд, который мог крикнуть ебнувшийся подросток продавщице, будучи забаррикадирован на втором этаже провинциального вокзала. Через секунду солдаты выносят заграждения из мусора и, прикрываясь подобранными внизу скамейками и столами, врываются в зал и отправляют всех в ад.

Сравниться с этим зарядом по крутости могут немногие фразы. Вот, пожалуй, еще неплохо, один знакомый рассказывал, как он, примерно в то же время, что и дебош в Александрове, и примерно с теми же людьми, поехал на выезд в Чехию. В Праге они опять перепились и устроили примерно то же самое, ну и реакция чешского спецназа тоже была обычной. Так вот, он вспоминает, как его грузят в переполненный полицейский грузовик с решетками, а на земле рядом лежит очень пьяный бритый парень в наручниках и кричит во всю глотку: «Я русский солдат!». Вот это настоящая победа, наши танки снова в Праге!

Позавчера, во время очередной демонстрации и погромов, я вспомнил этот эпизод, и устрашающий клич Русского Солдата обрушился на головы импортных копов вместе с градом кирпичей и осколков.

У меня внутри пружина. Она скручивается каждый день, теперь она полностью сжата, собрана, готова к действиям. Теперь, пока она будет медленно раскручиваться, меня будет питать ее энергия изнутри. Она сделает меня сильным, ловким, умелым, даст силу решительности, все станет четко на свои места. Я люблю это состояние, люблю, когда она свернута, я знаю, что теперь она не подведет, я не подведу, буду таким, как надо. Каждое движение, слово, поступок будут простыми и четкими. Если она выстрелит, развернется, я буду готов ко всему.

На Афоне есть самый строгий монастырь, он называется «Эсфигмену» — «сжатый». Так же переводится и слово «йога» — «сжатый», «натянутый» на санскрите. Многие переводят все это в смысле «собранный», «строгий». Но мы-то с вами понимаем, что речь идет, конечно, о пружине.

Я смотрю в окно электрички на приближающийся перрон, на нем выстроилась просто какая-то ебическая армия! ОМОН, солдаты, овчарки, пиздец, вся платформа перегорожена. Поезд останавливается, всех принимают, остальных пассажиров пропускают через два кордона, дважды проверяют документы. Я прохожу через строй солдат, меня не замечают, покидаю территорию вокзала. Мы везли сюда армию на бой — и вот теперь я один. Снова Нижний Новгород.

В этот раз мы собирались сгруппировать здесь больше ста человек, из Москвы приехали машины, доверху груженные арматурой и прочим. Оппоненты тоже не отставали, собирали за месяц всю область, но им должен был настать пиздец. Теперь они сами, наверное, прячутся по всему городу от ментов, в городе введен специальный план. Неудача.

Первый раз я ехал сюда: завтраки на помойке, ночевка в монастыре, бритоголовые паломники, огромная надпись на главной площади — «Господи, спаси Россию от Жида!». Второй раз — в электричке местные селяне попытались отжать мобильник у нашего гитариста. В следующую секунду колхозник в ужасе смотрит на кисть своей руки, половина которой беспомощно болтается, отрезанная макетным ножом. Его и прочих долго пиздят в тамбуре, выкидывают на каком-то полустанке. Привет из Москвы, двери закрываются.

В третий раз, по пути в Нижний — ночевка на станции Петушки, штурм здания вокзала местными. Мы забаррикадировались там на всю ночь, спали по очереди вповалку на полу, ребята утеплялись, запихивая себе в куртки «пилот» бродячих котов.

В четвертый раз — драка, принималово на вокзале, пробежка по ночному городу, ночевка в круглосуточном гаштете, престарелая проститутка выдавливает прыщи таксисту.

Наш агент в Нижнем — Костя, он принимал участие во всех наших проделках, когда мы отправлялись на восток. Он кричит в одной рок-группе, у них не было ни одного концерта, обошедшегося без драки и беспорядков. Это хорошая статистика для российской сцены.

Он говорит: «Мне надоело, это скучно. Столько лет — и все одно и то же. Я думаю подать документы в контрактные войска, поеду на Кавказ, валить черных. У меня будет автомат, мою жопу будут прикрывать танки и авиация. Я знаю, что мне действительно нужно».

Недавно мы шли по улице куда-то, у кафе стояла какая-то молодежь, мы прошли мимо и услышали, что они что-то кричат нам вслед. Мы развернулись и начали их избивать. Из-за колонны на меня выскочил высокий сухощавый подросток и нанес мне несколько ударов в лицо, рассек мне бровь. Я этого практически не заметил, не уклонялся, продолжал идти на него, тот убежал в кафе со своими друзьями и заперся в нем. Мне наложили два шва в травмпункте, а я немного задумался. То, что приносило почти единственную радость последние годы, в тот день не вызвало никаких, совершенно никаких эмоций, просто очередная драка не пойми с кем. Я чувствую тоску. Кажется, я потерял нить, теперь ко мне можно подойти и начать меня резать, а я буду думать о своем. Первый звоночек.

Второй прозвенел через пару месяцев над моей головой, когда мне раскроили затылок ножом в электричке, и истыкали все тело. Все, что я помню из эмоций в те секунды, — желание пиздануть хоть одного из мудаков посильнее и тоска. Возможно, в следующий раз, когда такое произойдет, я просто встану на колени и восславлю Иисуса. Думаю, мне стоит избегать теперь случайных драк, в них меня могут случайно убить просто потому, что я однажды заскучаю или задумаюсь о чем-нибудь.

Буквально перед отъездом гостил денек в Нижнем Новгороде и спустил с лестницы в троллейбусе какого-то блатного мужика, надавал ему по ебалу и не заметил, как он чем-то порезал мне горло, на шее растянулась длинная неглубокая рана. Еще швы. В тот момент я чувствовал себя нормально, но, конечно, тосковал немного. Теперь у меня семь колото-резаных ран. Еще семнадцать до двадцати четырех.

Отчаянные домохозяйки кончают с жизнью, выпивая средство для прочистки засоров, а в средневековой Японии самураи резали себе животы. Это была почетная смерть, ее удостаивались за прошлые заслуги. Почему именно так, болезненно и мучительно?

У Ремарка есть фраза, что храбрость имеет место только тогда, когда у тебя есть возможность защищаться. Когда твои руки судорожно сжимают оружие. В исландской саге викинг просит дать ему возможность лишь дотронуться до своего копья перед

смертью — так он сможет причислиться к павшим в бою, попасть в Вальхаллу. Ты не бежишь от жизни, не бежишь от зла — ты готов встретить смерть с оружием в руках. Самоубийцы обрекают себя на механическую смерть, как на скотобойне. Их убивает яд, который уже проглочен, асфальт, когда летишь к нему с верхних этажей, петля, которую никак нельзя растянуть. Это переносит всю ответственность на гравитацию, действие токсинов или иные универсальные законы, ты — их жертва.

Но когда ты перекусываешь себе язык или снова и снова вонзаешь себе нож в живот, крутишь и вертишь им внутри, перемалывая собственные внутренности — ты ни на кого не перекладываешь ответственность, с каждым ударом, с каждым взрывом невыносимой боли ты говоришь — я сам, это я. Я не сдаюсь, не капитулирую, я на войне и готов нанести свой решающий удар. И дрожащие пальцы сжимают холодную сталь.

Ненавижу всех этих людей, все это поколение ебаное. Все, кто вырос в девяностые. Вонючие мудаки. Знаете, наши дела, и дело Феди тоже, их все вели какие-то двадцатипятилетние упыри или даже младше. Меня допрашивали вообще люди 88-го года рождения. Одетые по этой своей гадкой моде, в каких-то куртках мудацких, с прическами, как у голубых, они были неотличимы от тех людей, которых мы били все эти годы. И фразы, и язык тот же, шутки убогие, приколы из Интернета. Они острили и заигрывали с Катей, девушкой Феди, на допросах через день после его убийства. Блять, в печь этих скотов, в Освенцим, никого не жалко, все поколение, всех, кому от двадцати до двадцати пяти, можно и меня за компанию, ладно. Жадные, тупые, жестокие, беспомощные, циничные, трусливые — надеюсь, Третья мировая война сотрет сучье племя с лица земли.

«С праздником, пидарас!» — кричит Коля и всей своей стокилограммовой массой наступает на лицо человеку в маске, лежащему на асфальте. Его товарищи, человек двадцать, бессмысленно мечутся и режут воздух ножами метрах в двадцати. Они хотели убить пару человек во время нашего концерта в лесу, но что-то пошло не так, и из рощи на них внезапно выбежала толпа с кусками деревьев, коряг, металлическим мусором. Они теперь сами оказались в роли жертв.

«Назад! Застрелю, мрази! Всех перестреляю!» — орет мусор из подоспевшего наряда и тычет в Колю дулом АКМ. Вместо того чтобы подчиниться, Коля направляется прямо к нему и дает ему по ебалу, но как-то неуклюже, он очень пьян, и сам валится на руки подоспевших соратников, которые уносят его тело обратно в лес. Охуевшие менты объявляют какой-то экстремальный план подавления мятежей, приезжают сразу четыре автобуса ОМОНа, начинается зачистка лесополосы. Мы грузим звуковую аппаратуру в машину и начинаем отступать в Подмосковье звериными тропами.

Середина апреля, снег только сошел, грязь, слякоть, довольно прохладно. Мы сидим с музыкантами на пеньках и бревнах и слушаем вечернее пение птиц. Опускаются сумерки.

Нескольких людей тогда все-таки задержали, у одного паренька изъяли пакет с тридцатью нашими дисками. Концерт в лесу — это была презентация нашей демозаписи. Менты в отделении врубили один диск и пришли в ужас с первых секунд.

«Что это за хуйня!! За одно прослушивание этого говна надо сразу сажать или расстреливать!»

Тед Качинский — профессор математики, объявивший войну человечеству. В 1971 году он покинул цивилизацию и поселился в лесах штата Монтана в самодельной хижине, питаясь добытыми охотой кроликами, выращенными скудными овощами и собранными кореньями. Кроме того, в своем уединении он собирал самодельные взрывные устройства, упаковывал их в посылки и отправлял по адресам виднейших лабораторий, научных центров, университетов. В результате его деятельности погибли три человека, двадцать девять были ранены. ФБР искало его восемнадцать лет и дало ему кличку Unabomber (от «UNiversities and Airlines BOMbings» — «УНиверситетов и Авиакомпаний БОМбардировки». Тед хотел парализовать общество, целясь в его самые уязвимые узлы: системы коммуникации, транспорта и на-

учные объекты. Общество объявило его техногенным кошмаром XX века, сделало из него врага номер один, монстра, способного уничтожить любого. Третьего апреля 1996 года Тед был арестован благодаря тому, что его опознал собственный брат. Сейчас он отбывает четыре пожизненных срока в федеральной тюрьме ADX Florens в Колорадо, принадлежащей к разряду supermax — это один из наиболее охраняемых объектов в США.

Тедом написано несколько статей, «Манифест Унабомбера» или «Индустриальное общество и его будущее», рассказы, из которых наиболее известным является «Корабль дураков».

Сейчас у Теда тысячи поклонников во всем мире, его называют одним из прародителей анархо-примитивизма. Не уверен, что это корректно, в своих работах он скорее использует правую, традиционалистскую платформу. Впрочем, возможно, на том уровне искренности, которого он достиг, это уже не важно. Интересно, что в тюрьме Тед вел себя крайне необщительно и за все время смог наладить доверительные отношения только с парой людей. Среди них был Тимоти Маквей, расовый террорист, подорвавший бизнес-центр в Оклахома Сити в 1995 году, его содержали в ADX перед смертной казнью. Тогда погибли сто шестьдесят восемь человек, большая часть из них были белыми, никто не мог понять, зачем он это сделал. После ареста Тимоти объяснил, что в своих действиях и методах борьбы он ориентировался на книгу Уильяма Пирса «Дневник Тернера» — неонацистскую антиутопию, в которой отстаивается мысль о том, что достижение Белого Господства не может быть никак связано с изменением существующего режима или террором против отдельных людей, единственно верный путь — тотальное разрушение всей Западной Цивилизации, провокация Третьей мировой войны и заключительная битва рас в условиях ядерной зимы. Только лишившись электричества, всех привычных удобств, опиума массмедиа, арийский человек сможет наконец внять зову нордических предков и победить в пламени нового Армагеддона. Качинский не был расистом, но с Тимоти они нашли общий язык.

Тед стоит над всем миром как Палладин новой эры, его защита — примитивизм, его оружие — террор. Он никому и ни во что не верит, всегда одинокий, самый слабый, лишенный всего и одновременно всесильный.

Сижу ночью в кафе, смотрю в окно. Сегодня Friday night, улицы заполнены народом, хотя уже далеко за полночь. Арабы, негры орут и смеются у входов в бары, в круглосуточное кафе, где я сижу, набилось человек сорок, все греются, болтают и пьют кофе. Через час я выйду отсюда, передо мной пять тысяч километров, пять ночевок в непредсказуемых местах, пять дней, наполненных непрестанным кутежом и около двадцати евро на все. Пружина готова развернуться полностью, поехали.

Допиваю кофе, выхожу на улицу, иду через незнакомый город на автовокзал. Тысячи белых такси проносятся мимо, люди жмутся в круглосуточные закусочные, достаточно морозно. Сажусь в автобус, еду до порта, загружаюсь в огромный двенадцатипалубный корабль-казино. У меня самый дешевый билет — без места в каюте, я просто ложусь спать на одном из диванов в углу игорного зала. Просыпаюсь утром от сильного голода, двадцать евро отложены на поезд, роюсь в карманах, нахожу двадцать центов, иду в казино, нажимаю на кнопку в игральном автомате, и внезапно двадцать центов превращаются в пять евро. Завтрак.

Переплываем море, выхожу в грузовом порту, часа три пытаюсь поймать машину, ничего не получается. В конце концов меня замечает полиция и гонит в какие-то леса, заблудился между скал, вышел в какую-то деревню, там русские дети рассказывают мне, как добраться на перекладных автобусах, алилуйя.

Денег хватает только на полдороги, выхожу, метет поземка, полное отсутствие средств. Вечереет. Иду в городскую библиотеку греться, там бесплатный Интернет и собрание Солженицына, проверяю почту — знакомый из Москвы пишет, что как раз заехал сюда сегодня навестить друзей и уезжает вечером. Мы встречаемся, идем на вокзал, крадем из магазинов еду и сувениры по дороге, садимся в проходящую электричку без билетов, притворяемся, будто сидим здесь с первой остановки, кондуктор проходит мимо, едем.

Мой иностранный знакомый приехал из Москвы на родину проведать родных и друзей. Он отмечает каждый городок, который мы проезжаем: «Здесь я сидел. И здесь сидел. А здесь тюрьма просто ужасная». Его срок заключения был разбит на несколько меньших, в связи с тем, что он учился в Москве и вынужден был ездить туда во время сессий… «Каждый раз, когда я приезжаю домой, я впадаю в такую депрессию, беспрерывно думаю о суициде. В этой стране самый большой процент суицидов в Европе, не могу здесь больше двух недель. Тут очень плохо, бесконечная мгла, даже деревья не настоящие. Вот эти деревья, у нас очень гордятся нашей зеленой страной. Посмотри, они одной высоты все, это насаждения, везде насаждения, смотреть на естественный лес мы ездим в Россию.

Одиннадцать лет назад я приехал впервые в Москву, мы организовали под Ростовом большой эколагерь против строительства терминала местного завода. Съехались люди со всей России, жили в палатках, бухали постоянно, песни пели. Потом приковали себя наручниками к большим бетонным блокам, поставили их на дороге, по которой каждое утро рабочие шли на стройку, так обычно делают протестующие в Европе. Рабочие утром все это увидели, отпиздили всех, кто там был, собрали палатки в кучу и подожгли. Я стою посреди всего этого, все горит, люди валяются в пыли, думаю, все, конец. В Европе такое немыслимо. А на следующее утро русские еще выпили, настроили новых шалашей, купили водки, и лагерь продолжился как ни в чем не бывало. Тут-то я и понял, что русские люди, конечно, более гламурные…»

Приезжаем, ночую у другого знакомого, проверяю почту — вчера в Питере мрази заложили на огромном концерте бомбу с гвоздями, она чудом не взорвалась. Там было больше шестисот человек, сумка со взрывчаткой была в самой давке. Все эти девочки, мальчики… очень плохо.

Утром перед отъездом еще один рейд грабежей по магазинам, еда и модная одежда исчезают в моей сумке. В полдень сажусь на рейсовый автобус с челноками, повсюду пахнет копченой рыбой и моющими средствами. Через несколько часов пограничник ставит мне в паспорт штамп — я снова на Родине. Грязный снег, солдаты в ватниках, овчарки… Приезжаю в Питер, оставшихся денег хватает ровно на билет до Москвы. Вечер у подруги, ночной поезд, питаюсь исключительно ворованным. Днем уже в Москве, на перроне стоят менты и отправляют всю молодежь на обыск. Добро пожаловать. Провожу два часа в отделении, когда доходит очередь до меня, начинается обед, отпускают без досмотра. Я рад, в рюкзаке вместо таблеток они нашли бы пулеметную ленту, электрический самотык-вибратор и четыре килограмма виниловых пластинок с кишками на обложках.

Время потеряно, не успеваю заехать домой, сразу еду к клубу. Сегодня там презентация диска знакомой группы, все наши уже в зале. Начинается шоу, обезумевшие люди прыгают в толпу со второго этажа, ходят по головам, Вова сегодня выступает в спортивном костюме, толпа штурмует сцену, то и дело у него отбирают микрофон. «Мы будем разбивать лица ублюдков в щепки».

Меня заботят насущные проблемы, я уже разложил на столе только что вывезенные из-за границы пластинки, и через полчаса у меня уже достаточно денег, чтобы покрыть свои расходы на ближайшие дни. Отдаю все свои вещи друзьям на хранение, переодеваюсь в туалете, три человека, которые тоже едут сегодня со мной в Киев, уже ждут меня на улице, поезд отходит через час. Ловим машину, закупаемся в ларьках, едем.

Утро встречаем уже на Украине. Настроение — отличное, слушаем в плеере песни Михаила Боярского, гуляем по Крещатику, едим в столовых за гроши. Ночуем у подруг в пригороде, утром приезжают все наши, дебош, алко-трэш, теперь Боярского знают наизусть уже все. Ближе к вечеру толпа на взводе, встречаемся с местными на окраинах, все в бреду, пьяны. «Вперед гусары — ебать и резать!» — орет человек в беспамятстве и тут же блюет себе на дорогую куртку за тысячу баксов. Все грузятся в автобусы, едем на запад. Около пяти часов утра, на рассвете, останавливаемся на границе области и идем через села и хутора на железнодорожную станцию. Прихватил морозец, отовсюду кричат петухи, мазаные хаты еще не проснулись.

Садимся все на первую электричку, въезжаем на ней в город. День выдался солнечный, гулять по кривым мощеным улочкам — просто класс. Оккупируем неболь-

шое кафе прямо в центре и ждем, когда за нами придут. К нам присоединяются пацаны из Минска, они здесь с самого утра и пока никаких движений в городе не заметили. Ожидание длится уже больше трех часов, решили сами выдвинуться к стадиону, им навстречу. Маршируем колоннами через проспекты и бульвары, песня мушкетеров разносится на весь город. Рядом со мной идет парень и воодушевленно бормочет, глядя на памятник Степану Бендере: «Потерпи, Русь-матушка, приехал биться за тебя Ванька калужский…».

Площадь перед государственным университетом, около четырех часов дня. Мы стоим плотным квадратом в шестьдесят человек — киевляне, минские, москвичи, — так, что флигель здания прикрывает нас сзади. Из парка напротив вываливается толпа местных идиотов, больше ста человек, они все идут к нам, приплясывая, и орут какие-то глупости. «Один за всех — и все за одного!» — кричим мы им, и первые ряды сходятся.

Дальше — кадры: разбитые лица, рваная одежда, куски асфальта, летящие мусорные урны, какое-то длинное хуйло из их рядов выбегает вперед, узнает меня и кричит от неожиданности: «Что ж вам все не сидится??». Потом — по сценарию: выстрелы в воздух, приезжают «космонавты», всех кладут на асфальт, потом лицом к стене, потом — в отделение. «Москаль?» — мент в приемке удивленно крутит в руках мой паспорт. Нас рассаживают по разным камерам, я попадаю в ту, где уже сидят один знакомый из Киева и один москвич. У москвича сильное сотрясение, он ебнулся рассудком, беспрерывно спрашивает нас: «Где я? А что, была драка? И я дрался? Да ладно! Вы меня наебываете!» — и так с интервалом в минуту, каждый раз одно и то же. Кратковременная потеря памяти. Через час он просто заебал нас.

Я стою перед железной дверью в вонючей камере, в городе, где существует улица Джохара Дудаева, не спал больше пяти дней, не был дома больше двух месяцев, по коридору ходят украинские менты, а у параши окровавленный человек повторяет в тысячный раз: «Да ладно! Вы меня наебываете!».

Хорошо отдохнули.

— У меня гипоксия коры головного мозга. Мы все больны. Эти люди тоже больны, — говорит Олег, врач судебно-медицинской психиатрической экспертизы. — Поэтому мне надо накатывать иногда.

Мы пьем водку в стоячей чебуречной, в нашей чебуречной, где и всегда.

— Тяжело тебе жить, наверное, — говорю я ему. — Ты вот смотришь на людей и сразу все примечаешь, каждого — в свой разряд, каждому — свой диагноз.

— А как же, ну ничего, привыкаешь. Такова уж человеческая природа. Набор отклонений не так велик, разнообразие людей тоже не так велико. Нет никакого греха в том, чтобы принадлежать к одному из нескольких десятков типов. Ты можешь рожать детей, достичь успеха в какой-то области, отдыхать по-всякому. Это не так уж плохо.

— Ну да, наверное. И не надо никакой души, ее упраздняют социальная психология и статистика.

— Это все статистика. Знаешь, ведь нет такой болезни — шизофрения. Все люди склонны к ней более или менее, она — часть человеческой природы, склонность к ее обострению передается по наследству. Когда мы ставим диагноз, мы не мудрим и не болтаем чепуху, как все эти психологи и психоаналитики. Я смотрю только — произошла ли уже десоциализация личности, то есть этот человек еще может жить в человеческом обществе или уже нет. Ведь все гении — шизофреники, вся разница в том, что у кого-то эта предрасположенность проявляется в умении слагать огромные числа, рисовать картины, писать симфонии, а у кого-то — в коллекционировании фантиков или в неумении завязывать шнурки и ухаживать за собой. Вплоть до физиологических отклонений, в тяжелых случаях. Все эти люди в наколках, которых мы обследуем, зомби, пустые оболочки от людей — полный распад личности, как куча мусора. Они топят детей, сидят по лагерям с детства…

Мы выпиваем еще по одной.

— Знаешь еще… в психиатрии есть одна мысль, экстравагантное предположение. Что шизофрения есть не что иное, как еще один, заложенный в нас, путь эволю-

ционного развития вида homo sapiens. Возможно, среди нас рассеян ген новой расы, нового человечества, которое однажды придет на смену нынешнему. В каких-то условиях будущего нового мира, возможно, именно эти люди окажутся наиболее приспособленными, эффективными. Я уже сейчас смотрю вокруг, в метро, например, просто полным полно клинических типажей. Я боюсь за своего сына, наверное, когда он вырастет, на улицах уже будут одни психопаты.

Я познал — ты должен все время лгать. В этом нет ничего предосудительного, на войне как на войне. Ты в тылу врага, глубоко законспирирован, фальшивая история, документы, прошлое — «легенда». Сатана пытается найти тебя, вычислить, нейтрализовать, но у тебя есть вся твоя проницательность и несколько десятков лет, чтобы успешно обманывать его до самого конца и выйти победителем. Нет никаких законов, правил, все заповеди давно устарели, теперь Лукавый использует их сам, чтобы держать тебя под контролем. Стоит тебе проколоться, выдать себя — ты пропал. Он даст тебе маленький бейджик на лоб и правую руку: «святой», «честный», «хороший малый», «свой парень», «лентяй», «дурак, «нищий», «долбоеб», — и все встанет на свои места, ты пойдешь прямо к нему на обед.

Твоя задача — обмануть его, перетасовать все карты, не давать ему опомниться, постоянно менять пароли и явки. Тогда, возможно, он ничего не поймет, запутается, не заметит главного, неправильно оформит твои бумаги — и ты свободен! А вот те ребята, которые говорят всегда правду и борются за вечные идеалы, — в наше время они его самые верные слуги.

Я часто смотрю со стороны ostavit и вижу кучу отличных девчонок, всяких студенток, любительниц рока, кутежей и веселья. Они действительно симпатичные, чего уж там. И я думаю, где же это я был, когда мне было восемнадцать, когда все было впереди, а жизнь должна была быть полна чудес.

Я тогда вышел из сельского автобуса на мосту через реку, по колена в грязи шел по полям и лесам, явился в монастырь и попросился жить в общагу для паломников. Там уже было человек тридцать, все ночевали в одной большой комнате, поделенной на четыре отсека деревянными перегородками. Все пространство было заполнено двухэтажными нарами, нельзя было курить и громко говорить, туалет — на улице.

Так и зажили, подъем в шесть утра, утренние молитвы в неотапливаемом подвале полуразрушенного флигеля, потом в восемь — веганский обед, капустный салат и вареный картофель без масла, потом снова на службу — в главном храме, потом — трудовая нагрузка весь день. Крошили асфальт, корчевали деревья, копали. Вокруг — уважаемая публика, серьезные люди сложной судьбы — пьющие, сиделые, странствующие. Теперь у нас одно имя — «трудники». Многие живут трудниками при монастырях всю жизнь, не стремясь к монашеству. У таких людей особый взгляд, будто внутрь, сухие руки обвиты плотными синими жилами.

После работы — снова в храм, на вечернюю службу, потом ужин, с чаем, после чая дозволяется полтора часа свободного времени, в общежитии надпись: «благословляется кипятить кипяток». Потом, в десять — ночные молитвы и сразу отбой, везде гасится свет, люди погружаются в сон на шесть часов. Все это называется «афонское правило», недавно я был на Афоне, что-то я там не испытывал подобных процедур…

Через несколько дней интенсивной терапии начинаешь чувствовать, как дух истончается, холодным утром, идя на службу через лес, будто растворяешься в тумане. Глаза в зеркале стали казаться больше, возможно, от повисших под ними синяков. Мой друг, который собирался остаться здесь насовсем и принять через несколько лет постриг, потащил меня на элитную встречу с местным старцем — схимонахом. В монастыре два старца, Илий был старший, его почитали и съезжались к нему со всей Руси.

Нас повели через длинные коридоры общежития для монахов, везде — ни души, будто все мертво. Остановились у старой двери в облупившейся краске, долго ждали. Потом нас пустили внутрь. Это была комната где-то четыре на четыре метра, доща-

тый пол, беленые стены, все в маленьких иконках, вырезанных из газет и календариков, печка-голландка, никакой мебели. В дальнем углу на меленькой синей табуретке присел сухой старичок с растрепанной белой бородой, он именно будто присел ненадолго, или как-то навсегда присел, что ли… Сложил ладони на коленках, весь в черепах, скелетах на черной одежде, смотрит в пол отстраненно, будто в забытьи. Мы потихоньку подходим к нему, кланяемся, он смотрит на нас тихими голубыми глазами. «Спрашивай, спроси его о чем-нибудь», — шепчет друг, а мне что-то нечего спросить, я просто стою рядом и смотрю на сухие ладошки на белых черепах.

И Илий сам тихо сказал мне что-то, я сейчас уже не помню что.

Представляете — пропасть, луна, яркая, как дыра в Вечное Царство, горы вокруг видны на многие десятки километров, они такого цвета, как то маленькое перышко у селезня на крыле. Очень светло.

Мы разложили костер прямо на самом краю, вниз — метров четыреста свободного падения, весь Крым — как на ладони. Случайная встреча.

«Да, два года назад я тоже, вон как ты сейчас, решил пойти в горы один, разобраться с мыслями. Я решил сделать все четко, по аскетизму, из еды взял пять килограммов гречневой крупы, соль и бутылку подсолнечного масла. И ушел на Алтай на три недели. Там был как раз сезон, когда в горах совершенно никого нет, пустота, только эхо. На второй день масло у меня в рюкзаке разлилось полностью, это очень меня огорчило, пришлось питаться одной крупой. Я бы не ушел далеко на такой диете, но вокруг, на склонах, все было покрыто желтыми цветами женьшеня. Когда я уставал, я просто откапывал корешок, жевал его и чувствовал чудесный прилив сил. Через десять дней начали происходить странные встречи, из пустоты вдруг появлялся какой-нибудь персонаж, — старик, пастух, ребенок, — начинали говорить со мной, и все они предлагали взять у них немного подсолнечного масла. Сначала я брал, но потом, на следующее утро, оно каждый раз куда-то пропадало. Так продолжалось много раз, каждый день история с маслом повторялась, в конце концов я уже отчаялся и стал отказываться от него. «Возьми немного масла, тебе же так его не хватает», — подступали ко мне странные люди снова и снова. «Нет, спасибо. Я уже понял, что вы — галлюцинации и духи, и вашего масла мне совсем не надо», — отвечал я им, и они исчезали.

Еще через неделю, на одном из перевалов, меня накрыла огромная грозовая туча. Начался буран, это как стена из льда и мокрого снега, летящая прямо на тебя. Я скатился по ледникам, забился под замерзший водопад и только и думал — Господи, помилуй. Рюкзак порвался, я потерял в буране компас, все карты, половину вещей. Когда ветер немного стих, еле-еле дополз до леса, лег на кедровую хвою и пропал. Будто исчез. Маленький паучок плел свою паутину, я следил за каждым его движением, во всем этом была какая-то огромная сила и смысл. Я, не отрываясь, следил за ним больше пяти часов, а потом наступила ночь».

Как-то раз дед вернулся из больницы очень взволнованным. У него снова было предынфарктное состояние, его сердце было готово разорваться уже в четвертый раз. Он сказал, что было не скучно, в палате попались очень хорошие люди, все душевные такие, а самый душевный оказался лечащий врач. Он был ко всем очень заботлив, добр и сочинял стихи. Один дед даже переписал к себе в записную книжку. Мне тогда было лет четырнадцать, но я помню его наизусть и теперь.

Вот первый луч, собрат луча второго, подрагивая, сохнет на стене…
Вот первое младенческое слово спросонья просыпается во мне…
Удел мой светел, путь еще не начат, вот он — прекрасный миг…
И позовут меня, и скажут: «Мальчик!»
А я уже не мальчик — я старик.

Они совершенно изувечили мое тело, разорвали кожу, вывернули сухожилия, выпотрошили брюшную полость, разорвали крючьями, разбили внутри все кости.

Мое тело висит на дыбе, подвешенное за ребро крюком, уже мертвое. Про меня забыли, давно прошли рефлексы, сокращения мышц, кал и кровь перемешаны на полу. Они распускают узел на веревке, мои останки падают в лужу органической грязи. Из меня, прямо изнутри, из живота откуда-то, выходит маленький, белый, пушистый песик, шпиц, может, или маленькая лайка, кругленький и деловитый. Он выходит из меня, не испачкавшись кровью, виляет хвостиком и ластится к высоким сапогам палачей, лижет их огрубевшие от убийства руки теплым розовым язычком.

«Из черной резины сделана власть!» — кричит худенькая девчонка, вся в иглах, шипах, хрупкая, как маленькая пробирка с кислотой. Четыре сотни человек подхватывают ее крик и превращаются в какое-то единое месиво человеческих отбросов, океан ненависти и экстаза. Все валятся друг на друга, в несколько рядов, сверху вниз, на бетонный пол из карманов летят пистолеты, ракетницы, тесаки, заточки. Все бессмысленно, теперь все можно. Час назад у метро сильно порезали одного нашего друга, еще не ясно, выживет он или нет, все на взводе, кровь кричит и мечется. Из зала — цеха заброшенной бумажной фабрики, — люди волнами льются на улицу, перекатывают через заграждения, блокпосты, смывают своим течением всю стеклотару, доски, железные прутья, камни, которые попадаются на дороге. Бесконечная толпа течет вниз по улицам, туда, где в ночных искрах ларьков виднеется старая станция метро. Никто не верит, что это конец, никто не хочет в это верить. Ненависть. У метро никого, поток с шумом и треском заливается под землю — под беспомощные хлопки турникетов, на которые никто не обращает внимания.

Когда большая часть народа уже спустилась на станцию и люди держали электропоезд в ожидании остальных, произошел тот знаменательный инцидент. Люди, порезавшие нашего друга, зачем-то снова пришли на ту же станцию метро, увидели тех, кто замешкался на входе, и начали их убивать. Нападавших было человек тридцать, они явно не рассчитали своих сил, — толпа, будто вакуумом, засосала их вниз по эскалаторам, прямо в самое жерло ада. Тут все, конечно, ебанулись. Началась бойня, в ход пошло все — пистолеты, газ, ножи, стройматериалы, металлические заграждения, части эскалаторов. Особенно запомнились стеклянные плафоны, — их разбивали на длинные острые осколки, — кровь полилась рекой. Поезда прекратили движение по линии, обыватели вжались в спинки кресел, когда на их глазах людей превращали в кровавый фарш. Менты заперлись в своей каморке, выжившие бросались к ним, надеясь найти у них укрытие, им в ответ сквозь щель светило дуло автомата.

Не щадили никого, части нападавших удалось поначалу смешаться с толпой на станции и проникнуть в вагоны остановленных поездов. Они пытались скрыться среди обывателей — бойня зашагала по вагонам. Один уже присел на лавку между испуганными пенсионерами — его нашел Саша, Саша был пьян.

«Крот! Да это ты! Опа, пацаны, этого не трогать! Эту мразь мы возьмем с собой, Ваня, иди сюда!». В прошлом году Крот опасной бритвой раскроил Ване голову…

«Мне все равно, — на удивление спокойно отвечает тот, — это все уже не важно, делайте со мной, что хотите. У меня уже вскрыты вены, через несколько минут я умру». Действительно, тут все заметили, что вся скамья и пол под ним залиты кровью, обильными потоками хлестала она из его рукавов. Все подивились находчивости Крота, отпиздили его до бессознания и выкинули на следующей станции.

Той же ночью больше двадцати человек улеглись на полу у меня в квартире, а я все ждал, когда мне отзвонится парень, которого мы послали в ОВД посмотреть, что с нашими задержанными. Наконец начинает пищать мобильный, я нажимаю кнопку.

«Алло. Это капитан милиции такой-то. Мы взяли твоего пацана, теперь тебе не уйти, сейчас ты приедешь к нам сам и сдашься с повинной», — орут из трубки.

«Пошел на хуй», — отвечаю я и выключаю телефон.

В Евангелии есть такой момент, когда Иисус въезжает в Иерусалим на осленке в Вербное воскресенье. Иисус просит найти ему осленка, которому нет и года и он еще привязан к матери, и хочет на нем въехать в город, где его ожидают толпы людей, как нового царя. Недавно, в состоянии жестокого похмелья, я посетил Афон. Мучимый

жаждой, лежал под кустами и увидел на пристани как раз таких ослят. Они были просто очаровательные, маленькие, пушистые, почти плюшевые, с огромными глазами. Триумфально въезжать в город на таком — все равно что ехать на мягкой игрушке. Господь как бы говорит им всем, тем, кто выстроился встречать его с пальмовыми ветвями: «Опомнитесь, зачем вы пришли, успокойтесь. Чего вам от меня надо? Вы все сошли с ума, чего вы хотите, чтобы я сделал?? Идите по домам, дуроплясы!»

На самом деле я съебался не после погромов, массовых драк в клубах и боен в метро. И не после сотен звонков, охуевших голосов, дурацких задержаний и бесконечных допросов. И не после того, как четыре или пять тяжких эпизодов наконец соединили в одно дело и высокие чины заволновались не на шутку. И не после того, как СМИ начали беспрерывно нести безумный бред о войне группировок и подпольных военизированных организациях, а новости о нас каждую неделю достигали вершины рейтинга. И открытое письмо депутата в Генеральную прокуратуру и ФСБ тоже ни при чем.

На Рождество друг пригласил меня на хиппи-елку. В теплом уютном клубе в полуподвале собралось полно народу: мамаши с детьми, все нарядные, в бахроме, самодельных платьях, везде детский визг, смех. Волосатые мужчины неопределенного возраста нарядились в волхвов, пастухов, апостолов, сказочников всяких. Раньше здесь гремели наши концерты, и сотни изошедших из ума людей громоздились друг на друге в неимоверной давке. Теперь тут поставили самодельные декорации, развесили гирлянды, расставили рядами скамейки и стулья. Хиппи-полигамные семейства расселись повсюду в ожидании рождественской мистерии.

Я предложил Коле встретиться именно здесь, у безобидных незнакомых людей, что в его ситуации, как мне казалось, было актуально. Он пришел уже сильно пьяный, Руслан и Алина пытались контролировать его передвижения. Я решил, что сейчас разговор не получится, да и представление уже началось, и оставил их отдыхать в прихожей на скамеечках.

Хиппи были, как всегда, бредовыми, восторженно лепетали что-то, делали чувственные пассы руками, пели под гитару, как полагается. Все было нище, убого, бессмысленно и немного безумно, как всегда, когда сорокалетние люди хотят вести себя как дети. Тем не менее самим детям, в смысле, настоящим, все это казалось довольно забавным, они смеялись и ползали прямо под ногами у актеров. В середине спектакля женщина средних лет, одетая в самодельные древние наряды и игравшая Святую Деву, вышла на середину зала и проникновенно сообщила нам страшную новость: кровожадный царь Ирод приказал своим солдатам избить всех младенцев в Вифлееме. В этот момент дверь в зал распахнулась, и, разрушая декорации, наступая на головы актеров и детей, в помещение вывалился Коля. Одной рукой он держал за космы здорового хиппи в одежде персидского царя, другой он избивал его наотмашь. Тот неумело сопротивлялся и, в конце концов, упал на зрителей, повалив остатки декораций, вместе с ним туда же повалился и стокилограммовый Коля.

В этот момент что-то упало и внутри меня. Я автоматически перепрыгнул через головы охуевших мамаш, автоматически начал вытаскивать и заламывать Колю, автоматически выталкивал его из клуба. «Сказочек захотелось?? Сказочники ебаные! Будет вам сейчас сказочка, все кровью умоетесь, поняли!» — орал Коля с безумными глазами в зал, пока мы с Русланом его вытаскивали. Оказалось, тот мужик как-то грубо с ним заговорил, что-то не так сказал, ну, собственно, и получил свое. Потом Коля выловил этого мужика после конца вечеринки и заставил его жену заплатить тысячу рублей моральной компенсации, которую сразу пропил с подоспевшими пацанами. К тому времени я уже уехал.

Эта сцена надолго осталась в моей памяти. Хорошо, они никакого ребенка не задавили. А упало во мне что-то в тот момент от тоски, конечно же. Потому что во всем этом, в каждом ударе Колиной руки, была неизбежность, фатальность, предсказуемость. Это должно было случиться, я ожидал этого в душе — и вот оно, перед моими глазами. Господь сказал мне — все, хватит. Это было так же дико и неотвратимо, как все наши действия за последние годы. Это был какой-то пиздец.

Мы стоим все в зале ожидания, у всех нервное, приподнятое настроение, как мы все любим. Только близкие, приехали еще те, кто хотел выдать беглецам денег. Собрали не так много, но им должно хватить — на другой стороне их ждет полно народу, полным полно хороших людей. Купили билеты по чужим паспортам, в сидячем вагоне никто не заметит. До поезда еще есть время, никто не пьет, мы просто стоим, все вместе, и вспоминаем всякое смешное из жизни. Это такое приятное ощущение, что-то большое заканчивается, новое начинается, предвкушение приключений, новый шаг в жизненной карьере. Вверх-вниз, хорошо, когда неболезненно.

Подают состав, мы идем к вагону. Последние адреса, телефоны, условия, пароли, шутки, сплетни. Увидимся в Новом году, благо, путь недалекий. Все, проводили.

Мы с Русланом идем по ночному перрону обратно к вокзалу. Холодно и светло от ярких ламп и ларьков.

«И ты теперь скоро…»

«Да, и я через недельку, наверное. Знаешь, это как последние секунды хорошего приключенческого фильма. Затухающий кадр, пейзаж, умиротворяющее что-то, музыка приятная. Вот-вот и опустится темнота, и медленно поползут вверх титры».

Падал крупный снег, ночь. Я стоял на лестнице у здания терминала пограничного контроля и смотрел, как медленно падают снежинки. С другой стороны, — я стоял уже с другой стороны. Господи, они выпустили меня, все кончено. Ну, в принципе, они и должны были меня выпустить, я не находился в федеральном, ни в каком розыске не находился. Но все это, все, что оставалось позади, выглядело достаточно устрашающе, я был очень рад. Симпатичная девушка за пуленепробиваемым стеклом поставила мне в паспорт штамп, я сделал несколько шагов и оказался здесь, на улице, на свободе. В открытом космосе. Он был теперь весь передо мной, темный, холодный, уходящий в бесконечную даль, а у меня с собой была только сумка с вещами и всего один телефонный номер на всю галактику. Никаких денег, дел, связей, ничего, в начале создал Бог небо и землю. Большое приключение.

«Покинь землю Египетскую, ибо там мрак», — сказал мне Он, и я, с облегчением, повиновался. Где-то далеко позади, в тысяче километров отсюда, мне вслед рвался огромный тысячеголовый зверь, миллионы его глаз искали меня, тысячи зубов хотели меня схватить. Теперь он дышал мне в затылок, я все еще чувствовал его дыхание. И поспешил к подошедшему после проверки туристическому автобусу.

Впервые я увидел Леху много лет назад, он тогда уже эмигрировал, женился на иностранке, собрал новый состав своей группы и поехал с ними в тур по России. В зал, где сейчас проходят хиппи-елки, набилось человек двести, никакой сцены, аппаратура стоит прямо в толпе, между людьми. В страшной толчее и духоте, между спинами людей, я видел, как голый по пояс мускулистый крепыш кричит во всю глотку и душит себя микрофонным шнуром. Он весь красный, не то от жара, не то от напряжения, не то от того, что душит себя не на шутку. На плече у него синяя наколка — буддийское Колесо Дхармы, колесо твоей жизни. Я тогда подумал, что это, наверное, очень четкий человек.

Года через два — он в Москве, и я, из соображений веселья, позвал его на одно мероприятие глубокой ночью. Было уже около часа, когда мы встретились в метро, мраморные колонны повели нас в священные чертоги насилия. Подъехал поезд, я вбегаю в вагон и встречаю недоумевающие взгляды людей, обреченно сидящих в другом конце. «Добрый вечер, а вот и мы!» — только и успел поприветствовать их я, как уже человек десять начинают жестко разминать их. В суматохе я совсем позабыл, что у меня на руку наложен гипс, и вспомнил об этом только тогда, когда он уже был сломан пополам. «Пра-во-сла-вны-е!» — кричит бритый парень и разбивает бутылку с мочой о голову вокалиста популярной группы. У музыкантов отобрали инструменты, остальных просто отхуячили. Лехе не понравилось — толчея, суматоха, только и успел дать кому-то «леща». А вообще-то он был в свое время чемпионом по джиу-джитсу по Волгоградской области.

Леха — русский солдат. Даже скорее красный боец. На деревянных обшарпанных стенах висят ковры, балалайки, советские плакаты, униформа летчика, мента, ушанка, на полу разбросаны упаковки из-под папирос «Прима ностальгия», бутылки из-под водки «Борис Ельцин». Патефон играет фокстрот, мы топим печь, варим щи-борщи, пьем разведенный эстонский спирт и чифирь из граненых стаканов с подстаканниками, потом, пьяные, начинаем орать «По диким степям Забайкалья» и «Вот сижу опять в тюрьме». Блатата-кириллица, русский стайл. Леха уехал из России уже много лет назад, женился, развелся, учился на режиссера, снял богоборческий художественный фильм, работал Лениным в музее Ленина, работал переводчиком на вагоностроительном заводе, был футбольным фанатом местной убогой команды и пел блатные песни и романсы в местной фокстрот-ретробанде. Сто лет назад у этой печи хозяйничала аккуратная мать семейства, жена какого-нибудь рабочего со сталелитейного завода, теперь у ее очага развалились на самодельных нарах два иммигранта, а из старинного патефона, оставленного ею, орет во все горло «Яблочко». «Раскрывай нам Суоми-красавица половинки широких ворот!»

В те холодные бесконечные вечера, в сотнях километров от дома, я думал, что это неплохой конец хорошей книги с приключениями. Мы ходили в старинную русскую баню по соседству, еще царской постройки, банщик натапливал ее после закрытия, в ночи. Мы бухали с ним, водили туда дам, дрались друг с другом в чаду, пили водку и играли на баяне. Я лежал на полке в парной, пьяный, развалившись на женских телах, и думал — наверное, я умер.

До того месяца, когда я съебался, я не пил больше трех лет. Леша тоже, до того как уехал из России, не пил лет пять.

«Тут все по-другому. Очень скучно, если не пить, можно покончить с собой».

«Все эти люди — беспомощные хиппи, все, что они делают, — какие-то дурацкие игры для девочек. Все их искусство, активизм, образ жизни, ценности. Помнишь, в детстве, девочки играли в «секретики». Это такая ямка, засыпанная землей, над ней стеклышко, а внутри — бусинки и фантики. Они прятали их повсюду, а потом показывали подружкам «по большому секрету». Вот я смотрю теперь вокруг, на всех этих дураков, недоучек, студентов-молокососов, все, что они делают, — такие «секретики». Фу, блять, мы всегда старались их находить и расхуячивать, когда были мелкими».

«Я думаю устроить свою жизнь по уму. Сон, зарядка, обливания, завтрак, прогулка, чтение литературы, полезный обед, революция, спорт, легкий ужин, легкий секс, одна сигарета, сон в одиннадцать часов». Мы сидим в деревянном полуразрушенном доме на чужбине, за окном валит снег.

«Этот дом остался один такой, он еще XIX века, раньше весь город был, как он». В таких многоквартирных деревянных домах жили семьи рабочих, которые трудились на сталелитейных и оружейных заводах в округе. В 1918 году они, вслед за русскими, тоже подняли красное восстание, вооружились до зубов, город стал центром революции. Правительственные войска побоялись брать его штурмом, вместо этого они поставили на холмах дальнобойные батареи и дотла сожгли город. Из старых деревянных построек уцелел один этот дом, он памятник истории, его не сносят, теперь в нем живут кто попало.

«Леха, а что бы ты делал, если бы снова началась война, если бы белые пришли? Ты бы воевал?»

«Да. Конечно. Я бы воевал за красных. Разумеется. Винтовка, все дела. А как же».

У Лехи есть еще татуировка на левом предплечье. Огромные синие кривые буквы «Time kills». Он набивал ее себе сам, часть струной, часть — иглами. Когда он еще жил на Волге, как раз в разгар памятных событий, в результате которых подавлять его вызывали армию, с ним сожительствовала одна девочка, она очень его любила. Они жили не тужили, а потом у нее внезапно погиб брат случайно, и мать, очень православная женщина, убедила девочку, что это случилось за ее блудный грех с Лехой. Та покаялась и ушла жить в монастырь. Леша просто охуел, он поехал за ней,

тоже жил при монастыре, упрашивал ее вернуться, но она уже была полна православного рвения и сказала, что больше не хочет его видеть. В бреду и безумии Леша вернулся в город и пошел прямиком к ее матери, орать на нее. «Успокойся, Алексей, теперь все кончено. Теперь у нее все будет в порядке. И у тебя все будет в порядке, заживет. Время лечит».

«Блядь, время никого не лечит, время только убивает!»

Потом та девочка все же вернулась из монастыря и подсела на героин. Леха тогда уже уехал из России.

Ко мне приехала Аня, расписная, как матрешка, мы сидим на веранде в тапочках, в заброшенном доме на горе. Внизу — южный город и море, идет мелкий дождь, прохладно. Мы долго молчим, мы очень рады, что наконец съебались.

«У одной моей знакомой была такая собака, она будто смеялась. Когда к ним приходишь в гости, она первая встречает у входа и так радуется... так искренне, будто смеется… Она была уже старой, и врач сказал, что ей нельзя так радоваться, она слишком эмоциональная, так что хозяева, когда приходили гости, запирали ее, сначала в комнате, чтобы она не очень радовалась прямо сразу. Но она все равно была очень радушной, ее будто разрывало изнутри от счастья, когда она видела людей. И однажды у нее остановилось сердце, так она радовалась».

Господь — пастырь мой. Он пасет меня на злачных пажитях, водит меня к водопою. Он кормит и одевает меня, я ни в чем не буду нуждаться. Он отстраняет от меня страх и искушения, отрезает от меня гнилые части, закрывает пути к отступлению. Не дает мне расслабиться, не дает мне забыться, будит меня и гонит по неведомым тропам. Он закаляет и учит меня, часто наказывает, всегда прощает. Он заставил меня пройти много верст, переступить через многое, отказаться от ненужного и забыть излишнее. Иссушает меня, делает более легким, прозрачным, умастил мое тело маслом и травами, приготовил к погребению. Теперь, даже если и пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, ведь Господь мой всегда со мной, Его жезл успокаивает меня, Его палица меня утешает.

Федя, конечно, был готов. Может, он был близок к готовности еще до нашей первой встречи, но к концу он уже был готов на все сто процентов. Такие люди очень любят жить, очень радуются каждому моменту, но всегда первые готовы ее потерять. Любят жить красиво и делать большие ставки.

«Вчера прихожу домой — мать вся на нервах, повесила над моей софой иконку, пьет лекарства. Говорит, ходила к гадалке, та посмотрела на мою фотографию, говорит: этот человек еще жив? Он своей смертью не умрет, его убьют очень скоро, если еще не убили». Всю ночь потом снилось, как меня режут, режут, я в поту просыпался. Ну, чего уж лукавить, понятно, такие, как мы, своей смертью не умирают».

Это он говорил еще года три назад. Потом, уже после Фединой смерти, его мать сказала мне, что ходила к гадалке не один, а четыре раза, и каждый раз та все удивлялась, что человек на фотографии еще жив, предсказывала насильственную смерть в кратчайшие сроки. Так что Федя был готов. Но очень не хотел.

Вот так бывает. Он уже ложился спать, вдруг звонок — как обычно, уже привыкли. Он берет все свои деньги, нож, ствол, выходит из дома. У дверей оглядывается, видит — мать на кухне капает валокордин в стакан. Опять подслушивала. Садится на скутер, едет в центр в три часа ночи, чтобы вытаскивать ребят, всех этих пацанов, которым нет и двадцати, из какой-то очередной безвыходной ситуации, в которой они могут умереть или сесть. Снова сегодня, как и месяц, и год назад, и все время. Он всегда так делал. Приезжал всегда первый, подбадривал, орал на ментов, совал деньги, звонил кому надо, носил передачки, стоял у отделений по всей Москве часами. Вот так, как бы, человек жил. Другой жизни у него не было. Действительно, не было. Вся жизнь в нищете, в маленькой квартирке с мамой, семьей сестры, в комнате размером с ванную. Вся жизнь на работе в каких-то складах, на заводах, в гряз-

ных стоячках, плохой алкоголь, плохая жизнь. Много лет. У него ничего не было, кроме друзей, кроме всех тех людей, что его окружали и которым он отдавал всегда всего себя, всего целиком, зачем-то. Верить им, доверять, жить их проблемами, жить в них — то, что он и умел, одно из не очень большого списка. Таких людей сейчас уже нет. Не помнить себя и жить полностью заботами и радостями твоих близких, в счастье и в горе… как же это… Тогда он тоже приехал не пойми зачем, уже все закончилось давно, у клуба его приняли сразу менты, приехавшие с опозданием на полчаса, нашли нож, ствол. Все по сценарию. Снова его единственного забрали, как забирали уже много раз, просто потому, что он оставался последним, кто думал о своем спасении. Вроде он вообще об этом почти не думал никогда. Всегда битый, всегда первый раздавал и отхватывал. А как иначе? Он по-другому не умел. Мать говорит: «Ему было четыре годика еще, а я все смотрела на него и такая тоска и жалость дикая меня охватывала к этому мальчику, ни с того ни сего, нечеловеческая жалость к тем страданиям, которые ему предстоит испытывать всю свою жизнь». Он страдал всегда, до конца, и умер в мучениях. Убийцы не нанесли ему ни одного смертельного ранения, они просто изрезали все его тело, все лицо, спину, руки. Он все время был в сознании и кричал, просил вызвать «скорую», катался по земле, пытаясь вытерпеть страшную боль, разрывавшую все его тело. Мать, сестра, собравшиеся вокруг него соседи со всего дома ничем не могли ему помочь, пока он кричал и хватался из последних сил за свою жизнь. «Скорая» приехала через тридцать пять минут, он был в сознании до конца, испытывая нечеловеческие страдания. Если есть ад, он испытал эти муки при жизни. Не знаю, думаю, он причинил немало боли многим людям за свою недолгую жизнь. Но мне он лично запомнился в основном только той заботой, которую он нес людям, тем состраданием, которое он нес, страдая со всеми нами. Сможем ли мы когда-нибудь достойно сострадать ему? Не знаю.

После смерти Феди, через день, мне внезапно позвонил Миша. Мы не общались несколько лет, он обиделся на нас тогда, сменил телефон и перестал появляться. Он сказал, что плакал сегодня, когда смотрел старые фотографии. «Как же все-таки это получилось… Мы же могли остановиться еще три года назад, могли остановиться в любой момент. Мы тогда собрались и долго спорили, что делать дальше, когда стало понятно, что все это — билет в один конец и возврата не будет. Мы с Колей были за то, чтобы сменить профиль, а Федя настаивал против, говорил, что нельзя это так оставлять. А что было бы, если бы мы тогда бросили? Федя был бы жив, все эти ребята были бы живы, все было бы иначе. Я все время думаю об этом».

«Да, все это очень стремно. Я каждый раз чувствую вину, когда очередной парень в Москве или где-то еще умирает. Это все очень плохо. Но, Миш, я не знаю. Я не знаю, когда надо было остановиться. И Федя не знал. Когда уже спасовать, как в покере, когда сбросить карты. В какой момент? После какого убийства? Я не знаю».

«Мы примчались к Феде домой, а там уже полно ментов, смеются, острят, лапают все. Я нерванул, начал орать на них, чуть не подрался с оперативником, те вызвали наряд, меня скрутили и повезли в участок. В машине кроме меня сидело два мента, районные, из ППС. Они еще не поняли, в чем дело, делились слухами.

«Говорят, хачи скина зарезали. Ну теперь черным в районе пиздец. Его в морг привезли, я тебе говорю, у него все тело в татуировках. Свастики, черепа, орлы, все как полагается…»

На самом деле у Феди были совсем другие татуировки. На руке — сердце, птица, бритва и надпись — «Возлюби ближнего своего».

Холод. Снег, свет, алая кровь на холодном снегу. В Москве дурачок застрелил Стаса, веселого адвоката. Застрелил, добежал до метро и перепрыгнул через турникеты, потому что его бесплатный студенческий билет не сработал… Знакомые все напокупали травматических автоматов, оформили охотничьи билеты, — мачете и боевые кинжалы «Тарзан» уже в прошлом. Всех уволили, продукты подорожали в

два раза, президент говорит: мы не должны расслабляться. Уже давно пора бы расслабиться…

«Мне всегда очень нравилось путешествовать. В прошлый раз, когда я плыл на этом пароме, у меня оставалось двадцать центов, я опустил их в автомат и выиграл пять евро. Теперь у меня было всего десять центов, я не мог даже сыграть, но судьба послала мне в попутчики мормонского пастора. Господь дает нам шансы».

«Да, точно, — соглашается Род, мой сосед по залу пониженной комфортности на огромном корабле. — Я со своими бутербродами был неслучайным попутчиком для вас, а вы со своими занимательными рассказами о ваших религиозных паломничествах по святым местам были неслучайными для престарелого пастора. Все это судьба, Господь дает нам шансы».

Ага, я еду домой. Все будет плохо.

«Жень, мы как хоббиты. Ну ты помнишь, там в фильме, в конце, они уплывают вместе с эльфами из мира людей в Западные земли, прощаются с друзьями… мы теперь как хоббиты…»

«Да, это очень трогательная сцена, каждый раз как ее смотрю — слезы наворачиваются…»

Февраль 2009.

ЕЩЕ ОДНО ПОТЕРЯННОЕ ПОКОЛЕНИЕ?

Алексей Левинсон,
руководитель отдела социокультурных исследований «Левада-центра», кандидат искусствоведения, профессор ГУ-ВШЭ

Главной темой этого текста для меня является насилие. Конечно, в повести говорится не только о нем. Но именно насилие — одна из главных примет описываемой реальности. Обычный читатель толстого журнала («обыватель», как мельком ругнет его автор неожиданным по советской старомодности словцом) не видит такого количества насилия в своей повседневной жизни. Может быть, видел больше полувека назад, когда был другим, был фронтовиком. Но про нынешнюю жизнь, даже ругая ее и боясь ее, он не думает так, как автор.

Таким образом автор, конечно, выстраивает экзотическую для подобного читателя среду. Я не знаю, для какого еще. Нет уверенности, что описываемые автором участники этой жизни-битвы, жизни-пытки читают написанное им. Может быть, читают. Автор — явно из читающих молодых людей. И может быть, для них такой уровень насилия — норма, как и уровень присутствия матерных слов.

Если — норма, то тогда это неинтересно, как неинтересен мат в этой прозе. Но вот если автор все-таки хочет хоть какого-то читателя потрясти, протрясти, тогда об этом стоит говорить. Если автор посылал сигнал о насилии лично мне, то я его принял. И готов вместе с автором думать, зачем так много насилия бессмысленного, точнее, бесцельного, возникающего просто потому, что без него нельзя.

И я, и мои коллеги-социологи очень давно ходим вокруг формулы «насилие — это язык». Похоже, будто повесть есть специально для нас подготовленная реализация этой метафоры. В стране, где мы живем, все важное или почти все важное, объясняет нам автор, выговаривается на языке насилия. Может быть, вернее думать, что описанное автором — не язык насилия, а насилие как речь, как процесс выражения смыслов. Как коммуникация.

Это парадоксальным образом снимает массу вопросов. Они делаются столь же нелепыми, как было бы нелепо думать, что в идеале по каждому описанному в кни-

ге акту насилия должно быть заведено уголовное дело о причинении более или менее «тяжких телесных»… Ясно, что когда дела заводятся, то такие дела оказываются уже не о том. В насилии-языке, насилии-речи нет места ни понятию вины, ни понятию жертвы. Это социальное действие другого типа.

Сколько бы автор ни громоздил эпизодов насилия, как ни была бы густа эта речь, он все-таки не верит сам и не может уверить меня («обывателя»), что жизнь — она на самом деле такая и есть. То есть что жизнь в ее нормативном значении, жизнь, как она задумана тем, кем задумана, должна быть такой, как у него в книге. Нет. Автор-то на самом деле уверен, что жизнь должна быть такой, как у обывателя. Коекто из его героев даже пробует так жить. Беда не в том, что жизнь «не такая», а в том, что «такой» жизнью жить мы не можем. Мы не можем выстроить высказывание не средствами насилия. (Ну, не считая случаев, когда пишем книгу.)

«Мы» — кто эти мы? Это те, кто не желает жить в рамках институтов, выстроенных на нашей земле, в том числе — институтов насилия. И практикует насилие, агрессию, в том числе и едва ли не в первую очередь — аутоагрессию как средство сопротивления им.

Это, если угодно, противление злу насилием. Институционализированному злу неинституционализированным насилием. Со всей тщетностью и обреченностью данного метода.

Насилие в описываемой действительности является, возьмем другую метафору, аналогом времени, временем. Из событий насилия состоит жизнь, из них состоит повествование, наррация. Как жизнь алкаша, собственно, состоит из событий выпивания и действие хмеля есть его собственное время, его длительность. Стоит вспомнить поэму В. Ерофеева, с которой у книги есть важные точки соприкосновения. Автор использует другой наркотик и несколько другие средства письма. Но он, как и В. Ерофеев, хочет, чтобы читатель заглянул под намеренно утолщенную завесу, покров, бурелом непривычного и пугающего либо веселящего. Ибо истинный ужас — там. То есть ужас не в описанных во множестве трупах, отрезанных руках, пробитых черепах.

Ужас в том, какая жизнь под этим. А эта жизнь — та же, что у обывателя, смотрящего телевизор в кресле. Это она невыносима. Это от нее корежит, корчит молодых людей. Если автор, как говорят, антифашист, то скажу, что и фашистов тоже. И ненавистных ментов. Иначе с чего бы это они были ненавистны. Ведь в менты идут для того же. Чтобы в дикой ломке от того наркотика, которым является наша жизнь, что-нибудь сломать — в себе или рядом.

Насилие — это единственное, что могут делать эти люди. Стоит задуматься, сколько в нашей стране людей, которые, в самом деле, ничего другого не умеют. И не считают нужным уметь. От них общество, собственно, и не требует.

Но хватит о насилии. Невыносимость жизни, легкая невыносимость бытия — это более важная философская и социологическая проблема. Может быть, автор ее решил. Тогда я, каюсь, этого не сумел вычитать и понять. Может быть, он ее только поставил. Уже и за это ему хвала. Говоря «философская» об этой проблеме, я рискую сказать пошлость, мол, жизнь вообще трагическая штука. Но я думаю, что как раз не вообще. Критика жизни у автора (как и у автора «Москва—Петушки») вполне адресна. Он, собственно, разбрасывает подсказки, и следы ведут к нам домой. Туда, где кресло и телевизор. Телевизор тоже — речь, поток, плотная кошма над невыносимой реальностью. И если в любой речи нет причин и следствий, виновников и жертв, нет состава преступления, наконец, то там, под покровами, куда всякий нет-нет, да и заглянет, там все это есть. И кто туда заглядывает — понимает, что он соучастник в поддержании жизни, обладающей невероятной энергией губительности, перверсии, калечения. Словом, мы все знаем, что эта жизнь — не жизнь вообще, а наша. За нее отвечаем только мы, отвечаем перед собой и перед детьми, которым мы вынуждены напоминать об этом, кто не умеет — своими, чужими увечьями или смертями, кто умеет — своими книжками.

Александр Кабаков,
писатель

Несколько лет назад я вывесил в Сети заметку об угрозе для общества, которую представляют действия и настроения значительной части молодежи — радикальных левых, националистов, антиглобалистов, просто склонных к криминальному поведению подростковых групп. Известный писатель Захар Прилепин, сам открыто и решительно исповедующий так называемый национал-большевизм, откликнулся — тоже в Интернете — возражениями. Общий их смысл мог быть сведен к следующему: Кабаков слишком испуган, чтобы видеть реальность, которая состоит в том, что, увы, по-настоящему радикальной, революционной молодежи у нас почти нет, молодые люди в подавляющем большинстве конформисты, а протестующие незначительны числом и никак не дотягивают до организованности и решительности своих западных ровесников. Мне тогда мнение Прилепина показалось слишком пристрастным — чем бы мыслящий человек ни был увлечен, ему всегда кажется, что результаты слишком малы…

Теперь, после прочтения обсуждаемой повести — или, скорее, дневниковых записей, — я пришел к выводу, что мой тогдашний оппонент был прав. По всему тексту разбросаны упоминания о численности бунтарских банд, и получается, что этих врагов общества набирается в Москве никак не больше ста человек. Добавим сюда таких же молодых людей и их «идейных» противников, живущих в других крупных городах, куда москвичи выезжают на кровавые гастроли, — все равно ничтожно мало. Две, три, ну пять, ну пусть десять тысяч по всей стране, да и из них поорать готовы многие, а на драку придет половина… И ленивые, продажные, бессмысленно злобные менты без особых усилий всех разгонят, нескольких повяжут… В драке кого-то покалечат, а то и убьют… Наиболее темные, политически не влиятельные обыватели будут молча сочувствовать, но ни в коем случае не вступят в конфликт…

Настроения этих молодых людей, их способ существования, неспособность к настоящей организации и пропаганде делают явление скорее психиатрическим, чем социальным. Собственно, и сам автор склонен к такому взгляду, он и сам пишет, что не о социальном протесте идет речь, а о почти физиологической несовместимости некоторых людей с любым обществом, в котором всегда некрасивый не равен красивому, больной — здоровому, глупый — умному...

Однако социальная опасность есть, причем существенная. Она, по-моему, заключается в том, что пренебрежение пропагандой со стороны самих молодых варваров с лихвой компенсируется той рекламой, которую им делают вполне встроенные в истэблишмент средства массовой информации. Именно публикации во всех изданиях, от гламурных до научных журналов, представляют маргинальную шпану революционными борцами, придают притягательность весьма старомодным идеям, о которых сами «борцы» и знают-то понаслышке, упаковывают психопатологию и хулиганство в яркую идейную оболочку, привлекательную для уставшего от рутины офисного планктона.

С такой точки зрения мне кажется не совсем целесообразной и данная публикация в «Знамени», да простит меня Сергей Иванович Чупринин, аргументировавший во вступительной заметке противоположную позицию. Тем более что — опять же, исключительно по моему частному мнению — литературная ценность текста весьма сомнительна: перефразируя известное выражение, что в нем выразительно, то не ново, а что ново и интересно, то выражено крайне вяло. Путешествовал этот «Исход» (а претензий-то сколько в одном названии!) в Интернете — и ладно, там много такого добра, там и инородцев бить агитируют на сотнях сайтов и в блогах, там Сталина и Гитлера превозносят, там и «американосов», «пиндосов» призывают стереть с лица земли атомной бомбой. Тоже высказывания — что ж, и их на бумагу, в почтенный журнал?

Никак не сбывается давняя мечта о добровольной со стороны редакторов информационной блокаде террористов, националистов и прочих (как бы они себя ни называли, хотя бы и «антифашистами») потенциальных палачей той самой либе-

ральной прессы, в которой никак не сработает инстинкт самосохранения. Между тем, Юрий Валентинович Трифонов еще тридцать с лишним лет назад писал, что если лишить современный терроризм телевизионной и прочей медийной рекламы, то он потеряет смысл и увянет. То же самое справедливо по отношению к любым радикальным — а в наше медийное время по отношению вообще к любым — действиям. Нет рекламы — нет явления.

Ну вот прошло тридцать лет, и что? Прозрения художников многое могли бы изменить, если бы общество принимало их всерьез.

Алексей Цветков,

писатель, журналист, политический активист

Нужен ли вам очередной «дневник» очередного «неудачника» с очередными претензиями к человечеству и очередными мечтами о мировой революции? Герой «Исхода» завидует более «крутым» лимоновцам на митинге и мазохистски грезит о своей смерти городского партизана среди руин агонизирующего мегаполиса. Для ясности — это документальный текст о буйных буднях и безумных праздниках «красных» или «левых» скинов, молодых «антифа». Фанатские выезды, экстремистские концерты, несанкционированные шествия и уличный файтинг. Локальная война, счет жертв в которой давно перешел с десятков на сотни. Их главные уличные «оппоненты» — неофашисты, на которых они весьма похожи по социальному адресу и психотипу, но они сделали иной идеологический выбор, избрали своим боевым мобилизующим наркотиком противоположный политический миф. Эта неприятная для обеих сторон схожесть проявляется, к примеру, в том, насколько отдельные абзацы «Исхода» схоже звучат с абзацами известного романа «Скины: Русь пробуждается», автор которого покончил с собой в прошлом году. И правые и левые скины — это молодые люди, у которых нет советских воспоминаний, новое поколение новой России, а точнее, наименее удачливая в классовом смысле ее часть, которая не очень довольна таким своим «заданным положением» и готова воевать с кем угодно, чтобы даром получить то, за что их более успешные сверстники порой неплохо платят — впечатления, чувство собственной важности и славу победителей прежде всего. Почувствовать себя «толпой королей», как выражаются их лондонские братья по международной субкультуре. Насилие — это пиар бедных. Восстание — это вечеринка «не прошедших дресс-код», а мировая гражданская война — их амбициозный бизнес-план на будущее.

Этот дневник — небольшой аттракцион для «нейтральных», любящих смотреть и читать про всякий «экстрим». «Нейтральные» — самая массовая и отвратительная партия, и потому так часто на празднике восстания им достается больше всех. В общем, все как у Захара Прилепина, только без заранее просчитанных компромиссов с «интеллигентным» читателем — т.е. написано для своих, для тех, кто «в теме» и на связи. Да и до лондонской изощренности Стюарта Хоума, начитанного британского скина и провокационного писателя, автору этого дневника далековато. Все они — персонажи одного поля, но не одного уровня.

Это написано «не интересно» с точки зрения людей с тонким филологическим слухом к аллитерации и ритму, «малограмотно» с точки зрения всех, просто сносно учившихся в школе, «невежественно» с позиций любых интеллектуалов, и это очень полезный и познавательный текст с моей точки зрения. Потому что его главное сообщение — умейте использовать свою бесценную ненависть, не дайте убедить себя, что мир в высшем смысле справедлив, а если и не очень справедлив, то вы точно не тот человек, который будет это менять. Вы именно тот! Хватит верить в реинкарнацию. Если у вас нет ничего, кроме собственной жизни, проживите ее так, чтобы вам самому было страшно следить за собой.

Этот текст удивит только тех, кто до сих пор не в курсе, что у нас капитализм. А если кто-то посейчас думает, что капитализм — это свобода выбора образа жизни и демократический способ принятия решений, таковой думатель есть неизле-

чимый постсоветский му… извините, мечтатель. Капитализм — это система, в которой цель любой деятельности подменена прибылью, все, от образования до секса, обменивается на рынке, как товар, а всякий товар основан на грамотно организованной недоступности, т.е. на том, что он не всем здесь по карману. Огороженное охраной меньшинство хозяев выжимает свой доход из большинства «пролов». Чем ближе ты к полюсу капитала, тем выше твоя ступень в пирамиде, тем больше у тебя шансов на качественную жизнь. Капитализм позволяет хозяевам относиться к «пролам» и «планктону» хуже, чем относились к рабам в греческом полисе. Рабов стоило беречь как собственность, а «нанятых», переставших устраивать, всегда можно заменить на таких же, но более энергичных и не столь требовательных, в крайнем случае их можно привезти из соседней, еще более нищей страны. Кроме прибавочной стоимости капитализм производит также «новое» городское варварство «малорентабельных людей» и «молодежный экстремизм» «непрестижных» районов. Капиталистический мегаполис производит насилие, классовую и расовую ненависть в промышленных масштабах. Для «малорентабельных» капитализм — это мир, в котором все объекты их желаний огорожены и потому могут быть только украдены, мир, в котором всякий, кто препятствует этой краже, в какую бы форму он ни был одет, становится физическим противником. Таковы нравы молодого российского (ну хорошо, немножко, люмпен-) пролетариата, а точнее, самой энергичной его части.

Есть соблазн воспринять этот текст как очередное сообщение о буйных «неформалах» в стиле «Легко ли быть молодым?» двадцатилетней давности. Правда, есть важная разница: тогда «Двадцатая комната» журнала «Юность», фильм «Асса» и программа «Взгляд» сообщали, что общество стало сложнее и молодежь все чаще выбирает не рекомендованные и не представимые прежде модели поведения и стиля, а сейчас мы имеем дело с обратным посланием — о вызывающем упрощении мира и поведения в нем, вплоть до состояния, когда насилие остается единственным, последним способом коммуникации с «чужим» и «враждебным» обществом. Когда и эта последняя связь оборвана, герою остается лишь «Исход» т.е. вынужденная эмиграция, и он по-байроновски перемещается в Грецию, страну с самой развитой и массовой в Европе анархистской субкультурой. Быть крайне левым стритфайтером[1] там намного проще. DJ Stalingrad с удовольствием участвовал там в уже ставших регулярными «рождественских беспорядках» вокруг университета, начавшихся, кстати, опять же с убийства полицейскими несовершеннолетнего анархиста на афинской улице.

В обществе, которое фактически согласилось с тем, что человек есть прежде всего существо, преумножающее свой доход, все описанные события и типажи неизбежны. В обществе, не создавшем никаких внутренних ограничителей капитализма, никаких «но» и «если» на пути рыночной войны слабых против еще более слабых, в обществе, где разлет между самым богатым и самым бедным процентом давно превзошел всякие социологические приличия, следует удивляться не тому, «откуда это всё взялось?», а тому, «почему этого до сих пор так мало?». И ответ тут демографический — стремительно стареющее общество есть не лучший и даже тормозящий фон для любых молодежных бунтов, сколько бы ни накопилось для них причин.

В этом тексте почти нет метафор, которые следует понимать иносказательно, хотя есть пара мальчишеских преувеличений. Нет сознательных отсылок к другим текстам и указаний на предшественников, зато в нем есть конкретные убитые и раненые, с некоторыми из которых я был в разные годы лично знаком. Этот текст мало полезен для тех, чьи мечты ограничены гуманитарной карьерой (ну хорошо, «самореализацией в творчестве», так лучше?). Даже немногие «отвлеченные» места в нем, вроде рассуждений о белых крысах и электричестве, попали в текст прямиком из

1 Стритфайтеры — радикальные участники демонстраций и бунтов, вступающие в уличные бои с полицией и войсками.

левацкого фильма Луи Маля, а в фильм попали из ситуационистского самиздата артистичных французских бунтарей полувековой давности.

Герою нравится думать, что «шизофрения — это ген нового вида», созревающего внутри вида старого. Логика комикса «Люди Х». Герои «Исхода» исповедуют модернистский миф нового человека с новыми полномочиями в самой брутальной и практической его версии. Они последние, кто в это верит, им просто, возможно, никто не сообщил о провале модернистских претензий, роспуске штурмовых отрядов и красных бригад и наступлении мирной эпохи постмодернистских игр. Но если бы кто-то и сообщил им это, они бы вряд ли поверили, ибо каждый из нас верит не в то, что однажды услышал, а в то, что соответствует его интересам. Они отказываются понимать условность мифа не потому, что они тупые или мало читали, а потому, что эта условность им не выгодна. Всерьез воспринятый миф на уровне комикса — их главное идеологическое оружие в классовой войне. Они повзрослели уже после «большого дележа», и «некорректные» политические мифы, которые приводят их в движение, оказались единственной доставшейся им большой собственностью, единственным призраком власти в их бросающих камни руках. Автор дневника вдохновляется кумирами такого же, радикально настроенного заграничного пролетариата — Джи Джи Аллен, Унабомбер, Вилли Джонсон… Пока хозяева ввозили в страну рыночные отношения и спектакулярную демократию, аутсайдерам приглянулись в той же заграницe несколько иные модели поведения, которые являются реакцией на тотальный рынок, управляемую демократию и прочие циничные спектакли элит.

Вы уже решили, какой бренд вы выбираете и к целевой аудитории какого сериала относитесь? В этом дневнике задается другой вопрос: в тени какого флага вы готовы упасть на асфальт? Чей манифест заставил бы вас нарушить пару «вечных» моральных заповедей? Герои видят себя эмбриональной армией будущей гражданской войны, о которой они грезят и которая в локальной версии давно идет на «непрестижных» улицах. Заводные апельсины из «антифа» могут рассчитывать только на то, что «стабильность» скоро кончится, пирог уже не делится на вчерашнее число «легитимных» едоков и у них появится шанс поучаствовать в переделе.

В каком понимании человека коренится логика молодежного нигилизма? Мы любим жизнь, в ее основе стремление к счастью. Счастье — это отсутствие психического раздражителя — голода и боли во всех их формах. Полное отсутствие раздражителя — это неорганическое состояние трупа, и, значит, любое стремление к счастью есть всего лишь короткий отрезок на более долгой прямой нашего стремления к саморазрушению. Внутри биофильской и позитивной воли к жизни всегда упакована некрофильская и деструктивная воля к небытию — такова «интуиция» нигилистов всех поколений и оттенков. Далее, по интеллигентским правилам, я должен сказать нечто в противовес этой самой логике молодежного нигилизма, но делать этого я не буду хотя бы потому, что это означает добровольно выбрать роль «гуманитарного мента», охранителя, халдея на службе стабильности, а их хватает и без меня. Я и сам, если честно, плохо воспитанный, финансово несостоятельный, агрессивный дилетант, мечтающий о массовом революционном насилии на Рублевском шоссе.

Единственное известное мне решение заявленной проблемы — стать одним из бунтарей, покуситься на систему и ее псов. Диалектический парадокс состоит в том, что, если вам не нравится «варварство» героев «Исхода», вы должны стать «варваром» и атаковать систему, чтобы покончить с объективными предпосылками этого «варварства». Тем, кого раздражает такой бунтарь, стоит стать еще большими бунтарями, чтобы покончить с миром, дающим причины для такого рода бунта. Пытаться вылечить «болезнь экстремизма», сохраняя систему, против которой «экстремизм» направлен, означает усиливать причины для «экстремизма», выбирать в этом конфликте сторону, которая дает каждому зрелище вместо смысла, занятость вместо дела, роль вместо судьбы и банковский счет вместо победы.

«Исход» — хороший способ понять психологию «дестроера» и «мародера» — дискредитированную фигуру, которая появляется на улицах в любой постсоветской революции. «Мародер» просто знает, что от происходящей революции его жизнь вряд

ли изменится к лучшему, он — революционер без иллюзий, внушенных оппозиционной пропагандой, поэтому он и получает от восстания то, что может получить — всё, до чего дотягивается рука. И настоящим призом в этой небезопасной городской игре, «бегалке» и «стрелялке», является вовсе не присвоенная вещь, но само освобождающее от страха чувство: можно брать то, что ещё вчера было жирно обведено лентой с надписью «чужое» и «заплати».

Пока героя устраивают почти любые «теории», если они подпитывают его боевой инстинкт, будь то попытка приложить самурайский кодекс к своему существованию в мегаполисе или рассуждения о том, что в обществе, где нет отдельной касты воинов, а есть регулярная и профессиональная армия, мужская агрессивность найдет себе иные формы в виде тех или иных «бойцовских клубов». Кстати, о самурайском кодексе: в нем сказано, что если где-то больше одного самурая на десять мужчин, там неизбежен кровавый хаос и сбор урожая голов вместо сбора урожая риса…

Но у автора дневника есть неустойчивая симпатия к христианству, Афону и вообще к монастырям как формам добровольной сегрегации. Если не бунт, то исход в закрытую общину? Возможно, если ему удастся несколько стабилизировать свою жизнь и сделать ее чуть более «буржуазной» (т.е. в данном случае просто «более долгой»), эта мерцающая симпатия разовьется в более явную религиозность — одну из древнейших форм «амортизации» и «нормализации» недовольных общественным устройством. Другой вопрос, нужна ли герою «нормализация», если вся его жизнь — великий отказ от компромисса?

Елена Фанайлова,
поэт, журналист

Герой этого текста — русский красный скинхед (судя по самоописанию; не стану пересказывать страницы Википедии, просто отсылаю к ней, лучше к англоязычным источникам), антифа, человек стихийных анархистских убеждений, пьяница (некоторые его товарищи наркоманы) и драчун, находящийся в стихийном поиске Истины с большой буквы. Его врагами являются русские фашисты, а под горячую руку, под влиянием алкогольного опьянения — менты, военные, просто тупо-агрессивное мужское население Родины, которое имеет нечто против группы панк-музыкантов, передвигающейся на электричках и в автобусах в поисках адреналина и пространства, или против группы радикальных экологов, разбившей где-нибудь в провинции лагерь протеста. Врагом его является обыватель и шире — несправедливый универсум, который не оставляет молодому человеку надежды на справедливость и красоту, и тогда ярость заменяет справедливость, мир в душе завоевывается войной, для которой, как говорится на страницах этой прозы, мы все рождены. Мир советского человека прокламируется как его любимый мир, но если бы он действительно успел пожить в СССР, а не только родиться, он был бы врагом и того государства, граждане которого превратились на его глазах в униженных и оскорбленных.

Чем-то он напоминает Веничку Ерофеева, этот герой, видимо, попыткой обретения святости не слишком подходящими методами, еще более радикальными, чем алкотрипы Вени; но и герой Ерофеева отвечал на вопрос, заданный другим известным персонажем не в России: возможно ли стать святым без Бога? Иисус Христос, впрочем, появляется на страницах повести, он въезжает в Иерусалим на маленьком пушистом осленке, чтобы сказать народу: успокойтесь, дуралеи, идите по домам; но пока автор дойдет до этого замечания на полях, читатель узнает немало отталкивающего о нем и его команде.

Прежде всего они дерутся с применением холодного оружия, до крови, переломов и сотрясений мозга; потом, они бухают до самозабвения и блевоты; они ездят без билетов и воруют еду и одежду из магазинов. Еще они вместе с коммунистами ходят на первомайские демонстрации, где кидают петарды, зажигают фаеры и скан-

дируют радикальные антиправительственные лозунги, устраивают рок-концерты в подвалах, а в каком-то эпизоде герой работает на «скорой помощи» и повествует нам об умирающих бомжах и докторах, трудящихся за копейки, и все это грязно и отвратительно, и здесь герой теряет, по его признанию, остатки сочувствия, во что, впрочем, верится слабо. Еще в его жизни была попытка жить в монастыре и встречи с, так сказать, интересными людьми: православным старцем, заслуженными рокерами-бойцами, многократно сидевшими в тюрьме товарищами-анархистами из Европы. Теперь он и сам живет в Европе и удивляется, почему демонстранты бьют витрины, но не дерутся с полицией.

Эта повесть описывает и русский бунт, бессмысленный и беспощадный, и анархический корпус интеллектуального протеста второй половины XX века. Неслучайно рассказ о нелегких буднях молодого радикала перемежается не только парахристианскими интеллектуальными медитациями, но и краткими биографиями-дайджестами западных антигероев: рокера Кевина Майкла Аллина (получившего при рождении имя Иисуса Христа), блюзмена Вилли Джонсона, математика-террориста Теда Качинского по прозвищу Унабомбер.

Эта проза неконвенциональна, но она документальна, и хотя бы за это следует быть ей благодарными. Потому что, читая ее, можно лучше понять, что движет такими молодыми людьми и каково это новое потерянное поколение России. Некоторые молодые московские либералы вышли на антифашистский митинг памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой 19 января вместе с ними, а потом писали в своих чистеньких ЖЖ, что их отталкивает насилие. Насилие выразилось в том, что антифа зажгли пару фаеров и пытались отбить своих у милиции, которая решила, что митинг пора разгонять — в силы правопорядка полетели ледышки. Мои молодые друзья, видимо, не помнят, в какой теплой дружественной обстановке непротивления злу насилием происходили митинги конца восьмидесятых — начала девяностых, как их ныне благополучные родители и старшие друзья попадали под милицейские дубинки, как расстреливались демонстрации в Тбилиси и Вильнюсе, при каких обстоятельствах погиб Юрис Подниекс, автор фильма в том числе о таких вот молодых протестантах.

Вообще говоря, эта проза отлично выстроена, она динамична и энергична, а герой ее совершает экзистенциальный трип и прорыв. Может быть, это не самый положительный герой, но уж точно не картонный.

Марина Егорова,
доктор психологических наук, зав. кафедрой психогенетики факультета психологии МГУ

Принадлежность к отечественной интеллигенции всегда определялась не столько образованием или родом деятельности, сколько особой системой ценностей, главной из которых было обостренное ощущение несправедливости жизни — неравенства, жестокости государства, несовершенства всей социальной системы. Неудивительно, что каждый, кто отказывался жить по законам неправедно устроенного мира, всегда вызывал сочувственное одобрение. Да и как может быть иначе, если с одной стороны сытость, пошлость и разврат обыденной жизни, а с другой — неприятие лжи, независимость, стремление к свободе, чистота помыслов и даже служение идеалу?

Обаятельные лишние люди, одаренные крестьяне-бунтари, бескорыстные террористы-народовольцы, самоотверженные революционеры — кем только не восхищались и кого только не героизировали. А вот ребятам из так называемых «молодежных субкультур» долго не везло. Нельзя сказать, что их совсем не замечали, — гуманитарии их описывали, КГБ учитывало, милиция гоняла, — но с признанием как-то не получалось. К безобидным и тихим относились как к городским сумасшедшим, к агрессивным — с брезгливым опасением. Во-первых, интеллигенты терпеть не могут,

когда их бьют и тем более убивают. Во-вторых, сильное отвращение вызывал способ оправдания деяний, например, скинхедов: «Нехорошо, конечно, что мальчики убили таджика, но ведь вон их сколько понаехало, и мальчики с этим по-своему борются». Интеллигенту с такой позицией идентифицироваться трудно.

Но ничто в этом мире не постоянно, меняется и отношение интеллигенции к «бунтарям». Теперь мы хотим их понять, и повесть «Исход» предоставляет прекрасные возможности для того, чтобы каждый подтвердил или осознал свои уже давно сформированные представления. Недоговоренности, разрывы в повествовании, чередование воспоминаний о тяжелом детстве и бессмысленной жестокости приятелей, сцен отвратительных побоищ и эпизодов монастырской жизни, глубокомысленных рассуждений о крысах и людях и прочее, и прочее создают безграничные возможности для проекции собственного жизненного опыта, своего взгляда на описываемые события, своего отношения к насилию и допустимости оправдания насилия. Поможет ли это понять? Сомневаюсь. Зато кто-то сможет принять, кто-то пожалеть, а кто-то постарается вписать пьяные драки в историю российских революций и привить к могучему древу российского бунтарства и эту уродливую и корявую ветвь. Бог в помощь!

Если кто-то хочет, читая повесть, понять, что приводит молодых людей в компанию скинхедов, то, скорей всего, его ждет разочарование. Контурные, едва отличимые друг от друга Кости, Феди и Саши не имеют ни прошлого, ни настоящего — несколько черепно-мозговых травм, шрамов и приступов неспровоцированной ярости. Главный герой единственный, кто имеет хоть какую-то биографию, написанную по всем законам соцреализма, принятого во времена, вызывающие «насмешку и презрение» то ли автора, то ли его героя. Здесь и жестокая мать, и ужасное детство, и бедность, и осознание невозможности изменить убогое существование — «плохой алкоголь и плохая жизнь». В общем, формирование девиантного поведения в неблагоприятных социальных условиях. Правда, вскользь упоминается, что герой закончил университет, да и книги в детстве читал, но разве это заметишь после подробного описания истязаний ребенка матерью?

Исследователи агрессивности и склонности к насилию утверждают, что молодые люди, принадлежащие к ультрарадикальным группировкам, обладают высокой самооценкой в сочетании с плохо развитой регуляцией и неопределенной идентификацией. И действительно, с самооценкой у лирического (если так можно выразиться) героя все в порядке. Его усталость от бесконечных пьянок и драк и переезд на греческий пляж — не менее чем «исход». Его друзья по кровавым побоищам заботливы и человечны. Он сам себе нравится. Чего стоит фраза — пишу, «мне это надо»! Почти Вертер. Да и пишет он не для того, чтобы понять, что же он творил и возможно ли это искупить — «вспоминаю, чтобы забыть». Забыть про убийства, которые никому непозволительно списывать на жестокий мир, ужасы советского строя (при котором, по мнению героя, даже личной жизни не было) или на бедность.

Кстати о бедности. Герой и его компания изображены этакими свободными флибустьерами, которые путешествуют по стране и сводят счеты с задолжавшим им что-то миром. А, собственно, на какие деньги? Они ведь не работают, а алкоголь, наркотики, травматические автоматы стоят денег, да и истекающих кровью наркоманов таксисты и частники даром не возят. Не используют ли эту публику в качестве наемников, и не приятелей ли главного героя мы видели совсем недавно разгоняющими лагерь экологов в Химкинском лесу? Может, воспоминания об оплаченном разбое не тревожат душу, поэтому и писать про это, «чтоб забыть», нет потребности?

В среде западных психотерапевтов когда-то появился такой анекдот. Два социальных работника видят избитого в кровь человека. Один из них говорит другому:

«Тот, кто это сделал, нуждается в помощи». Я не знаю, почему несовершенством мира и собственными трудностями можно оправдывать преступления? Когда и почему насилие стало рассматриваться как законный или, во всяком случае, достойный понимания и снисхождения способ самовыражения? Почему для кого-то собственная свобода самовыражения стала важнее жизни другого человека?

Страшно, что проблемы убийцы волнуют общество не меньше, чем страдания его жертвы. Это ложная политкорректность — люди не равны, жизнь того, кто поднял руку на другого, стоит меньше, чем жизнь пострадавшего от него.

И в русской, и в мировой литературе образы убийц неоднократно становились предметом детального и даже сочувственного анализа. Но раскаивающихся или хотя бы рефлексирующих убийц. Герой «Исхода» ни на секунду не ужаснулся содеянным, ни разу не вспомнил своих жертв и отпустил себе грехи раньше, чем дописал свои заметки (Господь «учит меня, часто наказывает, всегда прощает»). Это человек, который ищет прощения или помощи? Или (короче и точнее) — это человек?

Иосиф Гальперин

Уроки Бесланской школы

В Осетии не принято прощаться. Здороваются за руку, но, уходя, руки не пожимают — считают дурной приметой, боятся снова не свидеться. В сентябре 2004 года в Беслане прощания были в каждом дворе…

Я писал эти заметки через несколько дней после трагедии. Потом через несколько недель. Потом через год. Теперь собрал и попытаюсь выстроить из них те школьные дни.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Школа № 1 в тридцатитысячном Беслане была привилегированной. На открытие учебного года в нее стекались не только ученики с родителями, но и бывшие выпускники, и официальные лица.

Все в городе знали, что в первой школе торжественная линейка обычно начинается в десять утра. Но 1 сентября 2004 года сбор объявили к девяти, а в начале десятого классы уже были построены.

Преподаватель истории Татьяна Дулаева, живущая рядом со школой, вышла из дома около половины десятого. Не дойдя до забора, увидела: из машины рассыпается цепь вооруженных людей в масках и камуфляже. Подумала, что прислали ОМОН для охраны. Пригляделась — много бородатых, один с длинными волосами — ОМОН так не ходит — и развернулась. (Это ее и спасло. Девятнадцать ее коллег погибли.)

Восьмидесятилетний ветеран с орденскими планками — Сталинград прошел, — Заурбек Гутиев спешил к десяти часам, чтобы выступить на линейке. Услышал выстрелы, заворчал: «Взяли моду на салюты!» — и вошел на школьный двор. (Через два дня сам выпрыгнул в окно после взрыва).

Школа была построена более ста лет назад рядом с железной дорогой, основное здание обросло пристройками. Напротив школы, за железнодорожными путями, и остановился крытый грузовик, из которого высадились непонятные военные. Грузовик потом проехал дальше, на переезд, развернулся и встал около главного входа. Некоторые свидетели говорили о нескольких машинах, да и сложно представить себе, что в одной могли уместиться и все захватчики, и куча оружия с неограниченным боезапасом…

В День знаний во дворе собралось около двух тысяч человек, кроме учеников и учителей — еще и малыши из трех кирпичных жилых домов, расположенных рядом. Девяносто один первоклассник собрался на линейку в том урожайном году, хотя ожидали семьдесят пять. Старшие классы стояли подальше, младшие — поближе к центру площадки. Поэтому большинство старших смогли убежать, когда боевики выстрелами стали загонять всех в здание школы. Некоторые, уже войдя, пытались убежать через другие выходы, но их всюду встречали боевики. Чтобы люди быстрее

Об авторе | Иосиф Давидович Гальперин — поэт, прозаик, публицист, журналист-расследователь. Последняя публикация в «Знамени» — очерк «Крики во сне» (2010, № 4).

заходили, нападавшие дали очередь по стеклам первого этажа и заставили лезть в окна. Согнали в спортзал около полутора тысяч человек.

И жители Беслана, и телезрители были в ярости, когда с экранов им врали, что в заложники взяты 354 человека. Все понимали, что на торжественную линейку в среднюю городскую школу меньше полутора тысяч никогда не приходит. Люди подумали, что им врут, чтобы потом после штурма скрыть число пострадавших.

На самом же деле чиновники из центра отправили местных чиновников по домам — спрашивать, кто пошел в школу. Но многие пошли семьями, и спрашивать оказалось не у кого. Созданный оперативный штаб велел без утайки озвучить полученные данные. Тупость одних, помноженная на равнодушие других, и дала эту гигантскую ложь…

У входа на школьный двор стоял милиционер. Увидев боевиков, он в состоянии аффекта нажимал на курок пистолета, пока не кончилась обойма. Переднего убил, остальные открыли ответный огонь. Убитого боевика втащили в здание, где он и пролежал два дня, почернел и стал похож на негра. Это и позволило официальным лицам говорить о международном терроризме.

Милиционер же, расстреляв обойму, побежал за оружием и подмогой в родное отделение, расположенное примерно в ста пятидесяти метрах от школы. Оружейная комната оказалась запертой, ключ унес отлучившийся дежурный.

Один из старшеклассников в это же время добежал до райотдела. Там ему никто не поверил.

Через полчаса уже нельзя было атаковать без риска для жизни заложников. Террористы собрали взрывную цепь, заранее подготовленную и проверенную, и развесили ее по периметру спортзала. А через полтора часа, пользуясь рабочей силой заложников, боевики превратили школу в неприступную крепость: заставили окна, снайперы и пулеметчики заняли гнезда. Их разведчики очень хорошо изучили школу — ориентировались моментально.

А теперь о самом главном знании про этот день, которого мы, по-видимому, не получим.

Под выборы чеченского президента на всем Северном Кавказе объявили режим усиления, на границу Северной Осетии с Ингушетией нагнали милицейских машин с номерами разных регионов. Режим должны были отменить примерно 5 сентября. Около Беслана, стоящего прямо на административной границе, его без объяснений сняли 31 августа.

Заведя семнадцать уголовных дел и отстранив от работы сорок милиционеров, следствие все пыталось выяснить, как машины с террористами проехали в город. Стены школы № 1 исписаны криком: «Менты — суки!».

Тогдашний министр внутренних дел республики Казбек Дзантиев подал в отставку. Руководители Правобережного РОВД, базирующегося в Беслане, были уволены сразу, а прокурор района Аслан Батагов, через три недели после 1 сентября так и не нашедший свою дочь, ушедшую на линейку, в те дни говорил, что не может спокойно говорить о случившемся, поэтому интервью не дает.

Остается выслушивать уцелевших свидетелей.

НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА

Шестнадцатилетний (на момент захвата) Костя Марусич серьезен и внимателен, как разведчик. Отец у него русский, мать осетинка, оба языка Костя знает хорошо. Террористы, которых он видел близко, говорили между собой или по-русски, или на незнакомом Косте языке.

Он был в здании, когда начался захват, и не смог уйти, натолкнувшись на вторую цепь. Сколько было боевиков (штаб отрапортовал, что тридцать два)? В спортзале все время дежурили как минимум семеро, которым надо было меняться; все школьные помещения были перекрыты… Получается, что не меньше пятидесяти, что совпадает с количеством единиц оружия, о котором сказал тогдашний замген-

прокурора Владимир Колесников: 37 автоматов, 7 пулеметов, пистолеты, гранатометы; говорят, был даже огнемет «Шмель».

В спортзале Костя слышал разговор боевиков о том, что нужно вскрыть полы. Он показывает: вот здесь, на первом этаже, недалеко от входа, в библиотеке прорублены дыры в полу, отодвинуты слеги. Уходившие в библиотеку вернулись в спортзал с пластиковым мешком патронов.

Версия о том, что террористы заранее, под видом ремонтников, заложили в школе свои припасы, официально опровергнута. Вскрытие полов в библиотеке эксперты объясняют тем, что террористы хотели посмотреть, возможна ли атака из-под земли. Но очевидная тщательность предварительной разведки делала эту операцию бессмысленной. Может, они боялись, что снизу пустят газ? Но в спортзале первым делом были выбиты все окна, чтобы исключить газовую атаку, при том что сам выбор объекта захвата и огромное количество детей-заложников ее исключал. На всякий случай боевики взяли и противогазы.

Местные жители грешат на погибшую школьную заведующую хозяйством, которая наполовину ингушка, и рассуждают о деньгах, полученных директором школы на ремонт, произведенный ингушской бригадой. Начальник управления образования Зарема Бургалова в том сентябре сказала мне, что отпустила на ремонт около сорока четырех тысяч безналичных рублей, но они не успели дойти до адресата — ремонт в долг делала муниципальная бригада.

Костя упрямо показывает на деревья у входа: а зачем надо было во время ремонта спиливать стволы и ветки? Чтобы не мешали обзору? Боевики видели любое движение вокруг — они располагали системой наблюдения. Несколько видеокамер, установленных внутри и снаружи здания, передавали сигналы на монитор, в который террористы перемонтировали школьный телевизор. Были у них и более сложные приборы: как только стемнело, спецслужбы установили свои сенсорные датчики на частном доме рядом со школой, но снайпер боевиков их тут же уничтожил.

Профессионализм и слаженность были во всех действиях боевиков. А противостояли им, если не считать вмешавшихся в последний момент спецназовцев, солдаты-срочники и пузатые милиционеры с пистолетами. Так что помощь местного ополчения, прикрывшего огнем разбегающихся после взрыва заложников, оказалась нелишней, хотя не позволила установить нормальное оцепление. Впрочем, кто может гарантировать, что оно оказалось бы нормальным?

Костя встает в проеме раскуроченных дверей в коридоре первого этажа. Здесь взорвалась шахидка. Что это было — нервный срыв, раздрай в группе террористов или спланированный ход? Есть версия, что убитый милиционером на входе «негр» был руководителем отряда, и после его смерти среди боевиков начались разборки. Но самостоятельность отряда террористов — под большим вопросом, слишком точно все было рассчитано; скорее всего, они имели постоянную дистанционную связь с командованием, находившимся вовне.

Но тогда как объяснить приступы агрессии с расстрелами, которые сменялись относительным спокойствием? Боевики могли и засмеяться, когда малыш подходил с просьбой поиграть автоматом, могли поделиться едой и сводить в туалет, а там разрешить намочить майку, чтобы принести воды другим малышам... Большинство из них все же напоминали зомби, которые без приказа не сделают ничего. А чередование относительно доброго и запредельно жестокого поведения могло быть вызвано и корректировкой снаружи, зависевшей от реакции российских властей.

На второй этаж уводили роптавших, оттуда слышались выстрелы. Потом вызывали мужчин убирать трупы, но обратно они уже не возвращались — их тоже расстреливали. (В кабинете на втором этаже я через несколько дней вижу батареи под окном в крови, там лежат сигареты — их принесли друзья и родственники погибших, представляя, как перед смертью кто-то из них мечтал о последней затяжке.) Но одному удалось бежать. Он переваливал через подоконник своего умирающего земляка-армянина, тот умолял: «Добей!» — «Как я могу? Ты что?». Один из двоих охранников вышел, оставшийся менял рожок автомата, мужчина перевалил раненого через подоконник и выпрыгнул сам. Охранник начал стрелять вслед, беглец пополз,

волоча поврежденную ногу. Милиционеры бросили дымовую шашку, и он дополз. И рассказал, что происходит внутри школы.

ОХРАНА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ

Снаружи в это время царил хаос. Штаб, руководимый начальником управления ФСБ по Северной Осетии Андреевым, не добился взаимопонимания с руководством республики и местными властями. Как, например, можно было организовать тройное кольцо оцепления, занизив число заложников? В цепи рядом с собровцами и омоновцами встали местные жители с белыми повязками, вооруженные винтовками, и приехавшие из Южной Осетии автоматчики и пулеметчики.

Московское начальство велело поменьше упоминать о требованиях террористов. А они, кроме вывода войск из Чечни и освобождения своих соратников по бандитскому налету на Ингушетию в июне, потребовали доставить в школу тогдашних президентов Северной Осетии и Ингушетии Дзасохова и Зязикова, советника Президента России Аслаханова и детского доктора Рошаля, причем всех четверых. Было ясно, что их приглашают на казнь: Рошаль — «кровник» террористов по «Норд-Осту», Зязиков — основной адресат их атак в Ингушетии, Аслаханов — враг боевиков и соперник кадыровцев.

Требование о выводе войск в любом случае мгновенно выполнить нельзя. Выходит, разработчикам операции нужен был громкий теракт, и, скорее всего, заложники были заранее обречены, что бы ни происходило снаружи. Но сначала боевики проявили колебания — допустили в школу Руслана Аушева, бывшего президента Ингушетии, создавшего в свое время благоприятный климат для тылов Масхадова. Аушев попросил отпустить детей своего знакомого турецкого бизнесмена. Вместе с ними террористы неожиданно отпустили матерей с грудными детьми — 26 человек. На этом фоне бездействие Дзасохова особенно раздражало бесланцев и всю Осетию. А президент республики объяснял землякам, что в школу его не пускает Москва.

Аушев с разрешения Москвы обратился к заграничному эмиссару ичкерийцев Ахмеду Закаеву, чтобы тот связался с Асланом Масхадовым (на тот момент — главным сепаратистом) и попросил его выступить посредником. Масхадов обещал перезвонить, но не перезвонил. Возможно, он вел переговоры с Басаевым, организовавшим захват. А после объявил, что организаторов теракта надо бы судить, но военная обстановка не позволяет этого.

Второго сентября Рошаль сказал, что дети без пищи и еды смогут протянуть до вечера третьего или утра четвертого, а потом начнут умирать. (Многие из спасшихся действительно были обезвожены и серыми лицами напоминали узников Бухенвальда.) Надежда на успех переговоров затеплилась, когда террористы согласились подпустить к школе двух сотрудников МЧС, чтобы те вынесли трупы. Почему-то пошли не санитары, а два высоких чина — эксперты говорят, хотели разведать возможность штурма. И в это время — в 13.05 третьего сентября — грянул взрыв в спортзале, а через несколько секунд — другой.

Есть три версии первого взрыва. Первая: он был самопроизвольный — что-то разладилось у боевиков. По телевидению говорили о скотче, на котором висели мины, якобы одна отклеилась, упала и взорвалась, — на самом деле взрывные устройства висели на металлических (я их видел) крюках, а часа за два до взрыва некоторые из них закрепили заново, прибив к стенам. Вторая версия: то ли разборка среди боевиков, то ли попытка перекоммутировать устройства привела к взрыву. На эту версию работает факт, что самый большой заряд не сработал, иначе погибли бы все. Но никакой разборки никто не видел, а переустанавливали мины, как уже сказано, раньше. По третьей версии, снайпер снаружи попал в террориста, который стоял на мине-«лягушке», тот упал — и освободил взрыватель.

Из окон стали выпрыгивать дети и взрослые, «оцепление» ринулось спасать своих, по бегущим застрочили пулеметчики из бойниц школы, а по ним — ополченцы и собровцы. Костя Марусич говорит, что, выскочив из спортзала, увидел над школой

звено вертолетов. Значит, готовились к штурму, вертолеты же не могли мгновенно долететь с базы? По школе начал стрелять один из танков 58-й армии, стоявший за железной дорогой, — до сих пор не могут найти того, кто отдал приказ.

Спецназа возле школы не было, хотя, если брались вступать в контакт с террористами, могли соломки подстелить… Спецназ ФСБ (группы «Альфа» и «Вымпел») в те минуты проводил учения в соседнем поселке, а несколько бойцов из его состава охраняли штаб в паре кварталов от школы, но сразу побежать к ней не могли — не было приказа. (Подошли позже, спасли меньше, чем могли бы, и погибло здесь бойцов «Альфы» и «Вымпела» куда больше, чем в других операциях, — они натренированы для скоротечного боя, когда нужно за секунды, ворвавшись, обезвредить противника, а воевали несколько часов. Благодарные бесланцы переслали семьям погибших бойцов часть денег из стекавшейся со всего мира помощи.)

От взрыва загорелась крыша и стала огненным обвалом падать на раненых в зале. Вызвали пожарную машину — она приехала без воды. Во второй машине воды хватило на несколько минут. Машин «скорой помощи» было мало. Так проявилась закономерность, о которой в Беслане вспомнила Людмила Алексеева, руководитель Московской хельсинкской группы: «Ложь всегда приводит к хаосу».

Кто бы и с какими подлинными целями ни совершил захват, заложники стали разменной монетой в руках противоборствующих сил, схлестнувшихся в Чечне. Поэтому давайте еще раз, помедленнее, прокрутим эту пленку.

Захватчики выкинули во двор школы кассету с требованиями, сам факт не удалось утаить от внимания СМИ, поэтому было объявлено, что кассета пустая. Хотя вскоре стало известно о содержании этих требований, которые явно не могли стать предметом переговоров Кремля и Масхадова. Но ведь контакты с Масхадовым через Закаева зачем-то продолжались?

На второй день захвата в аэропорт прилетели Нургалиев и Патрушев. Министр внутренних дел и тогдашний директор ФСБ быстро поняли, что намечается тупик: при таком количестве заложников штурм с минимумом жертв невозможен, а переговоры бесперспективны ввиду жесткой позиции Москвы — и, не показываясь во Владикавказе и в бесланском штабе, улетели обратно. С тех, кто их видел в тот день на осетинской земле, была взята подписка о неразглашении, поэтому официально их там не было.

А в штабе царила анархия, о чем свидетельствует журналист Тедтов, неоднократно заходивший туда. Официально штабом руководил начальник республиканского УФСБ Валерий Андреев, времени которого хватало лишь на длинные интервью. А на самом деле там сидели два руководителя «Альфы»: один бывший — генерал Проничев, другой действующий — генерал Анисимов. Естественно, у каждого был свой взгляд на стратегию и тактику, поэтому реальных действий не предпринималось.

Кроме этих руководителей был еще и генерал Соколов — командующий 58-й армией, были, наконец, осетинские руководители — президент Дзасохов и тогдашний парламентский спикер, а ныне президент Мамсуров.

Очевидцы говорят, что генералы замолкали, когда входил Дзасохов. Один из обратившихся к нему в те дни вспоминает ответ Александра Сергеевича: «Что ты от меня хочешь, я уже политический труп!». Такая реакция была, очевидно, вызвана очередным падением его рейтинга в дни трагедии. Мамсуров чаще бывал не в штабе, а у школы — лишь на второй день посторонним стало известно, что и его дети — а он, даже сменив на посту президента Дзасохова, жил в Беслане — попали в заложники.

К Дзасохову после этих событий относятся хуже, чем к Мамсурову, считают немужским его поведение, думая, что он мог войти в историю народа: в свои семьдесят лет рискнуть и пойти на переговоры с террористами. Передают его слова: якобы Путин приказал в него стрелять, если он пойдет в школу. Но идти и не требовалось — действовала телефонная связь. Потерпевшие Тебиев и Тедтов, которые вели собственное расследование, считают, что Дзасохов был близок к свиданию с Масхадовым.

А Тедтов добавляет: «Почему мой сын, тело которого я сам нашел в спортзале, обгорел со всех сторон? Сто процентов ожога не бывает без применения химиче-

ских огнеметов, это я вам как бывший танкист говорю. А огнеметы могли ударить только снаружи, значит, дети сгорели от российского оружия». Подошвы кроссовок еще долго были в пепле спортзала. В школе погибло более трехсот человек — один процент населения города. А над городом даже через неделю после штурма висел запах жареного мяса…

Так или иначе, переговоры не начинались, а после визита Аушева, которому бандиты разрешили вывести группу заложников, стало ясно, что больше никто из руководителей с захватчиками разговаривать не будет. Поэтому бандиты стали больше издеваться над заложниками. Но ведь и к штурму никто не готовился — по крайней мере, в штабе. Даже не был вызван из отпуска заместитель Андреева, курирующий Беслан, а самому ему как-то не захотелось приближаться к школе.

«Альфа», почему-то переброшенная из Москвы, хотя гораздо ближе ее подразделения в Пятигорске и Краснодаре, занималась тренировками в соседнем с Бесланом Фарне, и до их окончания было далеко. Тем более что из Москвы вместе с оперативниками в этот раз не вылетели сотрудники рабочего аппарата, обеспечивающие точность мгновенной атаки, которые в таких операциях являются глазами и ушами бойцов. Их не пустило начальство. Уже потом, вернувшись и хороня товарищей в Москве, бойцы «Альфы» спрашивали у своих «глаз и ушей»: «Что ж вы?..» — и те почти полным составом написали рапорты об увольнении.

Привычка Кремля долго думать и сильно опаздывать с решениями — президент (тогда) Путин по привычке крепко опоздал и на панихиду — стоила жизни многим альфовцам и не только. Подлинные намерения террористов и обстановку в школе силовики пытались определить лишь по перехватам телефонных разговоров. Поэтому же ставить «прослушку» внутри школы пошли два офицера МЧС, договорившиеся было с террористами об уборке трупов. Но те что-то сообразили и застрелили офицеров. Минут через сорок после этого случился первый взрыв…

Не было нормального оцепления — были упущены, утверждают свидетели, около двадцати террористов. Костя Марусич, которого водили на опознание убитых боевиков, не увидел среди них того, кто вел переговоры со штабом по телефону, причем без акцента, свойственного жителям Кавказа. Все трупы были бородатые, а среди захватчиков было много бритых. А вот предъявленного общественности Кулаева, взятого живым и потом торжественно осужденного, в школе не запомнили. Может, конечно, его поймали снаружи, и был он одним из корректировщиков, — но тогда почему такой чистый, небитый? К тому же в первый день телевидение показало, пусть в маске, но явно другого пленного… И где шахидка, которую взяли в городе, — работник штаба даже слышал взрыв пояса, снятого с нее? Гаишники рассказали мне, что в Ардоне взяли троих закопченных неизвестных, которые заблудились на угнанной машине. Все это совпадает с косвенными сведениями, что в плен были взяты шестеро террористов, а двенадцать ушли.

ФИЗКУЛЬТУРА

Та же правозащитница Людмила Алексеева, встреченная мной тогда в Беслане, подтвердила наблюдение: в системе принятия и проведения решений были серьезные огрехи, а личное поведение как простых людей, так и многих руководителей было безупречным. Таймураз Мамсуров занимался спасенными, когда двое его детей еще не были найдены, и потом, когда его дочь лежала в Москве после тяжелейших операций, а раненый сын — в Беслане. У главы администрации района Владимира Ходова погиб внук, дед с горской гордостью показывает: пуля вошла вот здесь, в грудь, мальчик встретил смерть лицом к лицу.

СМИ рассказали о подвигах спецназовцев, бросавшихся на гранаты, спасая детей. Но они — сознательные профессионалы, они знали, куда идут служить… Учительница начальных классов Эмма Каряева была ранена при первом взрыве. Истекая кровью, она выбрасывала своих третьеклашек за окно, к ней жалась маленькая дочка… Они погибли вместе, Эмма Каряева спасла двенадцать человек.

Об учителе физкультуры Иване Каниди, повторившем подвиг гуманиста Януша Корчака, СМИ тоже рассказывали. Вот отрывки из стихотворения, которое местный поэт Феликс Цаликов опубликовал в бесланской газете накануне столетнего юбилея школы № 1, за шесть лет до трагедии:

БОГ

Ивану Каниди

…Словно в храм, я входил благовейно в спортзал
И на миг, замерев у порога,
Я — счастливейший самый — в тот мир попадал,
Где, казалось, владения Бога.
…Ну, а Бог наш спешил к нам на помощь всегда,
Если мы не в ладах были с волей,
И учил нас великой молитве труда
Через пот, через слезы и боли.

Не будем судить эти наивные стихи, не до этого. Они добавляют штрихи к портрету этого незаурядного человека — и спасибо на том.

Иван Константинович Каниди родился 31 января 1930 года в селе Малая Ирага Тетрицкаройского района Грузии. Отец его работал председателем колхоза, а 1938 году был расстрелян за то, что односельчанин, добравшийся ходоком до Молотова, рассказал ему об этой встрече.

В Осетию Иван приехал уже после войны, поступил в Орджоникидзевский пединститут. Играл в футбол, причем настолько хорошо, что его кандидатура рассматривалась в дубль тбилисского «Динамо». На поле был, по знаковому совпадению, защитником, а на восьмом десятке лет сохранил форму и объем ножных мышц, как у тех футболистов, которых мы видим на телеэкране. Еще он занимался легкой атлетикой и боксом, участвовал в велогонке Калининград — Москва, пришел восемнадцатым. Был, сами понимаете, кумиром многих поколений мальчишек. Вел секцию баскетбола до последних дней, инвентарь закупал сам, деньги ему на это давали бывшие ученики. Так в шкафу и остались пятьдесят комплектов формы, которые тем летом Иван Константинович привез своим баскетболистам из Краснодарского края, куда ездил отдыхать с семьей сына.

Летом у него было два приступа стенокардии, и дети хотели, чтобы он остался на отдыхе еще пару недель золотой осени, но пришлось ехать к 1 сентября: «Я должен выстроить школу на линейку!». О пенсии в свои семьдесят четыре года и слышать не хотел. Имевший до последнего лета давление 120 на 80, лихо делавший стойку на голове и выпивавший перед обедом по стакану собственного вина, он говорил: «Вот на будущий год Янис пойдет в школу, отучу его один класс — можно будет и на покой». (Иван Константинович-младший в школу пошел без деда.)

В спортзале Каниди выделялся среди заложников, его хотели отпустить, сказали: «Дед, можешь идти!». Он остался и почти все время простоял у шведской стенки, хотя 1 сентября перенес еще один сердечный приступ. Он массировал детям затекшие ноги, все время лекторским тоном убеждая боевиков в их неправоте. Другой резонер, его друг, учитель труда Александр Михайлов, тоже пытался воспитывать террористов. Тон не понравился — застрелили сразу.

После взрывов уцелела мина рядом со шведской стенкой. Иван Константинович лег на нее, загородил от детей и спросил у Казика Минтиева: «Какой проводок выдергивать? — Любой...». Дернул наугад — не взорвалась, тогда он поднял ее и выкинул за окно. И направил уцелевших детей в маленький спортзал, в дверь под баскетбольным кольцом. Этот зал он сам оборудовал «качалками», туда приходили по вечерам не только ученики. Говорят, заходил и разведчик террористов…

Дети пошли с Минтиевым, а Каниди обернулся — боевик направил автомат: «Ты этого хотел — получи!». Каниди крикнул детям: «Бегите, бегите, не оглядывайтесь!» — и схватился за дуло. Если бы не три дня жажды и голода, он бы свалил бое-

вика запросто, а тут поехала нога. Но автомат отвел. Боевик, очевидно, выхватил пистолет: в груди Каниди было три пулевых отверстия, одно — в голове. Контрольный выстрел.

Похоронили Ивана Константиновича не на новом кладбище, вместе со всеми жертвами теракта, а на старом, где могила жены и заранее приготовленный им себе памятник. Мраморный, с открытой датой. Чего удивляться — он был мастер на все руки, одно скудное время подрабатывал мраморщиком в Грозном...

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭТНОГРАФИЯ

На втором этаже школы в кабинете географии, рядом с кабинетом, где расстреливали мужчин, сопровождавший нас Артур спрашивает: «Чувствуете, какой запах?» — «Какой?» — «Это кровь».

Кровью пахнет вся кавказская география. Когда родные заложников поняли, что не вернулось из школы больше людей, чем найдено трупов, первым делом они принялись искать своих близких в Ингушетии. Зря искали, скорее всего, оставшихся фрагментов тел, переданных в печально известную ростовскую лабораторию, хватит на всех пропавших.

Тут важно и страшно направление первого импульса. Как и злые усмешки при телевизионном рассказе о десяти арабах-террористах. Как и разговоры о том, что ополченцы пойдут мстить «ваххабитам».

Беслан, кроме того, что это столица знаменитых осетинских водок, — самый крупный гражданский и военный аэродром на Северном Кавказе. Если туда опять прилетит важная комиссия из Москвы, перед посадкой ей стоит посмотреть в иллюминаторы правого борта — она увидит новое кладбище, где еще нет высоких деревьев — только ровные ряды одинаковых могил. Здесь похоронены жертвы этого теракта. А с холмов вокруг аэропорта видны три деревни. Это уже Ингушетия.

Я видел под Назранью мемориал жертвам геноцида ингушского народа. Экспозиция в нем поделена поровну: стенды, рассказывающие о сталинской депортации 1944 года, и стенды, рассказывающие об осетино-ингушском конфликте 1992 года. В Беслане никто не жалел ни о первом событии, ни о втором. Хотя понимали, что геноцид был, но считали его возможной мерой. Никого не волновали мои рассказы о страшном погроме в Назрани 22 июня 2004 года, когда вместе с милиционерами погибло и 20 мирных жителей. Беслан затмил и взрывы самолетов, и шахидку на «Рижской». Он запугивал власть не только ощущением достижимости любого объекта, но и доисторической, нечеловеческой жестокостью, способной вызвать лавину неконтролируемого террора, кровной мести, национального безумия.

А зачем власть пришла с оружием на Кавказ, влезла с тупой прапорщицкой самоуверенностью в старые разборки? И осетины, и ингуши, и их соседи считают себя потомками древних аланов, они веками гоняли друг друга по «кавказскому меловому кругу». У них у всех — христиан, язычников и атеистов — одинаковые имена. Потом жизнь в большой империи равняла всех одинаковым гнетом, потом появилась возможность под идеологическими лозунгами поживиться землей соседа — и начали кроить границы. Непонятно, почему в составе Грузии оказалась Южная Осетия, а ингушей слили с их недругами-чеченцами, почему всех расселили именно так. Лучше не стало, разбои и набеги продолжаются, но теперь виновата уже Москва — все стороны убеждены в ее корыстных умыслах.

Боевики готовились к операции в приграничном лесу, который не контролировался ни осетинской, ни ингушской милицией. В банде были и чеченцы, и ингуши, и осетины, и русские. Отряд проехал к Беслану по дороге, которую используют бензовозы с ворованным горючим, где есть твердая такса за проезд любой машины без досмотра. Им помогло обычное воровство, обычная вненациональная коррупция.

Им помогает и само безынициативное устройство наших властных структур, когда псевдокрепкая «вертикаль» способна проводить решения только одного человека, да и то с задержками и искажениями. Не пустили Александра Дзасохова к пе-

реговорам — он по цековско-дипломатической привычке согласовывал каждый шаг с растерявшейся Москвой — и на передний план выдвинулся Эдуард Кокойты. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия привел своих бойцов в Беслан и выносил детей под огнем, крича своим охранникам: «Что вы вокруг меня бегаете, хватайте детей!». Его рейтинг среди осетин стремительно вырос — и шансов на урегулирование осетино-грузинского конфликта стало еще меньше. А это, в свою очередь, привело к российско-грузинскому конфликту четыре года спустя. И к падению очередных иллюзий на Западе относительно России…

ТЕХНОЛОГИЯ ТЕРРОРА

Никаких переговоров с террористами — звучит правильно и решительно. Но как выделить именно террористов из общего хора недовольных имперской политикой? И что делать с теми, с кем бессмысленно разговаривать? Как их «мочить в сортире»? Оружие на Кавказе есть у всех, и не по одному стволу. Регулярно проходящие операции по его изъятию не дают результата и сами стали источником казнокрадства. Например, по отчетам, в одном году в Северной Осетии добровольно сдано оружия на 23 миллиона рублей. Но никаких следов положенных выплат не обнаружено.

До сих пор говорят о бандах, о полевых командирах. И параллельно — о мирных жителях и раскаявшихся, вернувшихся с гор домой боевиках. В открытую сопрягают эти понятия только солдаты, осознающие, что мирный житель днем — это возможный боевик ночью. Солдатам не легче от того, что дело не в разбойничьем менталитете подлого противника, а в том, что не уехавших из Чечни мужчин жизнь заставляет не работать, а воевать.

Происходит это примерно так. Поступает заказ на акцию. Под нее собираются несколько профессионалов, до того, возможно, и не знакомых. Решают, сколько им нужно рядовых исполнителей, сколько им стоит выделить денег из поступившей суммы, а сколько — оставить себе. Жизнь и смерть на Кавказе дешевы, так что суммы, которые Басаев называл в Интернете, похваляясь эффективностью акции, вполне вероятны. Потом устанавливают связь с теми, кто живет в месте проведения акции, организуют разведку. Репетируют. Воюют или взрывают. И разбегаются.

Отдельно нужно обговорить понятие «заказ» — попытаться представить, от кого он может поступить. Хотя действие этого «заказа» не меняется в зависимости от лица, его выдающего. Скорее всего, при единой схеме исполнения за разными акциями могут стоять разные заинтересованные лица. Силовики и кавказские наместники вроде бывшего президента Ингушетии Зязикова любят говорить об иностранных заказчиках, намекая не столько на арабских исламистов (те, мол, лишь исполнители), сколько на страны НАТО или на Грузию как их «служанку». Мол, идет битва за трассы нефтепроводов и газопроводов.

Это вызывает сомнение: слишком много у западных стран сейчас хлопот с мусульманским экстремизмом (в Ираке и Афганистане, например), чтобы подносить спички к кавказскому пороховому погребу. Если они хотят установить контроль над потоком углеводородного сырья, это тем более опасно: вырастят новую «Аль-Каиду» — она и схватится за трубу. Достаточно возможных смутьянов-организаторов и без дальнего Запада, скажем, в близкой Турции… Правозащитники считают, что террор на Кавказе провоцирует само российское государство – не намеренно, а в силу тупости политики. Но возможно еще одно соображение.

В сером теневом мире, где осведомители спецслужб устраивают теракты против представителей своих организаций, а подпольные враги государственного единства устраивают внутренние разборки и «сдают» конкурентов силовикам, мало что изменилось со времен Азефа и Гапона. Об этом напоминает темная история предвыборного 1999 года — не только взрывы домов, но и закулисное науськиванье Басаева на поход в Дагестан.

В бесланской истории, как мы видим, есть непонятные шаги властей: хаос штабов, двойное отношение к переговорам с Масхадовым, отказ от наработанных силовых схем и опытных профессионалов. Было и прямое поощрение террористов: отмена чрезвычайного режима, пропуск машины (или машин) с нападавшими, неясность с их числом, позволяющая умалчивать об уходе возможных участников налета. А среди них мог быть как раз тот, кто служил «диспетчером» поступившего заказа…

Как видим, децентрализованный, сетевой способ действий не исключает ни стратегического планирования, ни обучения тактике. Террористическая сеть усвоила уроки «Норд-Оста» и послала в Беслан зомби с противогазами, построила августовско-сентябрьскую атаку 2004 года (как и потом, в следующие годы) по нарастающей (взрыв самолета, взрыв на «Рижской», Беслан), чтобы пиаровский эффект рос от одной акции к другой. Этой сети не нужна огромная армия и увеличенный за год на треть военный бюджет, ее призывников поставляет ее противник. Она способна легко менять цели и средства, не дожидаясь разработки курса в военной академии.

Вот и звучат взрывы в Чечне и Ингушетии, Дагестане и Кабардино-Балкарии, в Ставрополе и Москве. И страшно подумать, что может быть следующим узелком этой сети!

ИНФОРМАТИКА

А Беслан продолжает жить. Виссарион Асеев, еще пару месяцев до захвата занимавшийся созданием ячейки «Союза правых сил» и даже вместе с мальчишками установивший два баскетбольных щита с названием партии, приютил в своем компьютерном клубе учительский комитет. Уцелевшие дети играли в его клубе бесплатно. Сделали сайт www.beslan.ru и переписывались со всем миром, организуя помощь пострадавшим. Как только приходили деньги, развозили их по квартирам на старенькой «Волге». Деньги нужны будут долго, ведь многим ребятишкам придется каждые полгода делать новые протезы. Никто из «Союза правых сил» не связался с Асеевым и не спросил, чем помочь. Может, поэтому партия так бесславно загнулась, не найдя ни опоры в народе, ни четкости в организации?

Пару дней назад, почти шесть лет спустя после трагедии, я обсуждал с аналитиком из спецслужб (отставник, но ведь бывших, как сказал бывший чекист Путин, в этой службе не бывает) уроки бесланской школы. Я не стал говорить ему о моральном падении власти, которая с тех пор никак не улучшила свой имидж. А он не стал говорить мне о технологических приемах, которые с тех пор поменяли спецслужбы. Он сказал неожиданно просто то, о чем должен был бы подумать я, — о механизме взаимодействии государства и общества при лечении общих болезней: «Если бы тогдашняя знаменитая комиссия Совета Федерации провела полноценное расследование, не стала бы дезавуировать самостоятельное мнение некоторых своих членов об ошибках представителей власти, а поддержала бы его авторитетом доказательств — кстати, поначалу в комиссию верили и несли туда, на разбор, малейшие детали произошедшего… Если бы комиссия, куда вошли представители гражданского общества, была способной отстаивать до конца свое мнение, а не микшировать его по аппаратным правилам… Если бы глава комиссии сенатор Александр Торшин оказался более храбрым человеком… Если бы комиссия разобралась в причинах недостоверности информации о численности нападавших, убитых и убежавших боевиков и его причинах, дала оценку штабу… Из бесланской истории можно было выйти с меньшими потерями для государства. Не висели бы преступные ошибки и вранье на всей власти в целом, можно было бы, повинившись и очистившись, показать и жертвам, и преступникам, что вот так мы больше поступать не будем, а будем поступать иначе. И тем самым стать сильнее. А так… Понимаешь, получается, мы все в борьбе с бандитами опустились до бандитских понятий».

Понимаю…

Константин Фрумкин

Откуда исходит угроза книге

Возможность исчезновения книги под влиянием компьютерных технологий беспокоит культурологов с конца прошлого века. Этому, например, посвящена недавно вышедшая на русском языке и сразу ставшая популярной книга интервью Умберто Эко и Жана-Клода Карьера под характерным заголовком «Не надейтесь избавиться от книг!». На первый взгляд проблема здесь чисто техническая, связанная с гигиеничностью экранов, дешевизной переносных электронных устройств и возможностью решения проблемы авторского права внутри компьютерных сетей. Но в таком ракурсе речь идет не о книге как таковой, а только о бумажной книге.

Вопрос о материальных носителях текстовой информации мог бы и не быть столь важным, если бы от них не зависело отношение человека к тексту. Вообще говоря, смешно предполагать, что угрозу книжной культуре представляет прогресс в сфере распространения информации, делающий тексты более доступными. Если где-то и таится опасность, то это в мышлении и потребностях потенциального читателя. Поэтому главный вопрос, который ставит развитие культуры отчасти независимо от достижений компьютерной техники и телекоммуникаций, — будет ли нужна книга человеку будущего.

ПАНИКА НА УРОКЕ ЛИТЕРАТУРЫ

Из массовых жалоб педагогов, пришедших в ужас от глобальных перемен, происходящих сегодня с учениками средней школы и вообще учащимися, можно узнать, что дети сравнительно легко пишут сочинения и крайне трудно — изложения. То есть они плохо понимают чужие мысли. Слышатся также жалобы, что дети теперь меньше читают и — опять же — не понимают смысла прочитанного.

Разобраться в причинах реальной или мнимой деградации школьников трудно, поскольку нужно учитывать множество факторов. Конечно, на сегодняшней школе сказываются последствия развала всех социальных систем в 90-х годах. Несомненно, на мотивацию учащихся влияет социальная неэффективность образования — участившиеся случаи несовпадения образованности и успешности и общее отставание системы образования от требований жизни. На качестве образования сказывается и доходящее до абсурда разрастание количества учебных заведений, когда мест в вузах оказывается больше, чем выпускников в школах. Но все это — специфически российские факторы, между тем упадок среднего образования наблюдается во многих странах мира, несмотря на инвестиции в эту сферу.

Один из факторов, превращающих учеников в глупцов, с точки зрения учителей, — глобальные изменения когнитивного стиля, поскольку мир, насыщенный электронными коммуникациями, формирует тип восприятия, отличный от тексто-

Об авторе | Константин Григорьевич Фрумкин родился в Москве в 1970 году. Закончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации. Журналист, культуролог, кандидат наук. Последняя публикация в «Знамени» — см. «Форум», 2007, № 7.

вого. Филолог, профессор РГГУ и Оксфордского университета Андрей Зорин сказал в одной из своих лекций: «Сегодня из многих источников идут сообщения, что человечество вступает в новую эпоху, что у молодого поколения фундаментально изменяется культура восприятия: ему не нужен линейный текст. По-видимому, сегодняшняя культура в принципе создает огромные проблемы для молодого человека в области восприятия вербальной культуры. Современным молодым людям трудно работать со словесными текстами. Я опять-таки не хочу восклицать: "Какой ужас!" — и рвать на себе волосы: современные молодые люди умеют массу всего такого, чего мы абсолютно не умели и о чем даже не подозревали».

Педагогика — институт довольно консервативный, всегда подчеркивающий свою преемственность с культурой прошлого. Едва ли не с эпохи средневековья в школе господствует текстоцентрическая культура. При этом во все времена были люди «нетекстового» склада личности, которые в эту систему не укладывались. Они дискриминировались как неуспевающие, их обрекали на физический труд, и лишь некоторые пробивались в невербальные сферы, имея по дороге все соответствующие неприятности из-за плохих отметок по математике и языку. Общество считалось с этой «культурной диктатурой»: детей готовили к текстоцентрической школе и в детских садах, и в телепередаче «АБВГДейка», и много где еще. Теперь по разным причинам на формирование мышления и восприятия детей влияет большое количество внешкольных факторов, и среди них — электронные средства коммуникации: компьютеры, компьютерные игры, Интернет, мобильные телефоны. И теперь внетекстовый (а отчасти и дотекстовый) уровень мировосприятия находит благоприятную среду в мире электронной техники.

Вот что сказал в интервью газете «КоммерсантЪ» известный британский специалист по информационным технологиям Джеймс Мартин: «Людей можно разделить на два типа. Первый — это "люди книги". Эти люди получают много информации от чтения, поэтому их главная отличительная черта — очень хороший объем внимания. Таковы, например, успешные топ-менеджеры. Во время переговоров они всегда помнят о том, какой вопрос является основным в обсуждении. "Люди экрана" кардинально отличаются от них. Они обладают очень быстрым откликом. Само по себе это неплохо, но мешает координации с другими. Во время разговора "люди экрана" постоянно хотят сменить тему и двигаться дальше. Сейчас очень многие обеспокоены тем, что дети с ранних лет имеют дело с машинами и при этом не читают книг. Вырастает поколение людей, которые привыкли к тому, что на экране происходит несколько вещей одновременно, и хотят, чтобы окружающая среда немедленно реагировала на их запросы. Уже сейчас у самых молодых диапазон внимания гораздо ниже, чем у тех, кто старше двадцати. Это может плохо отразиться на разуме человека. В будущем нам очень понадобится способность принимать взвешенные решения и кооперироваться друг с другом. Поэтому уже сейчас нужно поставить вопрос о том, не теряем ли мы здравый смысл и можем ли мы сделать что-то, чтобы сохранить его. Я, впрочем, уверен, что сможем».

Во все времена были люди разных способностей и разных врожденных склонностей, но если школа прошлого старалась «людей экрана» заставить читать, то теперь компьютер, сверкающий экранами мониторов, побуждает и «людей книги» смотреть больше клипов.

Примерно в середине 1990-х годов происходящие с человеческим сознанием изменения были зафиксированы в понятии «клиповое мышление». Однако в том, как это понятие употребляется, имеется два очень сомнительных момента. Во-первых, клиповое мышление считают исключительной принадлежностью молодежи, детей и тинейджеров. Во-вторых, его считают исключительно негативным явлением, злом, с которым надо бороться. В США рассеянное внимание школьников лечат медикаментозно. В России во имя этой борьбы рекомендуют побуждать детей и подростков больше читать. Известный публицист, литературный критик и футуролог Сергей Переслегин считает, что клиповое мышление является главной причиной упадка среднего образования, и рекомендует специальные тренинги, которые помогают сосредотачивать внимание на одном предмете.

Возможно, эти рекомендации очень полезны. Но сама по себе идеология борьбы с клиповым мышлением если не порочна, то обречена на неудачу. Прежде всего «клиповое мышление» у подростков проявляется более ярко, но на самом деле оно начало внедрение в нашу цивилизацию очень давно — не одно десятилетие назад, а если обратиться к истокам, то и не один век. Клиповое мышление — это вектор в развитии отношений человека с информацией, который возник не вчера и исчезнет не завтра. Хотя есть причины, почему конфликт между традиционной культурой и клиповым мышлением проявился именно в школе. Прежде всего за пределами школы многие несоответствия культурных «хабитусов» остаются незаметными. Если человек не считает, что библиотеки и музеи ему нужны, он просто в них не ходит, а они не присылают за ним конвоев. И только в школе (в школе вообще и в средней школе в особенности) культура определенного типа предстает в форме административно-принудительной силы. Только в школе людей, не склонных к чтению книг, пытаются заставить их читать. Кроме того, школа обладает высокой степенью культурного консерватизма, в то время как дети впитывают все новшества. Таким образом именно в школе происходит столкновение арьергарда и авангарда эволюционирующего мышления.

Во-вторых, клиповое мышление обладает не только недостатками — это просто развитие одних когнитивных навыков за счет других. Об этом в частности сказано в книге американского психолога Лари Розен «Я, мое пространство и я: воспитание сетевого поколения». («Me, MySpace, and I: Parenting the Net Generation»). Автор отмечает, что сильная сторона «поколения I» (Internet Generation), воспитанного в эпоху бума компьютерных и коммуникационных технологий, — их возросшая способность к многозадачности. Дети интернет-поколения одновременно могут слушать музыку, общаться в чате, бродить по сети, редактировать фотки, делая при этом уроки. Но, разумеется, платой за многозадачность становятся рассеянность, гиперактивность, дефицит внимания и предпочтение визуальных символов логике и углублению в текст.

СООТНОШЕНИЕ СПОСОБНОСТЕЙ

Суть клипового мышления заключается в том, оно умеет — и любит — быстро переключаться между разрозненными смысловыми фрагментами. Главное достоинство «клипового восприятия» — большая скорость обработки информации. Другая его особенность — предпочтение нетекстовой, образной информации. В книге Александра Марьяновича «Эрратология», посвященной процессу защите диссертаций, рекомендуется ускорять «мелькание» различных картинок в ходе презентации, поскольку «на пороге научных учреждений уже стоит поколение, воспитанное на видеоклипах» — а в видеоклипах экспозиция одного кадра занимает всего несколько секунд.

Обратной стороной клипового мышления, требующего своеобразной виртуозности и реактивности, является неспособность к восприятию длительной линейной последовательности — однородной и одностильной информации, в том числе книжного текста.

Сосредоточение внимания на одном предмете — навык, который индийские йоги развивают в длительную медитацию, — очень важно; но и умение быстро переключаться на новую задачу, быстро входить незнакомую ситуацию — тоже весьма важно. Парадокс в том, что эти навыки, одинаково необходимые человеку, во многом антагонистичны — реактивность развивается за счет сосредоточенности, и наоборот. Никто не знает, какой должна быть идеальная пропорция между ними.

Стенания педагогов о необходимости борьбы с клиповым мышлением свидетельствуют, что характерное для молодежи соотношение концентрации и переключаемости не соответствует идеальным представлениям взрослых об этой пропорции — но еще надо доказать, что их идеал действительно достоин сохранения. Тем более что всегда возникает прагматический вопрос: если именно данное соот-

ношение умения углубляться и умения переключаться является оптимальным — то оптимальным для каких целей, для чего? Очевидно, что «клиповое мышление» — то есть усиленное развитие навыка быстрого переключения за счет длительного сосредоточения — более соответствует той информационной среде, в которой обитает подросток.

Развитие цивилизации явно предполагает необратимый сдвиг данной пропорции в пользу умения переключаться. И бороться с клиповым мышлением — не значит ли приспосабливать учеников не к реальности, а к системе образования, закрепляя разрыв этих систем, отрыв учащихся и школы от господствующего образа жизни? В идеале школа должна готовить детей к реальной действительности; но, когда сама школа перестает соответствовать ей, она предпочитает не изменяться, а вооружать учеников против действительности — то есть едва ли не калечить их психику. Другое дело, что нам может не нравиться вектор развития цивилизации, — но кто может его изменить? Школа, как мы видим, сделать этого не может — она может лишь слегка тормозить глобальные перемены в мышлении.

На самом деле люди нового когнитивного стиля вовсе не являются интеллектуально неполноценными — наоборот, они в совершенстве владеют многими необходимыми им навыками. Они лишь выпадают из культуры, ориентированной на линейный текст. Рассказывает известный блогер: «Я вспомнил, как при мне играли ребята в компьютерные игры. Там между эпизодами были по два-три экрана текста, затейливо выписанные разборки какого-то героя с местными королями — что у кого отнял, как обидел, а они собрали войско, пошли в поход, по пути пересекли пустыню и... Я не успевал дочитать, как ребята вертели страницу. Они прочитывали три страницы махом, я едва первые строки успевал собрать в голове. Они искали ключ. Им не было нужды читать эту детскую сказочку — они были знакомы с этим типом игр и знали, что из всего этого текста следует извлечь указание, что должен добыть герой на следующем этапе игры. Отбить пленных на маленьком островке в центре карты. Добыть кольцо с изумрудом. Пробиться в Цитадель Зла. Все, ясно. Поехали дальше — играть. Текст — в том числе сюжетный — стал излишним. Текст является набором спрятанных ключей, нужных для понимания ситуации. Если угодно, текст стал инструкцией: из нее вытаскивают нужную для решения конкретного вопроса информацию, но странно читать инструкцию, любуясь стилем. А пересказывать ее? А это вообще осмысленное дело — пересказывать то, что едва замечаешь в поисках нужного? Ты роешься в огромном сундуке рухляди, торопливо выбрасываешь на пол старые тряпки, газеты, какие-то валенки, мать их... наконец находишь то, что долго искал, — и тут тебе задание: опишите то, что вы нашли в сундуке. Да и не глядел вовсе...».

У людей будущего нет иных навыков работы с текстами, кроме конвертации их в практические инструкции (но не обратно), и поэтому нет почтения к текстам. Педагогика, которая льет слезы над этим новым человеческим типом, — наследница средневековой педагогики, базировавшейся на заучивании текстов. Нет сомнений, что, как бы этого ни хотели люди предыдущих поколений, такая педагогика в новую эпоху выжить не сможет.

Поэтому куда более здравым являются призывы не бороться с клиповым мышлением, приспосабливая его под уже умирающую культуру, а использование его особенностей для учебного процесса. Примером этого может служить статья, написанная учителем русского языка и литературы одной из московских гимназий под характерным заголовком «Клиповое сознание работает на литературное образование» («Учительская газета», 2003, № 51). Автор, Татьяна Мусатова, пишет: «Каждый учитель-практик прекрасно знает, что современные школьники по преимуществу визуальщики и кинестетики. Им необходимо посмотреть и потрогать. Раскрасить и подрисовать… Сейчас модно ругать “клиповое сознание” подростка, но можно принять это явление как объективный факт и заставить работать это “клиповое сознание” на развитие ученика… Как ни парадоксально, но такой внешне несерьезный прием, как раскрашивание маркерами текста, весьма продуктивен для такой серьезной деятельности, как анализ поэтического произведения».

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Жалобы учителей на учеников свидетельствуют о фундаментальном цивилизационном сдвиге. Сегодня на наших глазах начинает исполняться пророчество канадского философа Маршалла Маклюэна о том, что развитие электронных средств коммуникации вернет человеческое мышление к дотекстовой эпохе, и линейная последовательность знаков перестанет быть базой нашей культуры. Самое интересное, что Маклюэн писал свои книги в 60-х годах, он знал лишь телевидение, а телевидение по нынешним временам достаточно архаично, ибо все-таки предполагает линейную последовательность повествования: фильм, передача. Чтобы придать телевидению современную форму, человек вынужден взять пульт и начать переключать каналы — вот тогда, нарезав изображение на отдельные, не связанные между собой фрагменты, он приводит телевещание в соответствие с современным менталитетом.

Для стоящего на пороге мира клипового сознания даже комикс архаичен, представляя собой логичную линейную последовательность. Поэтому опасность для книги заключается не в электронном методе подачи информации, а в том, что теряется понимание, зачем, собственно говоря, нужна длительная последовательность в изложении мыслей, когда смысл можно уложить в не связанные между собой линейно кластеры. Словарь с короткими, ссылающимися одна на другую статьями — вот бумажная книга будущего. Текст будущего — короткий и рубленый, вроде реплик в «ЖЖ» или «Твиттере».

Однако, вопреки Маклюэну, «дотекстовое», а вернее, «посттекстовое» мышление наступает вовсе не только благодаря прогрессу электронных коммуникаций. Дело в самой потребности быстрого усвоения информации на разнообразные темы.

Первый шаг «мышление постиндустриальной эпохи» сделало тогда, когда появились газеты — форматы подачи информации, состоящие из большого количества коротких, не связанных между собой текстов. Уже в XIX веке многие выдающиеся деятели традиционной европейской культуры поняли, что газета — это страшная антикультурная сила, которая переделывает мышление и воспитывает особый тип участника культурного процесса: поверхностного, разбросанного, способного видеть мир только через призму газетной статьи и не способного усваивать более сложную интеллектуальную продукцию. Европейские интеллектуалы начинают писать гневные обвинения в адрес газет. Критик Александр Скабичевский предостерегает Чехова от работы в газетах и говорит, что газетное царство грозит ему участью клоуна, шута и, в итоге, выжатого лимона. Цветаева пишет ужасное стихотворение «читатели газет» —

Глотатели пустот,
Читатели газет!
Газет — читай: клевет,
Газет — читай: растрат.
Что ни столбец — навет,
Что ни абзац — отврат.

Гессе в своем романе «Игра в бисер» обличил попытку газет заигрывать с интеллектуальными темами и создал известное понятие «фельетонной эпохи». Фельетонам в «Игре» посвящено несколько страниц: «Похоже, что они, как особо любимая часть материалов периодической печати, производились миллионами штук, составляли главную пищу любознательных читателей, сообщали, или, вернее, “болтали” о тысячах разных предметов… Излюбленным содержанием таких сочинений были анекдоты из жизни знаменитых мужчин и женщин и их переписка, озаглавлены они бывали, например, “Фридрих Ницше и дамская мода шестидесятых — семидесятых годов XIX века”, или “Любимые блюда композитора Россини”, или “Роль болонки в жизни великих куртизанок” и тому подобным образом. Популярны были также исторические экскурсы на темы, злободневные для разговоров людей состоя-

тельных, например: “Мечта об искусственном золоте в ходе веков” или “Попытки химико-физического воздействия на метеорологические условия” и сотни подобных вещей… Меняла ли знаменитая картина владельца, продавалась ли с молотка ценная рукопись, сгорал ли старинный замок, оказывался ли отпрыск древнего рода замешанным в каком-нибудь скандале — из тысяч фельетонов читатели не только узнавали эти факты, но в тот же день или на следующий получали и уйму анекдотического, исторического, психологического, эротического и всякого прочего материала: над любым происшествием разливалось море писанины, и доставка, сортировка и изложение всех этих сведений непременно носили печать наспех и безответственно изготовленного товара широкого потребления».

Фельетоны осуждаются Гессе от лица элитарной, снобистской культуры, он видит в них опошление, популяризацию и бесполезную растрату сил, но мы, ретроспективно глядя на инвективы Гессе, видим, что «фельетон», каким он был в немецкой прессе 1930-х годов, представляет собой лишь этап в измельчании (в прямом и переносном смысле слова) информационных текстовых форматов.

Дроблению сообщений, усилению их лаконизма способствовало появление электросвязи. Телеграф привел к появлению специального телеграфного языка — предельно лаконичного, на определенной стадии использовавшегося без предлогов и союзов. В истории русского языка именно распространению телеграфной связи во время Первой мировой войны мы обязаны такому уродливому, но необходимому явлению как аббревиатура, без которой сегодня немыслим ни деловой, ни административный, ни газетный язык. Телеграф породил телеграфные агентства, а они — особый жанр сверхкраткого и начисто лишенного всяческих риторических или интеллектуальных украшений информационного сообщения. С тех пор, как с начала XX века газеты начали публиковать сообщения телеграфных агентств без литературной обработки, последние стали играть в печати роль эталона концентрации смысла, на которой ориентируется и вся пресса в целом.

Правда, долгое время пресса все же представляла собой компромисс между, с одной стороны, потребностью культуры в разрозненных фрагментах информации и, с другой стороны, традициями книжности, проявленными в книжной или квазикнижной форме выпуска печатных изданий. Журнал или газета хотя и состояли из отдельных статей и заметок, но объединялись в номера или выпуски, каждый из которых делился на разделы, упорядоченные по некой иерархии (почти во всех случаях политические новости шли впереди) — в этом смысле номера газет и журналов представляли собой квазицелостные послания, внутри которых статьи выполняли роль глав — во всяком случае, могли с некоторой натяжкой восприниматься в этом качестве.

Интернет повлиял на прессу не столько через раздробление текстов — хотя жанр *сообщения информационного агентства*, «тассовки» расцвел пышным цветом и размеры статей стали уменьшаться, — сколько через рассыпание номеров и превращение отдельной взятой статьи в элемент не номера или выпуска и даже не потока материалов данного информационного ресурса, а в элемент глобального информационного пространства. При том что многие сетевые издания продолжают объединять публикуемые материалы в номера. Для тех изданий, которые параллельно выходят в бумажном виде, это естественно, а чисто виртуальные СМИ делают это по традиции. Однако намерения редакций не имеют значения, поскольку для читателей целостность такого выпуска не является значимой реальностью: доступ к материалам читатель получает через поисковые машины, кросс-ссылки, специальные информационные порталы, ленты новостей и т.д.

Параллельно победоносному шествию телеграфа, телеграфного агентства и аббревиатуры в сфере высоких искусств модернизм стал экспериментировать с разложением смысла на несвязные фрагменты. Футуристическая живопись нарезала мир на кубики и лучи, литераторы-модернисты ломали правильность линейного повествования. Розанов, когда писал свои «Опавшие листья», явно нуждался в «Живом журнале», хотя и не знал этого.

Дадаист Тристан Тцара тогда же предложил разрезать поэмы и вытаскивать слова или фразы из шляпы в произвольном порядке, создавая новое произведение. Ак-

ция Тцары не была значительной сама по себе — но ее формула оказалась чрезвычайно симптоматичной, и с тех пор историки литературы неизменно называют Тцару предтечей особой авангардистской технологии — нарезки, или cut-up, борющейся с линейностью традиционных произведений искусства. Например, в 1959 году художник и писатель Брион Гайсин разрезал газетные статьи на отрывки и наобум их реконструировал. Позже к числу создателей текстов в технологии cut-up относили Уильяма Берроуза, Джеффри Нуна, а также Курта Кобейна из группы «Nirvana».

Литературный постмодернизм с его эстетикой коллажа и каталога был не только закономерным «увенчанием» развития западной культуры в XX веке, но и очередным всплеском авангардистской, антиклассической линии этой культуры — линии, начавшейся самое позднее вместе с XX веком. Но любопытно, как постмодернизм соотносится с эпохой массовых коммуникаций. Новации, которые постмодернисты вносили в структуру литературных произведений, — техника коллажа, фрагментарность, системы отсылок к другим текстам, склонность к комментированию, ирония — являлись «экзотическими» для книжной литературы, но очень точно отражают информационное поведение человека в Интернете и вообще в системе электронных коммуникаций. Сегодня мы уже не видим в этом ничего удивительного, но если присмотреться к хронологии, то можно заметить, что постмодернизм примерно на двадцать лет предшествовал эпохе коммуникаций. Развитие постмодернистской литературы началось где-то в 1970-х годах (по некоторым версиям — в 1950-х), в то время как массовое распространение электронных коммуникаций началось в 1990-х годах. То есть постмодернизм, еще ничего не зная об Интернете, на бумаге имитировал поведение человека в Интернете. А когда возник Интернет — он породил постмодернистского субъекта коммуникаций, не оглядываясь на уже существующую эстетику постмодернизма.

Куда вернее было бы сказать не то, что постмодернизм предчувствовал возможности телекоммуникаций, но то, что он чувствовал тот тип личности, которая нуждалась в электронных коммуникациях для наилучшего удовлетворения своих потребностей — так же, как сто лет назад она для этого нуждалась в газетах и телеграфе. У постмодернизма была не только своя эстетика, но и прагматика – он симптоматически фиксировал те формы, в которых нуждался нарождающийся «продвинутый» тип гражданина западной цивилизации.

ОТКУДА ВОЗНИК «ЧЕЛОВЕК РАЗДРОБЛЕННЫЙ»

Можно выделить пять ключевых факторов, породивших сознание нового типа — носитель «клипового мышления».

Во-первых — ускорение темпов жизни и напрямую связанное с ним возрастание объема информационного потока, что порождает проблематику отбора и сокращения информации, выделения главного и фильтрации лишнего, замены текстов их конспектами, рефератами и эрзац-изложениями, замены слов аббревиатурами. Книжная культура не предполагает сокращений, краткое изложение книги не эквивалентно ей, а представляет собой другой текст.

Во-вторых — также вытекающая из ускорения темпов жизни потребность в большей актуальности информации и скорости ее поступления. Сама по себе актуальность не плоха, но она сокращает время, которое требуется на обобщение поступающей информации и осознание причинно-следственных цепочек, в которые вписывается новость. Актуальный текст просто не успевает включить в себя интерпретационную часть.

В-третьих — увеличение разнообразия поступающей информации. Западная культура последовательно училась находить все больше факторов, влияющих на каждое интересующее ее явление. Управление предприятием требует как технической, так и финансовой информации. Исход войны зависит от экономики, пропаганды, морального состояния населения и достижений академической физики. Учитель математики должен разбираться не только в своем предмете, но и в

психологии учеников. Каждая новая группа факторов означает возникновение нового потока новостей, относящихся к этой теме.

В-четвертых — увеличение количества дел, которыми один человек занимается одновременно. Пятьдесят лет назад «занятие» предполагало полное поглощение человеческой жизни, а занятие несколькими делами свидетельствовало о поверхностности или какой-то особой «кипучей натуре». Сегодня занятия называются «проектами», и в этом слове содержатся две важные коннотации. С одной стороны, проект, в отличие от «дела», «занятия», имеет ограниченный срок жизни и будет сменен другим. С другой — он не претендует на то, чтобы монополизировать время и внимание человека. Сегодня в продвинутых слоях западного общества принято заниматься одновременно несколькими проектами: писатель пишет несколько романов, бизнесмен управляет несколькими бизнесами и т д. Поскольку человек занимается одновременно разными проектами, он вынужден иметь дело с разными информационными потоками, поступающими от каждого из них. Разговор о проектах тем более важен, что каждый из них представляет собой именно такую реальность, какую письменная культура привыкла презентовать с помощью категории сюжета. Один проект — это один сюжет с началом, серединой и финалом, все по «Поэтике» Аристотеля. Ну а сюжет — это основа для целостного текста, для литературного произведения. Многопроектность разрушает эту основу.

В-пятых — рост демократии и диалогичности на разных уровнях социальной системы, переход риторики в диалектику и проповеди в дискуссию. Линейный текст — это монолог автора. Реплики собеседника разбивают текст на фрагменты.

Все эти обстоятельства породили особую культуру восприятия информации, которую — учитывая негативное отношение к понятию «клиповое мышление» — можно было бы назвать альтернационной (от слова «альтернация» — «чередование»). Родовыми чертами альтернационной культуры являются: высокая фрагментарность информационного потока, большое разнообразие и полная разнородность поступающей информации и навык быстрого переключения между фрагментами.

Альтернационные мышление и культура свидетельствуют о замене избытка времени его дефицитом и эстетики — прагматикой. Клиповость есть образ жизни человека, который вынужден постоянно «хвататься то за одно, то за другое дело» — формула, вполне универсальная для современного человека.

Все факторы, порождающие альтернационную культуру, появились не вчера. И потребность во фрагментарной, не упорядоченной линейно информации можно увидеть в самых недрах книжной культуры. Представим себе человека, который не читал книг какого-либо классического автора — ну, скажем, Канта, — но при этом в большом количестве читал более позднюю философскую литературу, в которой можно встретить множество ссылок на Канта и пересказов его идей. В итоге он, конечно, узнает все важнейшие мысли Канта по тем или иным вопросам, он даже сможет сдавать экзамен по Канту в философском вузе: будет знать, в какой книге какая идея была высказана. Но ему останется совершенно не известен аутентичный текст Канта, и в частности — та последовательность изложения уже известных нашему герою кантовских идей.

Разумеется, для историка философии — того, кто относится к Канту как к явлению культуры, — столь поверхностное знание недопустимо, ибо именно связь идей мыслителя характеризует его неповторимую «физиономию». Тем более такое поверхностное знание недопустимо для эстета, который получает удовольствие от самой целостности кантовской мысли, от перехода суждений великого философа одно в другое. Но если читатель — не историк и не эстет, то он, может быть, и не найдет оснований, чтобы обратиться к подлинникам кантовских книг, — и не потому, что у него нет для этого времени, сил и усидчивости, а потому, что он видит, как реальность обращается с кантовским наследием. Он видит, что в своей целостности, в своей линейной последовательности идеи Канта практически не присутствуют в позднейшей литературе (за исключением специальных книг о Канте и глав в учебниках). В реальности вся позднейшая культура поступает со старыми авторами так, как человеческий организм поступает с едой. Она «переваривает» их, расщепляет

на отдельные составляющие, а затем использует эти «отщепленные» элементы там, где считает уместным, встраивая полученные «белки» в новые «тела». Где-то оказывается ко двору отдельная цитата из Канта, где-то ссылаются на его мысль, на его наблюдение — и все эти использованные фрагменты почти не зависят один от другого.

Есть, правда, плохо «перевариваемые» авторы — например, Гегель, философ столь «темный», что в поздней литературе можно чаще встретить ссылки не столько на отдельные его высказывания, сколько на «гегелевскую философию» и «гегелевский проект» в целом. Но и подобное обобщение Гегеля оказывается лишь компактным смысловым элементом, «отщепленным» от корпуса его текстов и целостности его наследия.

В культуре, как она реально функционирует, наследие любого популярного старинного автора присутствует как набор несвязных фрагментов. В подобном виде до нас дошли тексты некоторых древних мыслителей — например, Эпикур и Демокрит известны почти исключительно по фрагментам и ссылкам более поздних авторов. При этом они прочно занимают свое место в культуре, в частности потому, что идеи имеют значение сами по себе, независимо от формы высказывания. Идея атомизма настолько важна, что Демокрит занял свое место в истории философии, несмотря на отсутствие целостных текстов.

Итак, мы можем констатировать: в эпоху расцвета книжной культуры ноосфера нуждалась не в целостных книгах, а в наборах фрагментов из них.

Так что «клиповое мышление» XXI века лишь обострило эту старую потребность культурной системы разбивать информацию на прагматически употребляемые фрагменты.

САМОУБИЙСТВО УЧЕБНИКА

Теперь посмотрим, что делает с книгой процесс образования.

Школьник приходит в школу в начале года с кипой учебников, однако их можно лишь с натяжкой назвать книгами, ибо читают их совсем не так, как книги. Такой же набор неучебных книг читали бы одну за другой более или менее подряд; ну, может быть, иногда — по две книги одновременно. Учебники же рассчитаны на то, чтобы их читали урывками, по одной главе, чередуя с другими учебниками, между собой не связанными ничем, кроме расписания занятий.

Школьное расписание — настоящее издевательство над культурой чтения и над всей гутенберговской идеей линейной текстовой последовательности: одному предмету и одной книге здесь уделяется, как правило, не более одного академического часа, после чего внимание ребенка должно немедленно переключиться на совершенно другой предмет и другой учебник. Школа, разумеется, вводит этот «рваный» режим не из-за дурного вкуса методистов, а из-за грандиозности стоящих перед нею задач: за ограниченный срок «упаковать» в голову ученика большой набор знаний по самым разным наукам.

Таким образом, там, где по прагматическим причинам увеличиваются плотность и разнообразие сообщаемой информации, навык поглощения гомогенного информационного потока заменяется навыком быстрого переключения между многими такими потоками.

Вообще учебная и справочная литература обладает многими родовыми признаками некнижной культуры. В ней отсутствуют или подавлены механизм авторства и момент удовольствия от чтения. Она предназначена не для последовательного чтения, а для обращения к различным ее фрагментам по мере надобности. Она релевантна определенным институциональным и технологическим реальностям и стареет вместе с ними. Учебники и справочники связаны с определенными учебными заведениями, профессиями и отраслями производства и не имеют смысла вне их контекста. Этим они отличаются от произведений художественной литературы, сохраняющих актуальность и после исчезновения их культурных контекстов, — трагедии Кальдерона ставят и по сей день, несмотря на исчезновение дворянской чести и дуэлей.

Авторская книга, предназначенная для последовательного прочтения, работает в таком режиме поставки информации, для которого характерны:

1) удовлетворение потребностей не только читателей, но и автора (например, в самовыражении);

2) отсутствие традиций или условий сотрудничества с другими литераторами — авторская книга рождается в условиях слабой институционализации интеллектуальной деятельности;

3) нерегулярность поставок информационного продукта, в силу чего читатель вынужден принимать личность автора как уникальный и незаменимый источник нужных ему текстов. Поэтому ценность придается не только информации, которую несет текст, но и его формальным особенностям, например, расположению материала. Признание редкости авторских качеств ведет к культу авторов-гениев;

4) наличие у читателя достаточного времени для чтения книг;

5) присутствие в текстах самоценной эстетической составляющей.

Литература для практичных и занятых людей — это книга прикладного назначения, созданная в условиях систематического, коллективного и институционализованного информационного производства, лишенная всех перечисленных выше качеств: на место романов и поэм приходят справочники.

Чтение справочника требует постоянного переключения между разными темами, справочник — это ступень, ведущая от мира книг к миру, где словарная статья входит уже не в словарь, а в глобальное информационное пространство, — к миру не словарей, а словарных статей и информационных сообщений.

Редукция института авторства в книжности европейского средневековья во многом объясняется тем, что церковная книжность, во-первых, производима институционально, и, во-вторых, она по большей части прикладная, хотя и в особом смысле. Воплощение прагматистских тенденций церковной книжности — сборник молитв. Эта книга абсолютно прагматична, она не является ценной сама по себе, но предназначена исключительно для помощи пользователю в определенной деятельности. Она не является авторской, ибо церковь есть мощная фабрика по производству книг такого рода, и сотрудники этой фабрики взаимозаменяемы. Она не уникальна, поскольку церковь способна создавать и другие сборники молитв. Она не целостна, поскольку отдельная молитва, с которой верующий обращается к Богу, куда важнее их связки друг с другом в молитвеннике, а обращение к отдельным молитвам происходит по мере надобности. Ну и конечно, к авторскому самовыражению составителя молитв верующий должен быть абсолютно равнодушен.

В сфере наук и профессий идея целостной книги тесно связана с идеей любой предметной области как системы. Система науки или профессии требует последовательного изложения и целостного понимания. Однако гармоничное существование этого «культурного стиля» длится до тех пор, пока имеет смысл изолированное существование данной предметной области — пока существуют, например, химики, которые считают за честь не знать ничего, кроме химии. Однако как минимум со второй половины XX века изоляция наук и профессий начала разрушаться, стали возникать все более прихотливые междисциплинарные комбинации.

Отражение этого процесса в сфере коммуникаций — аналогичное комбинирование текстов, относящихся к разным дисциплинам. Типичный результат этого — книга, написанная в соавторстве несколькими представителями разных дисциплин, или междисциплинарный сборник. Но дальнейшее развитие этой тенденции должно было породить более гибкие режимы комбинации информации из разных источников — книжная форма была слишком жесткой для мира постоянных междисциплинарных трансгрессий. Другое дело, что междисциплинарность порождала потребность в отказе от книги, хоть и недостаточно сильную, чтобы преодолеть инерцию книжной культуры, особенно в условиях отсутствия технических альтернатив. Конференции с устным общением, да еще личная переписка — вот, пожалуй, и весь арсенал противостояния. Электронные медиа и Интернет на стороне междисциплинарных коммуникаций оказались куда действеннее.

Добавим также, что книга как культурный феномен, как длинный монолог, посвященный одной предметной области, может существовать лишь в условиях, когда специалист по данному предмету достаточно изолирован не только от других дисциплин, но и от реальной жизни. Книга — продукт замкнутой касты интеллектуалов, которая именно в силу своей замкнутости — на кафедрах, в лабораториях, в богемной жизни «свободной профессии» — может себе позволить заниматься одной узкой специальностью. Реальная жизнь по своей сути «междисциплинарна».

Итак, причинно-следственная цепочка перемен в культуре примерно такова. Доминирование прагматики в образе жизни, столкновение с реальной действительностью порождают ускорение ритма восприятия информации и разрушают однородность ее содержания, разбивая ее на множество разностильных фрагментов. Такое преобразование информационного поля, в котором обитает человек, заставляет его перестраивать свое мышление и восприятие в режим, который я назвал альтернационным, — для него характерно быстрое переключение с одного фрагмента информации на другой.

Интернет и другие электронные коммуникации сами по себе еще не враждебны книжной культуре, на что обращал внимание Умберто Эко, когда говорил, что, вопреки пророчеству Маклюэна, Интернет — это прежде всего мир текстов, и он возвращает нас в галактику Гутенберга. Эко имел основания для таких заявлений, поскольку Маклюэн противопоставлял полиграфию как транслятор текста и телевидение как транслятор образов. Но сегодня конфликт возникает не между текстом и образом, а внутри мира текстов и мира образов — между режимом погружения в один информационный поток и режимом постоянного переключения между разными такими потоками. Угрозу книге представляет не отказ от текста как такового, а отказ от длинного, целостного и линейно выстроенного текста. То же самое происходит и в мире образов, где фильму противостоит клип.

Электронные коммуникации настолько универсальны, что могут служить самым разным когнитивным стилям. Интернет, ридеры и другие электронные средства вполне могли бы дать второе дыхание книжной культуре, еще и сократив затраты на производство книг. Но те же самые коммуникации наилучшим образом удовлетворяют потребности мышления нового типа, порожденного современным миром. Сложившегося при участии электронных коммуникаций, но отнюдь не только и не столько благодаря им. Интернет и новые коммуникации не столько порождают, сколько облегчают и выражают новое отношение человека к информации.

Причем если вернуться к разговору о книге, то все сказанное выше относится к читательскому поведению. В гораздо меньшей степени это касается писателей, издательств и книжной торговли. Мысленно подмигивая Умберто Эко и Жану-Клоду Карьеру, писатель может тешить себя иллюзией, что его книга — это целостный текст. Но книге предстоит встретиться с читателем, который будет успевать прочесть в ней фрагмент — и отвлекаться на другое. Образно говоря, свекла в магазинах продается цельной, но потреблять-то ее будут в виде винегрета...

Настоящий Чехов

Владимир Березин

Толстой как-то писал к Тургеневу: «Вчера вечером, в 8 часов, когда после ночной железной дороги я пересел в дилижанс на открытое место и увидал дорогу, лунную ночь, все эти звуки и духи дорожные, всю мою тоску и болезнь как рукой сняло или, скорей, превратило в эту трогательную радость, которую вы знаете. Отлично я сделал, что уехал из этого содома. Ради Бога, уезжайте куда-нибудь и вы, но только не по железной дороге. Железная дорога к путешествию то, что бордель по отношению к любви — так же удобно, но так же нечеловечески машинально и убийственно однообразно».

Толстой как будто предчувствует, что ничего хорошего из его отношений с железной дорогой не выйдет — и верно. Так оно и вышло.

А ведь был писатель, которому повезло с железной дорогой. «Поезжайте, — так пишет Чехов Телешову, — куда-нибудь далеко, верст за тысячу, за две, за три... Сколько всего узнаете, сколько рассказов привезете! Увидите народную жизнь, будете ночевать на глухих почтовых станциях и в избах, совсем как в пушкинские времена... Только по железным дорогам надо ездить непременно в третьем классе, среди простого народа, а то ничего интересного не услышите. Если хотите быть писателем, завтра же купите билет до Нижнего».

Но Чехов похож на слона, которого один держит за хвост, другой за хобот, а третий исследователь за ухо. Все пытливые читатели говорят хором. Чехов молчит.

В нем множество загадок — и в состоянии покоя, которое так несвойственно его героям, и в состоянии вечного, порывистого движения.

Сетью железных дорог упала звезда Полынь на русскую землю. Свернуть с этого пути нельзя, реборды колес удерживают персонажей от произвола.

Другой великий роман, вопреки известному заблуждению, начинается не с несчастливых и счастливых семей, не с их похожести и различий, а с паровоза, который, перевалив за полусотню страниц, соединяет героев. Паровоз-терминатор, окутанный паром, огненный, будто механические ножницы в руках парок — вот первый образ паровоза.

Эта традиция нерушима. Железнодорожная тема — тема повышенной опасности. Тема соприкосновения с неизвестным. Этот способ перемещения — самый демократичный на протяжении целого века русской истории.

Чеховские персонажи — люди железнодорожного века, это путейские инженеры, строители мостов, развалившиеся на бархатных диванах первого класса, обходчики и телеграфисты. У Чехова все находится в движении. Даже те герои, что навек застряли в провинциальном городе, рвутся сдвинуться с места — чемодан — вокзал — Москва. Всякая девушка надеется, что ей шепнут «Молчановка. Дом Грохольского…», и после железнодорожного путешествия жизнь ее изменится. Все накануне движения — разъезда, дороги, отплытия в экспедицию.

Железнодорожный статский советник размышляет: «М-да... Необыкновенная жизнь... Про железные дороги когда-нибудь забудут, а про Фидия и Гомера всегда

От редакции | Мы продолжаем (см. «Знамя», 2010, №№ 6, 7) публиковать размышления писателей, режиссеров, литературоведов — о том, «где же и в чем настоящий Чехов?».

будут помнить...». Наваждение статского советника проходит, да и железные дороги остаются. Едут по ним надзиратели таможен, поручики, дачники, трогается поезд, публика швыряет во все стороны багаж: «Ты своими вещами чужие места занял». Кричат, зовут кондуктора...»; ожидают (или не ожидают) их другие дачники, и ожидание поезда стало общим местом русской литературы: «Вагоны, платформа, скамьи — все было мокро и холодно. До прихода поезда студент стоял у буфета и пил чай… Но вот вдали показались три огненных глаза. На платформу вышел начальник полустанка. На рельсах там и сям замелькали сигнальные огни».

Эти начальники полустанков сами становятся путешественниками, влюбленными, проходимцами. «В тот год, с которого начинается мой рассказ, я служил начальником полустанка на одной из наших юго-западных железных дорог»[1].

Это такое же неудивительное начало повествования, как «Однажды в вагоне...». Иной герой «писал “Историю железных дорог”; нужно было прочесть множество русских и иностранных книг, брошюр, журнальных статей, нужно было щелкать на счетах, перелистывать логарифмы, думать и писать, потом опять читать, щелкать и думать; но едва я брался за книгу или начинал думать, как мысли мои путались, глаза жмурились, я со вздохом вставал из-за стола»...[2]

Кроме пассажиров, едут и по делу. Вот старик с сыном везут скот, спят в теплушке, где нетепло.

Веселья нет, это не путешествие, а работа.

На остановке он идет к локомотиву, проходит два десятка вагонов и «видит раскрытую красную печь; против печи неподвижно сидит человеческая фигура; ее козырек, нос и колени выкрашены в багровый цвет, все же остальное черно и едва вырисовывается из потемок».

Никто не отвечает старику. Машинист безмолвствует как железнодорожный бог.

А паровоз — алтарь этого бога.

Надо всем дать — обер-кондуктору, машинисту, смазчику... Откупиться от паровоза — к этому идет все дело в рассказе «Холодная кровь».

Чехов повсеместно называет паровоз локомотивом. Локомотив у него свистит — «вот послышался свист, поезд глухо простучал по мосту» и «тяжело вздыхает»; «Локомотив свищет и шикает...». («Загадочная натура»). «Локомотив свистит, шипит, пыхтит, сопит...»[3]; вообще, шипение — неотъемлемое свойство перемещения чеховских героев по рельсам даже в воображении — Наденька К. пишет в дневнике: «Железная дорога шипит, везет людей и зделана из железа и материалов». Несчастный и униженный муж дарит любовнику своей жены... Что?.. «У меня есть одна вещичка... А именно, маленький локомотив, что я сам сделал... Я за него медаль на выставке получил»[4].

Вокзал — место встречи толстого и тонкого, мужчины и женщины, мирной встречи человека и поезда. Но есть еще более страшный способ единения человека с поездом, когда первый сливается с искореженным железом, и оба с землей. Вывалянный скверным возницей из пролетки, путейский инженер копошится в грязи, готовясь бить виновника. «Вспомни Кукуевку»! — говорит ему жена. В этот момент крушение становится знаком. Термин превращается в метафору, становится частью языка.

Потом Чехов написал рассказ «Злоумышленник». Уместно вспомнить Гиляровского, который говорил когда-то о дачной местности Красково: «В 1885 и 1886 годах я жил с семьей в селе Краскове по Казанской дороге, близ Малаховки. Теперь это густонаселенная дачная местность, а тогда несколько крестьянских домов занимали только служащие железной дороги. В те времена Красково пользовалось еще разбойничьей славой, деля ее с соседней деревней Кирилловкой, принадлежавшей ког-

1 «Рассказ проходимца».

2 «Жена».

3 «В вагоне».

4 «Ниночка».

да-то знаменитой Салтычихе. И из Кирилловки, и из Краскова много было выслано крестьян за разбои в Сибирь. Под самым Красковом, на реке Пехорке, над глубоким омутом стояла громадная разрушенная мельница, служившая притоном «удалым добрым молодцам». В этом омуте водилась крупная рыба, и, между прочим, огромные налимы, ловить которых ухитрялся только Никита Пантюхин, здешний хромой крестьянин, великий мастер этого дела. На ноге у него много лет была какая-то хроническая гниющая рана, которую он лечил, или прикладывая ил из омута и пруда, или засыпая нюхательным табаком. Никита сам делал рыболовные снаряды и, за неимением средств на покупку свинца, употреблял для грузил гайки, которые самым спокойным образом отвинчивал на железнодорожном полотне у рельсов на местах стыка. Что это могло повлечь за собой крушение поезда, ему и на ум не приходило.

Чехов очень интересовался моими рассказами о Краскове и дважды приезжал туда ко мне. Мы подолгу гуляли, осматривали окрестности, заглохшие пруды в старом парке. Об одном пруде, между прочим, ходило предание, что он образовался на месте церкви, провалившейся во время венчания вместе с духовенством и брачующимися. Антон Павлович записал это предание. И вот на берегу этого самого пруда в зарослях парка мы встретили Никиту. Он ловил карасей и мазал илом свою ужасную ногу. Антон Павлович осмотрел ногу и прописал какую-то мазь; я ее привез, но Никита отказался употреблять лекарство и заявил:

— Зря деньги не плати, а что мазь эта стоит — лучше мне отдавай деньгами либо табаку нюхательного купи: табак червяка в ноге ест.

Рассказал я Чехову, как Никита гайки отвинчивает, и Антон Павлович долго разговаривал с ним, записывал некоторые выражения. Между прочим, Никита рассказывал, как его за эти гайки водили к уряднику, но все обошлось благополучно. Антон Павлович старался объяснить Никите, что отвинчивать гайки нельзя, что от этого может произойти крушение, но Никите это было совершенно непонятно. Он только пожимал в ответ плечами и спокойно возражал:

— Нешто я все гайки-то отвинчиваю? В одном месте одну, в другом — другую... Нешто мы не понимаем, что льзя, что нельзя?

Никита произвел на Чехова сильное впечатление. Из этой встречи впоследствии и родился рассказ «Злоумышленник». В него вошли и подлинные выражения Никиты, занесенные Чеховым в свою знаменитую записную книжку»[5].

И вот Чехов написал свой великий рассказ, из которого, при внимательном чтении, можно вывести и 1917 год, и 1930, а также 1991.

Был бы мужик злобен и страшен, величие этого рассказа растворилось бы в ненужной простоте эмоций. Но потенциальный убийца нескольких сот человек мил и добр, он существует внутри общинного понятия справедливости. В патриархальном пространстве даже математика особа — из много (почти бесконечного) если отнять немного, то бесконечность не изменится. В мире следователя бесконечность — абстрактна, а гайки — счетны. В мире мужика бесконечность конкретна, а гайки бессчетны — как рыба в реке и звезды на небе. Таков нравственный закон мужицкого Канта, что в неразрешимом противоречии с нравственным законом следователя, который, разумеется, читал настоящего Канта.

Никто не может победить — ни мужик, ни прокурор, вернее — победа одного всегда гибель для обоих. Конечно, люди в мундирах могут изолировать мужиков с гайками в кармане в специально отведенных местах, а мужики, в свою очередь, могут, перестреляв барчуков, подпустить красного петуха на домики железнодорожно-станционных смотрителей. Но союз их невозможен и вряд ли возможен третий путь.

Это текст не о судебном чиновнике и мужике, а рассказ о столкновении Запада и Востока, вместе которым не сойтись. В нем есть все — частная собствен-

5 А.П. Чехов в воспоминаниях современников. М.: «Художественная литература», 1960. С. 112.

ность и ее судьба в России. Патриархальная жизнь, что медленно отступает, огрызаясь, под напором цивилизации. В нем есть две правды, каждая из которых не хуже другой.

Именно поэтому железная дорога под конец благодарно приняла Чехова в свои последние объятия, раскрыв дверь железнодорожного рефрижератора. Ничего постыдного в путешествии домой внутри устричного вагона не было — холод сберегал Чехова, а железная дорога баюкала его на прощание.

Алевтина Кузичева

Нынешние разговоры о Чехове, как никогда в предыдущие юбилейные годы, проявили полярные мнения. Для одних наших современников творческое наследие создателя «Скучной истории», «Палаты № 6», «Чайки» — вечно, потому что, по их признаниям, оно настраивает ум и душу на самопознание и самосознание. Для других — автор «Вишневого сада», «Ионыча» и «Невесты» — писатель из школьной программы. Имя Чехова в современной культуре, с их точки зрения, удерживается только благодаря театру. Не будь этого векового неубывающего интереса к драматургии Чехова во всем мире, оно осталось бы, подобно другим именам, только на страницах учебников и трудов по истории русской литературы. По мнению некоторых современных литераторов и исследователей, Чехов лучше всего выразил свое время и остался в нем.

Научные рецепты, как надо писать о Чехове, чтобы его не перестали читать даже в школе, изредка рябят спокойную гладь чеховедения. Внезапные призывы к театральным режиссерам «отдохнуть» от Чехова ненадолго становятся злобой дня. Но все эти волнения и опасения не выходят за рамки узкого круга людей, пишущих о жизни и творчестве Чехова или о сценическом воплощении его творческого наследия. Чехова по-прежнему читают, и театр от Чехова по-прежнему не «отдыхает».

Во всем, что говорилось и писалось о Чехове в последние десятилетия и говорится сегодня, в «год Чехова», может быть, самое интересное — это отношение к личности Чехова, его облик в беллетристических и драматургических сочинениях, в художественных и документальных фильмах, в живописных и скульптурных воплощениях.

Пожалуй, ни один русский классик не становился героем стольких пьес, романов, рассказов. Никого не упоминают так часто в спорах о русской интеллигенции, о прошлой и нынешней России. Его имя ежедневно мелькает на газетных и журнальных страницах. Оно занимает все большее место в Интернете.

В чем причина такого очевидного присутствия Чехова в сознании наших современников, такого неравнодушия к его личности? Почему именно Чехову все настойчивее предъявляется строгий счет?

Не только литературное, но и человеческое неприятие он ощущал еще при жизни. Нельзя же, допустим, объяснить случившееся на премьере «Чайки» в Александринском театре осенью 1896 года исключительно личной неприязнью и завистью столичных литераторов и критиков. Не сгоряча, не на следующий день, а спустя почти два месяца Чехов написал А.С. Суворину: «17-го октября не имела успеха не пьеса, а моя личность. <…> произошло то, что дало повод <…> «Неделе» вопрошать: «что сделал им Чехов», а «Театралу» поместить целую корреспонденцию (95 №) о том, будто бы пишущая братия устроила мне в театре скандал. Я теперь спокоен, настроение у меня обычное, но все же я не могу забыть того, что было, как не мог бы забыть, если бы, например, меня ударили».

Недовольство «пишущей братии» проявлялось по-разному и по многим поводам. Свидетельством тому дневники, письма, воспоминания и мемуары современников. Некоторые из них искажали реальные обстоятельства встреч и бесед с Чеховым, чтобы принизить или дискредитировать его как человека.

Это раздраженное неприятие длилось все минувшее столетие, иногда принимая какой-то личный характер. Оно словно вдруг обострилось в последнее время. Что «сде-

лал Чехов» нашим современникам, заявляющим, что Чехов будто бы «очернил» Россию, что якобы он своими сочинениями «расшатывал» общество и государство?

Почему вопреки всемирной славе, все новым и новым переводам на многие языки мира некоторые наши соотечественники отказывают Чехову в таланте и объявляют сегодня, что он незаслуженно выдавал себя за «великого писателя»? Точкой отсчета в нынешних юбилейных газетных и журнальных выступлениях становятся порой резкие мнения о Чехове поэтов и писателей двадцатого столетия, не всегда сопровождаемые размышлениями о природе этих мнений.

Все чаще встречаются глубокомысленные размышления о Чехове-провинциале, Чехове-мещанине. В его словах, поступках выискивают приметы мещанского образа жизни и вкуса, подают как намеренный жест — просьбу умирающего Чехова подать ему бокал с шампанским. Хотя известно давно, что ни о чем подобном он не просил. Ему приписывают множество недостатков, даже пороков. Пишут, например, что на Сахалин он поехал, чтобы избежать женитьбы и вообще не составил счастья ни одной женщины, был женофобом.

Понятна в своих истоках и намерениях реклама, использующая сегодня имя Чехова (ресторан и консервы «Дядя Ваня», вино и казино «Чехов», салон «Три сестры», кафе «У Антоши Чехонте» и т.п.). В газетах к Чехову приклеили выражение «русский бренд».

Ни для кого не делающая исключений современная пресса не оставила в покое и Чехова. Пошлость, к тому же дающая прибыль, бессмертна. Как и пошлость дилетантов, не обременяющих себя точными датами и цитатами, не ощущающих безвкусия своих сочинений. Под их пером Чехов «нормальный мужик», любивший всюду посещать «церковь, кладбище и… заведение». Слово «бордель», ненормативная, грубая лексика стали приметой современных беллетристических поделок о Чехове. Как и фамильярность, когда Евгения Яковлевна для автора рассказа — «мама Женя», а Павел Егорович — «крутой бизнесмен». В одной из газет в рубрике «Мало кто знает, что…» утверждалось, что Чехов в детстве занимался иконописью, выучился самостоятельно играть на скрипке и т.п. Может быть, автор шутил, а вдруг все это всерьез?

Фольклор последних десятилетий сразу стал использовать имя Чехова и клише, связанные с его произведениями: «К «старым русским» «русский новый» // Сад пришел рубить вишневый, // Ай да Чехов! Ну, пророк! // Все предвидел, все предрек!» Чехова и его героев сегодня цитируют часто, намеренно искажая или переиначивая.

Этот пошлый антураж неизбежен в переходные времена. Он сойдет на нет, сам по себе. Для торговой рекламы и саморекламы бойких сочинителей потребуются другие имена, используемые как ярлыки.

Но пройдет ли раздражение против Чехова среди «пишущей братии», в серьезной литературной среде? Может быть, это реакция на мифологию, возникшую вокруг имени Чехова еще при его жизни — «певец русской интеллигенции», «подлинный демократ», «настоящий сын России» и т.п. В современной пародии на «зацелованного до смерти Чехова» звучит мольба: «Ах, оставьте, оставьте, оставьте вы меня уже наконец в покое…». Слышен звук с неба. Душа Чехова пролетает над нами над всеми и плачет. Занавес».

Но не оставляют. Даже план мероприятий, предложенных российскими учреждениями культуры в связи с нынешним юбилеем, пестрит названиями выставок, вечеров, «акций», конференций: «Сверкающий печальным юмором серьезный Чехов», «Доктор человеческой души», «Чехов — это звучит гордо», «Чехов — зеркало нравственной красоты», «Чехов — творец истории, создатель духовных ценностей», «Чеховские книги — неутомимые труженики» и т.п. Упомянут спектакль по «Даме с собачкой» под названием «Время Ч.», беседа-портрет «Наш Антоша Чехонте» и «литературный коктейль» — «О, как играет музыка».

Может быть, это раздражение передает опосредованно недовольство былой российской интеллигенции своей незавидной ролью, утратой представления о себе, своем духовном лидерстве? Проступает досада на то, что «севрюжины с хреном», кажется, хочется больше, чем «конституции»? Житейски оно понятно, но признаваться в этом, как сто лет назад, признался один из горьковских «дачников», наобо-

рот, не хочется («Мы все здесь — дети мещан, дети бедных людей… Мы, говорю я, много голодали и волновались в юности… Мы хотим поесть и отдохнуть в зрелом возрасте — вот наша психология… И, наконец, наплевать мне на ваши россказни… призывы… идеи!»).

Злоупотребляя признанием молодого Чехова в одном из писем о выдавливании «из себя по каплям раба» и обращая его, уже как требование, к окружающим, но не к себе лично, современные радетели о чужой нравственности и о собственном материальном благополучии редко вспоминают другое признание Чехова в письме к коллеге, земскому врачу: «Не надейся на князи и сыны человеческие… И напомню еще одно выражение <…> сыны века. <…> Пока это еще студенты и курсистки — это честный, хороший народ, это надежда наша, это будущее России, но стоит только студентам и курсисткам выйти самостоятельно на дорогу, стать взрослыми, как и надежда наша и будущее России обращается в дым, и остаются на фильтре одни доктора-дачевладельцы, несытые чиновники, ворующие инженеры. <…> Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую, не верю даже тогда, когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из ее же недр. Я верую в отдельных людей, я вижу спасение в отдельных личностях, разбросанных по всей России там и сям — интеллигенты они или мужики, — в них сила, хотя их и мало. Несть праведен пророк в отечестве своем; и отдельные личности, о которых я говорю, играют незаметную роль в обществе, они не доминируют, но работа их видна; что бы там ни было, наука все подвигается вперед и вперед, общественное самосознание нарастает, нравственные вопросы начинают приобретать беспокойный характер и т.д. и т.д. — и все это делается помимо прокуроров, инженеров, гувернеров, помимо интеллигенции en masse и несмотря ни на что».

Судя по всему, именно такие, в чеховском понимании, отдельные личности были и остаются неведомыми читателями и зрителями Чехова. Разбросанные по всей России педагоги, библиотекари, деятели культуры, «интеллигенты они или мужики», были и есть его собеседники.

Что же до рассерженных читателей, утверждающих, что это сам Чехов — «человек в футляре», что у создателя рассказов «Святою ночью», «Студент», повестей «Мужики», «В овраге» нет ни морали, ни религии, ни мировоззрения, то, во-первых, это говорилось строгими ревнителями еще при жизни Чехова. И не повлияло на современников. Во-вторых, как сказал один из наших современников, каков читатель, таков у него и Чехов.

Однако недовольство Чеховым, угадываемое или подчеркнутое раздражение, даже недоброжелательство, всегда имевшее и имеющее в каждом конкретном случае свои истоки, как когда-то у «пишущей братии» в зрительном зале, на первом представлении «Чайки», скрывает, может быть, один немаловажный общий симптом в настроении нашей эпохи.

Может быть, не ко двору сегодня такая личность, как Чехов? И потому именно о нем так много говорят, пишут? Откликаются не только и не столько на его сочинения, но на его судьбу, житейские поступки и поведение.

Личность Чехова и его наследие уже сбрасывались с «корабля современности» в 20-е годы XX столетия. Тогда заявляли, что «в новой России, в новую эпоху, перед новой аудиторией, перед людьми действия и нового ритма, нельзя играть Чехова».

Затем его облик «загримировали» под очень серьезного человека, с твердым, но чуть усталым взглядом из-за стекол пенсне. На несколько десятилетий к нему приклеили тогдашний «бренд», то есть ярлык «великого гуманиста», борца с пошлостью, художника с «активным отношением к жизни, призывавшего к борьбе, к действию». Из биографии Чехова выбрали несколько моментов (поездка на Сахалин, строительство земских школ, помощь бедным). Из писем Чехова и воспоминаний о нем отобрали высказывания о служении народному благу, о самовоспитании и т.п. Лишенные контекста, они приобретали в учебниках оттенок учительства, назидательности. Этот «портрет» человека в пенсне подменил реальную личность Чехова.

Затем театр 60-х годов взорвал уже привычную ситуацию вокруг Чехова. Спектакли молодых талантливых режиссеров отменили театральную «мхатовщину», то

есть повсеместную имитацию открытий Московского Художественного театра. Они поколебали и трафарет, наложенный на личность Чехова.

Навязанный «портрет», конечно, всегда мешал, но, вероятно, никогда не мог совсем скрыть личность Чехова. Всем было доступно творческое наследие Чехова. Здесь, особенно после выхода академического собрания сочинений и писем, подготовленного славным поколением чеховедов, высочайших профессионалов, Чехов — это Чехов «без грима» и «без глянца». Сегодня одни говорят, что эти томики для них «вторая Библия», другие предлагают, ни много ни мало, скорее выбросить их вон.

Письма Чехова его современники сравнивали с письмами Пушкина. Они не дают готовых и однозначных ответов на какие-то житейские вопросы, вводя поначалу в заблуждение кажущейся простотой и бесхитростностью.

Они вызывают множество вопросов к Чехову, которые незаметно оказываются вопросами человека к самому себе.

Отношение Чехова к семье, которую он держал на своих плечах, — самопожертвование или слабость характера? Его душевная закрытость, уклонение от интервью, публичных выступлений — защита от любой «братии» или одно из условий внутренней свободы?

Как удавалось ему не впадать в грех мести, злопамятства? Что помогало преодолеть искушение завистью, соблазн больших денег, обольщение лестью, литературным успехом? Только ли вопрос о Боге он решал наедине со своей совестью? Что питало рост его души?

Вопросы множатся и множатся раз от раза: зачем все-таки он поехал на Сахалин? Почему не лечился от своего смертельного недуга, а тратил свои гонорары на земские школы, на тихую благотворительность (материальная помощь бедным гимназистам, студентам, различным обществам вспомоществования, приютам)? Собирал деньги на лечение чахоточных больных, признаваясь, что они смущают его «сытое и теплое спокойствие», что от этих бед никуда не спрячешься и прятаться грех.

Может быть, ответ на эти и другие вопросы объяснит, почему Чехов, как никто другой, всегда кого-то раздражал, до сих пор раздражает и будет раздражать. Действительно ли такая личность антипатична не только «сынам века», но самому нашему веку, но какая-то сила удерживает Чехова в новом времени…

Инна Булкина

Проза «нулевых»

Предмет этой статьи — проза и прозаики «нулевых». Я намеренно избегаю определения «молодая проза»: речь ни в коем случае не идет о возрастном гетто, окормляемом премией «Дебют», Липками и прочими студийными мероприятиями. Речь о профессионалах, сделавших себе имя в первом десятилетии нового века. Их не так уж много на самом деле, их трое, их, может быть, четверо. Впрочем, четвертого может подставить каждый по своему усмотрению, а три имени, похоже, безусловны. Это Александр Иличевский, Захар Прилепин и Олег Зайончковский.

В этом выборе нет ничего оценочного: я не говорю, что это лучшая проза «нулевых». Я даже не всякий раз решусь сказать, что речь идет о хорошей прозе. Короче говоря, я выбираю этих троих не потому, что они мне непременно нравятся. Просто они явились не так давно и практически сразу оказались в первом ряду: по резонансу, по рейтингам, по издательской, читательской, критической заинтересованности. Они очень разные (и в этом тоже причина, почему я выбрала этих троих, а не вторых или пятых в ряду, похожих на них по политическим, стилистическим, биографическим, каким угодно принципам). У каждого из них своя референтная группа, свои преданные читатели и критики, свои друзья и свои враги. Эти «множества» зачастую не пересекаются, так что мы получаем некие срезы читательского сообщества, мне кажется, объективные и характерные.

Я отдаю себе отчет в том, что имена, поставленные в ряд, заражаются контекстом, ревальвируют или, наоборот, обесценивают друг друга, — все зависит от точки зрения наблюдателя. Иные обидятся за Иличевского-интеллектуала, поставленного в один ряд с Прилепиным-Органчиком, иные не поймут, как рядом с «просвещенным графоманом» возможно поместить «истинного писателя» Зайончковского. Я сейчас называю некие репутационные крайности, они существуют, они известны, и в свете читательской прагматики они небессмысленны. Но суть, повторю, не в них. Это статья не о лучших писателях времени, это статья о ситуации и о неких запросах времени. Кажется, Иличевский, Прилепин и Зайончковский самым очевидным образом этим запросам отвечают.

ИЛИЧЕВСКИЙ: «ПИСАТЕЛЬ ДЛЯ УМНЫХ»

Для этой именной главки стоило бы взять эпиграф из давнего нумерологического эссе Иличевского о «Пиковой даме»: «*Автор не пытался ввести читателя в заблуждение глубокомыслием…*». Да, в самом деле, ни разу не пытался. Но ввел в заблуждение. Причем автор не виноват, он честно описывает себя. Виноват читатель, который в свою очередь ищет идеального-себя в бумажных буквах, и всегда находит

Об авторе | Инна Булкина — доктор философии (Тартуский университет). Старший научный сотрудник Киевского Института культурной политики УЦКД Министерства культуры Украины. В недавнем прошлом — сетевой обозреватель «Русского журнала» («Журнальное чтиво»). Лауреат премии им. И.П. Белкина в номинации «Станционный смотритель». Живет в Киеве.

то, что ищет. Вообще самое симпатичное в перегруженной словами и перенасыщенной, как густой соляной раствор, прозе Иличевского, как раз-таки отсутствие задней мысли. Вся эта смесь ума, многознания, кажущейся искусности и абсолютного литературного простодушия необыкновенно обаятельна. И этот автор, похоже, совсем не собирается производить впечатление, он именно таков, каков есть. Более того, он наивен, как неофит. И он действительно неофит в литературе: однажды он признался, что «первую ненаучную книгу» прочел, когда ему был двадцать один год, и тогда же «*потрясенность интеллектуальной красотой мироздания сменилась более глубокой — словесной*». Замечательная фраза — синтаксис невнятен, но смысл, видимо, таков: прежде мир представал перед своим благодарным наблюдателем в неких прекрасных интеллектуальных построениях, а отныне открылась возможность построений словесных.

Выпускник физтеха, успешный, судя по биографии, физик-теоретик, Иличевский начал писать в 90-х, явился в «Журнальном зале» в 2004-м («Курбан-Байрам» в «Новой Юности») и с тех пор мало изменился. Его стихи похожи на его эссе (только немного короче), его рассказы — те же эссе, но с парой-тройкой выдуманных картонных персонажей, необязательных и зачастую вовсе ненужных для собственно словесного построения. Зато построение это абсолютно самодостаточно, и самый процесс создания большой словесной конструкции автора завораживает. Романы похожи на рассказы, но они еще длиннее, героев там больше, и появляется сюжет. Сюжет, как это обычно бывает в умственных романах («умственный» — здесь не упрек и не оценка, просто такой вид литературы), схематичен, — он движется не персонажами и их живой жизнью, но мыслью автора. Переходя на адекватный для этого автора язык, скажем так: перед нами не сюжет, а математическая модель сюжета, персонажи — суть объекты (не субъекты, они не самостоятельны, их создатель никогда не скажет: «Представь, какую штуку удрала со мной Татьяна!..»), они «автореференциальны», «описываются через такой же мир, устроенный таким же образом», «однократны» (я не вполне понимаю, что это означает в математических описаниях, а в нашем случае — они придуманы однажды и сразу, так что по ходу их характеры остаются неизменными). Они вступают в пространственные отношения (продолжим в тех же правилах и в терминологии этого автора), пространство продумано и расчислено: перед нами сменяющие друг друга картинки одних и тех же, хорошо знакомых мест, так что уже в первом рассказе «выпадает» абзац о «нефтяных наркомах», по которому можно узнать последний роман. Логика, согласно которой картинки эти являются, кажется смутной, но не потому, что ее не было в принципе. Проблема в той самой «словесной завороженности»: автор так увлечен складыванием слов-камешков в многокрасочную и избыточную мозаику, что забывает о «лесах» и опорных конструкциях. Тут впору вспомнить, что «поэта далеко заводит речь», но нет, у нас другой случай. Никуда эта речь не заводит. В многословных периодах Иличевского мысль никуда не устремляется, она лишь запутывается и повисает в однообразных придаточных: автор пытается договорить все, что знает, он не отбирает, а перечисляет, и он не в состоянии остановить фонтан.

Вот один абзац из «Перса», я даже не привожу его полностью, — в каждом из десятка уточняющих определений сюжет для отдельного романа и информация для Википедии (или — из Википедии). Зачем все эти фамилии и биографические подробности нужны в романе — бог весть, но автор не утаил ничего:

Инженер компании братьев Нобелей Адольф Зорге, отец разведчика и племянник секретаря Карла Маркса, обедал в бакинском ресторане и играл в карты вместе с управляющим нефтеперегонным производством Ротшильдов Давидом Ландау, отцом великого физика, исследователем способов тушения нефтяного фонтана и эрлифтинга — «поднятия нефти проходящим током воздуха», инженером, выкупленным женой из лап шайки бандитов и поджигателей-шантажистов, возглавляемых Кобой; человеком, арестованным по подозрению в краже платиновых чаш, которые применялись при каталитическом нефтехимическом синтезе (для получения, например, бензола и толуола), и снова спасенном женой, кинувшейся в ноги большевистскому диктатору Баку — Кирову. И Зорге,

и Ландау имели беспредельный кредит в казино Нагиева, равно как и великий инженер Шухов, обладатель самого умного лица во всей России, создатель первого в мире нефтепровода и расчетной теории проистечения нефтепродуктов, автор химического процесса расщепления нефти и провозвестник архитектурного авангарда XXI века, впервые в мире применивший технологию сетчатых оболочек и гиперболоидов… и т.д.

Не правда ли, «Дом, который построил Джек»? Однако это не игра и тут нет преднамеренного фокуса. Все эти вязкие подробности и синтаксические повторы неотъемлемое и, кажется, непредумышленное свойство прозы Иличевского. Вообще, что бы про Иличевского ни говорили — хорошего или дурного, — в его умственной прозе нет умышленности. Он повторяет свои периоды семь или двенадцать раз, он обрушивает на читателя имена и термины не затем, что так показалось ему красиво, или как если бы он видел в этом третий смысл. Похоже, он, в самом деле, не может поставить себе предел. И тут следует произнести сакраментальное слово: ГРАФОМАНИЯ.

Опять же, не подумайте чего дурного. Всякий пишущий — графоман, это человеческая болезнь, ей подвержены равно гении и бездари, мужчины и женщины, подростки и старики. Графоман — это тот, кто с детства питает слабость к канцелярским товарам, кто не может не писать, кто пишет не для денег и не из тщеславия. Среди графоманов встречаются разные писатели, робкие и самодовольные, просвещенные и безграмотные, умелые и неумелые. Умелые знают меру и еще кое-что. Иличевский знает «многое на свете», чего не знают иные мудрецы, но меры он не знает. Читать эту многословную и умственную (повторюсь!) прозу — тяжкий труд. И вот тут начинается самое интересное: собственно секрет успеха такой прозы и феномен «благодарного читателя Иличевского». — За что же все-таки эти громоздкие, путаные, лишенные ритма и сюжетного саспенса словесные конструкции так любят просвещенные читатели? А Иличевского в самом деле любят читатели и критики, причем не худшие читатели и не худшие критики. Ответ, как ни странно, прост: это читатели, которые видят в Иличевском себя. Это городские интеллектуалы, — социологи скажут: люди старше 25, с высшим образованием, с зарплатой выше среднего, с высокими запросами и широкими интересами. Лет 20—30 назад они назывались «итээрами» и составляли соль соли «самой читающей в мире страны». Тогда они читали Трифонова, Аксенова, всякого рода сам- и тамиздат, и была еще такая серия «Мастера зарубежной прозы», все эти интеллектуальные игрушки — Гессе и неудобочитаемый Фриш. Сегодня их заменяет какой-нибудь Уэльбек. А с отечественным книжным репертуаром есть проблемы: Акунин при таком раскладе выглядит легковесным, то, чего взыскуют эти люди, на внутреннем языке называется «умняк». Иличевский «дает умняк». И ничего, что он неудобочитаем. У читателя профессионального и читателя «взыскующего» в принципе разные представления о том, что такое «словесное мастерство». Профессионал скажет, что это «минус-прием», а благодарный читатель Иличевского залюбуется избыточным приемом, всеми этими «щепотками песчинок у подножия снежного поднебесья» и «лужицами снеговой воды», в которых «реют рериховскими старцами ослепительные вершины». Короче говоря, читателю Иличевского есть за что себя уважать.

ПРИЛЕПИН: ПИСАТЕЛЬ ОТ МЕДИА

Если можно найти полную противоположность писателю Иличевскому — биографическую, стилистическую, мировоззренческую, в конце концов, — это будет писатель Прилепин. Критики, которым нравится Прилепин, и критики, которым нравится Иличевский, — это разные критики (есть, правда, критики, которым не нравятся оба, но это другая история). Читатели Прилепина в массе своей моложе читателей Иличевского (хотя и те — нестарые в общем-то люди), они если и учатся, то недоучились, они менее взыскательны, но в известном смысле они честнее и требовательнее. Их не купишь «словесным мастерством», многословные периоды с десятком придаточных они дочитают до третьей запятой, а рубленые фразы, энергич-

ные диалоги и внятный событийный сюжет — это ровно то, что им нужно. Читатели Иличевского в политическом срезе скорее либералы, но в основном, наверное, аполитичны. Сказать, что читатели Прилепина — нацболы или что-то в этом роде, было бы упрощением, но биографические подробности и политические взгляды Захара Прилепина, в самом деле, неотъемлемая часть его литературной репутации.

Прилепин — фигура медийная. Не такая медийная, как Дмитрий Быков или Юлия Латынина, но те и по природе своей «медийщики», «писатели на случай». Прилепин похож на «писателя всерьез», и его медийные речи мало совпадают с его писательской сутью. Парадокс в том, что зачастую причисляемый к «новым почвенникам» и названный однажды «Горьким нашего времени», медийно-биографический патриот Прилепин по стилистике своей очевидный «западник» и шестидесятник. Рассказы с коротким дыханием, рубленые фразы и энергичные диалоги вольно или невольно выдают свое происхождение: они родом из классической американской журналистики, из Хемингуэя, отчасти из Довлатова. Впрочем, Довлатов веселее, Прилепин относится к себе слишком серьезно и шутки у него не очень получаются. Но биографически и профессионально они сродни, — ноги растут из газетной журналистики и американской прозы: экономия формы, скупой и мужественный «телеграфный стиль», неоднократно и успешно опробованная позиция писателя — «репортера жизни». «Жизнь и поэзия», то бишь жизнь и проза должны составлять одно, автор — не наблюдатель, не «рассуждатель» и не демиург, автор — активный и непосредственный участник этой жизни и герой этого сюжета. В известные моменты такая позиция востребована, и писатели-репортеры оказываются на гребне волны. И в этом смысле Прилепин действительно «Горький сегодня», разве что Горький 1900-х, и без романтических красивостей. Горький с романтическими красивостями — это «социально близкий» Прилепину Шаргунов. А у Прилепина взамен «море — смеялось» другая фишка. Опять же, неожиданная в свете все той же медийно-биографической репутации. Вот характерный пример:

> Актер Константин Львович Валиес был старый грузный человек с тяжелым сердцем. …Он не мог утаить свою беззащитность, и эта беззащитность смотрелась как белый голый живот из-под плохо заправленной рубашки.
>
> …Мы были плавны, как бутерброды, намазанные теплым сливочным маслом. С нас оплывало, мы облизывались, подобно псам, съевшим чужое. … На улице мы застали дождь, и я размазал его по лицу, а черноголовый поселил в волосах. Волосы его стекали по щекам.

Какой-нибудь Олеша поставил бы за этот «белый живот» и за эти оплывающие бутерброды «4 с плюсом», но в целом — да, еще одна группа писателей-газетчиков: прозаики «Гудка», южнорусская школа. Какое уж тут почвенничество… Катаев и прочие «левантийцы», у которых Прилепин позаимствовал всю эту «жирную» зрелищность, равно как и придумавший «южнорусскую» («юго-западную», — так точнее) литературу Виктор Шкловский (и это он, сам того не ведая, «подарил» Прилепину интонацию, строй фразы и собственно монтажный принцип склеивания слов) — концептуальные «западники». Зрелищная метафорика нужна была тому же Олеше для создания некой условной фабулы, Шкловский в принципе выводил свой «Юго-Запад» из освоения экзотической сюжетики. Зачем вся эта откровенно заимствованная «жирность» Прилепину в его малосюжетных рассказах или плоских публицистических романах по газетным историям? Наверное, затем и нужна — для оживления фанерных конструкций. Что бы там осталось без этого «беззащитного белого живота» и «оплывающих бутербродов»? Агитка, газетные анекдоты, сам автор и несколько персонажей, живых только в силу своей, медийной опять-таки, узнаваемости.

Мысль, которую многословно думает писатель Иличевский, зависает в полете, не справившись с весом и размахом. Писатель Прилепин думает короткие газетные мысли, он вообще не долго думает, похоже, его мыслей недостает и для статьи: в конечном счете, даже симпатизирующий Прилепину Роман Сенчин од-

нажды назвал его публицистику эмоциональной и «неумной». Кажется, Прилепин и сам готов принять этот упрек, по крайней мере, он оговаривается, что написано все это «на коленке, в режиме перманентного цейтнота». Странная оговорка для профессионального журналиста и профессионального писателя, и вот что забавно: иные пассажи авторского предисловия к прилепинскому сборнику «Terra Tartarara» напоминают «издательскую» статью (фактически — авторское предисловие) к собранию Дениса Давыдова, «поэта-партизана»: «Большая часть стихов его пахнут бивуаком. Они были написаны на привалах, на дневках, между двух дежурств, между двух сражений, между двух войн; это пробные почерки пера, чинимаго для писания рапортов начальникам, приказаний подкомандующим». Иначе говоря, «за слова меня пусть гложет, за дела сатирик чтит…», существует некая параллельная биография, не писательская, но реальная «боевая» жизнь, а за «пробные почерки пера» не судите строго… Но уже в давыдовские времена такого рода вещи почитались за архаизм: в эпоху профессиональной литературы «слова поэта суть его дела». И прилепинская недодуманность — не поза, он просто не умеет по-другому. Его разделение-неразделение писательского и медийного тоже отчасти недодумано. Но, судя по всему, непоследовательная разночинская игра между либералами и почвенниками Прилепину-писателю на руку. В итоге его празднуют и те, и другие. Эффектный монтаж с «жирными» метафорами, с убедительно говорящими и неубедительно действующими персонажами почитается отныне за новый «психологический реализм».

Прилепин, повторим, модный писатель, и он следит за модой. Он берется за модный жар — биографию и выбирает нетривиального персонажа, «теневого» советского классика и академика Леонида Леонова. В одном из интервью Прилепин говорил, что не сам выбрал героя, что Дмитрий Быков ему выбрал, но… «как он угадал»! Прилепин в самом деле полюбил своего героя, но вряд ли в силу близости писательской и стилистической. (Биография, к слову, худо написана.) Леонов в молодости экспериментировал со сказом и сложно выстроенной системой рассказчиков, потом получал Сталинскую премию за идеологически выверенные антиинтеллигентские романы про вредителей, в конце жизни искал Бога, испытывал дьявола и интересовался космосом. Но как к нему ни относись, Леонов был и, что важно, понимал себя как «мастера слова» в традиционном русско-классическом смысле. У Прилепина другие образцы и другая, как видим, школа, зато его занимает биографическая и политическая интрига, «огромная игра» писателя с властью, вообще то, что есть в литературе от политики, «от лукавого». Я тут, пожалуй, процитирую прилепинского друга и учителя:

> Уменье свободно плавать в пахучей густой возне
> Важнее уменья плавить слова на бледном огне.

Я помню, что длинные стихи Дмитрия Львовича Быкова про жизнь, которая «выше литературы», кончаются неубедительным пуантом о «единственном прибежище». Прилепин тоже в своих интервью регулярно открещивается от политики (особенно от той, что за кремлевскими стенами) в пользу литературы. Но уж больно правильно и умело выстроен медийный образ «писателя Захара Прилепина», и, можно не сомневаться, — вся эта «огромная игра» потом войдет в учебники по литературному пиару. Что же до литературной истории, то повторю: тут интереснее собственно читательский запрос. Юношам, обдумывающим житье, и впечатлительным девушкам (патриоткам или либералкам — это все равно) нужен картинный писатель-мачо из гущи народной. Бритоголовый прозаик из Нижнего Новгорода с медальным профилем, любимец светских фотографов, в биографии которого ОМОН, Чечня и НБП. В меру брутальный, в меру симпатичный, в меру вторичный. Похожий совсем не на тех, на кого ожидаешь при такой биографии и такой репутации.

ЗАЙОНЧКОВСКИЙ: «СОВРЕМЕННАЯ ИДИЛЛИЯ»

Зайончковский категорически не похож на Иличевского и Прилепина, он в принципе мало на кого похож. Он ни разу не «медийный», он скорее аутист, он по природе своей «немодный», даже в те недолгие моменты, когда о нем модно было говорить. «Умные» и «продвинутые» не найдут в нем глубоких мыслей, многоречия и многознания. Его романы не похожи на романы, пересказать их можно в двух словах: там по большому счету ничего не происходит. В его биографии нет МФТИ, Чечни и ОМОНа. Зайончковский родился раньше, в литературу явился позже, его появление было совершенно неожиданным, и, видимо, от внезапности и непреднамеренности события критики (очень разные, кстати говоря) издали дружный вопль, что-то вроде: «новый Гоголь явился». Рецензент из питерского «Прочтения», помнится, объяснял, что автор «Сергеева и городка» — «современный Гоголь, сдержанный и политкорректный», что именно так должен был выглядеть «Гоголь сегодня», а провинциальные истории Зайончковского — это истории о том, что «удивительное рядом» и что в «регулярной повседневности» случаются чудеса. Хотя трудно сказать, что в этом «городке» на самом деле случается и случается ли вообще. Повседневность там есть, а вот чуда — в гоголевском смысле — нет, конечно.

Сергеевский «городок» из первой книги — такой себе заштатный советский городок при заводе (ПГТ — так, кажется, это называлось) со своими бараками, со своими сугробами, заброшенными котельными и пьющими работягами. Там своя жизнь, и если есть в ней что-то, чего мы не знаем, а автор знает и Сергеев знает, — это ее внутренний, отдельный от всего ритм, та самая русская жизнь, которая происходит «по ту сторону телевизора», происходит сама по себе, независимо ни от чего. Вопреки нелепому издательскому слогану («книга о вкусной и здоровой жизни») она не здоровая, но и не то чтобы больная, она не «вкусная», но и не ужасная, нормальная такая жизнь, ничего похожего на «национальную катастрофу». Последняя глава «Городка» называлась «Растительная жизнь», и она действительно должна напомнить о «Старосветских помещиках». Идея в том, что это жизнь, которая не «за стеклом», это жизнь «по ту сторону телевизора»:

> Мы непросты. Мы научились греться у телевизора, как у комелька. Нас невозможно напугать и очень, очень трудно разозлить. Ветер налетел и… стих — увяз в дремучем лесу. А телевизор — он же такой маленький, меньше собачьей будки, в которой скачут блохи. Мы усмехаемся миру, копошащемуся в ящике, зеваем и уходим спать.

Здесь еще характерна интонация, абсолютно естественная, идущая вслед за языком, а не за приемом. Такое ощущение, что человек, написавший «Городок» и «Петровича», пропустил все литературные искушения XX века, оставшись с классическим домашним чтением от «Нивы».

«Сергеев…» был первым «романом» («роман» в случае «немодного писателя» Зайончковского — не более чем маркетинговая бирка и издательский ход, фактически — цикл историй со сквозным героем). Статью о последней книге («Счастье возможно») я когда-то назвала «Обломов нашего времени». Там тоже была издательская бирка: «роман нашего времени», и это был очередной «псевдороман». Романы нашего времени выглядят иначе, — с бурным экшном или, по крайней мере, с мистическими откровениями и с модными аллюзиями на борхеса-набокова. Сейчас «так носят». Зайончковский ничего такого не «носит», романов в привычном смысле — не пишет, на «героя нашего времени» его протагонист не тянет. У него, кстати, даже имени нет. Да и сюжета в этом «романе нашего времени» нет: есть прозреваемый персонажем-писателем разлад между людьми «мыслящими» и «деятельными». От «мыслящего» писателя уходит «деятельная» жена. К такому же «деятельному» и успешному человеку по имени Палыч. У Палыча — Гелендваген. А у писателя — Фил, дворовой породы собака. Банальная история неудачника «нашего времени». А смысл названия в том, что как бы плохо ни складывались обстоятельства «мыслящего неудачника», счастье возможно. Фил «развяжется» со знатной далматинкой, а к бездеятельному писателю вер-

нется его деятельная жена. Вот, собственно, и все. Есть еще некоторое количество попутных историй — дачных, городских и писательских. (Писательские, кстати, так себе.) Герой всех этих историй не делает ничего, разве что доброжелательно наблюдает. Все остальное происходит само собой. А хеппи-энд устраивает добрый deus ex machina, в нашем случае — автор. Он этого и не скрывает.

Эта проза «нашего времени» опоздала лет на тридцать и больше всего напоминает позднесоветское кино. Такое, которое с первой минуты опознаваемо как советское, причем именно 70—80-х: буровато-зеленоватая пленка, размытые цвета, хорошие актеры с симпатичными лицами медленно о чем-то разговаривают, почти не двигаются, ритма нет и не предполагалось, какой-нибудь вальс Петрова на все это накладывается. Жанр этого кино обозначали как лирическую комедию, а от голливудских мелодрам она отличалась тем, что хеппи-энд там следовал не из сюжета (п.ч. сюжетного движения не наблюдалось), а ex machina. По воле всемогущего режиссера. Таково было условие жанра.

А теперь дежурный вопрос этой статьи: в чем секрет успеха «немодного писателя» Зайончковского, что находят в нем маленькие и умные издательства вроде «открывшего» его «ОГИ»? Почему «перекупают» его монстры вроде «АСТ»? Зачем цепляют к нему все эти безнадежные бирки-паровозы, кого хотят обмануть? Так называемого «широкого читателя»? Может, один раз и получится, но вряд ли. Настоящего читателя Зайончковского? Это «ограниченный», скажем так, контингент, и любят его «ограниченные» читатели не за это. Я подозреваю, что знаю — за что, потому что я сама принадлежу к «ограниченному контингенту».

У «ограниченного читателя» нет иллюзий на предмет медийной моды, мест в рейтингах и премиальных шорт-листах. «Ограниченный читатель» литературоцентричен, он не ищет в литературе чего-то еще, кроме литературы, а если и ищет — то в последнюю очередь. Вопреки расхожему мнению о российском «литературоцентризме», литературоцентричный читатель никогда не составлял у нас большинства. Это в принципе невозможно. Поэтому единственное чудо (в гоголевском смысле) — это успех Зайончковского. Если этот — идущий поперек нашего медийного и гламурного времени — писатель в какой-то момент вошел в моду и на него появился спрос, значит, нас таки перекормили заморской замысловатостью à la Павич и домодельной «прикольностью» à la Пелевин, мы переели модной сорокинской субстанции и отвыкли от неторопливого домашнего чтения.

Отчасти успех прозы Зайончковского связан с тоской современного человека по «идиллии»: идиллии как жанру, как состоянию времени и пространства, как особого порядка историческому, эпическому ощущению жизни (здесь опять имеет смысл вспомнить «Обломова» и «Старосветских помещиков»). Единственное, что есть в этих недлинных повестях и циклических историях от «большого жанра», — это спокойная неторопливость времени и медлительность оптики. Идиллия всегда консервативна, всегда обращена назад, и если она в известные моменты становится актуальна, выходит на авансцену, значит, «промышленные заботы» одолели, и «поэзии ребяческие сны» уступили место «общей мечте» о «насущном и полезном». Наверное, читатель Зайончковского консервативен, — по крайней мере, он мало похож на «революцьонных» подростков и либеральных интеллектуалов (электорат Иличевского и Прилепина).

Эта статья нимало не претендует на какой бы то ни было исчерпывающий анализ состояния современной прозы и соответствующих читательских «таргет-групп». Это не более чем выборка, она субъективна: всякий выбор субъективен. Придет другой критик и скажет, что эти трое непоказательны, а показательны, скажем, Геласимов, Терехов и Елизаров, или Мария Галина, или вовсе… Алексей Иванов. Я повторюсь: я не считаю, что эти трое — Иличевский, Прилепин и Зайончковский — «лучшие и знаменитейшие». Но я полагаю, что их «литературная карьера» характерна для 2000-х, что они разные, и читатели у них — разные. И это главное.

рецензии

В особой аранжировке

Леонид Григорьян. *Лягу в два, а встану в три… Стихи разных лет. — Ростов-на-Дону: Старые русские. 2009.*

Искренность, известное дело, не достоинство поэта, но компонент его дара. Разумеется, неотъемлемый, но всего лишь один из многих и далеко не главный. Так что верить поэту, когда натыкаешься в его стихах на мелькающие тут и там автохарактеристики, надо с осторожной оглядкой, не ровен час, угодишь пальцем в небо. Леонид Григорьян аттестует себя вскользь и безо всякого респекта: «Чудак, рифмоплет, неврастеник». И снова: «Вчерашний фрондер, рифмоплет и любовник». И сызнова: «Вертопрах, массовик-пустоболт». И еще: «Зажившийся стихоплет». И далее в том же духе. В общем, о пиитических своих занятиях он отзывается пренебрежительно — рифмачество, пустая болтовня. Многажды повторив уничижительные словечки, подбивает итоги: «Не выходит — пиши не пиши». Единственный, кажется, раз открывая свою книгу маленькой, полторы странички, прозаической преамбулой, Григорьян уведомил читателя с обезоруживающей прямотой: «Стихи мои — более или менее квалифицированный дилетантизм. Констатирую это без тени лукавства». Коли без тени лукавства, то грешно не согласиться. Кое-кто из рецензентов ухватился за подсказку и с готовностью принялся рассуждать о «специфике и ограниченности дилетантизма». Вот уж истинно — молчи, скрывайся, не подставляйся.

Разговор о дилетантизме и профессионализме в поэзии заведомо бесплоден, и ввязываться в него глупо. Все более-менее просто, как и в любом ремесле, будь то землепашество либо резьба по камню. Профессионалы, имя им легион, от графомана до гения, хорошо ли, посредственно ли владеют своим делом, в нашем случае — стихотворной речью. Ну а кто с нею не в ладах и не выучился с годами ни рифмовать, ни мало-мальски гладко сочинять ямбом ли, верлибром ли, тот и дилетант.

Один поэт сказал: «Но старость это Рим»,
Другой: «Но в сердце не скудеет нежность».
И далее: «Блаженство… безнадежность…»
О чем мы говорим, когда не говорим?

Припомни же, о чем за эти полчаса,
Среди чужих людей, на аэровокзале?..
Не вспомнить ничего. Но чьи-то голоса
Когда-то все сполна за нас уже сказали.

Мы жалкие слепцы, но кто-то освятил
Весь этот тусклый мир по замыслу благому.
И вот: «Среди миров, в мерцании светил…»
И вслед за тем: «Прощай… теперь блесни другому».

Скажи, когда опять? — В двухтысячном году?
А может, через день? Или ближайшим летом?
И я шепчу: «Когда опять сюда приду?..»
И с горечью: «И что найду на месте этом?»

Стихотворение на корню пресекает разговор о дилетантстве. Текст явно, даже демонстративно перенасыщен обрывками чужих стихов. Уж не подзуживает ли нас автор угадать, откуда цитатки? Вряд ли. Разгадки, кроме разве что последних эпизодов, очевидны, зато затеянная здесь игра куда как опасна. В укачивающем и томительном русле шестистопника чужие стихи могут обернуться невзначай ледоколом — искромсают и заглушат авторскую интонацию, подомнут ее под себя. Риск огромен, а вот поди ж ты. Ни Пастернаком, ни Тютчевым, ни Анненским, ни Кушнером, ни Мориц тут, согласитесь, и не пахнет. И стихи-то на поверку, хоть и подсвечены «мерцанием светил», а толкуют о собственном, о незаемном; узнаваемые и не очень узнаваемые чужие слова легко встраиваются в новую конструкцию, звучат именно что по-новому. Вы вправе не знать, откуда дровишки, свою функцию они выполняют и горят исправно. Чьи-то голоса все уже сказали? Ничуть не бывало. Что ему нужно, поэт оглашает и сам и по-своему.

Книга приурочена к 80-летию Леонида Григорьяна. Название кажется спервоначала неуклюжим и нелепым, однако, мало-помалу раскрываясь, обретает ореол символики. Сколько ни проживи, прожитого все равно мало, как мало для нас одного часа на сон. Это во-первых. А во-вторых — ох и жаль изводить время во сне, ты ведь еще не насытился земной сластью, не распознал подспудный смысл экзистенции ли (в философском аспекте), бытия ли (в гражданском его разрезе), да хоть и заурядного будничного существования:

Жить! Начиная с нулевой отметки.
Жить на свету! Без грима и подсветки.
Не по одежке и не по уму —
Равновелико сердцу своему.

Здесь уместной оказалась бы состыковка с элегическим пассажем Арсения Тарковского: «Жизнь хороша, особенно в конце». Но речь опять-таки совсем об ином: «Жить меж великих и убогих сих. / И заплатить, поскольку “аз вкусих”». Это важнейший пункт. Она, жизнь, и впрямь и хороша и сладима (словцо, любимое Григорьяном), и ты, благодарение Богу, вкусил этой сласти, но коли так — изволь уплатить полную цену. Перед нами мотив, открыто либо прикровенно звучащий у нашего поэта во всех его книгах. Уплатить? Он готов: я «фарт трикраты оплачу». Либо: «Я знаю, / за что собою заплачу». Заплачу собой за сугубо сознательный свой выбор — эстетический (пристрастен к тем-то и тем-то, поименно), политический (не выношу того-то и того-то), житейский (друзья — главное мое достоянье). Замечу, что предпочтения и неприятия Григорьяна в означенных сферах недвусмысленно зафиксированы стихами — чаще напрямик, иной раз окольно.

Недвусмысленность эта порою странновата — где же стихотворческие флеры-поволоки? Не трудитесь искать, их нет. Поэту непременно нужно докопаться до смысла; стихи появятся не раньше, чем обнаружится подоплека вещей. Коль скоро в первой строфе наметился смутный до поры до времени намек: «Этот звук безыскусный, / этот реющий Дух — / изначальный, изустный, / непонятный на слух», то в финале непонятица рассеивается, как облако: «…но придет пониманье / и уста отворит…». О том и речь: уста отворяются, когда понятно, что к чему, не раньше. Пониманье — своего рода призма, преломляющая взгляд; обыденное преобразуется: «Если быт испытать пониманьем, / бытованье войдет в бытие!». Жажда и надежда понять — особо приметны, постоянны: «Невесомый почти золотник — / неожиданный луч пониманья». Чем он ценен, этот золотник? Он способен углубить и расширить «душевный объем».

Ты пытался судьбу уломать,
Но все то, что узлами казалось,
Разошлось, расплелось, развязалось —
И приспела пора — п о н и м а т ь .

Перед ударным словом поставлено для вящей весомости вездесущее тире, вдобавок ударное слово дано разрядкой; перебор очевиден. Интонации надо доверять, она сильнее любых ухищрений. Впрочем, это второстепенно. Главное, вот оно: пора приспела, душа созрела и поспела, и перо успело зафиксировать ее подвижки.

Понимать, думать, мыслить — ежеминутная безотчетная работа сознания, труд интеллекта, присущий известной социальной прослойке. Те, кого к ней причисляют, обычно скверно приспособлены к борьбе за место под солнцем. На что наша братия годится, нам и самим-то, случается, невдомек, и, пытаясь уразуметь это, Григорьян поневоле прибегает к вопросительному знаку: «Бродяжничать на перепутьях тьмы, / зато владычить в стопах и силлабах?». И следует ответ, ответа как такового не содержащий: «Мой милый друг, ну кто же, как не мы, / поймет и растолкует силу слабых…». Засим идут строки, смахивающие на манифест:

Мой милый друг, ну кто же, как не мы,
Переберет сокровищницы бедных?
Пуст кошелек, не греет рыбий мех.
От века нет талана у таланта.
Уменья выжить нет у неумех —
Сервантеса, Вийона или Данта.
Пасуют их великие умы
Пред тем, что их расчетливо погубит.
Мой милый друг, ну кто же, как не мы,
Их злоключенья горестно полюбит,
Услышит их пророческую весть —
Из каталажек, нищеты и ада?
Быть может, в этом наш талант и есть.
Он так велик, что и других не надо.

Манифест слабых (или, внесем определенность, интеллигентов) изначально порождает улыбку, хорошо, коли скептическую, скорее же снисходительную, презрительную. Что, мол, у вас есть? Одна душа; маловато будет. Ответ Григорьяна в другом стихотворении сводит это презрение на нет. Он и не думает опровергать, а только поддакивает: одна душа, вы совершенно правы. Но, поддакивая, добавляет: «…и то, что за душой, — / окопный опыт, лагерный, больничный».

Опыта, выясняется, хоть отбавляй. И не «душевного» (вообразите сардоническую ухмылку), но донельзя земного. Все так: «Уж беды-то было в избытке…».

Впрочем, измышляя диалог, некорректно завершать его победительной эффектной репликой единомышленника, тем паче что парировать ее легче легкого. Разве горьким земным опытом обогатились одни только вы? Судьба никого не миловала, ваша карта бита. Вы и по этой части не богаче всех иных.

А Григорьян и не говорит, будто богаче. Парадокс его стихов: они всеми своими предпосылками, предусловиями должны быть укоренены в одиночестве, философской медитации с присущим ей чуть отстраненным от суеты сует умозрением, на поверку же — ничего похожего. Поэту нравится «все снизить, заземлить». Обыденности, будням у него вольготно дышится, его стихи многолюдны. «У каждого свой вектор-абсолют. / А я люблю разнообразный люд». «Невзрачные апостолы добра», те самые интеллигенты, соседствуют у него с таким вот контингентом: «Алкаш Валера, продавщица Нюшка, / Гуревич, ветеран КПСС. / Осведомитель Щукин, Верка-шлюшка — / обычный люд…». Он помнит, как в 37-м в их доме «загребали мужчин подчистую». И выразительный список:

русского Ленкова, диспетчера Водоканала,
еврея Ламдина, секретаря райкома,
латыша Фогеля, комбрига-орденоносца,
осетина Дзедзиева, адвоката,
поляка Снитковского, краеведа,
армянина Григорьяна, экономиста.
Уж если дружба народов, то до упора —
дружите, выродки, на лесоповале!

Ненавистник элитарности, поэт давным-давно — злополучное понятие не было в те поры на слуху — не без патетики возгласил: «Привычный мир, войди в мои стихи!». Па-

тетика не царапает ухо, потому что декларация не повисла в воздухе. Весь антураж у Леонида Григорьяна неизменно пронизан и вспоен обыденностью. Пускает он ее к себе в охотку, вовсе не через силу, дескать, иначе никак; юродства тут ни на гран. Его, «записного книгочея», ни чуточки не смущают и не выводят из равновесия «картины привычной рутины — / в каждодневных мороках мирок». Однако в будничных этих мороках есть укромный нюанс. Его подметил Виталий Семин, замечательный прозаик и ближайший из друзей Григорьяна; вот его рабочая запись: «Для нас жизнь в будничной неразличимости. Для него вся в ярких напряженных сюжетах. В этом разница между всеми и Лекой. В этом его притягательность. Наполнение жизнью — это все чувствуют»[1] . Ярким напряженным сюжетом отличаются в передаче Григорьяна заурядные жанровые сценки наподобие перебранки мужа с женой:

Слышу я, побелевши от шока,
Их проклятья в рассветную рань:
— Будешь знать, как шалаться, дешевка!
— Отъе..сь, косорылая пьянь!

Ну, «побелевши от шока» — сильно сказано, не с луны, чай, свалился. «Ты наблюдал и познавал людей / в гремучей толчее очередей, / где так видны ухватки и замашки»; словом, обморок от смачного выраженьица — боюсь, он из чужой оперы. Наш-то поэт отнюдь не чужд обиходным радостям привычного мира. Вот он иронически живописует свой счастливый день середины 1980-х: «Днем Чухонцева чудом купил, / отоварился с ходу кагором, / озираючись, за косогором / из горл*а* его жадно отпил». И дальше, в компании с друзьями: «Почитали Чухонцева всласть, / Вознесенского поотвергали. / По привычке советскую власть, / клокоча, с матерком обругали». Счастливый день? Я, например, усматриваю здесь упрятанную глубоко в подтекст аналогию с финалом «Ивана Денисовича». Напомню главную, наповал убивавшую фразу Солженицына: «Прошел день, ничем не омраченный, почти счастливый». Согласен, аналогия способна покоробить, и все же что-то тут есть…

Григорьяна всегда мучило, кто он. С одной стороны, «внесистемная единица», «бирюк в берлоге», живущий наособицу «латинист и стихоплет», анахорет и даже — предел обособленности — «доброволец-столпник». А с другой, такой же, как все, человек толпы (по слову Эдгара По), «дитя помоек, выползок лачуг»; там, где он обретается, «жизнь кровоточит неистребимо»:

Да будь ты хоть семи вершков во л*б*у,
Но, затесавшись в битву за крупу,
В сраженье за бутылку с алкоголем,
Ты поневоле спрыгнул со столпа
И стал плотва, молекула, толпа.
О чем тогда витийствуем-глаголем?

И впрямь, о чем? «Я с вами, ваш» — это не виноватое интеллигентское желание влиться в народ, а неоспоримый факт. «Я — это вы, коли сказать по чести».

Двуединая, по-ученому говоря, самоидентификация — столпник и человек толпы — сказывается у Григорьяна и в языке. Преобладает, естественно, безукоризненная литературная речь, которая, однако, густо сдобрена пряностями самого разного толка. Приглядевшись — это не бросается в глаза, — с удивлением обнаружишь, как обширен его словарь. Скажу больше, по словарному богатству с Григорьяном из нынешних поэтов мало кто потягается. Не выставляемое напоказ, оно складывается из множества, на любой вкус, языковых специй и приправ. Архаизмы? Хоть лопатой выгребай: допрежь, одесную, целковый, пажить, неймет, кошт, полушка, челобитчик, аз грешен, музык*а*, прелюбодей, реприманд, прелестница, скудельный, зерцало, стрикулист… Такое же множество

1 *“Знамя”, 2009, № 3.*

просторечий, частенько с привкусом опять же архаизма: духовит, особливо, на свой салтык, окромя, туга, разлюли-малина, нипочем, нежить, облыжный, неслух, промешка, навроде, незнамо, эко вас… Иноязычные словечки сугубо интеллигентского свойства: анфан террибль, инфанта, метрессы, гаррота, код архетипа, лакримоза, куверты, жуир, инженю… Диалектизмы: блукая, капелюха, жменя, комахи… Полужаргонного пошиба новояз: групповуха, кликуха, спокуха, бандерша, кадрить, шмурдяк… Латиница, когда с переводом («Sie modus in rebus — да здравствует мера!»), когда со сноской («чеховское “ich sterbe”» — я умираю), когда и без — «Senilia», то бишь старческое… Плюс к этому неисчислимые ветхо- и новозаветные мотивы и аллюзии («Пусть мертвые хоронят мертвецов», «Был ты как Назорей, / но без Марий и Марф», «остался предреченный апокалипс, / и три коня несутся по полям») и то и дело поминаемые мифологические герои вкупе с персонажами античной истории. Поминаемые, добавлю, со злободневным к ним интересом («…то, что Светоний или Саллюстий / повеличавей Медведева Роя, // то, что бессовестный Катилина / поимпозантнее, чем Янаев»).

Важно вот что. Разнородные словесные пласты налицо, зато словесной чересполосицы нет как нет, искусственности — соединено несоединимое — не чувствуется. Словарь оставляет ощущение полной естественности, стихийности. Поэт черпает из многих источников, и всякий среди них ему люб. Языковое богатство складывалось — и сложилось — исподволь и напитало подкорку, как влага землю. Снова Семин: «…в его неистощимой памяти наряду со множеством латинских, французских поговорок, тысячами строчек стихов должна была храниться и эта чепуха…» Вот-вот, ерунда, пустяки, мелочь. И дальше: «Если мы с Лекой произносим одно и то же, то звучит это у нас совсем по-разному. У нас бледно. У него в особой аранжировке». Тут-то, в последнем уточнении, как раз и зарыта собака. Поэт отличается от собратьев по перу и сотоварищей по жизни тем именно, что вечные темы и неразличимые, будто под копирку, натурные этюды запечатлены им «в особой аранжировке».

Вернемся на минутку к языку, словарю. Разномастные, спору нет, ингредиенты, вроде бы наобум отправленные в общий котел, образуют не смрадные помои, не безвкусную бурду, но насыщенное варево со своеобычным острым ароматом. Особо выделю своеобычие. Литературные учителя Григорьяна, как и поэты-современники, родство с которыми он ощущает, не раз и не два поименованы в его стихах. Ну, к примеру: «Арсений, Давид и Борис». И через несколько строк: «…Анна и Осип, / Марина, Георгий, Иосиф, / Владимир, Булат, Владислав». Фамилии требует разве что Владимир; я полагаю, речь о Соколове. К этому же перечню следует отнести так или иначе фигурирующих в григорьяновских книгах Ахмадулину, Кушнера, Межирова, названного выше Чухонцева, скорее всего, Липкина, возможно, Лосева, Русакова, Цветкова, возможно, позднюю Лиснянскую; круг очертился. Круг предпочтений, круг ориентиров или, пожалуй, система координат, указывающая, где приблизительно располагается тот или иной стихотворец на карте поэзии.

Распознается ли в условном этом кругу голос Григорьяна, не вторит ли он одному либо даже многим из означенной плеяды, самолично поет или подпевает? Я-то считаю вопрос риторическим, а спрашиваю лишь оттого, что, провинциал, он, увы, мало кому ведом. Сошлюсь на курьезный случай. В минувшем году Григорьяна, должно быть, открыл для себя журнал «Дети Ра» и дважды, в сентябрьском и декабрьском номерах, опубликовал две пространные его подборки. Превосходно, молодцы! Да только стихотворения-то по преимуществу давние и чрезвычайно давние, тридцати-, сорокалетней выдержки, а среди тех, что поновей, пять или шесть уже напечатаны в «Новом мире» (в 94-м, 96-м и 99-м годах) и «Дружбе народов» (2005). Подборки в «Детях Ра» готовились, уверен, без участия автора; редакция, думаю, ходила гоголем — удача так удача! Редакция, подчеркну, московского журнала, который специализируется на стихах. А читатель, изредка встречающий в столичных журналах армянскую фамилию скромнейшего ростовчанина, вовсе лишен возможности составить о поэте представление.

Хорошо, по крайней мере, что представление о Григорьяне составили многие в родственном ему кругу поэтов. Об этом свидетельствует оформление рецензируемого «изборника». На форзацах воспроизведены дарственные надписи на книгах, подаренных поэту Давидом Самойловым и Арсением Тарковским, Фазилем Искандером и Олегом Чухонцевым, Александром Кушнером и Татьяной Бек, Инной Лиснянской и Борисом

Чичибабиным. А касаемо того, самостоятельно поет Григорьян или же кому-то подпевает, остроумно и улыбчиво высказалась Юнна Мориц:

В Ростове, где юмор так свеж и румян,
Живет трубадур Леонид Григорьян.
Он утром студентам читает латынь —
Язык медицины и римских твердынь,
Поэмы, комедии, драмы, стихов,
А также схоластики древних веков.

…А что там на разные свищет лады
В груди дымовой, наподобье трубы?
А каждая птица там свищет свое…

Вот именно — свое. Почитаю долгом обратить внимание на черту творчества Григорьяна, неожиданную для поэта философического, медитативного склада. Речь идет о постоянных откликах на злобу дня, причем, оговорю специально, злобу дня политическую. Причем отклики следуют не на конкретное событие — на воздух эпохи, меняющийся не вдруг и все же неотвратимо. Случаются, впрочем, актуальные памфлеты:

У всех тиранов перманентный криз.
Но дух самодержавности не вымер.
Уходит в вытрезвитель царь Борис,
Восходит по ступеням царь Владимир.

Он обошел клевретов записных
И был Семьей усыновлен и нанят.
(Но мы-то знаем, где таких чеканят,
В каких лелеют люльках лубяных…)

Он в одночасье демос покорил,
Ему б коня — совсем святой Егорий, —

но характерно, что злободневный этот выпад ерничеством не назовешь — удачно ли, нет ли, поэт осмысляет ситуацию и, не довольствуясь укусом моськи либо фигой, возвышается к обобщению: «О, как моей отчизне не хватает / тебя, неукротимый Аввакум!..».

Григорьян отчетливо знает, от чего напрочь открещивается, что презирает и что противопоставляет убожеству, пусть и коронованному:

Но ход времен, увы, ненарушим,
В нем много Рубиконов, Перекопов,
И понимаешь, по земле потопав,
Что тот режим и нынешний режим
На свой салтык, да на один аршин —
Тиберий в Риме, а в Москве Андропов.

И Джугашвили, и Домициан
Без разницы — мышьяк или циан.
С Калигулой запанибрата Троцкий…
Но Квинт Гораций! Но Иосиф Бродский!

В этой рецензии не место толковать об изумительных переводах Григорьяна из Камю («Падение», «Калигула», «Недоразумение», десяток эссе) и Сартра, про то, каким уморительно смешным получился у него «Клошмерль» Габриэля Шевалье, как ностальгически бережно перелагал он армянских поэтов. Изложу напоследок никому не адресованную

свою просьбу, верней, несбыточную мечту. Леонид Григорьян — истинный, достойный, значительный поэт. И он заслуживает адекватной книги, выпущенной в Москве серьезным издательством.

Георгий Кубатьян

Дежурная по пятиэтажной России

Евгения Пищикова. *Пятиэтажная Россия. — М.: ИД «Ключ-с», 2009.*

Если смотреть на нашу жизнь глазами писательницы, а лучше сказать, бытописательницы Евгении Пищиковой, то и ничего страшного и нет, а, наоборот, все очень симпатично выглядит. А взгляд у Пищиковой на пятиэтажную Россию, то есть самую что ни есть настоящую, — обширный, внимательный, любовный и понимающий. Она фиксирует все, что вроде бы на глазах у всех. Но там, где наш глаз «обрывается, куцый»: «Холодно, зябко, тучи низкие, пороша сеет. Поле выгнутое, лысое. И посреди серый дом о четыре подъезда со всеми подробностями обычного хрущобного жилья — балконы, забитые ерундой, облупившиеся окна. Плоская крыша. Дом-сирота. Печаль и печаль», — и история прекращает свое течение, Пищикова способна увидеть совсем другое. «А вечером меня везли обратно. Темно, идет снег, выезжает машина на это голое поле, а там стоит невообразимо прекрасный дом. Золотой улей, налитый теплом. Горит каждое окно, в окнах видны елки с гирляндами и снежинки, вырезанные детьми из бумаги и наклеенные на стекла. И дом еле слышно гудит — посреди темноты, посреди пустыря. Это было такое острое переживание, такое пронзительное чувство гордости за людей, которые живут в этой сиротской пятиэтажке… Они устоят, что бы ни случилось. И праздник у детей будет. И если жизнь ради жизни — главный подвиг мещанина, то городское и поселковое мещанство — героическое сословие. Героический класс».

Пищиковой интересны просто люди — те, кто выживает в любые времена и транслирует в будущее свою систему ценностей, свое представление о добре и зле, о смыслах и целях, потому что заняты именно своей жизнью, а уж насколько их мировоззрение соотносится там с большой историей и ее целями — это дело большой истории. Вон она как меняется у нас, а жизнь себе идет, повседневная, та самая мещанская, к которой в России было принято относиться свысока. Говорили, что не любят ее, а между тем этой мещанской жизнью жило большинство страны. Ну, наша дворянская культура, понятное дело, не замечала ее, и мы, вроде выросшие на ней, хотя нам по большому счету «досталось от нее жеманство — больше ничего», — туда же. Как чеховская Маша, все стучим себя пальцем в лоб: «Ах, зеленый пояс нельзя к этому платью! Ах, мещанство!». Наша советская культура, занятая переустройством мира больше, чем жизнью отдельного человека, тоже всячески поносила мещан. Сейчас вроде пришло их время, но мы опять нос воротим.

А Пищикова не стала нос воротить. И в этой мещанской жизни увидела много интересного про жизнь вообще — не ту, что должна быть, а ту, что есть. Она не этнографически записывает за народом, как он ест, женится, учит детей, переживает кризис и проч., а за всеми этими повседневными проявлениями бытовой жизни усматривает нечто общее и про жизнь, и про особенности нашей национальной физиономии, которая, если и сохранилась более или менее, то в этом самом героическом, по ее мнению, мещанстве. А героизм мещанства, равный условию его выживания, и заключается не в сопротивлении — государству, власти, среде, а в приятии — государства, власти, среды. Вот это приятие как условие и способ выживания и сохранения и интересует писательницу. При том что сама-то она скорее сопротивляется (ее блестящая, тонкая ирония как основа стиля и есть знак этого сопротивления) — именно из-за культурного родства и происхождения, а куда же еще деваться «одной образованной девице», как она аттестовала не то себя, не то таких, как она? Но, сопротивляясь, она отдает отчет, что пятиэтажная Россия живет другим. И вот это «другое» она нам и показывает. А там уж видно будет, куда нам с этой Россией деваться — или ей с нами.

У Пищиковой «героем становится любой». Например, бывшие чертежницы, от безысходности рванувшие было в горничные легендарного «Интуриста» и ни разу не пожалевшие об этом, и куда более экзотические обитатели этой гостиницы, в разрушении которой Пищикова видит эстетику увядания и особенную атмосферу угасания целого сословия — сословия советских халдеев, покидающих свой вишневый сад. В строчках брачных объявлений, даже в сокращениях (хорошо смотрится «без м/п» — так сообщают об отсутствии материальных проблем!) писательница обрисовывает «контуры общественной мечты» и ее изменения на протяжении лет двадцати. Читаешь — и смех и грех. Но в какой-то момент понимаешь, что за этими сокращениями, за этими надеждами на счастье — та самая «чувств простая пятерица», которую видели святые отцы в каждом человеке. А что сложного-то? И нового тоже ничего: «Элементарно хочу замуж! 40 лет, врач. Детей нет». Пищикова комментирует: «Сразу видишь за одной-единственной строчкой человека — медичка. Склад ума сардонический. Я, безусловно, привела в пример объявление по-своему совершенное. Оно волнует как личное высказывание». Пищикова и воспринимает жизнь как «личное высказывание». А оно уж может быть каким угодно: и глупым, и амбициозным, и смешным, и трогательным — но в глазах автора оно «обаятельно — для тех, кто понимает», как и было сказано. Для Евгении Пищиковой оно именно — «обаятельно». И эта ее способность так прочитать чужую банальность, а даже и глупость как что-то положительно-трогательное, наивное, преобразовать эту человеческую живую жизнь в нечто вызывающее сочувствие и понимание, не просто редка — уникальна!

А как любит Пищикова почтенные городские семьи, знающие, как выжить сегодня и всегда; а как, рассказывая новую притчу о сегодняшнем хозяине и работнике, несколькими точными штрихами набрасывает социально-психологический портрет того и другого... Вот пишет она о своей домработнице: «Света занимает в моей жизни чрезвычайно важное место. Я не знаю о ней ничего (кроме того, что в Бендерах — очень красиво), а она знает обо мне все. Все грехи и слабости нашей семьи открыты ее взгляду, и я знаю, что она судит меня. Необязательно осуждает, но обязательно судит, потому что суд — наиболее привычная для нее форма мышления». А ведь начала вроде про другое, а потом — в придаточном предложении, будто и необязательно — раз — и про суд как наиболее привычную форму мышления! И у Пищиковой так на каждом шагу: это умение сказать важное и не носиться с этим, не развивать мысль, не перегружать собой то, что интересно, как она убеждена, и само по себе. Нет, конечно, не само по себе, а потому что это она так увидела, так поняла и так сказала.

Интонацию она находит для своих очерков удивительную, ей веришь сразу и безоговорочно, и хочется не только читать и читать дальше, и чтобы книга не кончалась, но и каким-то образом тоже научиться так разговаривать, или так смотреть на жизнь и на этих людей, или так понимать их, чтобы не разлюбить, несмотря на все, что видишь и понимаешь. Потому что только любовь, когда чувствуешь себя плоть от плоти, кровь от крови пятиэтажной России, может увидеть смысл там, где, кажется, и смысла-то никакого нет.

Эта любовь не только не лишает Пищикову зоркости, с которой она смотрит на обыденность, ничего не выпуская из внимания, не закрывая глаза на противоречащие друг другу мелочи, которые могли бы не только добавить дегтя, но и вообще лишить картину жизни не то что стройности — содержания вообще. Примеров такому унылому взгляду — тьма-тьмущая. Нет, Пищикову, кажется, радует это многообразие и нагромождение деталей, она видит в них не безвкусицу, не всеядность и разброд в мозгах, а цветущую сложность жизни (конечно, не в словоупотреблении строгого К. Леонтьева!). И в этом проявляется такое редкое приятие жизни во всем ее разнообразии, в положительном смысле, как выражались те самые носители дворянской культуры. Это разнообразие может, конечно, задеть, оскорбить и даже показаться излишним. Но кажется это только тем, кто являет собой «бедствие среднего вкуса», о чем в сердцах еще Юрий Живаго говорил. И сколько раз ловишь себя на проявлениях этого самого «среднего вкуса», живя с вбитым в голову девизом «Ничего — слишком», отворачиваясь или шарахаясь от этого буйства жизни, а Пищикова — ничего, понимает. И начинает проясняться и в собственных мозгах, читаешь вот так и думаешь, что это разнообразие и прочие излишества потом, утрамбовавшись, переварившись и усвоившись, лягут на нашу коллективную душу и на наш уклад и станут стилем, традицией, жизнью. Чему уже не раз было множество доказательств в нашей

истории. Это ведь только на вкус молодого и ригористского Чацкого «смесь французского с нижегородским» — фи, а на деле-то получается освоение культурного богатства человечества, и может, это самое освоение и есть наше ноу-хау. А какое же освоение без переработки? Ну, а на переработку смотреть, может, кому и не очень приятно, но вот Пищикова смотрит, не боится и нам показывает. Мол, смотрите: ничего страшного, даже интересно.

Вот она описывает убранство обычной городской квартиры тех самых почтенных городских жителей, мещан, то есть. Да не описывает, ибо в описании есть отстраненность, учет и оценка, а внимательно и тепло смотрит, потому что это квартира людей, которых она знает уже много лет, в гости ездит и про жизнь разговаривает. «Помимо икон, на тумбочке стоят фотографии умершей мамы Сергей Владимировича, пучок вербы, стакан воды с серебряной ложкой. За иконами положена подкова и спрятаны коробочки, куда складываются волосы всех членов семьи. Волосы Татьяна Владимировна выбрасывать запрещает категорически. В тумбочке хранятся фотоальбомы, монетка из Наташиной свадебной туфли. Рядом на телевизоре — керамическая свинка, символ года, и жаба с денежкой во рту — талисман на финансовое благополучие фамилии. Словом, маленький семейный алтарь». Да из этого описания можно выудить какие угодно смыслы и завернуть любой анализ, обвинив людей, так обставляющих и понимающих свой быт и жизнь, мол, понаставили свечек всем богам, смешали все подряд без всякого разумения, демонстрируют свой инфантилизм и проч, и проч. Пищикова же ничего не оценивает. И не только потому, что, очевидно, будучи человеком деликатным и тонким, то есть являя почти утраченные сегодня главные признаки интеллигентности, не считает себя вправе оценивать все это (кто нас поставил судьями этим людям?). Она обладает именно просвещенным взглядом — во всех смыслах — и на жизнь этих конкретно людей, и на жизнь этой конкретно страны — в любой момент ее бытования. Она смотрит на все это — и в этом нагромождении деталей появляется если не смысл, то сочувствие, понимание их жизни, которая вся как на ладони — в этом семейном алтаре, и как следствие — признает правоту этих людей. Не это ли и есть главное свойство просвещенного взгляда — посмотреть и понять? Да и прикладная просвещенность тоже хороша — как органичны и уместны ссылки на словари, старые и новые справочники, книги, статьи. Эти ссылки вызывают забытое ощущение доброкачественности работы, так сказать, основательности, и в то же время показывают отношение автора к происходящему сегодня. Не столько философски отстраненное, мол, и это было, и это пройдет, — сколько вполне жизнеутверждающее: и это переживем, как переживали не раз и не то! И такой взгляд на вещи задает правильный масштаб явлений и событий — так складывается культурный слой, в котором сохраняется и отражается все. Автор не боится перегрузить смыслами то, что кажется поверхностным (ну что можно выжать из репертуара певиц провинциальных кафе, какие общественные тенденции? — а Пищикова выжмет), и не носится с тем, что навязло в зубах от бесконечных обсуждений, т.е. не дудит в общую дуду про какое-нибудь очередное общее место. А если и пишет о кризисе семьи или массовой культуре, то такие наши национальные особенности усмотрит, что яснее ясного, откуда кризис и откуда такая массовая культура.

Вот небольшой очерк «Лыжи». Начинается как воспоминание о детстве, до того конкретное, что каждый узнает и вспомнит: «Лыжи были маленькие, коричневые, с брезентовыми петлями вместо креплений; на каждой по облупившемуся северному оленю. … Пойдем встречать папу. … Суй, суй валенок в петельку». И уже там, внутри этих детских воспоминаний, в этих же, еще теплых, домашних интонациях, слышится уже другое — ироничное и аналитическое, сегодняшнее. «Вот идет папа, кандидат умных наук с прянниками в портфеле, но он не умеет ставить лыжи елочкой и поэтому никогда не заберется на горку. Ну и что, у русских интеллигентов другие вершины. А какие, мама? Вырастешь — узнаешь». И после риторически-лирического вопроса: «Как бы вырастали русские дети без лыжной науки?» — покатятся рассуждения о русских смыслах и русской жизни. Кто бы мог подумать, какими продуктивными окажутся какие-то лыжи. Она вспомнит и детские стишки про лыжную прогулку, и увидит репетицию побега в чем-то туристско-сентиметальном: «В синюю даль убегает лыжня, юностью легкой лукаво дразня», и подтверждение возможности этого побега в женском вопросе: «Куда навострил лыжи?»

И так, по цитатам, по поговоркам («Дорога не важна — важно направление») — доедет Пищикова до наших времен, когда вместо лыж на балконе, олицетворяющих добропорядочность дома («в этом доме ходят на лыжах в зимний лес, значит, за этой дверью все хорошо!»), появятся другие лыжи, горные — «лыжи для успешных людей». И аккуратненько, почти без эпитетов, постепенно разгоняясь и увеличивая виражи до свиста в ушах, очень четко, что подтверждает классность катания, достигнет своей цели: «Высота облагораживает. … Горный воздух обычному не чета. … Великие люди обживают вершки, отдыхая там со своими верными корешками, и лыжи стоят не у печек, а у каминов. Любит горные лыжи и невысокий голубоглазый человек, который думает о нас всех».

А в конце очерка, «заглянув в Академический словарь», удивит неожиданным значением этих самых лыж, которые по-древнерусски-то означают «ложную весть». «И уж там омонимы — не омонимы (нет, все-таки молодец: как не обезопаситься! А то, «перышком скрипя», кто-нибудь полезет с уточнениями!), а от такого прошлого не скроешься. Не спасут нас лыжи. Никуда мы не убежим на своих беговых, и вряд ли хоть кто-то уютно спустится на своих горных». Но и это еще не конец, потому что Пищикова если и занимается публицистикой, намеками и аллюзиями, то вскользь, «как бы резвяся и играя», главное же ее дело — вывести наше сознание и восприятие из привычных границ смыслов и клише, начав про одно — ну, подумаешь, лыжи! — кончить совсем про другое, совсем. «Заигрались мы, а лыжи — не игрушка. Только дети знают, что это серьезный, взрослый снаряд, обучающий смирению. Валенки в петли, елочкой в горку, съехать носом в сугроб, высморкаться в варежку, и снова, и снова, и опять, до самой темноты, до зимнего стылого мрака. В ожидании усталого папы, который, возможно, принесет пряников». И это хоть в любой европейский сборник, посвященный современному религиозному сознанию, поиску Отца и проч., и проч., помещай — будет хорошо смотреться.

Пищикова в определенном смысле может писать, как завещал нам великий Чехов: про лыжи — так про лыжи, про шубу — очень хорошо! И заячий тулупчик вспомнит, и «славную бекешу», и морозную пыль на бобровом воротнике, и фильм «Мужчина и женщина», и так повернет шубейку, и этак, чтобы в конце выдать точно до афористичности: «Женщины большой равнодушной холодной страны мечтают о шубах не потому, что им холодно, а потому, что им страшно».

А про магазины эконом-класса! «И вот «снизу» родилась новая драматургия похода за покупками. … Так ходят по грибы. Маленькие хитрости позволяют обогнать грибника-соседа и выбрать лучшее среди одинакового». Скажешь разве, что она обидела всех грибников, что снисходительно посматривает на посетителей всех этих «Копеечек» и «Пятерочек»? Да ни в жизнь! Хотя может и похлеще завернуть. «Магазин эконом-класса», как земская учительница — все ее уважают, но никто не любит». Да из этого одного сравнения можно было целый роман выжать! А она — так вот, широкой рукой, в проброс.

Вот я и говорю, пишет вроде про одно, а выходит про другое. Она, наблюдая внешний, казалось бы, мир, видит и описывает то, что может стать «дней минувших анекдотами» в самом что ни есть эпическом смысле. В этом бытописании развивается традиционный диалог просвещенного сознания и народного. Пищикова при всем внимании к пятиэтажной России, уважении и проч., относится к ней между тем без иллюзий и ожиданий, без обольщений единством и соборностью, без этих вековых интеллигентских комплексов. Она-то, писательница, все присматривается, все запомнить, понять хочет, как жизнь устроена да к чему это все привести может, а это самое ее любимое городское мещанство, героически проживающее в одиноких домах в лысом поле, в больших и малых городах, бодро, ничтоже сумняшеся поучает же ее, что покупать, как квартиру обустраивать, какую музыку слушать, реализуя свою привычную форму сознания — суда. И прямыми советами в категоричной форме, как с недоумком, поучают: «Данон» покупать нельзя, это живая модифицированная соя. Ты что, кормишь ребенка болгарским перцем? Это все равно что светофор съесть или банку гуаши. Голая химия». Чего там чикаться и миндальничать, как московская гостья давеча в их квартире. «Ах, жаба с денежкой, ах, свадебная туфелька, ах, семейный алтарь»! Нет, они правду-матку прямо в лицо, хоть и среди прочих наблюдений: «А ты в Москве-то чего в последнее время покупала? Плоский телевизор брала? Слушай, тебя обмануть проще простого! Ты знаешь, почему все эти плоские телевизоры в Россию за такие маленькие деньги везут? Потому

что они во всем мире больше никому не нужны — они цифровое телевидение не показывают. Не крути головой, ты меня еще вспомнишь, когда Москву на цифру переведут».

Если бы только йогурт и телевизор! Нет, тут другое. Получается, что просвещенное сознание изучает, придает смысл, объясняет и оправдывает — народные вкусы, представления, привычки. Купили небогатые родители дочке телефон за двенадцать тыщ и сказали таковы слова: «Такие же телефоны купили всем ее подружкам, это сейчас важно для нее. Завидовать нельзя в таком возрасте. Будет завидовать — испортится!» И Пищикова, которая, похоже, и сама бы обошлась без такого телефона, и дочке бы своей как-нибудь объяснила, что можно без него прожить, восхищается мудростью родителей: «Мечтать о вещах полезно, а завидовать — вредно. Зависть опасна для семьи, потому что может нарушить душевное равновесие девицы, меж тем как внутренний покой — свят. Это залог самосохранения семьи». Каковы выводы! Каков слог! Так и просится в нравственные прописи. Поступок семьи с безумной покупкой, вполне укладывающийся в мейнстрим, тренд и бренд, получает обобщенно-законченную форму только в оценке этого самого просвещенного сознания, к которому сами представители народа относятся по-прежнему свысока. Этот «героический класс» самим фактом своего существования, своей огромностью и, по большому счету, однородностью будто управляет сознанием, приковывая к себе внимание, позволяя — так уж и быть — объяснить его жизнь, но не лезть больше с исправлениями и советами.

И вот тонкая, умная, талантливая в каждом взгляде Пищикова изучает их жизнь, их вкусы, их истории, — а они, будучи глубоко и навсегда замкнуты в своей жизни, вкусах, истории, так и не считают ее своей с тех пор, как «одна интеллигентная девица» вступила в межсословный брак — во всех смыслах. И замуж вышла было, и породнить культурные слои попыталась, метафорически соединившись (до мистического соединения — слава Богу! — дело не дошло) с народом. «Наша героиня хочет примкнуть к народному рою и узнать цену тайне смирения и жизни во имя жизни. Она уверена, что сейчас окунется в море народной приязни или хотя бы обнаружит вокруг себя атмосферу безусловного признания своих собственных заслуг». Но вместо этого — «угрюмая тень на челе собеседников». Пережив множество потрясений и неприятных открытий, она кое-что поняла наконец. И наша «одна интеллигентная девица» «начинает понемногу… понимать», что «ни одна ее хозяйственная инициатива, ни одна прихоть, ни одно усилие ровным счетом ничего не совпадает с укладом дома. Семья, ею потревоженная, состоит из людей удивительной цельности, не ведающих сомнений. … Складывалось впечатление, что, если каждый член простой семьи был сам по себе устроен несколько проще, чем наша девица (которая тоже, между прочим, не бином Ньютона), то «простая» семья устроена значительно сложнее интеллигентской. То есть силы были потрачены не на совершенствование себя, а на совершенствования роя». В межсословном браке интеллигенции и народа жизненная сила и будущее — за народом. Со всеми вытекающими последствиями для обеих сторон.

Дитя этого брака — пятиэтажная Россия, живущая по своим законам и представлениям, смутно представляющая, откуда она родом. Книга Евгении Пищиковой — попытка наладить родственные связи, рассказать «героическому сословию», выживавшему во все времена, и уцелевшей и постепенно мутирующей интеллигенции друг о друге.

Татьяна Морозова

Революции с любовью и без

Александр Панцов. *Рассказы о Мао Цзэдуне. Книга первая. Любовь и революция, или Приемный сын Бодхисаттвы; Книга вторая. Революция без любви, или Бунт — дело правое! — Ростов-на-Дону: Феникс; Краснодар: Неоглори, 2009.*

Интерес к жизнеописаниям коммунистических вождей в современной России трудно назвать массовым. Волна разоблачений проклятого прошлого схлынула к концу 90-х, оставив тему личных и политических тайн элиты мира социализма в утешение по пре-

имуществу немолодым ботанам, все еще верящим, что история чему-то учит. Годы и усилия, потраченные на развенчание марксистско-ленинской теории и практики, принесли-таки плоды в виде идиосинкразии большинства читающих молодых людей к словам, начинающимся на «коммун».

Некоторые перспективы излечения от этого недуга, чреватого общенациональным беспамятством, сулит обращение людей пишущих к китайской тематике. Мы, скифы и евроазиаты, вдруг обнаружили себя под прицелом бесчисленных глаз, донельзя раскосых и заинтересованных. Их обладатели щурятся на нас из-под красного коммунистического знамени уже не только с очень дальнего Востока, но и из соседнего офиса, прикидывая, сколько и чего мы будем стоить без их гаджетов, ширпотреба и политической поддержки. Зримое усиление ушедшего в отрыв восточного соседа способно сделать знаковые фигуры его новейшей истории весьма любопытными для россиян. Тем более если об этих фигурах повествуют люди сведущие.

Такие, например, как Александр Вадимович Панцов, ныне преподающий в США известный историк-китаевед. Несколько своих книг он посвятил самой масштабной личности Китая XX века — Мао Цзэдуну.

Последняя его работа — двухтомник «Рассказы о Мао Цзэдуне» — более беллетристична, чем прежние. Хотя уверенно назвать А. Панцова писателем позволяет стилистика и ряда предыдущих публикаций. В первую очередь это биографическое исследование «Мао Цзэдун», изданное в 2007 году в серии ЖЗЛ*, — редкий пример удачного компромисса популярности и академической фундированности (безупречный научный аппарат опирается на впечатляющий список документов и материалов, в том числе из засекреченных до последнего времени китайских и российских архивов, насчитывающий более четырехсот позиций, не говоря о почти в два раза большем историографическом перечне). За год до «Рассказов» вышла другая подготовленная А. Панцовым книга, включающая «Автобиографию» Мао Цзэдуна и переводы его стихов.**

Аннотация и вводная статья к рецензируемому двухтомнику обещают читателю «детективные сюжеты» и «увлекательные детективные рассказы» — и не вполне безосновательно. Если, конечно, не придираться к жанровым квалификациям. Автор не ведет расследование в строгом смысле. Вопросы, которые он формулирует в начале повествования («Но кто же был Мао на самом деле — враг или друг? Сталинский выдвиженец или ярый китайский националист? А может быть, и то и другое? Притворялся другом, когда было выгодно, а чуть что — предал и не оглянулся? А вдруг мы сами во всем виноваты?»), вряд ли позволяют раскрутить сыщицкую сагу, как и отследить перипетии разоблачения заведомого супостата*** . Формулировка вопросов больше похожа на обращение к привычному для массового сознания способу видения политических драм. Сам А. Панцов и в беллетристике остается ученым. Интригу у него плетет живая история.

Для того, кто попытается честно исполнить роль биографа политического вождя, история неизбежно предстанет кружевом многоходовых стратегических и тактических комбинаций, калейдоскопической сменой позиций «свой — чужой», смешением великого и ничтожного, страшного и смешного. В отличие от предпринимающих ретроспективные изыскания литераторов, автор «Рассказов» явно не в первую голову занят выбором выигрышных ракурсов и поворотов сюжета. Панцов-историк скрупулезно отслежи-

* Панцов А. *Мао Цзэдун. — М.: Молодая гвардия, 2007 (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1051).*

** Мао Цзэдун. *Автобиография. Стихи / Сост., пред., ком., пер. А.В. Панцова. — М.: Издательский дом "Рубежи XXI века", 2008 (Серия "Автобиография"). "Автобиография", записанная со слов вождя китайских коммунистов американским журналистом Эдгаром Сноу в 1936 году, долгое время служила скорее популярным пропагандистским материалом для западных "левых" и обрела собственно научное значение во многом благодаря дополнениям и комментарию профессора Панцова. Переводы стихотворений Мао Цзэдуна принадлежат ему же.*

*** *Разоблачительные жизнеописания Мао Цзэдуна тоже предпринимались. См., напр.:* Юн Чжан, Холлидей Д. *Неизвестный Мао. — М.: Центрполиграф, 2007. См. справедливо разоблачительную рецензию В.Г. Бурова на эту книгу: Проблемы Дальнего Востока. 2008, № 2.*

вает настоящие концы, начала и узлы действительных событий. Беллетристические приемы для него — средство к тому, чтобы сделать найденную и пережитую историческую правду понятной и близкой возможно большему числу самых разных людей.

Судя по названиям первой и второй книг, прозрачно обозначившим антитезу («Любовь и революция…» — «Революция без любви…»), суть трансформации личности своего героя автор видит в атрофии той особой способности, что и определяет человечность сапиенсов. Эта способность была живой — и были родные, учителя и друзья, чей уход ранил душу, женщины, разлуки и размолвки с которыми заставляли страдать. «С больничной койки мама звала сыновей. / Ее любовь не имела границ! / Я бесконечно терзаюсь муками совести: / Ведь я так и не высказал ей слова благодарности» — изливает сын боль утраты, понесенной в 1919 году. «В уголках твоих губ и в изгибе бровей / мне все видятся отблески гнева, / а в глазах твоих — капельки слез» — через пять лет муж молит о прощении любимую Ян Кайхуэй, мать его сыновей. Революции и войны, постоянное ожидание смертельного удара от своего и чужого, одиночество, царящее на пике абсолютной власти, выстуживают душу вернее поцелуев Снежной королевы. «Мощнейший вихрь и гром пугают мир, / На улицах везде знамена, флаги. / Но я спокойно вслушиваюсь в гром: / Народу нашему подумать есть о чем» — хладнокровно вещает Великий кормчий, не утративший тяги к стихотворству, в разгар «культурной революции» 60-х.

Но антитеза как литературная находка, позволяющая разделить книгу на два тома, не становится поводом для упрощения мощного и противоречивого характера. Далеко не вдруг своеволие и упрямство либерально-анархистски настроенного юного идеалиста оборачиваются параноидальной подозрительностью, страстью к интриге, безжалостной расчетливостью и наркотической тягой к всеобщему обожанию. И никакая пресыщенность властью и всемогуществом не дает полной невосприимчивости к боли. Из пореза все так же потечет кровь, а фантомная память об утраченном не раз обернется сердечной спазмой.

Мао Цзэдун у А. Панцова — порождение определенной культуры и конкретной эпохи. Юность будущего Великого кормчего, появившегося на свет в 1893 году, пришлась на последнее десятилетие правления маньчжурской династии Цин (маньчжуры захватили Китай в XVII веке). Поражения от западных держав и Японии, навязанные победителями унизительные договоры китайцы ставили в вину разложившейся иноплеменной знати. В начале XX столетия цинское правительство предприняло запоздалую попытку реформ, спешно модернизируя систему образования, армию и администрацию. Но это лишь способствовало организации тех общественных сил, которые похоронили монархию, совершив национальную Синьхайскую революцию 1911 года. С нее начался отсчет истории Китайской Республики, просуществовавшей на континенте до 1949 года и оставившей свой осколок на Тайване.

Описания социальных и культурных реалий, будораживших страну событий, история семьи будущего вождя и его юных лет показывают, какие впечатления формировали сознание героя «Рассказов». Род Мао, обосновавшийся в уезде Сянтань южной провинции Хунань еще в XIV веке, со временем пришел в упадок, и отцу Цзэдуна, суровому и деспотичному Мао Ичану, лишь ценой тяжкого крестьянского труда и за счет некоторой «кулацкой» жилки удалось добиться известного достатка. Мао Цзэдун, как и многие представители его поколения, начал с зубрежки конфуцианских канонов в деревенской школе и продолжил образование в учебных заведениях нового для Китая типа. В поисках собственной стези он без конца их менял, не стесняясь вводить в расходы отца, с которым находился в весьма сложных отношениях, и в двадцатичетырехлетнем возрасте наконец окончил педагогическое училище в городе Чанша, административном центре Хунани. Из рекомендованной «прогрессивными» наставниками западной переводной литературы (к языкам он проявил феноменальную неспособность) будущий вождь вынес в первую очередь идеи неизбежности кардинальных перемен и этического релятивизма («не всегда убийство плохое дело…»). Идейный дрейф к радикальным рецептам переустройства общества был характерен едва ли не для большинства образованных молодых китайцев в то время: их пугающе жизнерадостную готовность к террору как скорому средству достижения политических целей — медлить нельзя! — отмечали общавшиеся с ними европейские интеллектуалы. К насилию подталкивала патриотов и ситуация в стране: бесконечные войны между генеральскими кликами, продолжавшийся гнет иностранцев.

В 1918 — 1919 годах Мао непродолжительное время проработал помощником библиотекаря в Пекинском университете, где свел знакомство с будущими соратниками по Компартии Китая. Но в период учебы он привык чувствовать себя лидером, создавая молодежные патриотические кружки и студенческие союзы. В столице же изъяснявшийся на невнятном диалекте провинциал не нашел себе достойного места в среде либеральной и радикальной элиты. Пришлось вернуться в Чанша, где он окунулся в пропагандистскую работу и журналистику. Приверженцем коммунистической доктрины, почерпнутой из немногочисленных переводов марксистских работ и общения с более эрудированными товарищами, Мао стал лишь в ноябре 1920-го. Придя к убеждению, что единственно правильным «измом», призванным «приносить пользу не только одному человеку, но и другим людям», является «интернациональный коммунизм», или «социалистический космополитизм», он принялся за создание в Чанша радикальных марксистских ячеек. Автор подчеркивает: к такой организационной активности первых китайских марксистов усиленно подталкивали спонсировавшие их эмиссары Коминтерна, хотя об этом очень не любили и не любят вспоминать вожди КПК и китайские историки.

В июле 1921-го Мао стал одним из двенадцати делегатов I съезда Компартии Китая, состоявшегося в Шанхае. В 20-е годы он — признанный лидер хунаньских коммунистов, но в КПК не на первых ролях, даже не всегда избирался в ЦК. Работал он и в структурах партии Гоминьдан, с которой тогда сотрудничали китайские коммунисты. Этот союз был разорван в 1927 году, когда началась вооруженная борьба двух партий — и восхождение Мао Цзэдуна к власти.

Его политическая судьба в первой книге очерчена скупо. Создание знаменитой коммунистической базы в горах Цзинган на границе Хунани и Цзянси в 1927 году; борьба с войсками Гоминьдана, лидером которого стал Чан Кайши, добившийся формального объединения страны; притеснения и унижения, которые Мао Цзэдуну, его родственникам и сторонникам пришлось вытерпеть в 1933 —1934 годах от ставленников Москвы в руководстве КПК, навязавших китайской Красной армии неудачную тактику позиционной войны в противовес партизанским методам Мао; «Великий поход» войск коммунистов из Центрального советского района на границе юго-восточной провинции Фуцзянь, закончившийся в конце 1935 года в северо-западной провинции Шэньси и принесший Мао фактическое главенство в партии — все это лишь элементы фона, на котором разворачивается личная жизнь героя и показаны судьбы его близких. Намеренно обходя подробности идеологических и политических процессов, автор фокусирует внимание читателя на ведущей для первой книги теме — «Любовь и революция». Из семи включенных в нее рассказов два посвящены семье, детству и ранней юности Мао Цзэдуна, два — поиску им собственного пути, а три — главным в его жизни женщинам.

С «Зорюшкой» Ян Кайхуэй, которой он писал трогательные стихи, которая родила ему троих сыновей и была расстреляна гоминьдановцами в 1930 году за отказ отречься от мужа, был связан начальный период его борьбы. С Кайхуэй Мао расстался в 1927 году, отправившись организовывать вооруженные коммунистические отряды в китайской глубинке. Кочевая жизнь «полевого командира» уже через год свела его с отчаянной и дерзкой Хэ Цзычжэнь; она потеряла пятерых детей от Мао еще младенцами, сохранив только дочь, из ревности сама покинула мужа в 1937 году, до 1947 года жила в СССР, а с 1945 года и до самой кончины страдала психическим расстройством. Через тридцать с лишним лет после разрыва он вдруг захотел увидеться с Хэ Цзычжэнь. Свидание не доставило радости — она была не в себе, заговаривалась. С 1939 года Мао Цзэдун был женат на бывшей шанхайской актрисе Цзян Цин, тоже родившей ему дочь. В 60-х годах верная жена была допущена к участию в политике, а с началом «культурной революции» в 1966 году стала ее ведущим деятелем. В 70-е она была для Председателя уже одной из политических фигур, лидеров фракций, игра на противоречиях между которыми позволяла ему удерживать кормило власти. Менее чем через месяц после смерти Мао, в октябре 1976 года, Цзян Цин арестовали, и в начале 80-х как лидера знаменитой «банды четырех», на которую была возложена главная вина за эксцессы «культурной революции», приговорили к смертной казни, замененной пожизненным заключением. В 1991 году она покончила с собой.

Связывая себя узами брака с новой женой, Мао не заботился о формальном разводе с предыдущей. И ни об одной из них нельзя сказать, что любовь великого человека сделала ее счастливой.

Трагическая судьба ждала и многих родственников Мао Цзэдуна. В гражданской войне с Гоминьданом погибли оба родных брата и сводная сестра; в Корее убит старший сын Аньин, другой, Аньлун, скончался от болезни. Уцелевший сын Аньцин страдал психическим недугом. Мао не был равнодушен к потерям. Но жизнь в эпицентре бури оставляла все меньше места родным и близким в мыслях Председателя.

Вторая книга, «Революция без любви…», прослеживает эволюцию личности Мао в роли политического вождя. Здесь тоже семь рассказов. Два о его контактах со Сталиным (в том числе тот, что посвящен «корейской авантюре»); по одному — об эволюции отношений с Хрущевым, «большом скачке» в 1958—1960 годах, «культурной революции», загадке гибели формального заместителя Мао — Линь Бяо — в 1971-м, а также о последних годах жизни Кормчего.

Изложение начинается с 1949 года, когда КПК одержала победу в гражданской войне с Гоминьданом. Вопреки распространенному мнению, отношения нового Китая с Москвой тогда были далеки от гармонии. Автор, опирающийся на документы, долгое время бывшие секретными, показывает, что Сталин настороженно отнесся к появлению потенциального нового лидера коммунистического мира. Перетасовывать головку КПК, как в 20-е — начале 30-х годов, кремлевский вождь уже не мог. Но оставались другие методы давления на соседа. Мао Цзэдуну как воздух была нужна политическая и материальная поддержка Советского Союза. Сухо встреченный в Москве во время своего визита в декабре 1949 — феврале 1950 года, он неделями томился в ожидании встреч с «хозяином» и обсуждения насущных для него вопросов, был доведен до нервного срыва. И только сполна испытав положенные «младшему брату» унижения, получил Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи с СССР и заем на 300 миллионов долларов.

Но и Мао вел свою игру. Рассказ о пружинах, приведших к кровопролитной войне в Корее в 1950—1953 годах, без преувеличения остросюжетен. Сталин, подталкивая Северную Корею к конфликту, рассчитывал, что вмешательство в него США дискредитирует их, отложит третью мировую, даст социализму время укрепиться в Европе и «втянет Китай в борьбу за свободу Кореи»: «Америка должна надорваться в этой войне». В согласии Китая на такую перспективу он не сомневался.

Однако кремлевский комбинатор едва не попал впросак. Мао тянул с конкретным ответом, заставляя его нервничать. Когда 1 октября 1950 года войска КНДР оказались накануне разгрома, Сталин направил Мао срочную телеграмму с просьбой о военной помощи — и получил отказ. А. Панцов цитирует секретнейшие шифротелеграммы разгневанного Сталина, в которых тот признавался Мао, что готов даже к мировой войне. Подергав «хозяина» за усы, Мао 5 октября вроде бы сдался, послав в Союз своих представителей — а 12 октября отказал вновь! Разъяренный кремлевский небожитель уже велел северокорейскому лидеру Ким Ир Сену выводить войска из Кореи, когда 13 октября Мао Цзэдун вдруг сообщил о согласии КНР предоставить необходимую помощь. Армия китайских «добровольцев» вошла в Корею. Мао заслужил благодарность Сталина — и показал тому, что с Пекином следует считаться. И вовлек свою страну в кровопролитнейший конфликт. Председателю он стоил сына, Китаю — сотен тысяч убитыми и ранеными. Выйти из войны кремлевский «хозяин» китайцам не дозволял — перемирие стало возможным только после его смерти.

Если Сталин дозировал материальную и техническую помощь Китаю, то правительство Хрущева резко ее увеличило, стремясь удержать Мао под своей опекой. Однако эти попытки имели обратный эффект. Мао Цзэдун все откровеннее оспаривал экономические и политические установки руководства КПСС. После византийской хватки Сталина разухабистый Хрущев, начисто лишенный дипломатического расчета, был для него откровенно слабым партнером. Описания встреч и переговоров Никиты Сергеевича с Мао Цзэдуном — одни из наиболее интересных для любителей исторического анекдота страниц книги. Мао мастерски ставил советского лидера в нелепое положение и с удовольствием эпатировал как московских руководителей, так и деятелей мирового комдвижения. Его знаменитые разглагольствования о желательности ядерной войны тоже оказались шуткой. Когда возмущенный глава итальянской компартии Пальмиро Тольятти поинтересовался у Мао, сколь же после такой войны останется итальянцев, тот спокойно ответил: «Нисколько. А почему вы считаете, что итальянцы так важны человечеству?». В этом «диком и странном» юморе А. Панцов видит подражание Сталину. Мао брал ре-

ванш за унижения, которые терпел и от «хозяина», и от всяческих «тольятти», заправлявших в Коминтерне.

Советские руководители сами не раз допускали бестактности и нерасчетливые шаги, действительно оскорблявшие китайцев. Когда выходки Мао довели Хрущева до истерики, Москва попыталась поставить Председателя на место. Но было уже поздно. Прекращение помощи Китаю, отзыв из КНР в 1960 году тысяч советских специалистов, отказ от выполнения ряда прежних обязательств резко заморозили отношения двух стран, не дав Москве ни политических, ни экономических выгод. Причем эти «санкции» пришлись на тот момент, когда на Китай обрушился голод, усугубили страдания китайского народа — и остались в его памяти.

С конца 50-х годов Мао начал серию экономических и политических экспериментов. О том, как она разворачивалась, повествует рассказ «Большой скачок»: в погоне за призраком». Мао попытался разработать новые принципы хозяйственного развития, отличные от сталинских. Критерий успеха он увидел в быстром наращивании абсолютных объемов производства. Экономическое невежество и слепота вождя — как и готовность соратников к осуществлению его фантазмов — поразительны. Уверенный в том, что «политика — командная сила», а путь к коммунизму пролегает через непрерывные революционные кампании, Мао провогласил курс «больше, быстрее, лучше, экономнее». Подробно, приводя свидетельства очевидцев, описывает А. Панцов энтузиазм борьбы против «четырех зол» — безумные погони за крысами, комарами, мухами и воробьями, сведение кооперативов в гигантские «народные коммуны», насаждение «военной организации труда» и «военизации стиля работы», строительство кустарных мини-домн, выплавлявших дрянное железо, колоссальную трату ресурсов в погоне за дутыми цифрами — и экономическую катастрофу, приведшую к голодной смерти от 20 до 30 миллионов человек. Нехотя согласившись на временное отступление, Мао искал виновников провала на стороне, жестоко пресекая любые попытки критики со стороны соратников. «Почитание личности может быть двух видов: одно почитание правильное — например, мы должны относиться с почтением, должны вечно относиться с почтением к Марксу, Энгельсу, Ленину, Сталину, ко всему правильному… Другой вид — это неправильное почитание, слепое почитание…» — поучал он подданных. Перспективы закрепления собственного «правильного» культа он видел в поиске «контрреволюционеров» внутри партии.

Рассказ «Зачем Мао понадобилась «культурная революция»» — самый пространный во второй книге. Чтобы КПК избежала капиталистического перерождения, Председатель решил совершить радикальную революцию в сфере культуры, разрушив традиционную систему ценностей. В 1966 году Мао развернул мощное движение, опирающееся на фанатично преданную ему учащуюся молодежь. Страна погрузилась в хаос. Были разгромлены органы власти и парторганизации, учреждения культуры, снова разрушена экономика, хунвэйбины («красные охранники») и цзаофани («бунтари») вступали в настоящие сражения с армейскими частями и рабочими отрядами. Через два года те же молодые революционеры были утихомирены с помощью армии и в массовом порядке отправлялись трудиться в деревню. Они сделали свое дело, разрушив старый мир. Основная тема рассказа — отношения Мао Цзэдуна с соратниками — это история провокаций, предательств, оговоров и инквизиторских издевательств. Председатель, избавившийся от соратников-критиканов и структур, на которые те опирались, а заодно проредив «гнилые» социальные слои, плохо воспринимавшие левую фразу, переделывал страну под себя: массы, поглощенные политическими кампаниями, впадают в восторженный транс при упоминании его имени, фракции и группы в партийном и государственном аппарате зависят от воли вождя, регулирующего противоречия между ними. Он нужен всем и держит пальцы на яремной вене каждого. И революция продолжается.

Самый «детективный» из рассказов второй книги — “Тайна «Проекта 571”» — история «измены» министра обороны Линь Бяо, которого сам Мао назначил своим преемником на посту Председателя ЦК КПК. Почти недееспособный Линь, страдавший от старых ран и подсевший на наркотики, пал жертвой интриг Цзян Цин, с которой конфликтовал, и собственной жены, которая так испугалась за судьбу мужа и свою, что всерьез замыслила заговор против вождя. «Тезисы проекта 571» — кодовое название планов покушения на Председателя, которые разрабатывали заговорщики. Публичные

нападки Мао на Линя в сентябре 1971 года всполошили неудачливых инсургентов и побудили их бежать на лайнере министра, прихватив с собой его самого. Самолет разбился на территории Монголии. Здесь присутствуют и формальные признаки детектива: расследование, версии и даже описание трупов, вплоть до такой страшноватой подробности, как отрезанные головы Линь Бяо и его жены, направленные в Москву на экспертизу.

Бегство старого товарища подкосило Мао. Он резко сдал, хотя и прожил еще четыре с лишним года. Незадолго до смерти он коснеющим языком признавался соратникам, что не закончил два дела: не вернул Тайвань и не довел до конца «Великую культурную революцию». Эти задачи он завещал преемникам, призвав их не страшиться «пути потрясений».

Наследник большевиков-интернационалистов, он последовательно осуществлял «китаизацию» марксизма. Ниспровергатель традиций, он постоянно обращался к родной истории и легко цитировал древние и средневековые сочинения. В письме к Цзян Цин одну из таких цитат он применил к себе. «Твердое легко ломается, светлое легко пачкается; кто поет ‘янчунь байсюэ’ [древняя мелодия, которую очень трудно исполнить], тот легко может оказаться в одиночестве; большая слава вряд ли бывает заслуженной». Что это? Жалоба на непосильную ношу? Обида на непонимание? Критический самоанализ — выше он сравнивает себя с обезьяной, ставшей царем в отсутствие тигра? Разыгрывание очередной роли? Этого мы уже не узнаем, констатирует А. Панцов.

Мао Цзэдун — личность слишком сложная, чтобы прояснить все его побуждения и тайны в одной популярной работе, даже написанной уникальным знатоком темы. Но то, что «Рассказы» открывают читателю малоизвестные, часто неожиданные грани истории и пробуждают интерес к ней, — совершенно определенно. Пусть этот интерес пока не будет массовым — пусть он будет.

Александр Юркевич

Выстоявший утес

Эрнст Юнгер. *На мраморных утесах. Перевод с немецкого: Евгений Воропаев. — М.: Ad marginem, 2010.*

Мало кто в такой мере, как он, формировал мировоззрение своего века. Первой же его книге выпал ошеломляющий успех. Написана она в непритязательном, но важном для немецкой литературы жанре. «В стальных грозах» — авторский дневник: он писался в блиндажах, под бомбежками, между атаками Первой мировой.

«Среди всех нас, выросших в эпоху материализма, жила тоска по делам необычным, по великим и сильным ощущениям. Война захватила нас и оглушила. Отправлялись мы, осыпаемые дождем цветов, в ошеломленном настроении, готовые на смерть. Война должна нам представить все то, что составляет великое, сильное, прекрасное. Она представлялась нам мужественным подвигом, радостным поединком стрельцов на цветущем, орошенном кровью лугу».

Так вспоминал об этих годах писатель. Успех книги обеспечило неразрывное, органическое единство. Автора и героя, человека и дела. Четырнадцать ранений, рыцарские кресты, орден «За доблесть» — высшая военная награда Германии, учрежденная еще Фридрихом II… Юнгеровская рота — на самых ответственных участках фронта. Атаки ее становятся хрестоматийными, обрастают легендами. Но все это не может, разумеется, повлиять на исход Великой войны.

Война проиграна. Позднее Юнгер поймет: «рыцарский поединок на лугу» прикончил столь дорогую ему старую Европу. Но это будет еще нескоро: два десятилетия спустя.

Пока же вокруг — веймарская Германия. Капитуляцию люди вроде Юнгера пережили как личную трагедию, как позор. Выход, если он и есть, — лишь в одном: необходи-

мо кардинально изменить мир. Теперь Юнгер — ведущий автор течения, вошедшего в историю с противоречиво-выразительным названием — «консервативная революция».*

Политическим движением, несмотря на претензии, консервативные революционеры не стали. И стать не могли. Что противопоставляли консерваторы ненавистной «веймарской» Европе? Возродившуюся сословность, аристократическое правление, рыцарский стиль… Это звучало бы попросту несерьезно — в другой европейской стране. Но в том-то и дело, что век назад страной окончательно «европейской» Германия еще не была. Здесь еще помнили великого короля Людвига Баварского. В озерах еще отражались замки. И для многих еще не смолкли над ними сказочные песни принца Фогельфрая…

Консервативные утопии не могли, разумеется, осуществиться. Но они влияли — вполне реально — на политическую обстановку в стране. Голоса «революционеров» согласно вписывались поначалу в общий зовущий в будущее хор. А дирижеры его были как раз политиками весьма неплохими.

Размышления двадцатых годов Юнгер подытожил в фундаментальном трактате по философии истории — книге «Рабочий». Трактат по сию пору считается одним из основополагающих манифестов тоталитаризма. Эта оценка справедлива. Но чтобы еще и верно интонировать ее, произведение необходимо рассматривать в контексте эпохи. Непросто было найти европейца, не завороженного ленинским, гитлеровским или муссолиниевским экспериментом. Дело было даже не в кризисе традиционных социально-экономических систем: необратимым виделся крах самой культуры. «Гете у нас, немцев, больше не будет. Но на Цезаря нас еще может хватить». Этот оптимистический вывод «Заката Европы» Юнгер мог бы сделать эпиграфом к своей книге.

Впрочем, с нелитературным, энергично подбирающимся к власти реальным тоталитаризмом писатель уже в этой книге основательно разошелся. Красной тряпкой были развиваемые Юнгером идеи «общеевропейского национализма». Но дело было еще и в другом.

Основой национал-социалистического мировоззрения сделалась печально известная «Воля к власти» — посмертная компиляция-фальшивка из необозримых записей Фридриха Ницше. Вынесенное в заголовок понятие объявлялось универсальным законом истории и природы; последовательно развиваемая, эта философия вела к аннигиляции как объективистских, так и метафизических картин мира. А от мудрствований о «волении» элементарных клеток (?) дорога к единственной реальности — фюрер-принципу — была уже столбовой. На взгляд (точнее было бы сказать — «на звук») все это было мужественно, впечатляюще. Но Юнгер сделал простую, категорически запрещаемую тоталитаристским мышлением вещь: вслушался в барабанный бой, ища смысл, здраво. И вывод оказался тоже простым.

«Как смогла бы жизнь дольше одного скоротечного мгновения пребыть в этом более крепком и чистом, но в то же время смертельном воздухе пананархического пространства, перед лицом этого моря «бурлящих и хлещущих внутренних сил», если бы она тут же не бросилась в суровейшие воды прибоя как носитель вполне определенной воли к власти, у которой есть собственная форма и собственные цели?»

Козыряющий своей любовью к порядку тоталитаризм в действительности — лишь маска анархии, нигилизма. Этот тезис Юнгер будет далее упорно развивать. В «Мраморных утесах» — в художественных образах. В «Парижских дневниках» — в размышлениях, с ассоциативным обращением к «Бесам» Достоевского. Но зачин этому положен уже в «Рабочем». И это заметили. «Господин Юнгер отважился вступить в зону, в которой не сносить головы», — предупредил писателя нацистский официоз. «Рабочий» вышел в свет в 1933 году. Год спустя Гитлер был уже у власти.

До окончательного разрыва с нацистами консерваторам оставались считаные месяцы: игры в благородную древность не имели особого значения для победившего режима.

* *У этого названия двойное авторство. Возникнув в ранней статье националиста (в ту пору) Томаса Манна, оно после ярких выступлений Гуго фон Гофмансталя — драматурга и поэта-романтика, потомка получившего дворянство за заслуги австрийского банкира-еврея — прочно вошло в оборот.*

Согласие между сторонами по многим вопросам еще сохранялось; но главное было уже в другом. Духовная независимость и творческая свобода, личное достоинство, традиция, честь — базовые установки консерватизма были гитлеровским революционерам глубоко враждебны. Увы, на Цезаря «нас, немцев» тоже не хватило. Лишь на ефрейтора — не понимать этого было уже нельзя. За презрительные щелчки по носу фюрер платил вчерашним попутчикам ненавистью. Но трудно было избавиться от них, не теряя лица. Интеллигента Шпенглера просто запретили упоминать в печати. С Юнгером дело обстояло сложней. Легендарный герой, автор «Стальных гроз», «Огня и крови»… Книги знает любой молодой немец, это вам не занудное университетское чтиво… Режим не оставлял надежды приручить писателя. От имени фюрера ему предлагают кресло сенатора, членство в престижной Академии поэзии. На все — неизменный отказ. Юнгер поселяется в глухой провинции, в уединенной хижине на берегу Боденского озера; поддерживает семью арестованного друга*. Составляет гербарии, коллекционирует жуков. Как всегда, неизменно ведет дневник. Этой хижине Европа обязана одним из удивительных романов прошлого века.

Говорить об этом романе труднее, чем о других произведениях европейского первого ряда. Произведения эти, как правило, вписаны в наше сознание устойчивой образно-парольной системой — часто еще до знакомства с самими книгами. «Игра в бисер», «фельетонистическая эпоха» — по таким знакам опознавали своих в молодежных компаниях семидесятых годов. Роман Юнгера, однако, в этот ряд не вошел и не войдет. Посейчас авторы больших, в целом объективных статей о писателе часто даже не упоминают прогремевшую над континентом книгу.

Причина этого — не в самом романе. Причина в авторе, в его личности и судьбе. Один из провозвестников немецкого фашизма, несколько лет спустя — автор пронзительной антифашистской книги. Что поразительно — это не потребовало ни внешнего, ни внутреннего отречения от прежних идей. А всего лишь — бескомпромиссно честного, постоянного саморазвития личности. Националист, принятый вчерашними врагами — французами проще и неизменнее, чем собственной страной. Ультраконсерватор, отгородившийся от посетителей и от прессы, — отчужденно, но без вражды доживавший свой долгий век среди демократической суеты… Многоразличность образов настраивает на упрощенную адаптацию — жертвой которой и сделался сложный, не одноплановый роман. В такой ситуации не обойтись без краткого, неизбежно схематичного его пересказа.

«Всем знакома щемящая грусть, которая охватывает нас при воспоминании о временах счастья. Как невозвратны они, и как немилосердно мы разлучены с ними… И картины заманчивей проступают в отблеске… Лишь тогда мы понимаем, какой же счастливый жребий выпадает нам, людям, когда мы беспечно живем в своих маленьких общинах, под мирной крышей, за сердечными разговорами и ласковым пожеланием доброго утра и спокойной ночи».

Эти воспоминания — о Большой Лагуне: сказочной стране на берегах омывающих Европу морей. Где и когда она существовала? Ответа нет — вернее, он многозначен. Неторопливо, по ходу повествования вырисовывает писатель картину своего мира. Вот Большая Лагуна, соседняя Кампанья. Вот прекрасная Альта Плана — благородный противник Лагуны в недавней войне. Неслучайно единственное «пересечение» юнгеровской карты с реальной — страна замков, Бургундия; она воскресает в сходной ситуации и на карте «Гелиополиса» — более позднего романа писателя.

Когда происходит действие? Ответ столь же неоднозначен. На дорогах Лагуны можно встретить современный автомобиль. Но на вершине одной из башен герои беседуют со знаменитым рыцарем Деодатом — наказанным за то, что он, убив дракона, нарушил запрет.**

Перед нами — мир старой, ушедшей Европы. Страны монастырей, виноградников, драконов — каким-то чудом проросшей в современность.

** Отметим справедливости ради: рассматривать это как политическую деятельность в Рейхе никому в голову не пришло.*

*** Об этом известном происшествии см. также: Р.М. Рильке. Записки Мальте Лауридса Бригге. — СПб., 2000. С. 208.*

Герои книги, солдаты недавней войны, наслаждаются наступившим временем мира. Они поселяются на скале, в Рутовом скиту. Щедрые пиры с окрестными крестьянами сменяются упорным трудом: герои проводят дни в оранжерее, в старой библиотеке. Вглядываясь в растения, они жаждут постичь таинственную симметрию мира.

Вот одна любопытная деталь. Юнгер настойчиво подчеркивает: Лагуной правят строгий порядок, законы. В привычном нам граде Китеже такие категории смотрелись бы неуместно. Для немецкой утопии они традиционны.

Но счастливой стране пахарей и поэтов приходит конец. Из дальних глухих боров за жизнью Лагуны пристально следит Старший лесничий. Властный старик ненавидит свободу и изобилие гордой страны, мечтает поработить ее. И вот его задача становится наконец осуществимой.

Медленно, основательно разворачивается действие враждебных Лагуне сил. «В маленьких портовых трактирах открыто окопались организации… Тут сидели старые пастухи, обмотав ноги необработанной шкурой, рядом с офицерами, которые со времен Альта Плана оказались на половине денежного довольствия; и все, что по обе стороны мраморных утесов жило в недовольном или в падком на изменения народе, имело обыкновение устраивать здесь попойки и, влетая и вылетая, роилось, как в темных штаб-квартирах.

То обстоятельство, что сыновья знати и молодые люди, которые полагали, будто настал час новой свободы, тоже участвовали в этом действии, могло только усиливать путаницу… Молодежь теперь вместо шерстяной и холщовой одежды носила ворсистые шкуры и с крепкими дубинами расхаживала по улицам.

В этих кругах также вошло в обычай презирать взращивание лозы и злаков и видеть оплот подлинного, исконного обычая в диком пастушьем краю…

Потом появились и лесничие. Они по-новому измеряли страну, ибо велели рыть в земле ямы и устанавливали шесты с руническими знаками и звериными символами».

Ассоциации, аналогии — очевидны. «Старший лесничий отмерял страх малыми дозами, которые постепенно увеличивал и целью которых был паралич сопротивления. (…) Он поручал лесным шайкам надзор за сельскими районами. И тогда, надев маску порядка, целиком воцарился ужас». Кто защитит погибающую страну? Зародыши возможного народного сопротивления парализованы страхом. Защитники Лагуны скованы рыцарскими предрассудками. Как обратить против сброда честную боевую шпагу?! И вот в одной из финальных сцен герой отстреливает нападающую на скит сволочь из старого дробовика.

Краткое описание сюжетных ходов книги не исчерпывает, разумеется, всех ее внутренних смысловых линий. К «Мраморным скалам» сполна применимо то, что нередко пишут о «поэтической теологии» Юнгера. Мало у кого из авторов XX века столь одухотворен мир животных, цветов, трав. Почтительная серьезность Юнгера, его вглядывание в душу минерала живо приводит на ум новалисовского «Генриха фон Офтердингена». Трудно, наверное, назвать другое произведение последних веков, в котором эта традиция немецкого романтизма воскресла с такой силой.

Явны библейские аллюзии, когда сын героя книги спокойно кормит молоком из блюдца страшных ланцетных гадюк. И животные платят добром: уничтожают набросившихся на скит негодяев.

Роман прозвучал по обе стороны расколовшего Европу фронта. Одинаково и одновременно. «Несколько тиражей были быстро распроданы; когда стало трудно с бумагой, армия решила отпечатать книгу хозяйственным способом, один раз в Риге, один раз в Париже, где вскоре вышел также превосходный перевод…* Сразу после войны ходили слухи о нелегальном печатании на Украине и в Литве», — вспоминал Юнгер. «Если двое

* *Нашему читателю, исторически знакомому с единственной моделью тоталитаризма, такие факты могут показаться фантастическими. Приведем в этой связи слова авторитетного свидетеля и безусловного антифашиста. “Из отвращения к нацистской власти многие после 1933 года избирали офицерскую карьеру, потому что казалось, что только здесь царит пристойная атмосфера, не подверженная влиянию партии, враждебная партии, как бы отрицающая власть партии” (Карл Ясперс. Вопрос о виновности. — М.: Прогресс, 1999. С. 54).*

или трое останавливались в уголке и начинали беседовать, то речь шла не о кампании в Польше, а о книге».

«Это произведение — точно сигнальная ракета, внезапно вырвавшаяся из темноты и осветившая местность… Люди терли себе глаза, ибо было почти невероятно, что такое возможно». Вторая цитата — из письма Юнгеру немецкой студентки. Третья — из вышедшей в 1942 году статьи английского критика.

Особенно велик оказался резонанс в «Альта Плана». Книга вражеского офицера воспринималась как манифест Сопротивления, читалась наряду с текстами Веркора и Камю.

Сам Юнгер, впрочем, не уставал подчеркивать вневременной, «надсопротивленческий» характер романа. Лишь «политическая ситуация с ее удушьем заставила развернуть этот выпад из царства мечты». И далее, резче — о «нарастающей аллергии на слово «сопротивление»». «Человек может гармонировать с силами времени, а может стоять к ним в контрасте. Это вторично. Он может на любом месте показать, чего он стоит. Этим он доказывает свою свободу — физически, духовно и нравственно, прежде всего в опасности. А как он остается верен себе — это его проблема».

И корректуру, и рецензии в иностранной прессе Юнгер читал уже в блиндаже Второй мировой. Сражался во Франции. Служил в военной комендатуре Парижа. В той, что в конце войны получит гитлеровский приказ уничтожить город. И не выполнит его. Но Юнгера к этому времени в армии уже не будет. В 1944-м он как подозреваемый был привлечен к следствию по делу о покушении на Гитлера. Но улик против него было мало. Показаний подследственный не давал, другие обвиняемые о нем молчали тоже. Говорить, впрочем, было уже и некому. Друзья писателя — руководители заговора — были уже мертвы.

Вину офицера сочли недоказанной; но из армии он все же был уволен. Возглавляемый после покушения эсэсовскими генералами, Вермахт более не нуждался в герое Первой великой войны.

Война проиграна — миллионы немцев с привычным энтузиазмом перекрещиваются в антифашистов. Юнгер денацификационную анкету наотрез отказывается заполнять. И за это наказан. Писателю припомнили двадцатые годы, и его публикации попали в Германии под запрет. Впрочем, запретительные меры западных администраций значили мало. Книги Юнгера издавались в соседней Швейцарии и беспрепятственно проникали в страну. А уже в 1950-м нелепый запрет был снят.

Была, однако, страна, в которой печатание Юнгера не прекращалось. Франция — место весьма жесткой общественной цензуры: французы надолго наложили вето на книги своих противников в последней войне. Автор «Мраморных утесов» оказался для них исключением.

Эрнсту Юнгеру была суждена сверхдолгая жизнь. Он по-прежнему коллекционировал жуков, минералы. Много писал. Писателя читали, ценили. Но о былом влиянии не приходилось и говорить. Для послевоенных поколений Юнгер отодвинулся в непостижимо далекое прошлое. Независимость писателя в тоталитарном мире делала его врагом властей и режимов. Теперь она смотрелась просто доисторическим курьезом.

Законченный консерватор, Юнгер сдержанно относился к прекрасному новому миру. Но знаки внимания и награды от Федеративной Республики все-таки принимал. Сильная, порвавшая с прошлым правовая страна устраивала его.

Все это отодвинулось куда-то в запределье. Здесь, в недоасфальтированной еще Европе, вилась среди дубов хайдеггеровская проселочная дорога, перебирал свой стеклярус великий Магистр Игры… Судьба подарила Юнгеру стотрехлетний жизненный срок. Не в виде ли тонкой издевки? Что от сновидчески роскошной Большой Лагуны уцелело еще к концу этого срока?

Уцелела — литература. Подлинная проза — которая, по ницшевской формуле, пишется только перед лицом стиха. И Юнгер поверял себя этой формулой: отсыл к стиху постоянно возникает в его набросках. Очень точно. Хотя и не всегда кстати, на первый взгляд.

А еще осталось главное. Неброский неотменяемый урок. Остаться собой можно было, оказывается, и в прожитом нами веке.

Валерий Сендеров

ф и л ь м

От медведей белых до берлинских…

Как я провел этим летом. Режиссер Алексей Попогребский. *— Телеканал «Россия» и кинокомпания «Коктебель», при участии кинокомпании «Стартфильм», 2010.*

«Не врать. Не бояться. Не бежать». Таков рекламный слоган картины, которая наглядно демонстрирует, что пресловутый экономический кризис отечественного кинематографа не коснулся. Почти. Как сейчас говорят, отдельный респект продюсерам Роману Борисевичу и Александру Кушаеву за то, что смогли организовать такую архисложную экспедицию на Чукотский полуостров, в крайнюю северо-восточную точку нашей страны. Съемочная группа три месяца жила в бараке, оставшемся от закрытой полярной станции. Ни одной женщины в группе не было, согревались буржуйками. Все, кроме режиссера. Попогребский решил, видимо, максимально вкусить заполярный быт.

В то самое время беззаботного детства, когда большинство его сверстников увлекалось «Землей Санникова», он изучал совершенно реальные истории про полярников и покорителей Крайнего Севера. Как значится в титрах, без таких книг, как «Записки полярника», «По нехоженой земле», «В небе Чукотки», просто не было бы фильма «Как я провел этим летом». Без гиперболизации можно сказать, что режиссер воплотил свою мечту. Мечту детства. Очень сложно воплотил. Так, что обеспечил работой тьму-тьмущую кинокритиков. Американский журнал «Variety» назвал картину Попогребского «потрясающим исследованием природы человеческой слабости», а самого режиссера — «одним из самых ярких и талантливых режиссеров из России, чьи фильмы могут быть с успехом экспортированы за рубеж».

Действительно, за картину, возможно, впервые за долгое время существования постсоветского кино, ничуть не стыдно. Ни за один из восьмидесяти пяти кадров, на которые Попогребский аккуратно извел белую простынь, повесив ее в своем промерзшем «люксе» (у режиссера в экспедиции была одна-единственная привилегия — он жил один). То, что строгий хронологический порядок кадров, задуманный режиссером, во время экстремальных съемок ни разу (!) не нарушился, даже благодаря и вопреки прихотливой северной природе, только увеличивает ценность картины. Вне всякого сомнения, фильм «Как я провел этим летом» — это прорыв отечественного кинематографа. И это не красная патетика, а аксиома бытия. От синопсиса до премьеры.

По мнению немецких кинокритиков, картина Попогребского напоминает фильмы Андрея Тарковского. Конечно, им легко было так писать, потому что они наверняка не видели всю ту постперестроечную кинематографическую чепуху, которая была простонапросто нагло напичкана не реминисценциями даже, а плагиатом из Тарковского. А если и увидели бы, наверняка назвали бы ее как-нибудь так: «гепуха». Ей-богу, абсолютно по праву получил Серебряного медведя 60-го Берлинского кинофестиваля оператор картины Павел Костомаров — «за выдающийся вклад в искусство» (кстати, Павел как режиссер и оператор снял несколько неигровых фильмов о «поэзии расейской души», в том числе и легендарный «Трансформатор»). И тут надо заметить, что Костомаров нисколько не похож на Рерберга. Хотя бы в том технологическом обстоятельстве, что весь фильм снят на цифру (снимали на две ультрасовременные американские цифровые камеры). Камера Костомарова — отнюдь не сторонний наблюдатель, а непосредственный участник всего происходящего, в том числе и происходящего внезапно, вдруг. Ах, это магическое слово «вдруг». Ветер переменился, и нежданно-негаданно из тундры на побережье хлынули полчища комаров, и вот Костомаров, уверен, сам мучимый этой гнусной группой длинноусых, проявляет просто чудеса «взаимовыгодного сотрудничества» с самками имаго и как джентльмен впускает их в святая святых — кадр. И отдает им на расправу Григория Добрыгина и Сергея Пускепалиса (правда, Пускепалис, глубоко вжившись в роль бывалого полярника, комарих игнорирует, и они перестают (!) на него реагировать). Эпизод снят, и мириады насекомых, как по мановению, исчезают. Это сущая правда. Еще один сюрприз капризной северной природы. И Костомаров слышит ее, ды-

шит вместе с ней. И поэтому видит то, что даже былые полярники заметят не сразу. Или не захотят заметить. Например, обломки, видимо, спасательного самолета, врезавшегося в одну из сопок пятьдесят лет назад. Камера натыкается на эти зловещие останки случайно, как герой Добрыгина, Павел Данилов, который вдруг (и снова чудесное «вдруг»), как тот самый ежик, вышел из тумана. Туман — это совершенно отдельная сущность Заполярья. Густой. Плотный. Кажется, он понижает горизонтальную видимость до дециметра. Проходит каких-то пять минут, и туман рассеивается. Но Костомаров все успевает снять. Он словно растворяется в этом нижнем слое атмосферы. Мистика.

Добрыгин и Пускепалис тоже получили по Серебряному медведю. И тот, и другой — за «лучшую мужскую роль». Конечно, совершенно справедливо. Их дуэт — редкий случай актерского взаимодействия и взаимопроникновения. Что говорить, три месяца жизни и деятельности на Чукотском полуострове не прошли даром. Не только для продюсеров. Без постоянного тепла, без домашней пищи, без душа (впрочем, «русско-чукотская» баня раз в неделю у них все-таки была) и без прочих примет присутствия цивилизации они не просто сплотились, они спаялись. Интегрировались. И это очень хорошо видно в каждом кадре. Павел, герой Добрыгина, за несколько дней проживает, по сути, несколько жизней. В начале картины он простой студент-метеоролог, который приехал в Заполярье на практику. Слушает плеер, играет на компе, кидает камушки в Северный Ледовитый океан, прыгает по пустым бочкам из-под горючего (к сожалению, это не находка актера или режиссера: бочек по всему побережью еще с советских времен разбросаны тысячи), в общем, формально испытывая особо никому не нужные на полярной станции компьютерные технологии, живет себе в свое удовольствие. В конце же картины Павел, в буквальном смысле пройдя и огонь, и воду, да еще и радиацию (так уж хочется надеяться, что последняя не пройдется по нему лет через двадцать…), становится настоящим мужиком.

Герой же Пускепалиса, Сергей Гулыбин, как манну, уже очень давно ждет возвращения на большую землю (в каком-то интервью Попогребский рассказывал, что ему хорошо известно, как однажды с одной полярной станции бывшего СССР просто-напросто забыли (!) забрать полярника). Гулыбин — человек твердый и крепкий, можно смело сказать, двужильный. Если не семижильный. Все привык делать своими руками: и баню топить, и рыбу ловить, и работу свою многолетнюю метеорологическую выполнять, потому компьютер на полярной станции для него — нет, не роскошь даже, а вещь дорогая и совершенно бесполезная. Равно как и мобильный телефон, который можно легко выкинуть в океан, спокойно живя без него и вовсе не зная, что такое значит «смайлик». Как и в картине «Простые вещи», которая, кстати, и для Попогребского, и для Пускепалиса стала полнометражным дебютом, герой Пускепалиса проходит некое чистилище, чистилище души, и, в конце картины четко осознав, что с большой землей его больше ничего не связывает (семья Гулыбина трагически гибнет), он остается на полярной станции один-одинешенек выполнять свой банальный метеорологический долг… Возможно, до самой смерти.

«Как я провел этим летом». В этом нарушении синтаксической нормы сокрыт и явный манок, и глубокий смысл. Конфликт здесь — не просто двигатель драматургии, а настоящий движитель. Здесь сплошные конфликты: конфликт поколений (начальник полярной станции не сразу понимает и принимает молодого стажера), конфликт старого и нового (компьютерные технологии, по крайней мере, на Крайнем Севере уступают человеческим ресурсам), конфликт природы и человека (один и без оружия в этих суровых краях, как правило, не выживает), в конце концов, конфликт жанров (типичное медитативное кино во второй трети фильма вдруг оборачивается атипичным полярным психотриллером). А самое важное, под недобрый треск айсбергов, который для белых медведей — то же самое, что звук выстрела (!), виртуальный мир непременно сталкивается с реальным, и компьютерная игра «С.Т.А.Л.К.Е.Р. (держу пари, педантичные немецкие критики вспомнили о Тарковском, лишь прочтя финальные титры. — *О.Д.*) Тень Чернобыля», вкрадывается в полярную жизнь обыкновенного парня-практиканта и в самом деле набрасывает на нее зловещую тень.

Олег Дуленин

ни дня без книги

Виктор Пелевин. *Т. — М.: Эксмо, 2009.*

Очередная пелевинская «Критика чистого разума». В пасьянсе из философствующих персонажей — буддистов, каббалистов, — среди которых вдруг возникает джокер Чапаев, а главный герой граф Т. с остросюжетными приключениями пробирается в Оптину пустынь, плохо представляя, что это такое, и находя ее, как водится у П., внутри себя, — пустое времяпрепровождение оборачивается азартной игрой в пустоту с применением всех современных игровых технологий — литературных, маркетинговых, компьютерных... Новый роман Пелевина продолжает цикл очень забавных и грустных в подтексте пародий на мышление о мире и человеке, всегда замкнутое само на себя.

Ирина Муравьева. *Напряжение счастья. — М.: Эксмо, 2010.*

Повести и рассказы о человеческих отношениях, которые без божественной перспективы вырождаются; о душевности, которая без углубления в дух обязательно заходит в тупик. Если не в тексте, то в подтексте у Ирины Муравьевой всегда присутствует тревога о том, что, оставшись без авторитетов и ориентиров, современные люди обречены на трагические ошибки, поскольку не могут не путать важное и не важное.

Владимир Сотников. *Покров. — М.: Эксмо, 2010.*

Детский писатель написал книгу о ребенке, в которой, как в «Детстве» Толстого, прописаны психологические подробности врастания человека в мир. Детство — пора отнюдь не безоблачная: в детстве все пробуют добро и зло на зубок. Шлейф вины, который тянется за этими *пробами до осознания* — ведь несознательность вины не отменяет, поскольку и от неосознанного зла кому-то было больно, — изгоняет человека из рая очень рано. Детство у Сотникова описано через тревожность существования, полного непредвиденной собственной вины; обостренная чувствительность героя-ребенка позволяет ему ощутить неочевидную реальность — тонкую животворящую материю, духовный покров мира.

Евгений Чижов. *Персонаж без роли. — М.: Эксмо, 2009.*

Евгений Чижов запомнился ярким дебютом — романом «Темное прошлое человека будущего», изданным в серии Бориса Кузьминского «Оригинал» (Олма-Пресс, 2002). В новом романе снова на тончайшие волокна разбирается человеческая психика, причем при обратной сборке остаются лишние детали в виде проклятых вопросов. В основе сюжета — общее место эпохи барокко «весь мир театр», которое тут получает какой-то новый отсвет: персонажи то и дело выпадают из разученных ролей в пустоты театрального пространства, в которых понимают, что между ролями нет разницы и всяк на любую подходит, что пьеса — без автора и без сюжета, а зритель отсутствует. Шекспировский прием театра в театре (в романе ставится пьеса) только подчеркивает бессилие любой режиссуры перед непознанностью и непознаваемостью материала — человека, мира, жизни.

Юрий Арабов. *Чудо. — М.: АСТ, 2009.*

В основе романа — история, которая в одном давнем телевизионном сюжете подавалась как подлинная: деревенская женщина на несколько недель впала в столбняк — буквально одеревенела — а потом пришла в норму и жила себе дальше, только больше не грешила. У Арабова легкомысленная девушка, затеявшая вечеринку, решила потанцевать с иконой Николая Угодника вместо кавалера и застыла на месте. Антураж — барачные провинциальные 50-е, чудо происходит в советском средневековье, где бог — генсек, и его архангелы для простого советского человека — пострашнее небесных. Арабов впечатляюще передает атмосферу тупиковой беспросветности существования, которую то ли в детстве впитал и запомнил, то ли прочувствовал через общение с выделанными той эпохой людьми.

Андрей Рубанов. *Хлорофилия. — М.: АСТ, 2009.*

Художественная футурология, построенная на открытом приеме доведения сегодняшних тенденций до логического конца — как раз сто лет на это, наверно, и понадобилось бы. По Рубанову, Россия через сто лет, когда хай-тек уже будет ретростилем, станет одной огромной Москвой, только не путем расширения города до масштабов страны, как Древний Рим, а путем сжатия страны до города — демографический кризис и отпадение территорий тому поспособствуют. На периферию, где остались заброшенные города, можно будет отправиться на сафари в задраенном танке, а в сорокамиллионной Москве все будут получать по потребностям. При этом работать будут только китайцы — их самодостаточное прилежание удовлетворит мировую потребность в рабочей силе. Высокие технологии восторжествовали над всеми тайными помыслами — у всех микрочипы, всюду камеры, мир открыт и прозрачен. А потребность достать звездочку с неба в этом фантастическом романе обслуживается особо: дело в том, что в результате какой-то техногенной катастрофы Москва в два дня заросла травкой, доставляющей удовольствие. Она растет повсюду выше небоскребов и вроде безопасна для здоровья, вот только солнце из-за нее видно начиная с пятидесятых этажей, поэтому социальная стратификация общества стала наглядной. Бедные люди становятся бледными — это те, кто живет ниже сорокового этажа и совсем не видит солнца. Главная потребность каждого члена общества — видеть «голубое небо, застегнутое на желтую пуговицу», а просьба древнего киника не загораживать солнце обогащается столь драматическими обертонами, что, если человека постигла бледность, ее принято скрывать, посещая солярии… Ну, и так далее, интересно и остроумно, с массой отличных придумок и емких метафор.

Дмитрий Петровский. *Роман с автоматом. — М.: Астрель, 2009.*

Первая книга 26-летнего ЖЖ-юзера d-petrovski, живущего в Германии.

Герой ослеп после того, как у него обнаружилась загадочная болезнь — желтый глаз, глаза пришлось оперировать. Причем без операции его постигло бы что-то худшее, чем слепота, — что именно, не раскрывается. По тексту долго нельзя понять, что герой слеп, что он не видит, а *знает*, как выглядит мир вокруг него. В описаниях есть едва заметная странность, но они вполне визуальны. Загадочность нарастает и превращается в емкую метафору: слепой герой не видит не самого мира, а его границ — он ощущает чувственную бесконечность и по-своему счастлив. Это в романе самое удачное. Там есть еще чеховское ружье, которое стреляет, — лучше бы его не было.

Михаил Елизаров. *Мультики. Роман. — М.: АСТ, 2010.*

Букеровский лауреат из литературных низов продолжает осваивать новые территории. На этот раз — поля аэрации, на которых обитают «новые реалисты». Главный герой — подросток из тех, кого продвинутая молодежь называет гопниками, — живет дикой жизнью своей страты, пока не попадает в детскую комнату милиции, несущую в эти слои населения цивилизаторскую упорядоченность бытия, и из тоскливой бывальщины, выполняющей роль затянутого предисловия, роман вырастает в одну из тех роскошных страшилок, которыми славится фирма.

Ульяна Гамаюн. *Ключ к полям. — М.: АСТ, Астрель, 2010.*

Проза Ульяны Гамаюн симпатична не только характерной избыточностью, которую маркируют принадлежностью южнорусской школе, — после вычитки всех этих милых стилевых завихрений в сухом остатке все же — впечатление перечислительного ряда. Главное в ней — сверхзадача, запрос на большее, чем просто текст, бескорыстие и творческий поиск, тоска по идеальному тексту и понимание его невозможности. Герои романа, он и она, написали одну и ту же книгу, независимо друг от друга и каждый по-своему. Его книга, написанная мастерски, принесла ему славу, но он бросает писать и влюбляется в ее книгу, написанную дилетантски, мимо логики и рыночного расчета; а потом и в нее

саму, живущую, словно бабочка-однодневка… В книге угадываются автобиографические мотивы и размышления автора о собственной писательской судьбе.

Андрей Аствацатуров. *Люди в голом. Роман. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2009.*

Внук В.М. Жирмунского, специалист по Генри Миллеру, видит мир глазами неоформалиста. Все кругом — столкновение пустых форм: мыслеформ, словоформ, человекоформ — не более того.

Так с этим можно сосуществовать — глубинная подоплека всего этого не страшна, ее просто нет. Жесты не подразумевают глубокого содержания — сама форма и есть содержание, жизнь вполне укладывается в жанр байки, а академическая и литературная богема изящно вписывается в амплуа героев.

Хотя, может быть, Аствацатуров просто мизантроп — тогда я его понимаю, особенно оказываясь среди богемы, считающей свои человеческие, мягко говоря, несовершенства чуть ли не изюминкой сложно организованной личности.

Виктор Шендерович. *Операция «Остров». — М.: Corpus, 2010.*

Повесть Виктора Шендеровича, впервые напечатанная в «Знамени» (2010, № 3), написана на замечательный сюжет из тех, которые лежат на поверхности, но останавливают внимание только после того, как их скрытые возможности уже кем-то оказываются раскрыты. Автору так хотелось оставить экстраверта без доступа к медиаресурсам, без приспособлений, пожирающих время, что даже мобильный телефон тоже оказался в недоехавшем до острова чемодане, хотя его обычно носят на себе.

Владимир Рекшан*. Земля: Дорога до... — СПб.: Амфора, 2010.*

Мемуарно-путевая проза Владимира Рекшана обаятельна и остроумна, фраза стремится к афоризму с по-довлатовски акцентированной точкой, за которой разверзается трагикомический подтекст: «Европа состоит из маленьких стран. Лузгали мы эти страны, как семечки. Скоро Венгрия кончилась и началась Югославия. В одном из городов, забыл в каком, поезд стоял полчаса, и я пробежал вокруг вокзала, посмотрел последнюю славянскую землю. Вокруг торговали чем попало, и на ценниках с трудом умещались нули. Про инфляцию я еще ничего не знал и удивлялся. И еще не знал, что гиперинфляция всегда заканчивается войной».

Сергей Бирюков. *ΠΟΕΣΙΣ ПОЭЗИС POESIS. Стихи, композиции, визуалы, серийная техника. — М.: Центр современной литературы, 2009.*

Первая книга стихотворений основателя и президента Академии Зауми, вышедшая в Москве. До этого его стихи выходили в провинции и за рубежом. Находкой Бирюкова мне кажется скрещение *простого, как мычание*, обнаруженного за гранью разума футуристами, с достижениями умной поэзии в технике авангарда. Напряжение полюсов заумного и умного дает возможность выразиться поэтическому темпераменту автора.

Данила Давыдов. *Компаративное письмо. — М.: Огурчики-Помидорчики (Библиотека Диогена), 2010.*

Больше всего в новой книге Данилы Давыдова мне нравится название издательства и тираж — 20 экземпляров. В ней тринадцать двустрофных текстов, которые стихами называть и сам автор не стал.

Екатерина Завершнева. *Над морем. Стихи. Предисловие: Рафаэль Левчин. — М.: Издательство Р. Элинина, 2009.*

Стихи, в основном длинные верлибры, написанные за десять лет, сгруппированные в пять пронумерованных римскими цифрами разделов. Ненамеренно герметичные, с ре-

дуцированным лирическим «я» и большим пространственно-временным охватом; с массой непроявленных подтекстов, которые бродят по дну текста, как тени по дну моря, и тенденцией рассыпаться на хокку:

Стая, поднятая далеким лаем,
Поднимается над остывшей водой,
Догоняя краешек солнца.

Ната Сучкова. *Лирический герой. — М.: Воймега, 2010.*

Воображение автора создает для персонажа каждого из стихотворений (они все персонажны) небывалую, усложненную элементами сна ситуацию в условном хронотопе (что-нибудь из детской памяти). Наблюдая, как персонаж себя ведет, автор подбирает к его жестам неплотно прилегающую композицию эмоций — так герой становится лирическим. Вот одно из самых выразительных стихотворений:

Большеротым птенцом, садоводом прожженным,
Я глотаю шмеля, как мохнатый крыжовник,
И на вкус не могу узнать.
И стою рядом с мамой, шмелем пораженный,
Но гудит во мне шмель, он — живой, не прожеван,
И в ладони мои, как крыжовник тяжелый,
Опускается благодать.

Лев Беринский. *На путях вавилонских. — Донецк: Точка опоры, 2009.*

Лев Беринский родился в 1939 году в Румынии, жил в СССР, где стал легендой поэтического андеграунда 50-х, бежал от преследований в Израиль, где в 1998-м стал председателем союза писателей. Пишет стихи на нескольких языках.

Русские стихи Беринского, написанные в 60—80-х годах, почти не издавались. Эта книга открывает нам очень сильного поэта. Его мироощущение хорошо передает стихотворение «Сидящий на ветвях» из цикла 70-х «Сидящие»:

(…)
Мальчик, слазь! Начинает раскачиваться
ствол по ходу Земли или ветра,
криком взлета проклюнута тишь.

Мальчик, слазь! Ты не можешь расплачиваться
За больные фантазии века.

Мальчик, слазь! Улетишь…

А вот из поздних стихов: (…)

Я не грущу о России — там юность и жизнь
порчей потравлена, в землю затоптана, в клочья
псами изодрана… Южной ли, западной ночью
русскую блядь повстречав — я в безмолвные очи
ей загляну, навещу по тарифу, заплачу
в плечико, забормочу, подожди, не ложись…

Сергей Попов. *Детские войска. Книга стихов. — Воронеж: Воронежская областная типография — издательство им. Е.А. Болховитинова, 2009.*

Цельная книга стихотворений с хорошо продуманной композицией, где части проложены фрагментами мемуарной прозы, озаглавленными так: «Патрон первый», «Патрон вто-

рой»... Всего патронов семь. Тема детства в стиле милитари разворачивается от пейзажей, прошитых невнятной тревогой, через воспоминания о встречах с оружием к размышлениям о мужском предназначении.

Валентин Нервин. *Невозбранное. Стихотворения. — Воронеж, 2009. Предисловие: Кирилл Ковальджи.*

Воронежский поэт, а кроме того — экономист, советник I класса Государственной гражданской службы РФ, Валентин Нервин пишет интересные стихи в традиции философской лирики.

«Поклонимся великим тем годам...» Антология стихотворений выпускников, преподавателей и студентов Литературного института им. А.М. Горького*. — М.: Издательство Литературного института им. А.М. Горького, 2010.*

Сборник стихотворений, так или иначе затрагивающих военную тему, поэтов, имеющих отношение к Литинституту, с предисловием ректора Б.Н. Тарасова, получился интересным. Несмотря на алфавитный порядок расположения, из-за которого Сергей Соколкин оказался на одном развороте с Владимиром Соколовым, — выстроился диалог поколений, оттенился контраст дарований и заиграла обертонами соколовская строфа:

Нет школ никаких.
Только совесть,
Да кем-то завещанный дар,
Да жизнь, как любимая повесть,
В которой и холод, и жар.

Олег Мороз. *Главная ошибка Ельцина. Издание третье, дополненное. — М.: Маска, 2010.*

Политического журналиста, анализирующего российскую внутреннюю политику начиная с конца 1990-х, когда Ельцин стал подыскивать себе преемника, мучит вопрос: почему Ельцин выбрал из своего окружения человека, развернувшего курс страны на 180 градусов? Новейшая российская политическая история излагается динамично и сжато, с разбором альтернативных вариантов и версий ответа на главный вопрос.

Изгои российского бизнеса. *Подробности большой игры на вылет. Редакторы-составители: В. Башкирова, А. Соловьев. Под общей редакцией В. Дорофеева. — М.: Эксмо, ИД «Коммерсантъ», 2010.*

Книга о первом поколении российских бизнесменов. Герои эпохи первоначального накопления капитала доживают до старости, если обладают сверхъестественным везением или оказываются способными вовремя сойти с большой дороги. Среди опасностей, подстерегающих стихийно развивающийся бизнес, главная исходит от государства, тоже набирающего силу, поэтому бизнес стремится во власть, а если не получается… Тринадцать историй, пятнадцать судеб, сгруппированных по характеру итогов: «В местах столь отдаленных» — о сбежавших за кордон Березовском, Гусинском, Гуцериеве, Исмаилове, Конаныхине, Смоленском, Живило и Чичваркине; «В местах не столь отдаленных» — о попавших под следствие Ходорковском, Лебедеве, Некрасове, Могилевиче и Френкеле и «Иных уж нет…» — о покойных Виноградове и Патаркацишвили.

Варнава (Беляев), епископ. *«Дядя Коля» против… Записные книжки епископа Варнавы (Беляева). 1950—1960. Составление, вступительный очерк, комментарии П.Г. Проценко. — Нижний Новгород: Христианская библиотека, 2010.*

Епископ Васильсурский, викарий Нижегородской епархии, в 1922 году имитировал психическое заболевание, чтобы не служить советизированной церкви, в 1928 году органи-

зовал тайный монастырь в Кзыл-Орде. В 1930 году монастырь был раскрыт, еп. Варнаве удавалось скрываться в Москве, но в 1933 году он был арестован и получил три года по 58-й статье. В лагере на Алтае он отказывался от работы, за что был переведен в психбольницу тюремного типа под Томском. Освободившись в 1936 году, еп. Варнава поселился в Томске с духовной дочерью монахиней Серафимой (В.В. Ловзанской), выдававшей себя за его племянницу. Называл себя дядей Колей.

С 1920 года еп. Варнава вел записные книжки. Сначала это были дневниковые записи церковного иерарха. Из 30-х и 40-х сохранились разрозненные заметки и «Фотодневник». А с конца 1950 года до начала 1960-х появились эти шестнадцать записных книжек с вклейками газетных вырезок, документов, фотографий, писем, затем записи этого рода продолжились под названием «Мелкий бисер». Верующий человек выступает в них против сталинского рая, утверждая то же, что сказал Достоевский в «Легенде о великом инквизиторе»: только в свободном обществе возможна христианская проповедь.

В.В. Ловзанская хранила и переписывала рукописи еп. Варнавы. В Киеве, где он провел последнюю часть жизни, она встретила П.Г. Проценко, собиравшего материал по истории гонений на РПЦ. Он занялся архивом епископа, за что был репрессирован в канун перестройки — к счастью, ненадолго. С начала 90-х стали выходить труды епископа Варнавы, подготовленные П.Г. Проценко.

Русская деревня в рассказах ее жителей. *Под редакцией Л.Л. Касаткина. — М.: АСТ-ПРЕСС, 2009.*

Рассказы деревенских стариков, старейшие из которых родились в XIX веке, записанные сотрудниками Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН для лингвистических исследований, несут в себе такой довесок исторических свидетельств, что от книги трудно оторваться. На эффект работает эпическая интонация любого из тридцати восьми говоривших: крестьяне просто рассказывают, что делали, что видели, что слышали. С начала советской власти все голодали и голодали. В 1937 году, оказывается, был хороший урожай, зажили хорошо, но — «опять не очень»: стали забирать людей за то, что «не так сказали, не так спросили». Большинство рассказчиков вспоминают именно о сталинистских бесчинствах: как раскулачивали всех, кто жил чуть лучше остальных, как заставляли детей и подростков работать на тяжелейших работах, как оскверняли и рушили церкви — опору деревенской жизни...

Борис Вайсберг. *Караганда. Автобиографические записки. — Екатеринбург: Банк культурной информации, 2010.*

В 1949 году семья автора перебралась из Семипалатинска, где оказалась, спасаясь от немцев из Днепропетровска, в Караганду, куда за месяц до взрыва атомной бомбы в Семипалатинске перевели главу семьи, служившего в УВД. Автору тогда было шестнадцать лет. Вспоминая о центре КАРЛАГа, он приводит подробности тамошней жизни, свидетелем которых был.

Елена Благинина. *«Борят мя страсти мнози...» Письма к Г.Л. Эйхлеру. Составление, предисловие, комментарии, послесловие: Б.С. Вайсберг. — Екатеринбург: Издание газеты «Штерн», 2009.*

Детскую поэтессу, жену поэта Георгия Оболдуева, связывали дружба и переписка с Генрихом Эйхлером, одним из руководителей Детиздата, репрессированным накануне Великой Отечественной войны как немец. Составитель пытается привлечь внимание к архиву Г. Эйхлера и к наследию Е. Благининой. Издание ознакомительное, письма публикуются с лакунами, причина которых не объяснена.

Владимир Ронин. *Русское Конго. 1870—1970. Книга-мемориал: в 2-х тт. — М.: Дом Русского Зарубежья им. Александра Солженицына, Русский путь, 2009.*

Российский историк, живущий в Москве и Антверпене, в разговорах с бельгийскими эмигрантами обнаружил популярную среди них тему — жизнь выходцев из России в

бывших бельгийских колониях Конго, Руанде и Бурунди: кто-то служил там по стандартному трехлетнему контракту, а кто-то открыл собственное дело и остался надолго, расширив ареал русского рассеяния. Надолго, но не навсегда: хронологические рамки пребывания русских в Конго уложились в столетие. В 1870 году в эту местность, еще не имевшую названия, приехал ученый с российским паспортом Георг Швейнфурт, уроженец Риги, а в начале 1970-х конголезский президент Мобуту решил покончить с колониальным прошлым, полностью изгнав европейцев из Конго, — надо сказать, что европейский островок в стране, по площади почти равной всей Западной Европе, жил единой общиной, несколько сотен русских в нем не обособлялись, в центре исследовательского внимания поэтому — не группы и организации, а индивидуальные судьбы.

За четырнадцать лет работы исследователь открыл более шестисот имен «русских конголезцев», а также множество сюжетов и фактов — большинство материалов книги впервые вводятся в научный оборот. В основе исследования — интервью и архивные материалы. Двухтомник снабжен примечаниями, именным и географическим указателями и списком интервью.

Ирина Монахова. *Небесное и земное: Статьи о художественном и духовном творчестве Н.В. Гоголя. — М.: Семейная книга, 2009.*

Взгляд на Гоголя как на христианского мудреца. Начинается книга с разбора «Вия», в котором много дельных наблюдений, но и, на мой взгляд, передержек. Например, ряд исследователей считает, что Хома умер от испуга, тогда как Гоголь говорит: «Не вытерпел он и глянул». Не вытерпеть и испугаться — разные вещи, Ирина Монахова это заметила верно. Но дальше она развивает идею о том, что это «не вытерпел» значит — не послушался здравого смысла и бросился в неравную схватку с темными силами. Мне же это «не вытерпел» кажется простым любопытством юного существа…

Далее следуют два обширных раздела о Гоголе-проповеднике — разбор его духовных сочинений «Размышление о Божественной Литургии», «Авторская исповедь» и «Выбранные места из переписки с друзьями» — и Гоголе-учителе, на материале писем.

Балтийский вопрос в конце XV—XVI в. *Сборник научных статей. — М.: Квадрига, 2010.*

Материалы международной исторической конференции, проходившей в Санкт-Петербургском государственном университете, включающие статьи на английском и немецком языках, сгруппированы по трем разделам: I. Балтийский вопрос накануне Ливонской войны (конец XV — середина XVI в.); II. Ливонская война (1558—1583) и III. Из истории стран — участников конфликта. Для чтения интереснее всего последний раздел, а в нем — статья А.В. Петрова «На путях к упрочению вечевого государства («Усобицы» и «одиначество» в Новгороде вт. пол. XIV в.)» — о вражде районов города: Торговой стороны, Софийской стороны, Плотницкого конца, Славенского конца, из-за которой бояре побогаче заводили дворы в разных районах.

Ольга Лукас. *Поребрик из бордюрного камня. — СПб.: Комильфо, 2010.*

Занимательная космогония «гранитного Петербурга» и «глиняной Москвы» с такими же занимательными иллюстрациями. Современная вариация изобразительного и литературного лубка: «Потом, конечно, как все правители, оказавшиеся в безвыходных ситуациях, Юрий Долгорукий пошел в народ. А народ ему и говорит: «Раньше это место Москвой называлось, мы привыкли уже. Давай оставим как есть?» «Четко! — обрадовался тот»… С Питером было сложнее: всех креативных бояр креативно казнил Иван Грозный, прочие же пребывали в депрессии по случаю отстрижения бород, а народ безмолвствовал»…

Литературная учеба. *Книга вторая. Март-апрель, 2010.*

В журнале с недавних пор — новый главный редактор Максим Лаврентьев, московский поэт, издавший нескольких стихотворных сборников.

Сдвоенный номер интересно начинается — с разговора о проблемах литературной периодики. В разделе «Главная тема» коллеги из разных «толстяков», столичных и провинциальных, обсуждают вопрос о финансовой помощи толстым журналам. Тему продолжает в разделе «Литература и современность» статья юной Екатерины Ратниковой, четверокурсницы Литинститута, обещающей быть дельным критиком, когда наберет достаточный опыт чтения и размышлений и перестанет верить, что рифма бывает хорошей или плохой. Там же темпераментное эссе Сергея Арутюнова о сегодняшней поэзии, лишенной, по его мнению, объединяющего начала — национального гения, который впитал бы лучшие черты трех выделенных в эссе поэтических «отраслей»: «дореформенной, сырьевой и инновационной», являющих собой «все убожество и губительность настоящего положения дел». В эссе много красивых метафор, но положение о губительности мне непонятно и что «нужен один» я согласиться не могу. На мой взгляд, сам ракурс взгляда здесь несколько неправомерен по отношению к поэзии, она рассматривается в социальном пространстве, ей сущностно противопоказанном.

Дни и книги Анны Кузнецовой

Редакция благодарит за предоставленные книги Книжную лавку при Литературном институте им А.М. Горького (ООО «Старый Свет»: Москва, Тверской бульвар, д. 25; 694-01-98; vn@ropnet.ru); магазин «Русское зарубежье» (Нижняя Радищевская, д. 2; 915-11-45; 915-27-97; inikitina@ropnet.ru)

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
©журнал знамя/09/2010 сентябрь ISSN 0130-1616
выходит с января 1931 года

Сергей ЧУПРИНИН
главный редактор
699 52 38, chuprinin@znamlit.ru

Наталья ИВАНОВА
первый заместитель главного редактора
699 39 60, ivanova@znamlit.ru

Елена ХОЛМОГОРОВА
ответственный секретарь
699 46 24, holmogorova@znamlit.ru

Евгения ВЕЖЛЯН
отдел прозы
699 47 84, vejlyan@znamlit.ru

Ольга ЕРМОЛАЕВА
отдел поэзии
699 42 64, ermolaeva@znamlit.ru

Анна КУЗНЕЦОВА
отдел библиографии
отдел публицистики
699 52 18, kuznecova@znamlit.ru

Карен СТЕПАНЯН
отдел критики
699 48 71, stepanyan@znamlit.ru

Ольга ТРУНОВА
отдел прозы
699 47 84, trunova@znamlit.ru

Елизавета ПОЛУКЕЕВА
корректор

Евгения БИРЮКОВА
допечатная подготовка, производство, распространение
699 80 67 т/факс, bir@znamlit.ru

Валерий КАЛНЫНЬШ
художник

Людмила БАЛОВА
исполнительный директор
699-48-98

Марина ГАСЬ
бухгалтер
699-48-98

Наталья РОГОЖИНА
компьютерный набор
699-48-71

Марина СОТНИКОВА
заведующая редакцией
info@znamlit.ru
699-52-83

Издание журнала осуществляется при финансовой поддержке Федерального агентства по делам печати и массовых коммуникаций

Электронная версия журнала:
http://magazines.russ.ru/znamia/

адрес редакции:
123001, Москва,
ул. Большая Садовая, 2/46
(вход с улицы Малая Бронная).
Для справок: (495) 699 52 83 т/факс,
info@znamlit.ru

Свидетельство о регистрации средства массовой информации №20 от 28.08.1990.
Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Знамя»
Издатель — ООО «Знамя»

Сдано в набор 15.07.2009.
Подписано к печати 17.08.2010.
Формат 70x108 1/16.
Усл. печ. л. 21,0. Уч.-изд. л. 23,17.
Печать офсетная. Тираж 4000 экз.
Заказ № 2764

Отпечатано в типографии ОАО «Издательский дом «Красная звезда».
123007, Москва, Хорошевское ш, 38.
http: www.redstarph.ru

СВЕЖИЕ НОМЕРА «ЗНАМЕНИ» И НОМЕРА ПРОШЛЫХ ЛЕТ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ У НАС В РЕДАКЦИИ
Также представлены журналы **«Арион»**, **«Вопросы литературы»**, **«Дружба народов»**, **«Если»**, **«Звезда»**, **«Иностранная литература»**, **«Континент»**, **«Мир Паустовского»**, **«Нева»**, **«Новый мир»**, **«Октябрь»**, альманах **«Достоевский и мировая культура»**.

метро «Маяковская», ул. Большая Садовая, 2/46, вход с Малой Бронной ул., тел. (495) 699 80 67

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция не имеет возможности вступать в переговоры и переписку по их поводу, а только извещает авторов о своем решении.

Материалы, поступившие по e-mail, а также рукописи объемом более 10 авторских листов (400 000 знаков) не рассматриваются.

«ЗНАМЯ» В 2010 — НАЧАЛЕ 2011

Белла АХМАДУЛИНА. За весь род воробьиный
Александр БАСМАНОВ. Возраст любви
Валерий БОЧКОВ. Ферзевый гамбит
Инна БУЛКИНА. Время Чижовой
Юрий ДАВЫДОВ. Дневники и записные книжки
Георгий ДАВЫДОВ. Алхимик
Андрей ДМИТРИЕВ. Крестьянин и тинейджер
Ганс ДИБОЛЬД. В бункерах Сталинграда
Елена ДОЛГОПЯТ. Письмо
Юрий ЖИДКОВ. Инфаркт
Юлия КОКОШКО. Вдоль снега
Анатолий КУРЧАТКИН. Полет шмеля
Владимир МАКАНИН. Новая повесть
Даниэль ОРЛОВ. Счастливая жизнь победителя
Максим ОСИПОВ. Цыганка
Владислав ОТРОШЕНКО. Новая повесть
Валентина ПОЛУХИНА. Ритмы России в творчестве Бродского
Артем СКВОРЦОВ. Максим Амелин: знакомый незнакомец
Герман САДУЛАЕВ. Морозовы
Николай СВЕНЦИЦКИЙ. Статьи о Льве Толстом
Арсений ТАРКОВСКИЙ. Письма
Владимир ТУЧКОВ. Фотосессия
Ревекка ФРУМКИНА. Наедине с экраном
Ирина ЧАЙКОВСКАЯ. Американский русский
Павел ЧУВИЛЯЕВ. Дорога:записки мелкого бизнесюка
Светлана ШИШКОВА-ШИПУНОВА. В Москву и из Москвы

новая проза

Светланы АЛЕКСИЕВИЧ,
Юрия БУЙДЫ,
Фазиля ИСКАНДЕРА,
Анатолия КОРОЛЕВА,
Ильи КОЧЕРГИНА,
Эдуарда КОЧЕРГИНА,
Майи КУЧЕРСКОЙ,
Юрия ПЕТКЕВИЧА,
Людмилы ПЕТРУШЕВСКОЙ,
Валерия ПОПОВА,
Евгения ПОПОВА,
Дины РУБИНОЙ,
Марии РЫБАКОВОЙ,
Романа СЕНЧИНА,
Алексея СЛАПОВСКОГО,
Александра СНЕГИРЕВА,
Александра ТЕРЕХОВА,
Маргариты ХЕМЛИН,
Сергея ШАРГУНОВА,
Сергея ЮРСКОГО

новые стихи

Сергея ГАНДЛЕВСКОГО,
Ольги ГЕССЕН,
Вадима ЖУКА,
Александра ЗАКУРЕНКО,
Михаила КВАДРАТОВА,
Юлия КИМА,
Бахыта КЕНЖЕЕВА,
Тимура КИБИРОВА,
Виктора КОВАЛЯ,
Сергея КРУГЛОВА,
Павла ЛУКЬЯНОВА,
Юлианы НОВИКОВОЙ,
Александра НОСКОВА,
Татьяны ПОЛЕТАЕВОЙ,
Константина РУПАСОВА,
Геннадия РУСАКОВА,
Виктора САНЧУКА,
Виктора СОСНОРЫ,
Марии СТЕПАНОВОЙ,
Алексея ЦВЕТКОВА,
Елены ФАНАЙЛОВОЙ,
Олега ЧУХОНЦЕВА

адрес редакции:
123001, Москва
ул. Большая Садовая, 2/46
телефон/факс: 699 52 83
e-mail: info@znamlit.ru